



БОРИС ХАЗАНОВ
МАРК ХАРИТОНОВ

...Пиши,
мой друг

П Е Р Е П И С К А 2005–2011

РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬ
КОЛЛЕКЦИЯ ПОЭЗИИ И ПРОЗЫ



**БОРИС ХАЗАНОВ
МАРК ХАРИТОНОВ**

...Пиши, мой друг

ПЕРЕПИСКА
2005–2011

Санкт-Петербург
АЛЕТЕЙЯ
2013

УДК 82–6
ББК 83(2Рос=Рус)6
X152

Хазанов Б., Харитонов М.

X52 ...Пиши, мой друг. Переписка 2005–2011 — СПб.: Алетейя, 2013.
447 с. — (Серия «Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы»).

ISBN 978–5–91419–768–8

Второй том многолетней переписки известных писателей Бориса Хазанова и Марка Харитонова содержит письма 2005–2011 гг. Авторы размышляют здесь о происходящем в России, в мире, о проблемах истории и современной цивилизации, о литературе, искусстве, культуре, о психологии художественного творчества и, конечно же, о своей жизни, о собственной литературной работе.

УДК 82–6
ББК 83(2Рос=Рус)6

© Б.Хазанов, 2013
© М.Харитонов, 2013
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2013

2005

Б.Хазанов — М.Харитонову

CharM191

1.1.05

Дорогой Марк, с Новым годом! Чувствую, что завалил тебя письмами. Как сказано у Пушкина, «вы пишете мне, мой ангел, письма по четыре страницы быстрее, чем я успеваю их прочитать». Сегодня поздно утром после новогодней ночи я открыл наугад переписку Т.Манна с Адорно (на которую писал когда-то рецензию) и увидел одно замечательное письмо от апреля 1952 г. Так что вот тебе ещё одна цитата:

«Lassen Sie sich doch um Gottes willen wegen der Schwierigkeiten am Krull nicht deprimieren. Solche Schwierigkeiten sind geradezu die Signatur einer fruchtbaren Konzeption, denn ein Kunstwerk greift ja wohl erst in dem Augenblick richtig in sein Material ein, in dem es mit dessen Widersprüchen befaßt wird, und diese Widersprüche setzen sich unabdingbar in solche der Gestaltung um; wo man auf dergleichen nicht stößt, lohnt es sich — im Sinne des höchsten und einzigen Maßstabes gesprochen — gar nicht erst anzufangen...»¹

И далее ещё несколько тонких, а главное, утешительных соображений. Мне показалось, что всё это весьма подходит и для твоей работы, и для меня самого. Несколько раз ты писал мне в последнее время, что проза плохо поддаётся, мало удаётся. Что касается меня, то вначале, недели три тому назад, мне казалось, что я набрёл на некий замысел, открывающий большой простор, и вот, дальше первых двух-трёх страниц дело не двигается. Я увяз в них, без конца переделывая какие-то

¹ «Пусть вас ради Бога не смущают трудности с Крулем. Такие трудности — признак плодотворного замысла, ибо художественное произведение смело вторгается в свой материал именно в тот момент, когда, когда дело идёт о противоречиях, а они, эти противоречия неизбежно дают себя знать как раз в обрисовке действующих лиц. Если с этим не столкнёшься, значит — исходя из высшего и единственного критерия художественности — не стоило и браться за дело» (нем.)

мелочи, вместо того, чтобы, закрыв глаза, пробиваться дальше. Это похоже на то, как лошадь и так и сяк переступает копытами, дёргает и раскачивает тяжёлый воз, а сани ни с места. Я работал одно время возчиком и всё это вижу, как сейчас [...]

М.Харитонов — Б.Хазанову

2.1.05

И тебя с Новым годом, Гена! Мы с Галей отметили эту дату, как всегда последнее время, вдвоем, смотрели ее работы, сделанные за год — у нее их набралось много, не то, что у меня. За окном всю ночь вспыхивали фейерверки, с горки у освещенного реставрированного акведука катались на санках и на чем попало. После оттепели навалил белый чистый снег, днем сияло солнце, мы вчера с Галей прошли на лыжах километров 15 — пришлось возвращаться за оброненной по дороге шапочкой. Легкое скольжение, синее небо, заснеженные ели — три с половиной часа чистого удовольствия.

Понемногу возвращаюсь к работе. Проблема в том, что привычные тропки мне самому неинтересны, незачем добавлять еще один текст в навал таких же. И читать ведь мало кого хочется. Пробую карабкаться на кручи, мне, может, непосильные. Но занятие несравненное, тебе этого объяснять не надо.

Замечательный новогодний подарок преподнесла мне Галя: книгу бесед с Альфредом Шнитке. Я необычайно высокого мнения об этом композиторе и человеке. Однажды с ним бегло встретался, он меня даже читал и одобрительно отозвался. Чтение может оказаться стимулирующим.

Твое предложение убрать последнюю строчку в стихотворении я сразу же с благодарностью принял. Захотелось показать тебе еще один стишок — может, что посоветуешь?

Шинель

Сорвана с плеч шинель. Глубже костей проник
Холод, уже нездешний. Нечем душу согреть,
Нечем ее прикрыть. Закручены снежной вьюгой,
Распались без оболочки, во мраке растворены
Строки или дома, дни, сложенные из букв,
Ровно, одна к другой, без единой ошибки,
Без заботы о смысле, только лишь с предвкусеньем
Завтрашних букв, из которых возникнет она — шинель.

Сорвана с плеч шинель. Выдернуты из петель,
По снегу разбросаны пуговицы. Без скрепок
Расползаются очертания. Смешаны круговертью,
Уходят с шипящим звуком в рябщую черноту
Буквы, дома без окон, дни, прожитые ли, нет ли,
Проглоченные неощутимо, словно с мухами щи...
Дух травяной жвачки, теплый нечаянный ветер
Из лошадиных ноздрей на миг коснулся щеки.

Сорвана с плеч шинель. Освободилась душа —
Больше непрожитых дней этот предельный миг —
Вырвалась, чтобы очнуться где-то уже не здесь,
Вспомнить себя, обрести заново или впервые,
Складываясь из букв под чьим-то властным пером,
Морщины, нелепое имя, подслеповатый взгляд,
И, воплотившись сполна, живет еще живущих,
Ночами являться, пугая, из призрачной пустоты.

Уж не меня ли вспомнил? — тронет за плечи, скалясь. —
Ищешь рассыпанный смысл, сочувствуешь свысока
Бедняге, себе не чета? Надеешься заговорить
Жизнь, незаметно утекшую за таким же столом
В пятнах чернил? Тоже с пером в руке? А на плечах
Что у тебя? Не шинель? Скидывай все равно
Впустишь в себя, как истину, тот же холод,
От которого не укрыться, не убежать.

Сорвана с плеч шинель. Что остается? Перья,
Пара носков да пуговиц, стопка бумажных листов,
Исписанных ли, пустых, тоска непрожитой жизни,
Жалость — к кому? не к себе ли? Надежда соединить
Буквы, дни или мух, проглоченных вместе со щами...
Дух травяной жвачки. ветер из влажных ноздрей
Коснется на миг щеки. Добавишь хотя бы немного
В мир своего тепла, чтоб до конца не застыл.

Обнимаю тебя. Будь здоров.
Марк

Б.Хазанов — М.Харитонову

6.1.05

[...] «Шинель» — сложное, многосмысленное стихотворение, о нём, как о стихах Рильке или Гёльдерлина, можно было бы написать целый небольшой трактат, что я, может быть, и сделаю когда-нибудь. Инте-

ресно (случайно ли?), что первые девять строк — уже не верлибр, а белый тонический стих, шесть ударений с цезурой. (Как «Дней был пег. Медленна лет арба» Маяковского, — но какая огромная разница!) Среди лавины метафор о творчестве, о Пегасе, об отваге порвать с привычным и утеплённым, о ночном двойнике, о смерти (так или приблизительно так я их понял) несколько ошарашивают мухи во щаж, нужны ли они? Трудно представить себе, чтобы можно было проглотить щца с мухами — не с одной мухой — неощутимо, то есть даже не почувствовать. «Надежда соединить <...> мух, проглоченных вместе со щцами». Звучит почти юмористически и довольно неаппетитно. Тебе не кажется? Ещё я споткнулся (но это только моё впечатление) на строчке «Складываясь из букв под чьим-то властным пером». Это «складываясь из» звучит неблагозвучно и громоздко, как плохая проза; вообще дееспричастия в стихах — опасная вещь.

Покойного Шнитке я никогда не видел, только на экране; он свободно говорил по-немецки, но было видно, что это не родной язык. Беседы с ним я бы тоже почитал с удовольствием. К сожалению, их нет в каталоге «Геликон», который мне присылают. (Зато есть очередной труд фашиста М.Назарова и книги Дутина, в том числе «Евразийская миссия Нурсултана Назарбаева».)

Вчера я просматривал в интернете новые номера журналов и наткнулся на большую публикацию в январской «Дружбе народов» — ответы разных, по большей части компетентных людей на вопрос о ситуации толстых журналов. (Между ними, правда, оказался В.Бондаренко, пригласить которого должна была бы помешать элементарная брезгливость.) Странно, но мне было интересно это читать. Некоторые суждения, иногда очень напористые, звучат для моего уха наивно, чуточку провинциально, но дело не в этом. В который раз я почувствовал, как я оторван от этого дискурса, да и вообще от того, что в России считается и является сегодняшней живой жизнью. Высоко оцениваются произведения писателей, имена которых мне хотя и по большей части известны, но которых я не читал и, очевидно, никогда не прочту. Проблемы и рассуждения, которые отсюда кажутся точно такими же, какими скорее всего могли бы показаться здешние проблемы отсюда. Как нечто само собой разумеющееся, уверенность в том, что литература — для сегодняшних читателей, а не для самого писателя или его друзей, не ради творческого процесса как такового, не в надежде, что когда-нибудь найдётся и читатель.

Некоторые из выступающих даже считают, что можно простить писателю низкое качество прозы, лишь бы дух и тематика были современными. Под современностью, очевидно, подразумевается актуальность.

Очевидно, что понимание может встретить — кто станет с этим спорить? — автор, всецело погружённый в современную русскую жизнь, живущий этой жизнью, и бесполезно было бы возражать, что «жизнь», жизненный опыт должны отстояться, что существует приоритет внутренней жизни, проект Одиночество, говоря твоими словами, что, наконец, литература всегда опаздывает и пр. Сказывается ли в этом влияние коммерции, всевластие издателей, деспотизм рынка? Безусловно; но, читая эти выступления, я подумал, что такое объяснение недостаточно. Как ни удивительно, большинство всё же более или менее отграничивает массовую коммерческую литературу от литературы в привычном для нас смысле

Среди фаворитов (Кабаков, Аксёнов, Солоух, Эппель, А.Дмитриев, Геласимов, Волос, Мелихов, Д.Бавильский, О.Павлов и множество других) наши, то есть твоё и моё, имена отсутствуют, это говорит о том, что на наши изделия опытные и по большей части интеллигентные читатели не обращают внимания. В лучшем случае полистали и бросили. Как сказал Некрасов: «К чему читать вам Бокля?» И это, я думаю, не случайность. Это — кара за что-то, что отвращает читателя от этих авторов. Что же именно? Прежде всего за то, что мы живём в прошлом и культивируем это существование. (В моём случае это усугубляется эмиграцией, которую живущим в России писателям и особенно критикам, на фоне рецидивирующего державно-православного патриотизма, нелегко простить.)

Мне приходит в голову, что я, а может, и ты тоже, напоминаем бургерскую девицу в «Фаусте» (в сцене пасхального гуляния за городской стеной), которая возмущена тем, что компания подмастерьев ухлёстывает за служанками, вместо того чтобы поискать общество получше:

Es ist wahrhaftig eine Schmach:
Gesellschaft könntnen sie die allerbeste haben
Und laufen diesen Mägden nach!¹

Улыбнётся ли нашим творениям удача в некотором неопределённом будущем? Не похоже, если судить о направлении вкусов и общей тенденции культуры в России. Нравится нам это или нет, но время определённо работает против нас. Аминь [...]

¹ Я удивляюсь, как не стыдно им.
У барышень хорошие манеры,
Они же липнут к горничным простым. (нем., пер. Б. Пастернака)

[...] Мухи, проглоченные со щами — это у Гоголя: он «хлебал наскоро свои щи и ел кусок говядины с луком, вовсе не замечая их вкуса, ел все это с мухами и со всем тем, что ни посылал Бог в ту пору». Это о человеке, который прожил жизнь, не заметив ее, для которого жизнь составлялась из написанных им букв. «Если и глядел на что, то видел на всем свои чистые, ровным почерком выписанные строки». У меня началось с мысли: а намного ли богаче была жизнь самого Гоголя, жизнь пишущего человека? Насколько оправдано школьное наше, жалостливое сочувствие — свысока — к «маленькому человеку» — не нам чета? Ну, и мысль, как бывает, стала разрастаться в разные стороны. Если в самом деле можно было бы вообразить, как ты пишешь, «небольшой трактат» на эти темы, для автора наверняка открылись бы смыслы, которых он сам, естественно, не сознавал. О чем еще можно мечтать?

О Шнитке. По-немецки он стал говорить раньше, чем по-русски: его бабушка по материнской линии русского языка не знала. Но это был язык поволжских немцев, законсервированный язык 18-го века. На современном немецком языке говорил отец, из семьи франкфуртско-рижских евреев. После войны Шнитке два года жил в Вене, где отец работал в немецкой газете оккупационных властей. По его словам, немцы находили у него австрийский акцент, но австрийцы своим не считали. Вообще для него, оказывается, было не так просто: чувствовать себя одновременно евреем, немцем и человеком русской культуры. Он нигде не чувствовал себя вполне своим, даже в Германии, где никаких проблем для него, кажется, не было.

О «толстых» журналах. По идее, они сейчас могут позволять себе публикации, для издательств недоходные. Где можно напечатать отдельный рассказ? Где напечататься начинающему поэту, вроде меня? Разве что издать небольшой сборник за свой счет или, еще проще, опубликовать себя в интернете. Но кто это заметит? Можно, правда, напомнить, что Мандельштам или Пастернак тоже издали первые книжки за свой счет тиражом 300–400 экземпляров. Но на них сразу обратили внимание мастера — достаточно, чтобы, как в старые времена, быть принятыми в цех поэтов. Сейчас, кажется, нет таких мастеров, чье мнение оказалось бы авторитетным благословением (не протекцией, не рекомендацией в СП). Журналы все-таки осуществляют

некоторый экспертный отбор. И тиражи, как ни странно, больше книжных: 3, 4, 5 тысяч. Книжки в престижной поэтической серии «Пушкинский фонд» выходят тиражом 500 экз.

Беда в том, что тексты, напечатанные в журналах, редко меня убеждают. Это, конечно, факт моей биографии, не более. Может, не тех читал. Кого-то из перечисленных тобой авторов я знаю, отношусь к ним по-разному. Тебя действительно заботит присутствие или отсутствие чьих-то имен в переменчивых списках? Суетное дело, завтра будут другие. Инна Лиснянская вскоре после смерти С.И.Липкина вспоминала, как они с Рейном перебирали имена поэтов, распределяли: эти из первого ряда, эти из второго, из третьего. И Семен Израилевич, пишет она, спросил Рейна: «Как вы думаете, мы с вами останемся хоть в шестом-седьмом ряду?» Меня это искренне удивило. Мудрый старый еврей, к тому же верующий иудей — и все же думал об этом? Я твердо могу сказать, что об этом не думаю. Мы этого не можем знать. Можно только спрашивать себя: делаешь ли что-то на предельном доступном тебе уровне? Заманчивая, конечно, мечта: посмотреть когда-нибудь с облаков, что там от тебя осталось?

Но ведь само наше занятие, Гена — редкостное счастье, дарованное судьбой. «Нас мало избранных, счастливых праздных». Да если еще это занятие позволяет худо-бедно кормить себя и семью. Пока еще удается.

На Парижскую ярмарку я, видимо, поеду — тоже не без мысли о возможности нового заработка. А зачем же еще? Для того чтобы сидеть на конференциях за столом и глубокомысленно что-то вещать? Почти все из перечисленных тобой авторов, кажется, там будут [...]

Б.Хазанов — М.Харитонову

11.1.05

[...] Цитата Гоголя мне неизвестна (или я забыл). Когда я читал стихотворение, у меня сложилась совершенно другая система ассоциаций; о «маленьком человеке» мысли не было.

В разговоре о толстых журналах меня, собственно, интересовал или волновал не самый факт того, что «чьи-то имена», как ты пишешь, отсутствуют в переменчивых списках. Мода на то или иное имя быстро проходит, теснимая новой модой, новыми именами, а люди, чьи высказывания помещены в «Дружбе народов», в большой степени ориентированы на моду и её обычную *raison d'être*¹ — актуальность,

¹ оправдание, обоснование (*по-франц. женского рода*)

как её принято понимать. Я не нашёл сколько-нибудь глубоких и оригинальных высказываний о литературе. Если сейчас перелистать книгу Натальи Ивановой — календарную сводку имён и книг, привлекавших внимание 15, 10 и т.д. лет тому назад, то в самом деле хорошо видно, какой недолговечной оказалась для большинства эта популярность. Лично для меня это был рецидив старых вопросов: для кого и для чего я пишу, пишу ли я вообще для кого-нибудь, каков «объективный» смысл этой работы, на которую я трачу последние годы моей жизни, вместо того чтобы употребить их на что-нибудь более приятное. (Ты пишешь: «Самое наше занятие — редкостное счастье». Гм, гм...) Или единственный смысл — внутренний: поставить перед собой некую задачу и постараться её выполнить?

Недавно, поздним вечером я видел (в который раз) картину Лукино Висконти «Леопард», по роману, которым очень увлекался когда-то, и стал просматривать материалы о фильме и режиссёре в интернете. В одном интервью нашёл такое высказывание Висконти: «Я обращаюсь к прошлому, ведь настоящее скучно и предсказуемо, а будущее пугает своей неизвестностью. Зато прошлое предсказывает нам настоящее и, глядя в прошлое, мы, как в зеркале, можем увидеть черты сегодняшнего дня».

Некоторым самооправданием для писателя может служить то, что литература съехала на обочину. Её реальная, сиюминутная или сегодняшняя роль в жизни общества ничтожны. Роберт Музиль находится в Британской энциклопедии между игроком в бейсбол Стэном Мьюзиелом и вождём итальянского народа Бенито Муссолини. Музилу посвящена одна фраза — пять строк: имя автора, кто такой, даты жизни, название главной книги. Статья о Мьюзиеле состоит из 28 строк. Статья, посвящённая Муссолини, при крайней сжатости изложения, занимает 480 строк. И мы прекрасно знаем, к каким удручающим результатам для литературы приводят попытки «привлечь внимание». Следовательно, — «подите прочь, какое дело поэту мирному до вас». То есть хрен с вами, катитесь вы все подальше. Но жить с таким сознанием как-то тяжело [...]

М.Харитонов — Б.Хазанову

16.1.05

С днем рождения, дорогой Гена! Когда-то цифры нашего нынешнего возраста (и моего тоже) казались чем-то абстрактным. Вспомнилось, как в 1962 году, ожидая в больнице удаления почки, я сказал своему соседу по палате, армянскому хирургу Онику Хачатрянцу: мне

бы дожить до сорока, доделать кое-какие дела (уже тогда были литературные замыслы), больше я бы не просил. Он обиделся — ему было как раз сорок: ты думаешь, дальше ничего не надо? И вот я уже много лет смотрю на тебя с расстояния, как на идущего впереди: твой пример ободряет. Такая активность, такая работоспособность, творческая наполненность, ясность мысли. Недавно я посмотрел в библиотечном «Октябре» твои эссеистические фрагменты — это превосходно. Между прочим, я еще раз ощутил твою классическую закваску: четкость, определенность, никакой расплывчатости, туманных намеков. Какие-то мысли мне были уже знакомы по твоим письмам. Но если бы ты еще дополнял, перемежал размышления такими же фрагментарными житейскими эпизодами, попутными воспоминаниями! Они драгоценны. Я, как видишь, продолжаю долбить свое.

Чего тебе пожелать, дорогой Гена? Бодрости. Стойкости. Исполнения желаний — хотя бы некоторых. Чтобы всех — так, увы, не бывает [...]

Б.Хазанов — М.Харитонову

16.1.05

Дорогой Марк, дорогой друг! Меня очень тронуло твоё поздравление, спасибо. Утром я проснулся и вспомнил, что я сегодня именинник, словечко какое-то вовсе уже не современное. Чем дальше, тем жизнь становится всё неправдоподобней. Я уже старше своего отца. Ты говоришь, что смотришь на меня как на идущего впереди; но с каждым годом разница в возрасте сморщивается — в сущности, она никогда, с тех пор, как мы знакомы, не ощущалась, годы исказили метрику времени. Как если бы ты шагал сначала по равнине, потом дорога стала постепенно подниматься, подъём всё круче, шаги укоротились, вместе с ними неуклонно укорачивается и время. В Мюнхене яркое солнце, безветрие, голубое небо. Мы сели и поехали на озеро, обошли его кругом. Безлюдно, изредка попадётся навстречу женщина с ребёнком или какой-нибудь скороход с лыжными палками в руках — последний крик моды. Озеро покрыто тонким льдом и сверкает на солнце. Вернулись, я включил аппарат и увидел письмо от тебя. Ты упомянул о «Литературном музее». Меня пугает фрагментарность. Мне кажется, что сваливаешься в какое-то осколочное мышление. Симптом литературной немощи? Между тем литература — это всегда некий синтез сознания и того, что представляется ему действительностью. Имея дело с обломками, с хаосом впечатле-

ний, обрывками идей, разрушающимся историческим сознанием, не обязаны ли мы каким-то образом упорядочить этот сумбур. Да, легче философствовать, чем что-то делать. Сердечно обнимаю тебя и Галю, от Лоры привет [...]

М.Харитонов — Б.Хазанову

20.1.05

[...] В Париж, мы поедем, видимо, с Галей. Издатель выразил готовность оплатить ей дорогу, если стоимость билетов не превысит 600 евро. Это оказалось возможно. Была мысль задержаться во Франции еще на неделю, до 30 марта, но похоже, нам это сейчас не по карману [...]

А 6 февраля у нас с Галей будет совместный вечер в Еврейском общинном центре: у нее там открывается выставка, я буду что-то читать. Говорят, для них это необычно: два творческих человека прожили вместе 40 лет (в прошлом году как раз была годовщина) [...]

Вот тебе еще раз мой стишок — будет, что читать в больнице.

Дорога

Рельсы ожили, двинулись, разбирают по ниткам
Светлое небо, расходятся, сходятся, множась.
Поезд, не торопясь, осторожно принохиваясь,
Распутывает неразбериху переплетенных путей
И не сбивается, выбирает единственный — твой.
Другие спешат, отделяясь, увильнуть, затеряться
Где-то в местах, где тебя не будет, в краях
Неизвестных возможностей, несостоявшихся встреч,
Неосуществленных желаний. Тебе достается
Лишь этот уже предначертанный рельсами путь —
Тонкая четкая линия на ладони пространства.

Ты в начале дороги — знать бы, что впереди.

Вжимаешься носом в окно, провожаешь глазами
Пустыри, перелески, поля, закопченные стены заводов,
Свалки — хранилища драгоценностей, дачные речки,
Ныряющие под мосты, огороды, будки обходчиков,
Женщин с жезлами свернутых желтых флажков.
Свет заслоняет быстрая туча, диагонали дождя

Пунктиром прочерчивают стекло, вдруг из просвета
Ослепляет омытое солнце, заставляет щурить глаза.
Простор проворачивается вслед твоему движению,
Не отстает, позволяет щедро в себя взглядеться —
Все равно его не исчерпать, как событие жизни.

Больше хочется ехать, чем приезжать.

Щелкает счетчик столбов, между ними вверх-вниз
На волнах перестука приплясывают провода.
Поезд прорезает пространство тонкой чертой,
Время от времени выпускает на остановках людей,
Впускает других — берет в каждом месте пробы,
Образцы человечества, обитающего вдоль среза.
Девушка с тихой улыбкой, засохшая корочка на губе,
Станет недолгой спутницей, но сойдет не с тобой.
Другая займет ее место, предложит тебе угощение.
Ты останешься с ней... Но отчего это чувство,
Что пронесло мимо жизни — чьей-то или своей?

Хочется снова вернуться, все опять повторить.

Смотришь смущенно в окно. Это ты уже видел:
Дома, перелески, заборы — макеты воспоминаний,
Их больше не оживить. Стеклашки, камешки, шишки,
Собрание детских сокровищ, подобранных по дороге —
Скучный мусор на выброс. В вагоне включается свет
Муха ползет по стеклу в оспинах прежних дождей.
Смотришь не сквозь него — полупрозрачное отражение
Заменяет вид за окном. Пробеушь в нем различить
Прыщик на подбородке, который нащупал пальцем,
Прикрываешь рукой зевоту. Нечем больше заполнить
Растянутый промежуток. Сколько осталось еще?

Приехал, пора сходить. Дальше уже не тебе.

Всего тебе самого доброго. Марк

Б.Хазанов — М.Харитонову

05.2.05

Дорогой Марк, я ускользнул от Эскулапа, как сказано у Пушкина,
починенный, насколько это было возможно [...]

Взял с собой и прочёл «Дорогу». О, мне всё это очень близко —
образ дороги, какими бы ассоциациями ни был он насыщен, — не про-

сёлочной, не бульжной, не шоссеиной дороги, не тех путей и дорог в санитарном фургоне, в кузове грузовика, в санях или на вертолёте, которые я проделывал во время оно, вяз в грязи и в снегу, — но именно железной дороги. Вид рельс, уходящих в туманно-серую даль, подрагивание проводов и бегущий по рельсам издалека свет приближающегося поезда в детстве меня гипнотизировали, и что-то от этой Faszination сохранилось по сей день.

Кстати, я сам одно время работал на железной дороге «комендантом станции», попросту говоря, рабочим на лагерном полустанке: колл дрова, топил печи, выдавал керосин машинистам, заправлял фонари и чистил заснеженные стрелки, работа не была тяжёлой.

Кстати, несколько мелких деталей в твоём стихотворении выдают именно российскую дорогу: «пустыри... свалки...», женщины «с жезлами свёрнутых жёлтых флажков» — в Германии этого не увидишь; «на волнах перестука...» — западные железные дороги ровные, как паркет, рельсовых стыков нет или они не ощущаются, нет стучащих под ухом огромных часов. Но главное, нет этого особого чувства бесконечной дороги, пересекающей времена и климатические зоны, как в России, нет этой безмерности засасывающего пространства.

Независимо от того, как толковать твоё стихотворение (жизнь, образ человеческого бытия, путешествие навстречу смерти, «приехал, пора сходить», «дальше уже не тебе», дальше будут жить другие), независимо от всех этих смыслов, от других догадок, тебе удалось замечательно изобразить реальную железную дорогу и движение несущегося поезда. Узловая станция, где поезд постепенно расходится с другими составами, волнообразно вздымающиеся провода, диагонали дождевых струй на стёклах вагона, внезапный огонь солнца, как и воспоминания детства, — прекрасные, абсолютно точно найденные детали.

Меня несколько смущает в стихах, особенно вначале, нагромождение многосложных слов: теряется ритм верлибра. «Осторожно приюхиваясь, распутывает неразбериху переплетённых... неизвестных возможностей, несостоявшихся... неосуществлённых... предначертанный...» [...]

М.Харитонов — Б.Хазанову

8.2.05

Дорогой Гена, позавчера состоялся наш с Галей совместный вечер в Еврейском общинном центре: у нее был вернисаж, я болтал на разные темы и прочел несколько стишков. Кроме картин, там устроили

электронную демонстрацию ее акварелей на экран, демонстрация сопровождалась музыкальной импровизацией: неизвестный мне прежде замечательный композитор Геннадий Ципин, глядя на экран, играл одновременно на трех инструментах: рояли, флейте и каком-то электронном приборе. Это было прекрасно. Я потом подарил ему листок со стихотворением «Бах», (которое там читал) он сказал, что напишет на него музыку. Вечер немного портил болтун-ведущий, один из слушателей сказал потом, что этому конферансье хотелось оторвать голову. Сам общинный центр (хасидский) вызывает смешанные чувства: импозантное семизэтажное здание, богатейшие залы, синагога, ресторан, библиотека, спортивные залы, все построено, как я понимаю, на деньги разных миллиардеров (наших олигархов). Бородачи в черных шляпах, детишки с пейсами (как они живут в Москве, ходят по улицам?) На выставке нельзя было показывать картин с изображением обнаженного тела, на фуршет после вернисажа (какие слова!) нельзя было приносить своих угощений и вин, все должно было быть проверено на кошерность. Но было продано довольно много моих книг (которые я получал в качестве гонорара), среди них все «Amores novi».

Вот тебе один из прочитанных там стишков, я его посвятил Гале и назвал «Рождение акварели».

Первый мазок по листу увлажненной бумаги
Кистью еще без краски, прозрачным по белизне.
Отсвечивают очертания тела, изгиб бедра,
Нежные купы деревьев, набухшие облака.
Все уже видится ясно. Не огрубить бы теперь, не испортить,
Проявить прозрачное для других.
[...]

Б.Хазанов — М.Харитонову

8.2.05

Не устаёшь удивляться, до чего всё изменилось. В том мысленном образе Москвы, который сидит в моё мозгу, абсолютно не умещается впечатляющий хасидский центр в семь этажей (символическое число), детишки с пейсами, etc., да, пожалуй, и то, что в этом центре продаются твои Amores novi, вдобавок полностью раскупленные. Конечно, я видел хасидов и в Нью-Йорке, и в Иерусалиме, — но в Москве? Некогда противопоставив себя книжному ортодоксальному иудаизму, они сами стали ультраконсервативными ортодоксами. Судьба многих сект и революций [...]

М.Харитонов — Б.Хазанову

6.4.05

[...] Презентация книги, а теперь еще поездка по стране — это лучше, чем участие в ярмарке. Там была, в основном, работа: разные «круглые столы», выступления, «сеансы подписей», была даже встреча со школьниками, читавшими моего «Учителя вранья», был концерт, где артисты, среди прочего, разыгрывали диалог моего Гоголя с самозванцем, и т.п. Был, между прочим, прием в Елисейском дворце, где писателей приветствовали сразу два президента. По нашему телевидению почему-то показали, оказывается, их рукопожатие именно со мной — в Москве мне все об этом сообщали. Я предвкушал сцену, где Путину придется пожимать руку Сорокину — а куда денешься? — но Сорокина то ли на прием не пригласили, то ли он уже укатил на премьеру оперы по своему либретто в Большой театр. Не знаю, докатился ли до Америки шум по этому поводу, в Париже то и дело приходилось отвечать на вопросы, подвергаются ли русские писатели цензуре. В свободное время удавалось погулять по прекрасному городу, встречаться с друзьями, кое с кем познакомиться, пообщаться. Среди участников было довольно много русских писателей, живущих за границей. Знаешь ли ты Леонида Гиршовича, он живет в Ганновере? Общались с Давидом Маркишем. Познакомились с давно симпатичной мне Светланой Алексиевич. Заканчивается ее двухгодичная стипендия во Франции, до этого она два года жила в Швейцарии, сейчас ей предстоит возвращение в Белоруссию.

Впечатления были разные, они уже удаляются. Из Парижа, куда мы привезли с собой солнце и 20-градусное тепло, где уже цвели магнолии и какие-то японские вишни, мы вернулись в заснеженную Москву, до конца марта ходили на лыжах, сейчас гуляем по лесу пешком. Яркое солнце, синее небо, снег остается белым, но с каждым днем тает. Работа по-прежнему идет туго, но к этому не привыкать [...]

Б.Хазанов — М.Харитонову

12.4.05

[...] Я полуждоров, полуболен — следствие не то гриппа, не то старости. Всё время пытаюсь что-то делать, ночью лежу без сна и думаю, что мои ресурсы иссякают: в самом деле, сколько можно? У меня настала александрийская эпоха, но и она близится к концу. Книжки лежат стопками вокруг, и присланные русские, и французские, купленные в Париже, но я их только перелистываю. Одна наша бывшая сту-

дентка, Нина Кацман, теперь уже бабушка и профессор, пишет мне, что собирается делать доклад на конференции, тема — употребление герундия и герундива у Саллюстия и Тита Ливия. Чем не игра в бисер? В те времена, конечно, мы не слышали о Гессе, но я понимаю, чем очаровал меня этот роман.

Поэт и прозаик Вадим Фадин, живущий в Берлине, поместил в журнале «Toronto Slavic Quaterly» (известен ли он в Москве) статью под названием «Помнящим родство», о сохранении русского языка в эмиграции и крахе языка на родине. Статья произвела на меня впечатление, я даже стал сочинять ответ. Язык не портится, когда его хранят в холодильнике [...]

М.Харитонов — Б.Хазанову

19.4.05

[...] До меня дошел «Иерусалимский журнал», часть которого специально посвящена памяти Маркиша: публикуются его небольшие статьи, выступления, воспоминания о нем. Особенно интересны воспоминания иеромонаха Макария: так зовется теперь сын Симона, Марк. Я знал о нем от Жоржа Нива. Он в Америке принял православие и переселился в Иваново, в монастырь, для которого занимается, как я понял, компьютерным программированием.

А еще я получил толстенный том переписки между Вадимом Сидуром и Карлом Аймермахером, тысяча с лишним страниц. Когда-то я в своем эссе приводил слова о себе Вадима: «Я человек сделанный», — и комментировал: «Это значило, что имя его уже утвердилось, остальные заботы второстепенны». Из переписки видно, что мой комментарий был несколько наивным, она дает представление о том, как целеустремленно, тщательно Сидур все эти годы «делал себя», утверждал свое имя — с бескорыстной, самоотверженной помощью Карла. Для университетского профессора хлопоты об организации выставок, издании каталогов, установке скульптур, поиски средств требовали времени, сил, собственных вложений, отрывали от основных занятий. «Иметь такого друга — это редкая удача, выпадающая лишь немногим», — справедливо пишет Сидур [...]

Б.Хазанов — М.Харитонову

19.4.05

[...] Всё ещё не могу восстановить расписание дня и ночи, просыпаюсь до рассвета, лежу, не могу уснуть, потом робко, осторожно на-

чинают подавать голоса птицы, и, как у тронутого, крутятся одни и те же навязчивые мысли о работе. Нечто хаотическое, из разных времён, плод фрагментарного мышления (это выражение, оказывается, принадлежит Вирджинии Вульф), нечто такое, что лишь условно может быть названо повестью или романом. Но ведь мы цивилизованные люди, благонравные консервативные писатели, нужно как-то всё это причесать, навести подобие порядка в доме, куда хотят вселиться. Всё время кажется, что я не могу вдохнуть жизнь в мои кукольные персонажи. Потом без конца, теряя время, роюсь в книжках или в интернете ради какой-нибудь ничтожной справки. Например, известно ли тебе, какие знаки различия, *Dienstgradabzeichen*, были на воротнике у оберштурмфюрера, то есть подполковника, вооружённых СС? [...]

В последние годы я несколько раз встречался с покойным Симой (он приезжал в Мюнхен), однажды познакомился с его женой-венгеркой, но не знал, что его сын иеромонах. Это напоминает анекдот, может быть, ты его слышал: еврей приходит к раввину, сложная ситуация, сын крестился. Что делать? Раввин отвечает: я поговорю с Богом. Приходи через неделю. Пришёл. Ну что, говорил ли тебе с Богом? — Говорил. — Что сказал Бог? — Что он может сказать... У него самого та же проблема [...]

М.Харитонов — Б.Хазанову

23.4.05

[...] Кажется, от профессора Казака мне досталась когда-то книжка «Одна или две русских литературы?» — о симпозиуме 1978 г. в Женеве. Наверно, ты ее знаешь. Там есть выступление М.В.Розановой «На разных языках». «В русской эмигрантской газете читаем письмо-протест — против вульгарного, нарушающего все законы русского языка, нового слова «раскладушка», занесенного на Запад советскими диссидентами. Необходимо говорить, поясняют нам, — не «раскладушка», а «раскладная кровать»...

Итак, по старому: «портшез» — можно, «раскладушка» — нельзя. И в литературе, и вообще в языке.

И мы, бывшие советские люди, всю жизнь спавшие на этих самых «раскладушках» и не видевшие в глаза никакого «портшеза», вступаем в спор, в диалог».

Почти тридцать лет назад — и почти о том же, не правда ли? Ты нашел очень точную формулу: «Язык не портится, когда его хранят в холодильнике».

И примеры ты подобрал, что говорить, убедительные. Не перестаю восхищаться, как ты с самоотверженностью натуралиста бродишь по интернету, перебираешь и исследуешь мусор. У меня на это не хватает сил.

Как не хватает сил ввязываться в дискуссии, особенно ожившие в преддверье великой Победы: был ли Сталин, несмотря на некоторые ошибки, политическим гением и полководцем или следует его называть чудовищным извергом? Я, заслушав эти речи, сразу переключаю программу. Невелика, что говорить, доблесть, правильной было бы, наверно, самому подать голос, участвовать в просвещении добросовестно заблуждающихся недоумков. Но меня просто физически начинает тошнить. И не знаешь, куда деваться от этого злокачественного кретинизма.

Единственное, что остается — самому противостоять, как ты заметил, деградации [...]

Б.Хазанов — М.Харитонову

23.4.05

Дорогой Марк, когда-то, вскоре после приезда в Германию, я прочитал в «Синтаксисе», журнале Синявских, остроумную статью Марьи Васильевны о языке старых эмигрантов, там как раз и говорилось о «раскладушке». Приводились другие примеры языка, хранимого в холодильнике, например, объявления о смерти каких-нибудь престарелых корнетов таких-то полков и т.п. Объявления эти печатались в «Русской мысли», там же регулярно появлялись «крестословицы», там вместо большевистский писали «большевицкий», там я однажды прочёл рождественское обращение главы российского императорского дома (все слова с большой буквы) к «своему народу». Что-то похожее, образцы этого древнерусского языка много лет спустя я видел на гробницах огромного русского кладбища в Sainte-Genève-des-Bois и на русском кладбище в Праге. Но тогда, в первые времена, всё было в диковинку, новоиспечённые эмигранты вроде меня в самом деле говорили и думали на другом языке, который могиканам Первой волны (их, правда, к этому времени почти уже не осталось) казался варварским. О языковом пуризме изгнанников в своё время писал Гриша. Одним словом, не повторяем ли мы, уже состарившиеся, печальную и смешную судьбу тех, говоривших «портшез», называвших СССР совдепией? Между прочим, я заметил, что если раньше я предпочитал называть страну в пике всякой официальной России, то теперь с языка срывается Советский Союз.

Когда-то Бен Сарнов приводил слова одного старого эмигранта, этот человек приехал через много лет в Россию, его спросили, что в этой стране напомнило ему прошлое. Он ответил: только снег.

Но речь, собственно, идёт о другом, да и не так уж мы здесь отрезаны от отечества. Речь идёт о каком-то грязном потоке, в котором захлебнулась литература, — или я слишком уж стущаю краски? Роман под названием «Серая слизь», который мне принесли, целиком состоит из такой липкой и вонючей слизи, какие-то желто-зеленые сопля, — в этом смысле это модельное сочинение, почему я и выбрал наугад несколько цитат, — но замечательно то, что оно привело в восторг авторитетных редакторов, критиков и издателей. А знаком ли ты с произведениями Маруси Климовой, есть такая писательница, — это другой, несколько иного рода, пример злокачественного кретинизма, по твоему выражению.

Полярный воздух, о котором говорилось по радио, перебило какое-то тёплое веяние, небо дышит дождём, я прошёлся немного по нашим паркам; впереди меня плелась седая согбенная старуха, толкая перед собой ходунки, приспособление на колёсиках для ходьбы; я помню, как я когда-то думал, глядя на таких старух: всё ещё чего-то ждёт, всё ещё рыпается! сидела бы дома. А сейчас это желание, вопреки всему, сопротивляться, вести заведомо проигранную войну кажется мне героизмом.

Ты пишешь, что выключаешь программу. Хор старческих и, увы, не только старческих голосов, «реабилитирующих», то есть попросту прославляющих Сталина, доносится, конечно, и до нас. Я тут как-то перечитал его речь в Кремле перед курсантами военных училищ, вскоре после победы. Как восхищались этой речью, и сколько в ней лжи, лицемерия, какого-то, может быть, не вполне осознанного издевательства над теми, о ком он говорит. Он хочет «поднять тост» (надо было сказать: поднять бокал, произнести тост) за здоровье русского народа, самого терпеливого народа. Другой бы на его месте сказал правительству, вы совершали ошибки, уходите вон; а он, русский народ всё выдержал, ибо знал, что наша политика правильная. Это единственный случай, когда Ус более или менее публично упомянул об ошибках во время войны, но себя он не упомянул, и надо было понимать дело так, что кто-то допустил ошибки, а он их исправил.

Неограниченная власть предполагает и очень высокую степень ответственности. Но не только тоталитарный вождь — его народ охотно снимает с вождя ответственность за всё просчёты, ошибки и преступления. (Знаменитая фраза: Wenn der Führer das alles wüßte!¹) По-

¹ Если бы фюрер всё это знал! (нем.)

сле капитуляции Германии следовало бы посадить Сталина на скамью подсудимых — за то, что он руководил истреблением командного состава армии в предвоенные годы, за дружбу с Гитлером и помощь Гитлеру, за неподготовленность к войне и неожиданность нападения, ту самую неожиданность, на которую он ссылался в оправдание неудач первых пяти месяцев и которая на самом деле была убийственным доказательством его несостоятельности; за то, что он струсил и скрылся в первые и самые ужасные двенадцать дней, за людоедский приказ «Ни шагу назад!» и другой приказ — наступать по всему фронту весной следующего года, обернувшийся харьковским разгромом и паническим бегством до Кавказа и Волги, за жестокость, за самоуверенный дилетантизм, за требование взять Берлин непременно к Первому мая, за то, что он провозгласил себя величайшим полководцем и ни разу за все годы не побывал на фронте, не говорил перед войсками, вообще не вылезал из своей норы, — да мало ли ещё за что.

Но, перечисляя все это, мы нарушаем правила игры, переступаем обычай, нрав и закон всей государственной системы, поэтому обвинять Сталина значит обвинять режим, созданный им и, в свою очередь, создавший его. Другими словами, признаться в том, что огромное чёрное пятно стоит на истории страны в XX веке. Кто в России, за исключением ничтожного меньшинства, готов к такому признанию? [...]

М.Харитонов — Б.Хазанову

29.4.05

[...] В последнем «Иерусалимском журнале» был напечатан роман Нобелевского лауреата Имре Кертеса «Обездоленность». Читать его было порой тягостно, автор, как и его герой, в детстве прошел через Освенцим и Бухенвальд. Некоторые страницы я, признаться, пропускал, бегло пролистывал.

Пока меня вдруг не задержали последние страницы. В Будапеште, после освобождения, люди сочувственно расспрашивают подростка о пережитом. «Тебе надо забыть эти ужасы», — говорит один. Его ответ слушателей изумляет: «Я не замечал, чтобы были ужасы». — «Что это значит, — хотели они знать, — «не замечал»? Тогда я, в свою очередь, у них спросил: а они что делали в эти всем известные «тяжелые времена»? «Как сказать... жили», — задумался один».

(Неожиданно мне вспомнилось: буквально то же произносит в своем «последнем слове» перед абсурдным судом отец рассказчика в моей повести «Возвращение ниоткуда»: «Мы жили».)

«Старались выжить», — прибавил другой. Стало быть, они тоже все время делали шаг за шагом, — установил я. Как это понимать: делали шаг за шагом? — не поняли они, и тогда я им тоже рассказал, как это происходило, например, в Аушвице... Десять-двадцать минут на ожидание, пока дойдешь до той точки, где решится: сразу ли в газ или еще один шанс. Между тем очередь все движется, все подвигается, и каждый делает шаг, то поменьше, то побольше... Мы никогда не можем начать новую жизнь, всегда только продолжаем старую. Шаг за шагом делал я, и никто другой, и, я объявил, в заданной мне доле я всегда хранил порядочность... Того ли они хотят, чтобы вся эта порядочность и все мои предыдущие шаги, все до одного, потеряли всякий смысл?.. Нельзя, пусть попробуют понять, нельзя отобрать у меня все».

Как это нам знакомо, не правда ли? Это не только о концлагере. «Когда я прошел диктатуру Ракоши 50-х годов, восстание 1956 года, его подавление и особенно последующий длинный процесс приспособления кадаровских времен, когда приманили к себе людей — вот тогда я понял, что же такое произошло в Освенциме». Эти слова Кертеса цитирует в предисловии к публикации, Жужа Хетеньи (которая перевела роман вместе с Шимоном Маркишем) и пишет «о негативной инициации человечества, вступившего после Катастрофы в новую эпоху».

Пожалуй, еще до Катастрофы — у нас через схожий опыт прошли раньше.

«Хотелось бы еще немного пожить в этом славном концентрационном лагере», — ностальгирует на свободе герой. «В известном смысле жизнь там была чище и проще... Ведь еще там, даже рядом с дымовыми трубами, было в перерывах между муками что-то, походившее на счастье. Все спрашивают только про тяготы, про «ужасы»: а между тем, что до меня, может быть, это переживание останется самым памятным. Да, о нем, о счастье концентрационных лагерей надо было бы им рассказать в следующий раз, когда спросят.

Если вообще спросят. И если только и сам не забуду».

Замечательно, правда? Захотелось об этом написать, озаглавив статейку «Счастье концлагеря», — отчасти в связи с нынешними поветриями. По телевидению уже выступал сын Берии, который защищал папашу от несправедливых нападков, объяснял, какой он был хороший, внук Молотова, известный нынешний политолог, представлял новую двухтомную биографию славного дедушки, в Красноярске хотят восстановить памятник Сталину — в связи с юбилеем Победы. Были уже протесты, сбор подписей. Видимо, придется этим переболеть [...]

2.5.05

Дорогой Марк, мы, можно сказать, погрузились в пучину удовольствий: вчера был день Моцарта, мы были на концерте в одном доме в Йоганнескирхене (рядом с нами), известный артист читал письма Моцарта, пианист играл; а сегодня вечером последний в этом сезоне абонементный концерт в Гастайге.

И вот рядом с этим — твоё письмецо из Москвы, далёкий голос из другого мира. Странное дело: столько перемен за эти годы, открылись границы, письма доходят за несколько минут, а то и секунд, а чувство, что я здесь нахожусь на другой планете, сохранилось. Или я снова преувеличиваю? Вести-то, вообще говоря, не очень весёлые, и чем ближе годовщина конца войны, тем мрачнее. Раньше эта красно-коричневая волна катилась на обочине, эти взрывы агрессивного патриотизма и ненависти к западному миру доносились разве только со страниц совсем уже оголтелых профашистских и просто фашистских листков — в сочинениях самородных мыслителей наподобие престарелого Шафаревича и т.п., а теперь чувствуется, что трещина прошла по всей интеллигенции, обозначила далеко зашедшую деградацию мысли, да и морали. Приходилось ли тебе просматривать, например, РЖ (Русский журнал) в интернете? И, как когда-то, нет-нет да и подумаешь: как хорошо, что русский язык не знают за границей.

Фраза подростка (у Имре Кертеса) «Я не замечал, чтобы были ужасы» на свой лад переключается с известной мыслью Х.Арендт о «банализации зла». Ты говоришь о том, что хотел бы написать статью под названием «Счастье концлагеря». Шутки шутками (если это шутки), а я знал людей, многолетних сидельцев, которые боялись приближения конца срока. «Здесь я, по крайней мере, обеспечен: здесь у меня пайка, место на нарах, какая-никакая одежонка, бушлатик, валенки. Здесь меня все знают, и я всех знаю. А что на воле?.. У меня там никого нет. Куда податься?». Конечно, это было время, когда лагерь смерти (а советские лагеря были ими, я эту эпоху уже не застал, застал только голод, да и то на короткое время) превратился в лагерь жизни, как ни странно это покажется [...]

9. Mai 2005

[...] И вчера, и сегодня отмечается годовщина окончания войны, вчера — здесь (как и на всём Западе), сегодня — в России. Разница та, что в Москве празднуется День победы, вполне однозначный, без вся-

ких оговорок, оглядок, сомнений, без того, что называется труднопереводимым словом *Auseinandersetzung*, а здесь — и не только в Германии — отмечается конец войны, день одновременно и счастливый, и день траура по погибшим; можно было бы сказать — день траура по Истории [...]

Удивительно, что все последние годы приходится то и дело заниматься войной, её последствиями, — притом что сам я непосредственного касательства к войне почти не имел, с конца июля 41 года до августа 44-го прожил в эвакуации за тридевять земель от Москвы. Не только «родившийся в 1937-м», но и я, мы оба, — в общем-то послевоенное поколение. Но это обстоятельство имеет и оборотную сторону. Я думаю, что мы имеем право и даже обязаны взглянуть на события с иной высоты и с иной точки зрения, чем наши отцы, вернее, попробовать соединить разные точки зрения, связать каким-то образом разные пласты информации, — чего прежнее поколение по разным причинам сделать не могло. Это не значит вывернуть всё наизнанку, переменить все знаки на обратные и так далее. Но это значит покончить вообще со всякой жёсткой однозначностью и попытаться преодолеть мифологию войны, теперь уже сооружаемую наново [...]

М.Харитонов — Б.Хазанову

12.5.05

[...] В праздничные дни мы с Галиным братом и его женой колесили по Владимирской области, добрались до Гороховца, где переночевали. Я прежде там не бывал. Симпатичный, сравнительно сохранившийся городок со множеством красивых церквей, на высоком берегу монастырь, внизу живописно разлившаяся Клязьма. («Разливы рек ее, подобные морям», — в пути не раз вспоминался Лермонтов.) Утром празднично наряженные жители прошествовали к памятнику погибшим на войне. На обратном пути сделали крюк через Рязанскую область, городок Касимов на Оке, через Мещеру, воспетую Паустовским. Всего проделали около тысячи километров. Не буду живописать разные попутные подробности и пейзажи, туристические впечатления всегда поверхностны. Если бы пожить в том же Гороховце хотя бы недельку, пообщаться с людьми, понять, чем и как они тут живут. Мне этого последнее время не хватает.

Поэму Липкина я для тебя переписать не могу, она очень большая. Но в качестве хотя бы частичной компенсации решил тебе послать свой последний верлибр.

Сюита XXI

I

Пробуждение. Тают тени. На сухих губах еще привкус
Материнского молока. Сквозит, расплзается ткань —
Театральная марля майи. Разбрелись без мелодии звуки,
Нет ни тоники, ни разрешения — значит, нечего ожидать.
Нет нужды в камертоне. Шум песочного времени,
Звонкий обморок пустоты, скрежет, взвизги и хрипы.
Не смычком по расслабленным струнам —
деревяшкой по деревяшке.

II

Удобство доступного ритма, пластмассового протеза,
Муляж, похожий на что-то, вкус подслащенной гнили.
Звук набирает силу, перекрывает, глушит
Лучше анестезии мысли, тревоги, боли.
Где-то литавры взрывов. Можно себя не слышать.
Трубач надувает щеки, пульсирует купол неба,
Пленка опасно растянута, утончаясь все больше.

III

Что прорвало, откуда? Не успеваешь опомниться,
Обрушилось, не разбирая — какофония tutti,
Уносит, дробит, мешает обвалы сползающих зданий,
Ключья непрожитой жизни, щепки, обломки, обрывки,
Не удержать, не вспомнить ни связи, ни смысла, ни формы,
Кружит, несет в завихрениях, не за что ухватиться,
Корежит, переворачивает, колотит всем обо все.

IV

Лопнул нарыв, растекается гнойное солнце.
Полупрозрачная слизь без очертаний и форм,
Полуживые комки на берегу катастрофы.
Влага уходит в песок, не оставляя следов.
Ёкает, чмокает жижа, булькают пузыри.
Тварь, лишенная прежних понятных глубин,
Раскрывает беззвучно рот, в конвульсиях затихает.

V

Голос издалека: не поддавайся, опомнись.
Расслабился, согласился, дал хаосу разрастись.
Настрой, напряги, натяни жилы усталой души —
Инструмент, дающий настройку миру. Без твоего усилия
Он не удержится. Ты в нем творишь реальность,
Подтверждаешь устойчивость, строй, непреложный,
Как музыкальная соразмерность точных планетных орбит.

VI

Напряженная дрожь оживает, проявляется, крепнет.
Посланец взмывает с ковчега, мелодия, голубь.
Сердце ли бьется отчетливей, колокола ли
Отзываются из тумана? Слышишь? Ты не один.
Теченье выносит в заводь. Тихо кружатся листья.
Кто-то еще неясный тянет легкую руку.
Свет трепещет в горсти.

Что ты об этом скажешь? [...]

Обнимаю тебя, дорогой. Будь здоров. Твой М.

Б.Хазанов — М.Харитонову

12. Mai 2005

Я и сам бы не прочь «пожить недельку», как ты пишешь, дорогой Марк, в Гороховце или где-нибудь в этом роде; дольше, вероятно, было бы скучно. Сейчас справился в интернете: 18 километров до впадения Клязьмы в Оку, 16 тысяч жителей, город впервые упомянут в XIII веке, красивый герб придуман, как большинство русских гербов, при Екатерине: в верхней половине щита золотой лев Владимирской губернии, в короне и с серебряным крестом в лапе, в нижней половине горох.

Для меня это название связано с обширными Гороховецкими военными лагерями, где студенты всех медицинских институтов северо-западных и центральных областей проходили месячные летние сборы. Было очень жарко, так что большая часть военных упражнений устраивалась по ночам. Среди других памятных мероприятий и зрелищ — имитация взрыва атомной бомбы и развёртывание (за 9 минут!) дивизионного полевого походного госпиталя (ДППГ). Медицина считалась военной специальностью, в институте сдавались экзамены (или зачёты — не помню) по военно-полевой хирургии и военно-полевой терапии, так что по окончании я получил чин лейтенанта, а позже старшего лейтенанта. А ещё позже, между прочим, довольно много занимался историей медицины и историей военной медицины.

Мне приходилось бывать во многих городах и городках Тверской, тогдашней Калининской области, и всюду было чувство провалившейся в какую-то яму цивилизации. Остатки эстетики и даже какое-то антиэстетическое упрямство. Вышний Волочёк, город областного подчинения, куда больше, чем Гороховец, весь на воде с остатками Мари-

инской системы, запущенными речками, следами каналов, вероятно, был когда-то очень красив. Об этом городе я бы мог многое рассказать. Город Белый, чуть ли ровесник Москвы, районный центр на Западе, ближе к Смоленску, чем к Твери, в начале 60-х годов стоял полуразрушенный, дома с выбитыми стёклами так и остались после войны. Что особенно бросалось в глаза в таких городках — это невероятное обилие государственных и партийных учреждений.

Ты ввёл в верлибр строфику — это нечто новое. В стихах есть какая-то магия. Не могу сказать, что я их вполне «понял»; возможно, это и не требуется. Описан сложный, таинственный и едва поддающийся словесному выражению психологический процесс музыкального освоения (или воссоздания?) мира. Творчество как пробуждение от сна. Много замечательно найденных образов и определений. Вопрос: что значит «Сюита XXI»?

Это, конечно, самостоятельное произведение. Но что если создать прозу (может быть, даже роман), которая перемежалась бы такими стихотворными вставками? [...]

М.Харитонов — Б.Хазанову

19.5.05

[...] Хочу попросить у тебя, если можно, одну медицинскую консультацию. Описывается больничный эпизод, который я сам наблюдал три года назад. В палату инсультников положили больного, видимо, по ошибке. Как я мог понять из разговора врачей, у него была диабетическая кома, его привезли без сознания, не сделали, видимо, сразу нужный анализ. Ходить, даже вставать он не мог, ноги отказали, на них расплзались пятна, розовые, буро-зеленые — как я понял, гангренозные язвы. (Или цвет был от какой-то мази?) Был он уже в полном сознании, интеллигентный человек. В другое отделение его при мне переводить не стали, через несколько дней я (уже будучи в институте Склифосовского) узнал, что он умер. Могли ли ему сделать операцию? Можно ли было так запустить болезнь, не обращая внимания на симптомы? (Диабет, говорят, иногда годами не замечают, но хромота, если не паралич ног, могла проявиться раньше?) Отчего такое быстрое развитие? Что ему вливали из капельницы? Могло ли временно нарушаться сознание? А может, ты мне подскажешь что-то, чего я и не спрашиваю.

Я сейчас напоминаю себе небезызвестного классика, обращающегося за литературной консультацией к не менее знаменитому профессору [...]

P.S. Да, о моем верлибре. Сюита XXI — попытка дать своего рода музыкальный образ начавшегося века. (Не строфическая организация — сюита, из разных перекликающихся частей.) Готовность поддаться хаосу, отказаться от гармонии, системы ценностей, балдеть под ритмичный грохот, не ощущая того, что уже приближается — и т.п. Воспринимается и толкуется музыкальный образ каждым, как известно, по-своему.

Б.Хазанов — М.Харитонову

19.Mai 05

Дорогой Марк, судя по тому, что ты пишешь, больной был доставлен с диабетической (кетоацидозной) комой. Кома — это состояние глубокого угнетения рефлексов, за исключением «первичных»: например, зрачки реагируют на свет. Но больной без сознания, без чувств, его можно колоть, тормошить — он ничего не чувствует, ни на что не отвечает. При сахарном диабете кома может быть инсулиновой (резкая передозировка инсулина) либо кетоацидозной (резкий дефицит инсулина), о последней в данном случае идёт речь. Первый признак такой комы, о котором знает каждый студент, — яблочный запах изо рта. В действительности это запах ацетона и других кетоновых тел. (Может быть, ты помнишь из органической химии класс веществ — альдегиды и кетоны.) В крови — высокое содержание сахара, в моче присутствие сахара. Ещё средневековые врачи определяли сахарную болезнь, пробуя мочу на вкус.

Экстренная помощь при диабетической коме — внутривенное введение инсулина. Это делается с помощью капельницы с физиологическим раствором (несколько литров в течение первых двух часов, так как больной страдает от обезвоживания), куда добавляется большая доза инсулина. Кроме того, вводится дексаметазон (стероидный гормон, производное кортизона), сердечно-сосудистые и другие средства. Диабетическая кома крайне опасна: даже при своевременной медицинской помощи умирает больше половины больных.

Диабетические гангренозные язвы на ногах, вместе с поражением почек и сетчатки глаз, — типичное позднее осложнение диабета. Операция (ампутация пальцев или голени) делается, если гангрена, то есть омертвление и разложение тканей, прогрессирует, то есть распространяется. Чаще это небольшие незаживающие язвы на голени и стопах.

Не заметить начальные проявления диабета (необычная жажда, розовое лицо и пр.) можно, но обычно болезнь распознаётся более или менее своевременно (сахар в моче — мухи слетаются; сухость во рту, вечное чувство голода, частое и обильное мочеиспускание, гипергликемия, то есть содержание сахара в крови натошак выше нормы). Диабет тем опаснее, чем моложе (!) больной. Довольно часто это семейное заболевание. У пожилых и стариков диабет часто сочетается с ожирением, гипертонией, коронарной болезнью сердца (стенокардия, инфаркты миокарда) и церебральным атеросклерозом (опасность инсульта). Это традиционный букет. Диабет можно стабилизировать, если больной достаточно аккуратен (диета, инсулин подкожно по индивидуальной схеме), так называемый диабет пожилых стабилизируется с помощью сульфаниламидов (таблетки). В этих условиях с диабетом можно жить много лет.

Уф! Конечно, я многое позабыл. Но хорошо помню пациентов, с которыми имел дело не только в городе, но и в глухих деревнях [...]

М.Харитонов — Б.Хазанову

21.5.05

Спасибо, дорогой Гена, за медицинскую консультацию. Какое великое, несравненное с литературным, знание — и какая тяжелая, несравненная с литературной, работа! Мы все-таки блаженствуем в садах вольной фантазии (хотя и наши проблемы, конечно, известны) [...]

Б.Хазанов — М.Харитонову

22.Mai 05

[...] Ты вспомнил Томаса Манна, который просил знакомого доктора сообщить ему, как протекает у детей менингит. Конечно, ввести специальные сведения в роман так, чтобы художественность не пострадала, но чтобы они служили ей, и в то же время не погрешить против этой специальности, — требует особого такта, и ты это знаешь не хуже меня. Писатель обязан выполнять условия, которые он сам себе задаёт, не так ли? По-видимому, одна из трудных проблем теологии состоит в том, чтобы справиться с противоречием: если всемогущий Бог создал мир со всеми его естественными законами, ему, т.е. Богу, придётся считаться с этими законами, следовательно, ограничить своё всемогущество. Как сказал один еврейский учитель, «Бог не щедр на

чудеса». Это я к тому, что романист волен сам устанавливать для себя правила, «блаженствовать (по твоему выражению) в садах вольной фантазии» и затевать всё что ему вздумается; но уж тогда извольте следовать заданному — выполнять собственные правила. Если речь идёт о прозе с претензией на жизнеподобие, значит, медицина (как и всякая другая специальная область) должна быть без сучка и задоринки. И меня всегда коробило у современников явно поверхностное, понаслышке, знакомство с предметом. Мало нахвататься терминов, нужно соблюсти профессиональную этику и психологию. Среди всего, что попадалось, я бы сделал исключение для «Ракового корпуса» Солженицына. Вряд ли стоит его сейчас перечитывать, это другой вопрос. Но в те времена я был врачом, и мне показалось, что повседневность онкологического стационара, разговоры и поведение медиков — всё получилось убедительно.

Когда классики описывали, к примеру, охоту, было ясно, что писатель знает дело досконально. Один мой товарищ, много лет игравший на бильярде в местах, где собираются профессионалы, знавший этот особый мир, говорил мне, что когда он читал «Записки маркёра», у него было впечатление, что Толстой всю жизнь только и делал, что играл на бильярде [...]

[...] Я снова (как уже писал тебе) отправился во Францию по инициативе издательства Viviane Namu, которое оплатило полёт, поездки, гостиницы и пр., другой устроитель — некая Ассоциация книготорговцев Юга. Сперва я прилетел в Ниццу, встречался там с разными людьми в книжном магазине, потом университет и пр., всё это тебе, вероятно, знакомо, вечером допоздна гулял по городу с Рене Герра. На другой день отправился на юг в Оранж, городок, где больше половины избирателей голосует за Ле Пена, поэтому моё выступление в оппозиционном книжном магазине «Голубой апельсин» (синий и оранжевый — цвета города) рассматривалось как род протеста, вот уж не думал; потом поездка на виноградники Châteauneuf du Pape за любимым вином Лоры (см. стихи Мандельштама «Я пью за военные астры...»), лазанье по античному театру, солнце Прованса, жара 34°, потом городок Charpentras, оттуда поздно вечером в Марсель, снова гостиница над Старым портом и, наконец, поездом на север в Париж. На этом официальная часть была закончена, остальные 16 дней я прожил, уже за собственный счёт, в маленькой гостинице Hôtel des Arts на Монмартре, где бывал все прежние годы и где меня знают.

Книжка моя, как ни странно, пользуется некоторым успехом, по этому поводу я, может быть, несколько заблуждаясь, понял, как велика разница в «рецепции» моих сочинений здесь и в нашем отечестве. Мы оба, я думаю, ценим в литературе неоднозначность, открытость для разных толкований, разные уровни смысла, и это как раз то, чего я не находил в откликах — впрочем, чрезвычайно немногочисленных — на мои писания в России. И я мог приблизительно догадываться, отчего это происходит в моём случае. Оттого что современность вытеснена в сознании критиков, да и читателей, местной, слишком жгучей актуальностью; оттого что я живу за границей, оттого что я «идейный» писатель, другими словами, в подкладке моих сочинений обыкновенно содержится некоторая общая мысль, которую автор не формулирует и даже как будто не настаивает на ней, — распутывать всё это скучно. Да и вообще соединение художества с рефлексией вызывает у русского критика и читателей отвращение. Я любил с отрочества читать литературную критику, читаю её и теперь, но метод, который в рентгенодиагностике именуется томографией, для критиков и комментаторов литературы в России, по-видимому, всё ещё новинка. Словом, старая история; в спектакле Образцова «Обыкновенный концерт» кукла, изображавшая конферансье, выражала сомнение: «Не слишком ли я для вас интеллектуален?» Мы слишком хороши для читателей, а читатели чересчур хороши для нас.

В Париже издательство, как водится, устроило обед, в остальном я был предоставлен самому себе. В большом книжном магазине Gibert на бульваре Сен-Мишель, куда я заглядываю всякий раз, на русских полках моё изделие стоит рядом с переводами твоих книг, стоят двуязычные издания русских классиков, так что я сразу уселся читать прекрасную, давным-давно в России читанную повесть Толстого «Дьявол», чтобы посмотреть, как она переведена. Стоят французские тома «Красного колеса» и ещё несколько авторов, чьи имена мне более или менее знакомы, но, конечно, ничего подобного тому, что было перед весенним Салоном, когда современная русская литература красовалась на большом лотке внизу, сразу же при входе.

Я видел твои книги и в других librairies, а на русском языке, что меня особенно порадовало, — в русско-французском книжном магазине Globe на бульваре Бомарше.

Побывал снова в Шартре, в гостях у семейства переводчицы Елены Бальзамо, и мы отправились в соседний городок Miers-Combray. Да, так он теперь официально называется в честь Пруста: Комбре. Видели там и домик тётки Леони, и дорогу в сторону Свана, и аллею, по которой Марсель гулял с Жильбертой, и таинственный безлюдный парк.

У Герра, который профессорствует в Ницце и живёт в Париже, я побывал на роскошном обеде, собственноручно им приготовленном; бесконечный монолог хозяина и осмотр сокровищ его собственного музея, размещённого в двух домах. Книжки, автографы, картины, фотографии, всевозможные документы и реликвии первой послереволюционной русской эмиграции. Он не устаёт рассказывать об этих людях. Что же касается Третьей волны, с которой, само собой, он тоже общался, его отношение к ней в целом иное. Теперь и эта волна отшумела, люди нашего поколения отчасти уже отправились к праотцам — можно представить себе, как их встретили на том свете старые эмигранты. Но, может быть, и эта третья эмиграция когда-нибудь станет выглядеть симпатичней, для этого нужно, чтобы все мы вымерли окончательно. Кстати, некоторых стариков — Газданова, Вейдле — я не застал совсем немного. О Степуне мне и Юре Шлиппе рассказывал Ганс Эгон Хольтузен, ныне уже покойный. К тем же, кого я застал, к некоторым, по крайней мере, я, увы, симпатии не испытывал.

Возможно, это был частный случай или пример общего правила: разные, друг друга сменяющие поколения изгнанников не находят общего языка. Приехав в Германию, я оказался в немецкой, а не в русской среде, но довольно скоро почувствовал отчуждённость и настоужённость бывших россиян, тех, кто обосновался здесь прежде. *Idem*, и даже ещё больше, в тогдашнем Париже. «Настоящих», ещё помнивших *ancien régime*, уже не было или почти не было; но мы слишком хорошо знаем, что, окажись мы с ними за одним столом, они, как некогда Тургенев на Пушкинском празднике, когда он накрыл свой бокал ладонью перед Катковым, не стали бы чокаяться со мной и мне подобными. Правда, в чисто политическом смысле дело в моём случае обстояло бы наоборот: старая эмиграция, при том что она совершила подвиг, при том что Русский Берлин и Русский Париж стали частью истории и культуры, и так далее, — это была компания, в большинстве своём правая даже в либеральном крыле, закалённая и закосневшая в своём национализме, не чуждая юдофобству, уверенная, что Совдепией правят инородцы, всё это хорошо известно. Были, конечно, исключения, были высокие души и широкие умы; и всё же. А для следующей, второй эмиграции бежавших во время войны мы были презренными «третьеволновиками», русофобами и чуть ли не агентами советской власти; что ещё хуже, мы покушались на монополию истинного антикоммунизма, которой единственными законными обладателями они себя почитали. Они сравнивали свой жребий, свои мытарства, свою участь оказавшихся между двумя жерновами, кое-как выбравшихся, с великим трудом добившихся относительного благополучия —

со счастливой, как им казалось, судьбой литературных знаменитостей Третьей волны, которые сначала наслаждались известностью «там», а теперь были обласканы на Западе. Исключением для этих людей Второй волны, конечно, был наш пророк, который и сам покровительственно улыбался им со своих высот.

Ещё один визит — в Fontenay-aux-Roses под Парижем, к Марье Васильевне Розановой. Некогда она была, что называется, первой дамой эмиграции. Постарела, но всё та же. Когда-то я гостил у них, потом наступило некоторое отчуждение из-за того, что покойный Кронид не поделился с Марьей деньгами, полученными из Америки на создание общего журнала. Встретила она меня очень хорошо, сидели, пили корсиканское розовое вино и болтали на разные темы. Она спросила, читал ли я мемуары Нины (Нинель) Воронель, я сказал, что я такие книги не читаю. Нет, вы должны прочесть, она обкакала Андрея, — и тут же вручает мне эти мемуары под названием «Без прикрас». И я их потом весь вечер читал и перелистывал, вернувшись в гостиницу.

Снова всё та же, вечная история: я сижу на двух стульях — или скорее между стульями. Я живу в двух мирах. Только что я восседал или возлежал в моём тихом номере, перечитывал давно читанный сборник «Thomas Mann und München» известных мне авторов, Йоахима Кайзера и других, глубокие и тонкие размышления о Докторе Фаустусе, Волшебной горе и т.д., читал другие книжки в похожем роде, и это был, как мне казалось, близкий мне мир. И вот тут же вдруг — дом Синявских, и все эти имена, и воспоминания, и, наконец, мемуарная проза знаменитой — так она себя, по крайней мере, рекомендует — Нины Воронель. И её, и Сашу я знаю давно, ты тоже, кажется, знаешь; мой неблагозвучный псевдоним принадлежит тоже Воронелю, основателю и редактору «Евреев в СССР». Так вот, если вернуться к мемуарам Нели, то это в самом деле другой язык и другое мышление. Затхлая провинциальность, бульварная литература, сочинение немолодой дамы, для которой прошлое — непрерывная череда побед, женских и литературных. Ты скажешь, конечно, что за границей выпускается ещё больше пошлятины, между тем как мы снимаем лишь сливки западно-европейской культуры, — и будешь прав. Кстати, Сёма Мирский дал мне почитать несколько номеров «Литературной газеты», которую я не брал уже много лет, — нечто совсем уже гнусное и низкопробное.

С Сёмой, старым приятелем, — когда-то он работал на радио, и я делал для него большую передачу по дневнику боснийской девочки Златы Филиппович — я отправился на дачу, примерно в часе езды от вокзала Монпарнас, ночевал там, это была ещё одна встреча, очень приятная.

Сделал я из-за всех этих развлечений, музеев, фланирования по городу по примеру Бенямина, сидения в парках, в местах, которые люблю, и прочего, не густо: сочинил вчерне полтора рассказа и немного занимался более существенным проектом, из которого, как всегда, неизвестно что получится, получится ли что-нибудь вообще. Читал, среди прочего, и впервые, «Дневник Фальшивомонетчиков» Андре Жида, книжку в самом деле важную для меня. Помог ли ему дневник работы над романом писать роман? [...]

М.Харитонов — Б.Хазанову

16.6.05

[...] Ты вспоминал Томаса Манна. А у нас недавно показывали по телевидению трехсерийный немецкий фильм «Падение семейства Маннов». Ты, наверно, его видел. Документальные съемки, интервью с еще живыми членами семейства неплохо скомбинированы с игровыми эпизодами. Все, в общем, довольно точно — хотя с упором преимущественно на семейные перипетии: наследственная тяга к самоубийствам, гомосексуализм, наркомания (подолгу смакуются кадры: Клаус Манн в постели с американским возлюбленным, он же то и дело со шприцем), алкоголизм жены Генриха Манна, бывшей проститутки, его прозябание. Главное, литература, остается за кадром — и как ее показать? [...]

Б.Хазанов — М.Харитонову

20.6.05

[...] Телевизионная серия «Die Manns. Ein Jahrhundertroman» шла у нас довольно давно, пользовалась успехом и даже получила премию, что случается очень редко с серьезными фильмами. Недавно её снова повторили. Она представляет собой как бы развёрнутую иллюстрацию фразы Райха-Раницкого, вынесенную на обложку его книги «Thomas Mann und die Seinen» (о которой я вещал по радио лет восемнадцать назад): «Ich glaube, daß es in Deutschland in diesem Jahrhundert keine bedeutendere, originellere und interessantere Familie gegeben hat als die Manns»¹.

¹ «Томас Манн и его родня» [...] Я считаю, что в Германии в этом веке не было более значительной, более своеобразной и интересной семьи, чем семейство Маннов (нем.)

В самом деле, обсосана вся семья, вышли книжки Эрики Манн об отце, вышли воспоминания Кати Манн, записанные с её слов, а совсем недавно — две книги о самой Кате, вышла или вот-вот появится биография матери Кати, Гедвиги Прингсгейм, — не говоря уже о Генрихе и Клаусе. Что касается фильма, то, по-видимому, не предусматривалось специально касаться творчества ни Томаса, ни Генриха, ни Эрики, ни Клауса Манна; это, конечно, обеднило замысел, а с другой стороны, — ты прав, Марк, — как «показать» литературу? И, конечно же, сделаны определённые уступки коммерческому кино в духе семейной мьельной оперы. В картине снимались известные, любимые в Германии актёры. Мне даже показалось, что несоразмерно большое место, которое заняла в фильме Нелли Крёгер-Манн, несчастная жена Генриха, объяснялось тем, что её играет Вероника Феррес. Выпяченный донельзя гомосексуализм Клауса — опять же несомненная дань моде, то есть рынку. Мне самому всё-таки фильм скорее понравился, с оговорками, как и тебе, но лучше всего, мне кажется, оказалась Элизабет, с которой беседует режиссёр. Она умерла в 2003 году, через два года после съёмок [...]

М.Харитонов — Б.Хазанову

12.7.05

[...] Михаил Блюменкранц передал мне, наконец, свой альманах, весьма симпатичный. От него я узнал, что Лора была на обследовании в больнице. Возможно, поэтому ты так давно мне не пишешь. От него же немного узнал о культурной жизни в Мюнхене, о семинарах, на которых ты выступаешь. По совпадению, сегодня приятельница рассказала Гале про звонок своей мюнхенской знакомой, она была твоей слушательницей на этих семинарах и говорила о тебе так восхищенно, что приятельница даже спросила ее: «Не влюблена ли ты в него?» — «Немного влюблена», — ответила та.

Я сразу же прочел твои тексты. Очень интересно эссе о Хайдеггере и Целане — я не знал, среди прочего, об их знакомстве. Хорош перевод «Фути», его стоило бы поместить в твоей антологии вместо подстрочника. Мне смутно помнится рассказ, что самоубийство Целана было связано с каким-то обвинением в плагиате — не знаешь ли ты про это? Рассказ «Оэ», филологическая фантазия в духе Борхеса, для меня теряет свою убедительность, когда заходит речь о великой литературе островного народа. Возможна ли вообще литература — не устный фольклор, не мифология — на языке, где смысл слов зависит от

музыкальной интонации, произношения, и тем более великая литература — у изолированного крошечного народа без истории, без связи с миром, без всего того, что создает вообще литературу?

Больше сейчас тебе писать не стану — немного тревожит все-таки неизвестность: как у вас там дела? Дай хотя бы совсем коротко знать [...]

Б.Хазанов — М.Харитонову

13.7.05

Дорогой Марк, ты прав, для меня наступили трудные дни: у Лоры злокачественная опухоль. Сперва я совсем было пал духом. О том, что значит для меня моя жена, не буду говорить, тебе это и так известно. На прошлой неделе она была оперирована; вмешательство, весьма обширное, продолжалось много часов. Теперь Лора как будто понемногу оправляется после операции. В дальнейшем предстоит курс облучения и, возможно, химиотерапия со всеми последствиями этого жёсткого лечения. Она находится в университетской клинике, я провожу время между больницей и домом.

Последние годы Пауля Целана были отравлены обвинением в плагиате, с которым выступила Клер Голль, вдова Ивана Голля (известный французский поэт, умер в 1950 г.), но, насколько мне известно, не это было непосредственной причиной смерти. Я могу только повторить: Целан принадлежал к поколению самоубийц. В первое послевоенное десятилетие в американской медицинской литературе — хорошо помню эти статьи — появились сообщения о «синдроме концлагеря». Так был назван патологический комплекс, который наблюдали у бывших заключённых нацистских лагерей: постепенное общее угасание жизненных сил, утрата воли к жизни. Тело Целана было выловлено за пределами города. через десять дней после того, как он прыгнул с моста Мирабо (если не ошибаюсь).

Рассказик «Оэ» — это, конечно, пародия на Борхеса. Но мне хотелось набросать и некий литературный миф о синтезе литературы и музыки — может быть, о культуре вообще, о возврате к архаической нерасчленённости. Кое-что и о философии — или психологии — литературного перевода [...]

М.Харитонов — Б.Хазанову

15.7.05

Трудно, дорогой Гена, писать тебе сейчас о пустяках, да и пустяков-то особых нет. Я пытаюсь довести до конца давно уже начатую ра-

боту, сейчас ограничил замысел, часть зависших эпизодов использовал для «еврейского» рассказа [...] Вчера съездили с Галей в Переделкино, нас пригласила Инна Лиснянская, к ней приехала из Израиля дочка, наша давняя приятельница Лена Макарова. Она продолжает свою подвижническую деятельность, собирает по разным странам свидетельства, документацию об узниках Терезинского и других концлагерей. Записаны сотни аудио— и видеокассет, на их обработку не хватит одной жизни. Подарила нам свою монографию-альбом о замечательном, до сих пор совершенно неизвестном израильском художнике Бедо Майере. Он умер недавно в возрасте 95 лет, до последних дней работал, уже кисть не мог держать — наносил краски пальцами. Теперь, может, его узнают. Инна подарила нам свою новую книжку и сделанный покойным Липкиным перевод «Гильгамеша» — буду читать [...]

Будем надеяться, Гена. Я знаю множество случаев, когда после операции человек выправлялся и все налаживалось надолго. Да ты, медик, знаешь это несравненно лучше меня. Лора сейчас, как я понимаю, на какое-то время еще задерживается в больнице. Но немецкая больница все-таки не чета нашим. Держи меня в курсе, дорогой. Если сочувствие на расстоянии может оказывать какое-то воздействие — знай, что я все время мысленно с вами.

Обнимаю тебя, мой друг. Держись. Лоре самые сердечные пожелания от нас с Галей. Всего вам самого доброго.

Марк

Б.Хазанов — М.Харитонову

16.7.05

Спасибо, Марк, за хорошее письмо. Сейчас утро, я собираюсь в больницу, послеоперационные трудности всё ещё продолжаются. не знаю, сумеет ли Лора выписаться домой на этой неделе. Вот я сижу, BR передаёт финал Четвёртого фортепьянного концерта Бетховена, и, казалось бы, знаешь эту музыку чуть ли не наизусть. Была такая повесть: «Возвращение», там тоже упоминается этот концерт.

Я пытаюсь заниматься литературой, переделывать один из двух рассказов, набросанных в Париже. Литература была болезнью всей жизни, но литература и спасает, всегда спасала, — как ни выспренно это звучит.

Ты упомянул о Терезиенштадте. Некоторое время назад я прочёл в журнале «Лехаим» твою статью «Счастье концлагеря»: способны ли мы переварить, осмыслить, «преодолеть» лагерное и советское прошлое нашей страны. То есть наше собственное прошлое. Похоже, что

ты чуть ли единственный, кто пишет об этом в России. Вопрос: что нам делать с этим прошлым? Ответ подавляющего большинства: ничего не делать; никакого такого прошлого не было. Тут дело не только в ностальгии стариков по светлому прошлому. И даже не только в правительственном курсе на реабилитацию этого прошлого. Может быть, это какая-то очень старая черта — историческая амнезия. Национальная болезнь. Борис Дубин прислал мне книгу его коллеги Л.Гудкова «Негативная идентичность», собрание социологических работ на материале массовых опросов. Результаты почти убийственные [...]

М.Харитонов — Б.Хазанову

17.7.05

[...] В недавней «Новой газете» большое, на две полосы, интервью твоего знакомого Бориса Дубина, которого ты как раз поминаешь. (Можешь, наверно, найти его в интернете.) Он, среди прочего, пишет: «В большинстве новых текстов установилась такая точка зрения: или ты делаешь свой продукт, который хорошо продается, или ты выгораживаешь свой мир вне массовой политики и массовой литературы... Это не порождает ни нового словаря, ни новых принципов, ни системы мысли. Это может дать только рамочку: «Вот — я вне этого». Не совсем понятно, кого или что он имеет в виду. (В другом месте он пишет о слое людей, который «капсулирует себя в этом мироощущении», хотя мог бы «производить смыслы».) Интересно было бы что-то с ним уточнить, обсудить. Обсуждая такие темы хотя бы друг с другом, мы все-таки в меру способностей «производим», надеюсь, смыслы. Сам-то он про себя так может сказать? Хотя справедливо замечает, что «культурный прорыв не может быть героизмом горстки людей. Он должен сопровождаться структурными устройствами, которые будут держать и передавать этот импульс» [...]

Б.Хазанов — М.Харитонову

19.7.05

[...] Мои дни проходят по-прежнему между домом и больницей. Состояние Лоры неудовлетворительное: вздутие живота, боли. Составлен план дальнейшего лечения (сначала химиотерапия, затем облучение, начиная с первых чисел августа. Но сейчас дела такие, что едва ли она выпишется домой на этой неделе. К счастью, изнурительная душная жара сменилась дождями [...]

По твоему совету я нашёл и прочёл интервью Бориса Дубина в «Новой газете». Это в самом деле серьёзный и ответственный текст. На него, впрочем, не могла не повлиять ухудшающаяся атмосфера последних лет. Право, есть отчего придти в отчаяние.

«Эрозия культуры и перерождение культуротворческих групп». Что ж, возражать не приходится. Один из главных упреков, бросаемых интеллигентам, российской интеллигенции в целом, — и на который ты тоже обратил внимание, — тот, что за много десятилетий она не создаёт новых концепций общественного развития, не продуцирует свежих идей и «смыслов». На это можно было бы ответить, что так, в сущности, было всегда. Генеральные идеи, новые философские системы, революционные направления в литературе и т.п. никогда не рождались на русской почве, но всегда приходили извне, с тем чтобы дать оригинальные плоды, — но плоды эти всегда имели один и тот же привкус; новые смыслы неизменно крутились вокруг одной темы: пути и судьбы России. Россия и Европа, Россия и Азия, Россия и евреи, Россия и способы приготовления гречневой каши. И это продолжалось вплоть до наших дней. Но что действительно не может быть оспорено, так это то, что разрушились пчелиные соты мысли, исчезли творческие кружки и группы, культура свернулась, как кровь в кровеносных сосудах. Я думаю, этому можно найти объяснение.

Пожалуй, когда он говорит о бесплодной инкапсуляции не желающих угождать рынку и плембу («вот — я вне этого»), это о нас. Тут сказывается специфический подход социолога. Дубин выступает в разных ролях, это разносторонне одарённый человек, но в данном случае он социолог. И я подозреваю, что именно такой подход — примат общественного — диктует пренебрежительное отношение к индивидуальному жесту. Можно было бы вместо возражений вспомнить слова Адорно, которые я когда-то использовал как эпитафию к одному сочинению: «И все же самая одинокая речь художника парадоксальным образом жива тем, что она замкнута в своей одинокости. Именно потому, что она отказывается от истертой коммуникации, она обращена к людям». (Dennoch die einsamste Rede des Künstlers lebt von der Paradoxie, gerade vermöge ihrer Vereinsamung, des Verzichts auf die eingeschliffene Kommunikation, zu den Menschen zu reden.) [...]

26.7.05

Дорогой Марк, что-то давно от тебя ничего не слышно. Против обыкновения пишу тебе поздно вечером, Лора легла, вчера она выпи-

салась из клиники, понемногу ходит, что-то начала делать дома, но слаба, то и дело возобновляются боли в животе, мучительное вздутие и пр. Очень хочу надеяться, что всё это постепенно уляжется.

Что сказать тебе нового... Я вернулся, хоть и урывками, к литературной работе: что-то вроде романа, хаотически-эпизодического. Каждый раз кажется: этот раз — последний. Дело движется вяло, нудно, легче переписывать написанное, чем ползти дальше. Переделал также наброски двух рассказов, которые сочинял в Париже. «Дружба народов» напечатала старую, известную тебе повесть «Светлояр» [...]

Не попадалась ли тебе на глаза любопытная дискуссия живущего здесь в Германии поэта и переводчика Вальдемара Вебера и фантомного поэта Д.Пригова в последнем номере «Иностранной литературы»? [...]

М.Харитонов — Б.Хазанову

27.7.05

Не писал тебе, дорогой Гена, потому что не о чем было [...] Добиваю затянувшуюся писанину, эпохальный замысел съезживается до рассказа листа на полтора, какие-то эпизоды, решения отставлены для отдельных работ. Один такой эпизод стал рассказом, для которого я у тебя получал консультацию, но и там все ужасно! Не объем, разумеется, важен, хоть страничка получилась бы настоящая, но стыдно за несообразные затраты времени. Впрочем, и это не новость в литературе. Попробую тебе послать рассказ [...]

С Вебером и Приговым я знаком, оба умные люди. О чем они дискутируют?

Рад, что Лора уже дома. Самые сердечные пожелания ей. Будем надеяться, что все выправится [...]

Б.Хазанов — М.Харитонову

29.7.05

Хороший рассказ, очень человечный и, кстати, написанный просто, без затей. Вспомнились мои врачебные десятилетия в России. Я ведь почти всё время работал в больницах. И в то же время рассказ, в котором есть что-то сверх «бытового» содержания. Мне очень понравилась концовка [...]

Я бы переименовал название. Что-нибудь не связанное непосредственно с содержанием [...]

¹ Имеется в виду рассказ «Голуби и стрижи».

Дорогой Марк, я снова стал раздумывать над заголовком «Голуби и стрижи», который, конечно, имеет символический смысл. Белые птицы как будто оказываются листками ненаписанной рукописи. Что хотел написать или сказать умирающий, для женщины так и осталось неизвестным. Эта недосказанность — большое достоинство рассказа. Но мне всё же кажется, что было бы лучше подыскать другое название, именно для того, чтобы не слишком выпячивать «идею».

Напиши мне что-нибудь об этом рассказе (или новелле), как ты сам его расцениваешь [...]

М.Харитонов — Б.Хазанову

1.8.05

Что я могу написать о своем рассказе, дорогой Гена? Ты воспринял его адекватно, я рад. «Человечный... написанный просто, без затей... Есть что-то сверх “бытового” содержания». Я сам им, в общем, доволен. Но так могут написать и другие. Для меня важней, скажем, «Игра с собой»: там я нащупывал новый взгляд на мир, новые возможности повествования. Недавно я слушал передачу о художнике Серове, приводился его отзыв о Матиссе. Не помню точно, смысл был такой: хороший художник, но холодный, он не несет радости. Что-то в таком духе. В этом есть, наверно, своя правда, у самого Серова, может, больше житейского тепла. Но Матисс открыл нам новое восприятие мира, обновил наш взгляд. И в истории живописи остался он, я открываю его для себя постоянно. С Серовым, в общем, все понятней.

Для меня, помнится, было неожиданностью, что ты для своей антологии выбрал у Заболоцкого «Читая стихи». «И возможно ли русское слово превратить в щебетанье щегла?» Считается, что тут скрытая полемика с Мандельштамом. Но можно отнести эти стихи и к Хлебникову, и к Хармсу — да и к самому раннему Заболоцкому. Среди поздних его стихов есть прекрасные, но такие мог написать и другой. Новое, свое слово сказано им было в «Столбцах». (Почему ты его, кстати, отнес к экспрессионистам? «Торжество земледелия» вызывало в памяти скорей Пиросманишвили, наивное искусство.)

Как дела у Лоры, что у тебя?

Обнимаю тебя Марк

Да, о чем все-таки дискутировали Вебер с Приговым?

Б.Хазанов — М.Харитонову

2.8.05

Дорогой Марк!

Посылаю тебе обе статьи. Мне бы хотелось (если найдёшь время прочесть) сперва услышать твоё мнение.

Твой Г.

М.Харитонов — Б.Хазанову

5.8.05

Дорогой Гена, вчера мы вернулись из трехдневной поездки со всегдашней компанией, на этот раз, в основном, по родной твоему сердцу Тверской области. Первую ночь провели у нашей близкой приятельницы, которая купила дом в глухой вымирающей деревушке между Тверью и Бежецком. Мне тоже предложили купить там дом, даже взять его бесплатно — мы с Галей отказались. В Старице, где реставрируют полуразрушенный монастырь, нам предложили приложиться к здешним мощам; мы сочли себя недостойными такой чести. В Бежецке постояли возле тройного памятника семейству Гумилевых, у которых, как ты знаешь, здесь было имение.

Но что живописать хорошо знакомые тебе места? Туристические впечатления, не более. В Торжке наша спутница купила книжку путевых заметок позапрошлого века: о жизни, быте новаторов (жителей Торжка называли, как ты знаешь, именно так). Я подумал: имеют ли смысл сейчас такие путевые заметки? Быт, одежда и прочее везде, в общем, унифицированы, особенно телевидением. Хотя я не совсем представляю, как отсюда воспринимаются столичные теленовости, шоу-бизнес, элитные развлечения и т.п. Но жизнь, по внешним впечатлениям, за последние годы как будто улучшается.

Спасибо за статью Вебера, я прочел ее с симпатией. (Статью Пригова ты мне не прислал.) Особенно интересны сведения о «немецкой», так сказать, стороне: взаимообслуживание литературной и околотелературной тусовки, финансовое обеспечение, новомодные течения и имена в самой немецкой литературе. Я тебя об этом, помнится, спрашивал, но ты за этими явлениями в самой Германии, как я понял, не следишь, новых имен назвать мне не мог. Кстати, знакомый сотрудник Института русской и советской литературы в Бохуме написал мне, что не нашел в институтской библиотеке ни одной моей книги, зато Соро-

кин и Пелевин там — в полном комплекте. По ним ведутся семинары, пишутся дипломы. «Подозреваю, — написал он, — что для многих из них именно книги Пелевина и Сорокина станут первыми русскими книгами в жизни» [...]

Б.Хазанов — М.Харитонову

5.8.05

Дорогой Марк, все эти тверские названия напомнили, конечно, наши старые времена. Мысленно я представляю себе карту бывшей Калининской области более подробной, и, например, выражение «между Тверью и Бежецком» мне мало что говорит: это всё же довольно большое расстояние; какой же всё-таки район? Но за сорок лет и эти места изменились [...]

Ты прав: за немецкой литературой я хоть и слежу, но, как и за русской, ab und zu и одним глазом.

С Приговым недоразумение, почему-то я не отослал текст его ответа Веберу. См. приложение. Этот ответ большого интереса, по моему, не представляет: обиженный ветеран старается высмеять оппонента и демонстрирует неспособность вести серьёзную полемику. Ведь вопрос, собственно, не в близоруких русистах. Они следуют моде, интересуются писателями, о которых много пишут и говорят в России, то есть опять-таки о Сорокине, Пелевине и т.п. Вероятно, ты заметил, что, например, ещё одно такое имя не сходит с журнальных страниц: славный Эдичка Лимонов, который вообще не заслуживает обсуждения. Что касается самого Вольдемара, то я помню, как на одном сборище в Дюссельдорфе Кристина Энгель, моя старая приятельница и теперь, наверное, уже доцент в Инсбруке, выступила с докладом о Пелевине. Вебер встал и довольно резко заметил, что ему надоело это слушать, в конце концов современная русская литература не сошла клином на одном Пелевине.

Вопрос о том, что Вебер назвал поэзией бессмыслицы, и об этом в самом деле стоило бы поговорить. Литература авангарда начинает напоминать современное изобразительное искусство, где субъективизм достиг предела, за которым не остаётся ничего, кроме абсолютного отвержения всякой художественной дисциплины, любых ограничений, налагаемых на себя художником, и, разумеется, всякого подобия самокритики. Я часто бываю на выставках, где то, что всё ещё по старой привычке именуется искусством, не отличимо от жульничества. В лучшем случае — обманывания самого се-

бя. И худшее в этом мирке — это если тебя, не дай Бог, назовут ретроградом. Но и к старому, уже сделанному, повернуться невозможно. Где же выход?

Если вернуться к знаменитому Д.А. Пригову, то, как мне кажется, ему и в голову не приходит, что авангард, который он представляет или даже возглавляет, сам по себе безнадежно старомоден. Это арьергард, а не авангард, нечто давно пережеванное, съеденное и, если позволено так выразиться, отрыгнутое.

Любопытно, что он говорит о Германии как о «достаточно знакомой» ему стране. О том, каково это знакомство, я мог судить на вечере в Баварской академии изящных искусств, где он читал свои стихи о Гитлере, полагая, что скажет что-то близкое по теме собравшейся публике. На самом деле это было нечто давным-давно известное, навязшее в зубах.

В предыдущем письме ты заметил — это уже другая материя, — что Заболоцкий напоминает тебе не экспрессионистов, а живопись Пиросмани. Я бы мог назвать некоторые стихотворения из столбцов, напоминающие о Георге Гроссе и Бексмани. Впрочем, попытка связать это раннее творчество (и других обериутов) с немецким экспрессионизмом — не моё изобретение. Таково, например, и мнение А.Пурина, составителя собрания стихов Заболоцкого, СПб, 1993. Ты пишешь, что более поздние вещи, в отличие от «Столбцов», могли бы быть написаны и другими. О, нет [...]

6.8.05

[...] Вчера вечером я послал тебе письмо, но было уже поздно, письмо получилось скомканным. Может быть, ещё вернёмся к этим темам. У писателей, пропагандируемых славистами, на которых напал Вебер, есть несомненное, хоть и не артикулированное, представление о смысле той словесности, которую они представляют; есть, иначе говоря, своя литературная идеология. Критики, так много и охотно пишущие о Сорокине, Лимонове, Пелевине, знаменитом Дмитрие Александровиче и других, не дали себе труд прояснить эту идеологию. А стоило бы.

Ты упоминал как-то о моих вещаниях в маленьком литературном кружке. Я ничего не читаю, но первое выступление всё же набросал, а позже сделал из этого небольшой текст. Некий квазиромантический манифест. Посылаю тебе [...]

(Приложение: «Смысл и оправдание литературы»)

М.Харитонов — Б.Хазанову

8.8.05

Хороший у тебя текст, дорогой Гена, и написан, как всегда, прекрасно; восхищает, как всегда, твоя эрудиция. В моем «Способе существования» есть своя «Апология литературы», ей предпослана «Предварительная оговорка». Словом «литература», писал я, обозначаются вещи самые разные: эпос и детская сказка, духовное песнопение и эстрадный скетч, фантастика и документальный репортаж, драма абсурда и мемуары. У каждого свое «оправдание» и своя задача: развлечение, информация, утешение, игра, проповедь и т.д. В том числе и то, о чем писали цитируемые тобой авторы. Диапазон можно расширить. Мой рассказ «Игра с собой», как ты справедливо заметил, тоже об этом. Рассказ, который я только что, наконец, завершил (он раза в три больше предыдущего) предлагает еще одну вариацию темы. Новым тут может быть разве что конкретное жизненное наполнение, интеллектуальное решение, поворот взгляда и т. п.

Я тебе уже, кажется, писал, что многострадальный мой замысел удалось осуществить, несколько его облегчив; один из выделенных эпизодов стал рассказом «Голуби и стрижи», другой попробую теперь оформить в виде еще одного рассказа. Немного приободрился.

Ты ничего не пишешь о себе, о Лоре. Как ваши дела? [...]

Б.Хазанов — М.Харитонову

9.8.05

Я перечитал, дорогой Марк, «Апологию литературы» (книга «Способ существования» стоит у меня на полке). Хотя после 1991 года кое-что сместилось — споры об электронном искусстве и литературе выдохлись, «постмодернизм», что бы под ним ни подразумевалось, ушёл в прошлое, а власть рынка стала намного ощутимей, — «Апология» несколько не устарела. И немудрено: ты взираешь на литературу с вершины, откуда многое видно на расстоянии столетий, если не тысячелетий. Главный довод — человек в существе своём не изменился, — разумеется, неопровержим. Но о тех десятках и сотнях миллионов людей, кого литература вовсе не интересует, можно сказать то же, что и людях, для которых не существует великой музыки: она им не нужна; если она всё ещё где-то прозябает, то лишь в угоду архаической традиции; ну и Бог с ней.

Вспомнил, что ты заметил по поводу Заболоцкого и моего комментария, будто кто-то счёл «Читая стихи» скрытой полемикой с Мандельштамом; нет, конечно, и ты называешь Хлебникова, Хармса, упоминаешь даже «Столбцы» самого Заболоцкого. Я думаю, что ближайшим адресатом (если таковой вообще имелся в виду) был футуризм с его «самовитым словом» и зауемью Бурлюка и Крученыха. Но «тот, кто жизнью живёт настоящей...» Очень важная строчка. Словесные упражнения — своего рода бегство от жизни, от человеческого удела. Любопытно, что этот маленький манифест по-прежнему актуален [...]

Лора чувствует себя неважно, слабость, боли в животе; приступила к химиотерапии. Я пытаюсь заниматься литературой, вернулся к роману и, кроме того, хотел бы — опять же дилетантски — написать кое-что о Вагнере. Но времени немного [...]

17.8.05

Дорогой Марк, наши дела без перемен, другими словами, без заметного улучшения. В понедельник второй сеанс химиотерапевтического лечения, весьма жестокого. Что делать? Я заговариваю себе зубы: занимаюсь — разумеется, в свободное время, которого мало, — своей литературой, пытаюсь продолжать роман, но больше топчусь на одном месте, исправляю написанное. Всё та же тема и проблема: противостояние человека и Истории. Гнусной истории, которая не заслуживает того, чтобы писать её с большой буквы. В литературном исполнении это выглядит так: главный персонаж в раме обстоятельств. Но при этом он сам превращается в «обстоятельство», теряет лицо, и если бы в нашем языке существовало местоимение *man*, нужно было бы пользоваться именно им от первой до последней страницы.

Сегодня я послал тебе по почте два номера журнала «Зарубежные записки», выходящего в Кёльне. Печатает его немецкое издательство Partner на деньги каких-то доброхотов. Не хочешь ли поучаствовать? Правда, гонораров не платят. Это, можно сказать, закон всей более или менее серьёзной русской прессы, то есть той, которая не ведёт истребительную войну против всего мало-мальски приличного [...]

М.Харитонов — Б.Хазанову

18.8.05

С интересом жду, дорогой Гена, журналы, которые ты мне послал. Я уже получил от них интернетовский сайт с анонсом первых двух но-

меров, там в редакционной статье весьма высокие слова о тебе. Среди авторов есть довольно известные люди, но большинство имен мне незнакомы. Как они тебе? [...]

Вообще интересно и не совсем мне понятно, почему такое количество людей — по-моему, гораздо больше, чем раньше — посвящают себя занятию, которое не дает ни денег, ни славы, наоборот, требует затрат. Бывает, авторы мне присылают книжки, изданные за свой счет, старомодное воспитание требует им ответить — проблема, как это сделать деликатно, не обидев. Открытий пока не было [...]

Б.Хазанов — М.Харитонову

CharM226

Прекрасное солнечное утро, пышная зелень, тишина — вот так бы и жить, дорогой Марк. У Лоры пока существенных перемен нет, всякие заботы, связанные с болезнью, с коварством этого заболевания, с лечением, с отъездом врачей — сейчас отпускное время. Литературой занимаюсь урывками, главным образом тем, что исправляю написанное. Или какие-нибудь мелочи. Погружение в прошлое, в гротескно-трагические события, в этот величественный абсурд, который пытаешься каким-то образом упорядочить, склеить, как склеивают куски разбитой вазы или как скрепляют проволокой кости доисторического чудовища. В чикагском аэропорту О'Хара стоит такое чудовище, скелет гигантского ящера; правда, это вроде бы имитация. Вечная проблема: каким образом состыковать частную жизнь с историей, подлинное человеческое бытие с бесчеловечностью эпохи, с этими жуткими фантомами — политикой, нацией, государством [...]

Ты пишешь, что тебе непонятно, отчего так много людей предаются совершенно гробовому занятию — кропанию стихов и прозы. Почему мы с тобой заняты этим же? На этот вопрос можно найти много ответов — или не дать никакого ответа. Бен Сарнов когда-то цитировал Толстого, который спрашивал себя, отчего «неглухой старик» в 70 лет занимается таким пустяковым делом, как сочинение романов.

Я тут снова стал между делом перечитывать «Способ существования», разные места и среди них этюд-воспоминания о Давиде Самойлове, на мой взгляд, один из лучших текстов в книге. Дезик кажется мне какой-то знаковой фигурой, даже мелкие штрихи, незначительные подробности, вроде того, что «Давид пошёл жарить шашлыки» или рассуждения о преимуществах армянского коньяка перед молдавским, кажутся очень характерными; тут и человек, и среда, и время.

Тем более — застольные диатрибы. Между прочим, оказывается, уродливое словцо-гибрид «параноидальный» существовало уже тогда: оно мелькает в разговорах Давида.

Впрочем, я уже как-то размышлял и рассуждал о Самойлове. И, конечно, в те времена оценивал бы его облик по-другому [...]

М.Харитонов — Б.Хазанову

1.9.05

Дорогой Гена, спасибо за присланные журналы [...] Впечатление, в общем, хорошего уровня. Я бы не стал говорить, как ты, что продолжают все-таки существовать две русских литературы, в метрополии и за рубежом, не вижу между текстами существенной разницы. А вот зачем все больше людей, да еще молодых, предаются этому странному занятию, неясно по-другому, чем во времена Толстого. Тогда оно было если не доходным, то все-таки престижным, могло принести славу; особенно в России писатель мог быть властителем дум, «совестью нации», (в Германии еще недавно так говорили даже о Генрихе Бёлле). Сейчас ни о ком так сказать невозможно. Во времена телевидения и кино все переместилось туда, писателей на экране увидишь редко — не так уж они и нужны. А то, что приносит успех и доход, литературой не всегда назовешь. Не говорю об интернете и т.п. Занятно все-таки [...]

Б.Хазанов — М.Харитонову

1.9.05

[...] Вопрос (если он вообще существует) о двух потоках русской литературы или даже двух литературах всё же заслуживает обсуждения; мне кажется, в этом тезисе что-то есть. И связано это, в частности, с неоднородным жизненным опытом пишущих. Общее российское прошлое разошлось по двум руслам. Качество и букет вина зависит от сорта лозы, но в ещё большей степени от местного климата, солнечного режима и почвы. В литературе «почва» — это жизненный и культурный опыт писателя. На русское детство и юность накладывается — как бы ни сопротивлялись ему — совершенно новый и неслыханный опыт. Это опыт эмиграции. Я говорю именно об эмиграции, которая и сейчас представляет собой нечто отличное от поездок, от пребывания за границей в качестве участника фестивалей и симпозиумов, лектора в зарубежных университетах, от туризма и гостения у живущих на Западе родственников и т.п. Психология экспатрианта — дело совер-

шенно особое и даст себя знать у одних раньше, у других позже. Разница между реальной жизнью в Западной Европе и в России — когда оказываешься «в чреве китовом», внутри этой жизни, — всё ж таки достаточно велика, и это, конечно, отдалённость взаимная.

Само собой, в таких рассуждениях невозможно не оглядываться на самого себя, даже принимать себя — невольно — за правило, и всё мне кажется, что тут есть и что-то общее, присущее многим. Мы с тобой слишком хорошо знаем, что главный поставщик сырья для литературного творчества — память. Всё остальное — фантазии, книги, свежие впечатления, актуальные события — лишь вспомогательный материал, не так ли? Но (как сказано в Талмуде), быть может, справедливо и обратное: писатель впитывает и перерабатывает впечатления несущейся жизни, память о прошлом играет подсобную роль.

Можно сказать иначе, разделив роли. Автор, живущий в своём отечестве, — по крайней мере, русский автор, традиционно не затворяющийся в своём кабинете, — питается реальной действительностью. Эмигрант черпает материал из закров памяти. Оба утверждения (вполне тривиальных) не так уж противоречат друг другу, у них есть общий знаменатель — жизненный опыт писателя, опыт, в котором все времена сплавлены.

Можно прожить за границей пять, десять или двадцать лет, приехать погостить на родину и убедиться, что при всех огромных переменах мало что по существу изменилось: старые друзья остались друзьями, переулки детства всё те же, хоть и с другими вывесками; те же липы, те же дворы, те же лица, и все кругом говорят по-русски, смеются по-русски, толкаются по-русски. Тот же мат, древний, как сама Россия. Всё твердит о прошлом, воскрешает детство, юность; выхватываешь из увиденного то, что носишь в себе; и кажется, что бродишь среди видений прошлого.

Но, как ландшафт меняется, стоит только солнцу скрыться за тучей, отечество меняет свой облик, как только гость погружается в эту жизнь, ходит и ездит, и встречается с разными людьми. Он начинает понимать, что он не свой, но именно гость, и относится к нему как к гостю; произошла смена местоимений; когда ему говорят: мы, у нас, то все понимают, что он исключён из этого «мы», он принадлежит «им», а не «нам». Оказалось, что за эти годы, сам того не сознавая, он превратился из иностранного русского в русского иностранца. Как у Ахматовой:

...Бежим туда, но (как во сне бывает)
Там всё другое: люди, вещи, стены,
И нас никто не знает — мы чужие.
Мы не туда попали...

В чём дело? А дело в том, что его житейский и жизненный опыт более не совпадает с жизненным опытом соотечественников. Хуже того: он противоречит их опыту. Ты сбежал, тебя не было с нами, когда у нас происходило то-то, совершались великие события, — вот что хотят ему сказать. Вас не было там, где я был, вы понятия не имеете о мире, где я живу, даже если вы и катались туристами по европам, — думает он. Мы умчались вперёд, а ты опоздал на поезд и остался стоять на платформе. Твои часы показывают прошлый век. Нет, — хочет он возразить, — это мой экспресс уже давно в пути, это вы топчетесь на платформе. Обе стороны правы [...]

М.Харитонов — Б.Хазанову

2.9.05

[...] Мое суждение о количестве русских литератур основывалось на текстах из присланных тобой журналов. Можешь ты по ним различить, где какая? Другим может быть материал, тема, и то не всегда, да и что это значит? Хемингуэй только начинал в Америке, потом всю жизнь писал об Италии, Франции, Испании, Кубе, Африке, становился все больше европейцем, оставаясь американским писателем. Как-то в Дюссельдорфе я беседовал с немецким писателем (забыл имя, ты тоже был на этой конференции), который живет во Франции, немецких газет даже не читает, его от них тошнит, как от всего немецкого — но пишет по-немецки и издается в Германии. То, о чем ты пишешь, имеет отношение к тебе (и не только к тебе), к стране, но не к литературе. Внутри самой страны можно подразделить литературу по идеологическому (как любили говорить раньше, партийному, классовому), эстетическому принципу — от иных моих компатриотов я отличаюсь не меньше, чем ты. Принадлежим ли мы к разным литературам? Некоторые, может, вообще ни к какой [...]

Б.Хазанов — М.Харитонову

9.9.05

[...] О двух литературах. Видимо, правильной будет сказать: о расщеплении русской литературы. Мы жили и живём под гнётом политики, и, однако, выяснилось, что изгнание есть не только политическое событие. Можно было порвать с советской властью и тем не менее оставаться типично советским писателем, можно было остаться дома и

не быть советским писателем, не иметь с этой литературой ничего общего [...] Конечно, я лично не вижу разницы (в смысле «принадлежности» или «непринадлежности») между тобой и мною. В определениях такого рода как бы заранее предвидятся исключения. Этих исключений понемногу становится всё больше. Но, с другой стороны, националистический (изоляционистский) крен, который в последние годы даёт себя знать в настроениях многих живущих в России писателей, поддерживает существование, казалось бы, уже засыпанного водораздела. Конечно, ты прав: можно пытаться классифицировать писателей, критиков, литературу по другим признаками, но не по месту жительства литераторов. И всё же мне трудно отделаться от впечатления барьера, по обе стороны которого писатели, так сказать, поразному держат в руках перо. Ров, клюфт, барьер, невидимая колючая проволока — вот в чём дело — не засыпаны, не опрокинуты.

Хемингуэй не был эмигрантом. Само собой, не были эмигрантами ни Тютчев, ни Тургенев, ни Достоевский. Зато в немецком послевоенном литературоведении, в немецкой критике и публицистике довольно долго существовал термин *Emigrantenliteratur*, к ней относили, например, Томаса Манна — не говоря уже о всех остальных [...]

11.9.05

Дорогой Марк, я только что дочитал «Сеанс» [...] На самом деле — в чём я совершенно уверен — это одна из лучших твоих вещей. Конечно, и я могу оказаться пристрастным — хотя бы потому, что в этой небольшой и чрезвычайно концентрированной вещи есть очень многое, что мне близко. Сквозные мотивы, которые и меня увлекают то и дело, например, пригородный поезд в сплетении сходящихся и расходящихся рельсовых путей (великолепно описание дороги в первой главке 2-й главы), память, тасующая образы и времена. И самое главное: литература, сочинительство как некий триггер, отмыкающий подвалы памяти. Сложная, на первый взгляд разорванно-хаотичная [...] Организация материала, на самом же деле очень продумана, внутренне логична, замкнута и напоминает музыкальные композиции, что я особенно, как ты знаешь, ценю. Целая жизнь, каким-то образом уместившаяся в тесном пространстве коротенькой повести. Такую прозу (непроизвольно перетекающую в поэзию, в верлибры, местами даже в регулярный стих) нужно, конечно, перечитывать.

Я узнаю в этом произведении тему, которая, похоже, для тебя одна из главных, если не самая главная: она присутствует во многих твоих вещах. Попытка зафиксировать психический процесс *in statu*

nascendi,¹ во сне ли, в бодрствующем ли состоянии, либо в условиях специального внешнего воздействия (об этом ниже), движение мысли, неотторжимое от эмоций, колышущееся, как желе, сознание, — литературный эксперимент столь же рискованный, как и денатурация белка в органической химии. Искусство так или иначе денатурирует действительность, искусство и реальная действительность находятся в соотношении, похожем на принцип дополнительности Нильса Бора, и ведь не зря у тебя в конце маячит догадка, что любовь есть порождение искусства.

Остаётся неясным (и для меня это тоже — достоинство всей вещи), кто экспериментатор. Кто — или что — проводит этот «сеанс». Кто разговаривает с испытуемым. Кто его торопит, кто следит за песочными часами. Идёт ли речь о каком-то ещё не изобретённом способе проникнуть в чужую психику, открыть незадействованные пласты? Или это божественное всезнание, всевидение: «И мысли, и дела он знает наперёд»? Или, наконец, «настройку» производит литература, открывающая писателю глубины его души, оживляющая омертвелую память, незаметно подводящая к осознанию смысла жизни, глубокой оправданности всего пережитого, возрождающая эротику и любовь?

Это — несколько неуклюжих попыток переварить твою вещь. Помоему, это проза очень высокого качества [...]

М.Харитонов — Б.Хазанову

14.9.05

Меня, конечно, обрадовал, дорогой Гена, твоей отклик. Похвалы знакомому автору, приславшему свое сочинение, бывают дипломатично-необязательными, я это знаю. Но ты на редкость адекватно воспринял именно то, что я хотел выразить. После уже ставшего привычным непонимания отрадно было подтвердить, что задуманное действительно содержится в тексте, это не просто мне кажется, это можно из него вычитать. Сам я, независимо от оценок, считаю, что эта проза не похожа ни на какую другую, она развивает какую-то новую линию, начатую в «Возвращении ниоткуда». Но там сочинение было более масштабное и уже потому более трудное для восприятия. Близкое решение было опробовано в «Игре с собой», но там случай попроще.

¹ в момент становления (*лат.*).

Ты вообще, надо сказать, замечательный мастер рецензии, я так не умею. Мне этот жанр дается трудно — разве что эссеистические, «стенографические» заметки [...]

6.10.05

[...] Позавчера мы с Галей вернулись из Анапы, где провели две недели. Была прекрасная погода, море, солнце — все, как обычно. Когда выйдет очередной номер «Зарубежных записок», ты сможешь там прочесть дневниковые анапские заметки двухлетней давности — все то же. Разве что появился новый персонаж: человек, который прощупывал миноискателем многокилометровый пляж и время от времени что-то извлекал из песка: оброненные монеты или украшения. Забавный бизнес.

С собой мы взяли, среди прочих книг, твою «К северу от будущего». Галя читала (она о своем впечатлении припишет сама), я перечитывал. Оказывается, прекрасно все помню. Новым оказалось для меня послесловие. Я еще раз почувствовал, что ты в своих книгах разрабатываешь, по сути, сквозную тему: отчужденность человека от истории, «несовместимость истории... с нормальной жизнью людей». В одном из последних писем ты говорил о новой работе — та же «вечная проблема: каким образом состыковать частную жизнь с историей, подлинное человеческое бытие с бесчеловечностью эпохи, с этими жуткими фантомами — политикой, нацией, государством».

Я вдруг подумал: библейский Иов не мог понять и принять в жизни ее действительно безысходного трагизма, но это не называлось историей. Где она начинается? Эпидемии, голод, нашествие саранчи — это еще не история. А нашествие иноплеменников, войны, в которые и тогда люди втягивались и должны были гибнуть помимо своей воли, безумства тиранов, неправые суды, казни — было и тогда о чем вопрошать Господа, и все это вместе приходилось считать, увы, подлинным человеческим бытием. Разве Шекспир писал не о том же?

В Москве меня ждало неожиданное приглашение на какой-то бельгийский фестиваль «Европалия» с 14 по 21 октября, предлагалось срочно оформить документы, что я вчера и сделал. Предполагаются выступления в Брюсселе, встреча со студентами в Генте. Что это такое, я пока не понял, но обещали что-то даже оплачивать, я не стал отказываться [...]

Дорогой Гена, пять анапских дней я путешествовала «к северу от будущего». Поразительно глубокая, точная память о времени, пространстве, людях! Не хотелось заканчивать. Спасибо! Галя.

Б.Хазанов — М.Харитонову

7.10.05

[...] Спасибо вам обоим за отзывы о книжке («К северу...»). Она, насколько я мог судить, не имела в России никакого успеха [...]

«Эпидемии, голод, нашествие саранчи — это ещё не история». Я бы сказал, имея в виду библейские времена: ещё не история и уже история. Потому что мы не отделяем историю в собственном смысле от исторического сознания. Это сознание, по-видимому, впервые появляется, даёт себя знать в текстах Библии. Формула этого сознания — целесообразность, тайный смысл всего происходящего, движение к некому заповеданному и предreshённому концу: иудейская стрела. И лишь позже появляется эллинский круг, концепция вечного возвращения.

А то, что все ужасы нашей истории существовали и прежде, — гм. Тут, пожалуй, можно возразить, вспомнив, например, о необычайном совершенстве средств и способов истребления людей, и притом в огромном количестве и в кратчайшие сроки, совершенстве, какого не знала ни одна из минувших эпох.

Я осмелился без разрешения автора показать рассказ «Сеанс» Мише Блюменкранцу, издателю известного тебе альманаха «Вторая навигация» (мы там с тобой фигурируем вместе, дошёл ли до тебя экземпляр?). Рассказ ему понравился. Он хотел бы его поместить в следующем выпуске, намеченном на весну 2006. (Надо ещё дожить!) Как ты к этому относишься? А также к тому, что можно было бы сопроводить публикацию небольшим философствованием о рассказе и авторе.

Наши с Лорой дела следующие: сегодня три месяца, как была сделана операция. Курс химиотерапии закончен. Она перенесла первые три вливания сравнительно неплохо, но после четвёртого чувствует себя плохо. Нужно очухаться (три недели), затем около тридцати облучений.

М.Харитонов — Б.Хазанову

23.10.05

Как ты, наверное, знаешь, дорогой Гена, в Бельгии под эгидой короля периодически проводятся фестивали под названием «Европа-лия» — демонстрация культурной общности европейских народов. В этом году страной-гостем оказалась Россия. До января будут проходить выставки, выступать музыканты и т.п. Я встречался с читателями

в Брюсселе, в библиотеке маленького городка Braine-l'Alleud (вместе с детским писателем Успенским; по пути проехали мимо поля Ватерлоо, засаженного какими-то овощами), выступал в университете города Гент. Описывать туристические впечатления на уровне путеводителя вряд ли стоит. В четырехзвездочном отеле я долго не мог понять обилия дам колоритной внешности. Оказалось, там проходила конференция европейских проституток, точнее, *sex workers* — так они называли себя в своих манифестах, которые я с собой привез; там были и мужчины. *Sex workers of the world united!*¹. Их сменила конференция офицеров — молодые, спортивные, интеллигентного вида люди разительно отличались от наших пузатых грубых полковников. Я вообще не видел здесь толстых, накачанных, бритоголовых мужиков, которые сейчас модны в Москве, почти не видел полицейских, тем более с автоматами. В Генте, заглазевшись на башни, я чуть не столкнулся с велосипедистом — это был полицейский. Мой спутник показал мне на улице мужчину с двумя детьми: это наш министр труда. Вот когда действительно ощущаешь разницу. Гент — живописнейший студенческий город, стоянки всюду забиты велосипедами. Университетские слависты — наши эмигранты, уже недавние: один уехал в 88-м, другой в 2000-м, немало наших было среди слушателей. Вообще в Бельгии особенно много эмигрантов из аристократических семей, еще дореволюционных: предпочитали не республиканскую Францию, а монархию. В Брюсселе мои выступления переводили на французский, в Генте на фламандский. Говорят, тут есть своя национальная напряженность [...]

Б.Хазанов — М.Харитонову

CharM231
26.10.05

Дорогой Марк! Мы оставим потомкам не наши сочинения, мы оставим наши письма. Подумать только, уже 231. А ведь это лишь часть переписки, новая нумерация [...]

Уже довольно давно, с большими перерывами, я кропал — о чём уже писал тебе — что-то вроде романа; достаточно амбициозный замысел, хоть и далёкий от новизны. Написать о жизни некоего человека, начиная с детства и до какого-то неопределённого времени, близкого к нынешнему. Он ровесник автора или чуть старше. Есть черты сходства. Но это всё что угодно, кроме автобиографии, и, что ещё важнее, не есть связное жизнеописание, хотя рассказ выстраивается более

¹ Секс-работники всех стран, соединяйтесь (*англ.*)

или менее хронологически, а ряд эпизодов, иногда разделённых годами, отчасти бытовых, отчасти фантастических, насаженных на шомпол, как куропатки Мюнхгаузена. Раскалённый шомпол истории. Человек этот настолько поработён и угнетён историей, что единственная форма сопротивления, на которую он способен, — это выжить. Это «фрагменты XX века».

Тут начинается целая вереница всяческих «но» и «да нет же». Кажется, Борхес сказал, что состарившийся автор становится эпигоном самого себя. Литературная упаковка того, о чём собирался рассказывать, остаётся всё той же: в моём случае это (назовём это так) неоклассицизм. «Неоклассицистская» поэтика покоится на двух началах. Этика разума, далёкое эхо Паскаля. Знаменитая максима: *Toute notre dignité consiste en la pensée... travaillons donc à bien penser, voilà le principe de la morale*¹. Отсюда вытекает уважение к повествовательности. Это первое. Второе — презумпция стиля, требование ясного, централизованного, правильного и гармоничного русского языка. Укротить хаос жизни и кровавое беснование истории дисциплиной языка. Отсюда — суверенность художника.

Я не раз пытался для себя оправдать и обосновать это литературное кредо, например, мне казалось, что безбрежный и безответственный субъективизм исчерпал себя, что тупик современного искусства, прежде всего, конечно, изобразительного, но вслед за ним и литературы, есть следствие именно этого своеволия, этой не знающей удержки субъективности. Так хочу — и баста.

Может быть, это и верно. Но нельзя забывать, что классичность реакционна. (Правильней, может быть, сказать: консервативно-революционна.) Что от неё исходит тонкий, как папиросный дымок, аромат фашизма. И, наконец, такое искусство оказывается абсолютно *unzeitgemäß*. Или, по крайней мере, оценивается так. В нём смутно чувствуют какой-то вызов. Оно воспринимается как старческое и старорежимное, в нём усматривают аристократические претензии, оно вызывает раздражение, и в этом есть свой резон [...]

М.Харитонов — Б.Хазанову

30.10.05

[...] Твои суждения о ясности, повествовательности, о многом другом, что ты, как я знаю давно, особенно ценишь в литературе, я не без

¹ Всё наше достоинство состоит в мысли... будем же стараться хорошо мыслить — вот основа морали (фр.)

смущения примерял, например, к своему «Сеансу», да и ко многому, что я писал. Паскалевской определенности у меня ты, боюсь, не найдешь — недаром иным это мешает. В моих «Amores» есть рассказец «Бунт», там некий мозг пытается изнутри себя самого понять, что такое любовь, которая его внезапно смутила. Результат отчасти комичный, отчасти рассказчика начинает тянуть к поэзии, которая, как говорил классик, прости Господи... ну, да что цитировать?

Вообще же тут область личных склонностей, а главное, возможностей. И хотел бы иначе, да не получается. В Брюсселе я смотрел передачу с Франкфуртской книжной ярмарки, там немецкая дама рекламировала книгу Улицкой. Знаешь ли ты ее? Самая популярная сейчас повсюду писательница. Вернувшись, я стал читать ее новую книгу рассказов. Начальный тираж 75 тысяч. Ее популярность заслуженна. Эпизод зарубежной поездки у нее становится рассказом, и рассказом хорошим. Я подумал: впечатления о европейском конгрессе sex-workers, например, тоже могли бы потянуть на рассказ, я вместо этого почему-то опять сижу над стихами [...]

Вчера мы отвезли Галины работы в музей Скрябина, где в субботу открывается ее выставка. Для выставки мы заказали комплект открыток с электронных фотографий — есть, оказывается, в Москве такой сервис, весьма недорого. Получились замечательные репродукции. Еще один дар новой цивилизации. Прежде это можно было сделать только типографским способом, теперь посылаешь на фирму файл по электронной почте, открытки тебе приносят домой [...]

Б.Хазанов — М.Харитонову

30.10.05

В том-то и дело, дорогой Марк, что всё это литературное вероучение — концентрация, дисциплина, логика и гармония языка, вся эта латинская традиция — то и дело шатается. То и дело спрашиваешь себя, возможно ли теперь продолжать в этом духе. Мы вступили в возраст, когда (если переиначить слегка фразу Замятина) будущим оказывается прошлое. Условно говоря, Чехов, Борхес... До сих пор я находил для себя единственное решение: пытаться сказать о неясном ясно, гармонизировать, так сказать, абсурд.

Только что я (впервые) прочёл роман Леонида Цыпкина «Лето в Бадене», книгу, может быть, тебе известную, опубликованную с большим опозданием и на которую русская критика, кажется, вовсе не откликнулась; роман мне очень понравился, и снова я подумал о

том, что моя «классичность», если и не является в полном смысле эпигонством, то, во всяком случае, реакционна. Но ты прав: и хотелось бы иначе, да не выходит.

С Людмилой Улицкой я знаком, она очень симпатичная женщина. Романов её, к сожалению, не читал, но ценю некоторые из её рассказов. Её успех, в самом деле громкий, заслужен. Правда, рынок и массовые тиражи, кажется, начали сказываться на её работе отрицательно. Начинает давать себя знать ограниченность её художественного мира. Сделать нечто только что увиденное, будь то зарубежная поездка или что-нибудь в таком роде, материалом для свежесвыпеченного рассказа — о, нет, это не дело. Нельзя писать о том, что видишь из окна гостиницы, как и вообще нельзя писать «о жизни». Для этого жизнь должна быть прожита [...]

5.11.05

[...] По вечерам я кое-что читаю (Борис Дубин недавно прислал свою новую книгу «На полях письма»), но больше перелистываю, ключу что-нибудь то здесь, то там. На днях, вернее, в одну из ночей, когда меня донимала обычная бессонница, я взял с полки Чехова и прочёл «Дом с мезонином», вещь, которую я любил, обожал всегда, с тех пор как подростком в первый год войны читал Чехова и наткнулся на этот рассказ. Странное дело — художник гостит у помещика, неподалёку живут другие, он спорит с девушкой Лидой о земстве и «малых делах» в старой — и, как становится ясно, заколдованной — усадьбе, где виднеется белый дом с колоннами, где у ворот со львами стоят две сестры, одной 24 года, другой 17, и вечером в пруду отражается слабый свет звёзд, и пахнут георгины, — удивительное дело, — от всего этого не осталось и следа, словно прошло тысяча лет, а рассказ по-прежнему веет грустью и молодостью, и проза такова, что можно только молчать, оторвавшись от страницы, и слушать эхо её музыки.

Такие дела; впадаешь в чувствительность.

Прилагаю небольшой текст, род комментария к «Сеансу», посмотри, пожалуйста; может быть, надо что-то изменить или дополнить. Если не будет возражений, я перешлю это Мише Блюменкранцу для ближайшего выпуска «Второй навигации», где он хочет поместить твой рассказ [...]

Статья недавно умершей Сузн Зонтаг «Против интерпретации» (Against Interpretation, 1966), казалось бы, должна была раз навсегда покончить с манерой навязывать художественному про-

изведению ту или иную умозрительную конструкцию. Но излечиться от этой мании, устоять против искушения истолковывать прозу как иллюстрацию чего-то внеположного ей — непросто, и автор нижеследующих заметок отдаёт себе отчёт в том, что и его объяснениям можно предъявить подобный упрёк. Тем более что мы намеренно оставляем в стороне эстетику. И всё же каждый, кто прочтёт рассказ Марка Харитоновича «Сеанс», задумается, что сей сон значит.

Спрашивают у меня, говорил Гёте, что я хотел выразить в «Фаусте»?

Если произведение искусства не допускает множественных и даже исключаящих друг друга толкований, цена ему невелика. Подлинный художник всегда говорит немного «не о том». Мы имеем дело именно с такой прозой. На вопрос, если бы он был задан писателю: что ты хотел сказать? — ему пришлось бы задуматься. Может быть, «то», а может быть, «это», а вернее, и то, и это.

На поверхности лежит science fiction.

Некто подвергнут эксперименту с помощью особого, неслышанного устройства. Результат превосходит самое смелое воображение.

До сих пор мы изучали деятельность головного мозга объективными методами нейрофизиологии, биохимии, гистологии, цитологии; мы изучили до тонкостей строение и функции нервной клетки, научились регистрировать активность различных зон мозговой коры и даже отдельных нейронов, изучили влияние фармакологических средств на те или иные функции мозга; мы можем сказать, какому психофизиологическому процессу отвечают те или иные сдвиги электроэнцефалограммы, и так далее. К этому нужно добавить огромный клинический материал: патологоанатомические корреляции установлены для многих душевных болезней. Но внутреннее содержание психических процессов остаётся недоступным для исследователя. Другими словами, он имеет дело с психофизическими параллелями, так сказать, бежит по следам психики; проникнуть в субъективный мир человека он не может. То, что Уильям Джеймс называет барьером личности, абсолютная замкнутость сознания — непреодолима: субъективное по определению не объективируется.

И вот оказалось, что этот барьер можно разрушить: некое новейшее изобретение позволило в буквальном смысле высветлить потёмки чужой души, увидеть и осознать мир таким, каким его осознаёт Другой. Прочтёшь его мысли, расшифровать воспомина-

ния, даже направить их в определённое русло. И при этом остаться в роли объективного наблюдателя. «Настройка», «Переключение», «Соединение» — так называются отдельные главы рассказа; говорится о программах, импульсах, о «корректировании методики», «технических неполадках», «сбоях режима» и пр.

Нельзя сказать, чтобы такая беллетристическая предпосылка, основанная, как это обычно бывает в научно-фантастических повестях и романах, на отмене некоторого непреложного закона, в данном случае — закона принципиальной необъективируемости мысли, — нельзя сказать, чтобы эта находка была такой уж новой. Например, в романе Станислава Лема океан, который оказывается живым существом, способен визуализовать воспоминания астронавтов на борту космической станции, зависшей над таинственной планетой Солярис. Но автор рассказа «Сеанс», по-видимому, вовсе не настаивает на новизне своей идеи. Не говоря уже о том, что на заднем плане маячит древнейшая философская интуиция — попытки отождествить материальный мир с идеальным, преодолеть дуализм субъекта и объекта.

В том-то и дело, что это лишь предпосылка — если угодно, условность, приём. Вернёмся к началу: кто — или что — проводит этот «сеанс»? Кто проник в сознание испытуемого, кто разговаривает с ним? В самом ли деле речь идёт о техническом способе открыть незадействованные пласты? Или это высшее всевидящее око, всеведущий Разум, и экспериментатор — не что иное, как маска Бога: «И мысли, и дела он знает наперёд»? Или, наконец, это рассказ, притча — называйте как хотите — о творчестве, о том, что литература открывает писателю глубины его души, оживляет застывшую, омертвелую память, незаметно подводит к осознанию смысла жизни, глубокой оправданности всего пережитого, возрождает любовь?

«Еще бы и сны подсмотреть! — А почему бы нет? — Не наяву, конечно. — Во сне, что ли? — Это какие? — Не знаю терминов. Другая специальность. — Что-то литературное. — Может, литературное».

Кажется, слово найдено.

По Бергсону, память всеобъемлюща. Когда во сне мы видим местность или человека, о которых наяву никогда не вспоминали, это доказывает, что на самом деле мы ничего не забыли. Но «есть другие состояния». Литература, сочинительство как некий триггер, отмыкающий подвалы памяти. Сложная, на первый взгляд хаотич-

ная организация материала в рассказе Харитоновна на самом деле очень продумана, внутренне логична, замкнута и напоминает музыкальные композиции. Целая жизнь, каким-то образом уместившаяся в тесном пространстве коротенькой повести. Так рассказывают сны. Так наступают ушедшее, утраченное время, *le Temps perdu* Пруста. Так упорядочивают хаос воспоминаний, укрощают стихию невыразимого. Такую прозу (непроизвольно перетекающую в поэзию, в верлибры, местами даже в регулярный стих) нужно, конечно, перечитывать.

Нетрудно опознать в этом произведении тему, которая принадлежит к числу главных в творчестве Марка Харитоновна, прозаика и поэта, находящегося вне основного потока современной русской литературы. (Сам писатель ссылаясь на повесть «Возвращение ниоткуда», на рассказ «Бунт» в книге «Amores novi».) Попытка застать психический процесс *in statu nascendi*, во сне ли, в бодрствующем ли состоянии, зафиксировать движение мысли, неотторжимое от эмоций, колышущееся, как желе, — литературный эксперимент столь же рискованный, как и денатурация белка в органической химии. Искусство так или иначе денатурирует действительность, искусство и реальная действительность находятся в соотношении, похожем на принцип дополнительности Нильса Бора, и не зря в финале рассказа «Сеанс» мерцает догадка, что любовь есть в конце концов порождение искусства. Борис Хазанов

М.Харитонов — Б.Хазанову

6.11.05

Могу только поблагодарить тебя, дорогой Гена, за умный, содержательный комментарий. Чего еще может желать автор? [...]

У нас последняя неделя была отчасти занята хлопотами по устройству Галиной выставки в музее Скрябина. Обзванивая знакомых, Галя время от времени узнавала, что у кого-то случился инсульт, у кого-то инфаркт, у кого-то обнаружен рак, у кого-то неприятности с позвоночником. Знакомые-то в возрасте. Вчера прошел вернисаж, можно немного расслабиться.

Я тем не менее сумел оформить два новых верлибра. Посылаю их тебе — с благодарностью за твой текст. А пока обнимаю тебя.

Марк

Дар

— Прими несравненный дар: тебе дается способность
Во все проникать сквозь покровы, под шелуху шелестящих,
Обманчивых, как улыбки, слов, угадывать за молчанием
То, что осталось несказанным. Черты неприкрашенных лиц
Проступят под нарисованными. Тебе откроется правда.
Вдруг обнаружишь пропажу, поймешь, что был обокраден
Тем, кто казался другом. Ты, наконец, узнаешь,
С кем тебе изменяла та, кого ты любил...

Постой, не спеши с благодарностью. Это не все. Ты сумеешь
Заглянуть в себя самого, больше не будешь, как прежде,
Малодушно лукавить с собой, отворачиваться, зажмурясь,
Лишь бы не видеть, не признавать жизни, как она есть,
Фальши, блевотины, крови, перестанешь тешить себя
Выдумками, увертками, довольствоваться обманом.
Трезвость сродни бесстрашию — только она позволит
Ощутить эту жизнь сполна — кожей, ноздрями, нутром.

— Не надо, твой дар не по мне, возьми его лучше обратно.
К чему непосильная правда, когда ничего отменить,
Изменить, переделать не можешь? Только сойти с ума,
Головой биться о стену. Оставь мне способность и дальше
Обманываться безоглядно, верить тем же словам,
Завереньям в любви и дружбе...
Говоришь, уже поздно? Тогда
Лиши меня зрения, слуха, сделай меня дурачком,
Чтоб мог умереть, как жил, с блаженной сплюнявой улыбкой.

Впервые

1

В теплом тумане сиянье улыбки — впервые.
Голос возник, отделился от музыки вод, от биенья Вселенной.
Неблагополучие мира, как непонятная боль — прорезались зубы.
Слово соединилось со смыслом. Нерукотворное чудо
На рукавице становится каплей. Запах хвои в тепле
Оттаивает ожиданием подарка. Покачивается, набухает
На конце соломинки радуга. Майский жук посылает
Депешу в ухо из коробка: с тобою будет впервые.
Все, чего еще не было. Выведешь первое имя
На стекле по дыханию пальцем. Будет первая встреча,
Прикосновение, страх обнаженности, потрясение, дрожь.

2

Это мы уже знаем, повторяется снова и снова
То же, что и у всех: голоса, объясненная боль, однообразие
Снежных кристаллов. Присмотревшись, увидишь опять
Те же узоры, вариантов немного. Те же талые капли сливаются
В лужи, дождь вздувает на них пузыри — незачем различать.
На запотелом стекле, (вставленном вместо разбитого),
Расплывается имя. Все знакомо, понятно: еще одна встреча,
Прикосновение, зябкая дрожь, страх, обнаженность, усталость.
Дети играют в песочнице. Маленький заговорщик, сияя,
Протягивает коробок: поднеси его к уху, послушай.
Усмехаешься утомленно: слышал, слышал уже.

3

Впервые, все только впервые, опомнись, очнись — ты живешь.
Такого, как ты, еще не было, ты для того был и создан,
Чтоб обновлять этот мир ежедневно, соединять на стекле
Тепло своего дыхания с еще неотчетливым чувством,
Перебирая набор запыленных, давно всем известных слов,
Их протирать, обновлять, составлять магический шифр —
Возвращать первозданную яркость краскам, запахам, звукам.
Первые пробные капли — виртуоз слегка прикоснулся
К клавишам мостовой, поют водосточные трубы.
Пузыри на сияющих водах набухают, ликуют.
Сонная поволока смыта с листьев, травы, с лиц.

Б.Хазанов — М.Харитонову

13.11.05

Дорогой Марк, тринадцать — скверное число, но ведь и остальные числа не лучше; как бы то ни было, сегодня, кажется, ничего особенного не происходит, наша осень затянулась, с утра туман, тишина, воскресенье [...]

Из двух стихотворений — «Дар» и «Впервые» — мне больше понравилось второе, с его поразительным ощущением детства («майский жук посылает депешу в ухо из коробка» — чудесно сказано), но у меня снова возникают сомнения относительности жизнеспособности верлибра, русского верлибра. Этот стих висит на кольях ограды между «настоящими», регулярными стихами, рифмованными или нерифмованными, и честной прозой, ранит себя о колючую проволоку. Если вернуться к твоим вещам, то «Дар», где до предела сжата сильная и нетри-

виальная мысль, выдаёт, как мне кажется, свою прозаическую природу нагромождением громоздких слов, частью гипердактилических и от которых никуда не денешься, они в природе русского языка. А с другой стороны, для таких самоуглублённых вещей-раздумий, если они не встроены в более обширную прозу, а ведут самостоятельное существование, действительно нужен особый жанр, и какой же, если не верлибр [...]

М.Харитонов — Б.Хазанову

16.11.05

Дорогой Гена, близость некоторых моих верлибров к прозе отрицать не приходится, и все же это не проза. Вот я сейчас открыл в твоей антологии классический верлибр Брехта: кажется, можно бы выразить ту же мысль в публицистическом эссе. Нет, ту же не получилось бы. Я как-то цитировал Бродского: поэзию отличает от прозы концентрированность мысли. Хорошо ли, плохо ли получается — другое дело.

Знаешь, я иногда читаю рифмованные стихи современных авторов, и они мне все чаще кажутся разжиженными, расслабленными. В Бельгии, как я тебе уже писал, один переводчик заинтересовался моими верлибрами: рифмованные стихи, сказал он, у них сейчас не очень воспринимаются, тем более в переводе. Там проходил конкурс на перевод стихов Пушкина: голландская версия нашего великого классика вызвала, по словам этого переводчика, насмешливое недоумение: слащавый, сентиментальный, неглубокий версификатор. Ну, принципиальная непереводаемость Пушкина — дело давно известное. А на глухих стенах в Генте он показал мне верлибры современных поэтов: способ украшать здания и заодно приобщать людей к поэзии на ходу [...]

Б.Хазанов — М.Харитонову

16.11.05

[...] Стихотворение Брехта «Wirklich, ich lebe in finsternen Zeiten»¹ я прочитал впервые в Есеновичах, где мы с Лорой врачевали после института, в начале 60-х, и оно мне сразу запомнилось, поразило меня и тем, насколько оно было созвучно нашей судьбе и моей судьбе, моему существованию с волчьим билетом и «делом», которое никуда не девалось (да и сейчас никуда не делось), — и этими переносами, переборами фразы, совершенно новыми для меня тогда.

¹ Право, я живу в мрачные времена (нем.)

Не только в Бельгии, но и французская, и немецкая поэзия, и уже давно англо-американская поэзия (по крайней мере начиная с «Листьев травы» Уитмена, насколько мне известно) отказались или почти отказались от регулярного стиха и рифмы. В немецком мире это, по-видимому, окончательно совершилось, и то не сразу, у Целана, то есть окончательно добит традиционный стих. Рильке в «Дуинских элегиях» подошёл почти вплотную к верлибру, и всё-таки это ещё не верлибр. Что касается современных немцев, то всё, что мне приходилось читать, включая известных поэтов (например, Райнера Кунце, да и других), — царство свободного стихосложения.

А вот насчёт русской поэзии... Мощь и витальность традиции оказались необычайно велики. Некоторые свойства языка: эллиптичность, свободный порядок слов, чрезвычайно разнообразная морфология слов, коротеньких, средних, очень длинных — с любым количеством слогов, разнообразие ударений и, наконец, совершенно неисчерпаемый арсенал рифм сделали то, о чём писали ещё в середине позапрошлого века, — кажущуюся лёгкость традиционной версификации. Такой язык как будто создан для песен, а через них и для правильных, строго ритмических и оперённых рифмой (как сказал Пушкин) стихотворных строк. Кроме того, верлибр отстраняет изумительную изошрённость, изысканность, аристократизм русского стиха и оттого кажется каким-то отступлением, шагом назад. Мастеров верлибра в русской поэзии, кажется, почти нет. Хотя два известных стихотворения Блока прелестны. Есть ли будущее у русского верлибра? Вопрос.

Что касается утверждения, будто поэзию выгодно отличает от прозы концентрация мысли, то мы об этих материях уже толковали: позволительно, я думаю, усомниться в словах Бродского (мысль, конечно, не новая. Для меня они — проявление поэтического шовинизма). Чаще всего, впрочем, речь идёт не о концентрации, а об усечении [...]

М.Харитонов — Б.Хазанову

20.11.05

Не мне, дорогой Гена, рассуждать о стихе свободном и регулярном. Я уже где-то писал, что способность изъясняться в рифму всегда казалась мне даром особым. Конечно, рифма и ритм нередко позволяют объявлять поэзией что угодно; но они же несут в себе необъяснимое волшебство, музыку, переключки, обогащающие смысл. Да что говорить! Я просто так не умею. Просто способ, которым я пользуюсь, позволяет мне выразить что-то, чего по-другому не получилось бы [...]

30.11.05

Давно ничего не получал от тебя, дорогой Марк [...] Что это за перевод, над которым ты истощаешь свой мозг? Приносят ли переводы вообще какие-нибудь деньги? В былые годы здесь я тоже много занимался переводами для заработка. Да и в Москве, Бог ты мой, сколько я напереводил всякой всячины, сколько времени ухлопал на Лейбница, его необъятную философскую корреспонденцию, корпел над письмами-трактатами и на ночных дежурствах в больнице, и в рисовальной школе, куда возил сына, на подоконнике, и вообще где придётся, перевёл 22 листа за смехотворный гонорар, а потом унижительно выколачивал его в бухгалтерии издательства «Мысль». В конце концов эти тома вышли, в первом или в первых двух, не помню точно, ещё стояла моя фамилия, а в третьем — просто «перевод с французского», кто перевёл, неизвестно, — ибо эти крысы не замедлили уведомить издательство о том, что я должен отчалить, а может быть, и сами философы-редакторы струхнули, узнав от кого-то о моих обстоятельствах. А работа устного переводчика с трёх языков в Центральной медицинской библиотеке для сочинителей диссертаций, за 60 копеек в час — бу-бу-бу, целыми часами, словно живая машина, — смешно и горько вспомнить.

И вообще, сколько труда и усилий в прежней жизни было ни к чему, пошло прахом.

Мы с Лорой каждый день ездим в клинику для облучений. Хорошо, что хоть врачебная касса берёт на себя часть расходов на такси. В остальном жизнь пока довольно монотонная [...] Я сочинял разные мелочи, несколько рассказиков, рецензию на книгу Дубина «На полях письма», что касается романа, то он, кажется, окончательно зачах. Самая очевидная причина — гнусная старость. Но, может быть, дело не только в этом. Временами я совершенно теряю интерес к своей затее. Бывает, что замысел кажется великолепным, вдохновляющим, а как дошло дело до исполнения... Медуза переливалась красками радуги в воде, стоит её выловить — комок бесцветной слизи. Несостоятельность самого проекта.

Роман должен был называться «Вчерашняя вечность, фрагменты XX века», представлял собой отважную попытку соединить несоединимое: биографию с историей.

Странно, что никто (по-видимому) не задумался всерьёз, почему наш пророк потерпел фиаско с «Красным колесом». (На мой взгляд,

довольно безвкусное название.) Замысел был пограндиозней «Войны и мира». Считалось, я, по крайней мере, так думал, что идеолог пожрал художника; было видно, что писателя погребла под собой лавина документального материала; что приёмы письма и прежде всего чудовищный язык сами по себе сделали эту прозу нечитабельной; что, оставаясь в веригах устарелой поэтики, романист спасовал перед областью действительности, запредельной его собственному жизненному опыту; к этому я добавил бы неумение создавать женские образы, коренной порок Солженицына. И так далее; всё это так, но дело не только в этом. Дело, по-моему, очень ясное, и странно, повторяю, что никто внятно об этом не сказал. Фатальной ошибкой была презумпция архаического жанра. Амбициозный проект всеохватной исторической квази-народной эпопеи à la Лев Толстой (вот кто поистине навис огромной тенью над русской литературой), где судьба героев должна была выглядеть как отражение и часть истории, — этот проект был обречён, что называется, in пусе. Кому нужна эта история в лицах? Хочешь не хочешь, а их роль становится функциональной. Они кого-то «представляют». Многоосная музейная колесница с паровым котлом, неприспособленная для современных дорог и скоростей, ползла еле-еле и, наконец, стала. В который раз пришлось убедиться, что время монструозных эпопей прошло совершенно так же, как «умчался век эпических поэм».

Конечно, — если вернуться к моей затее, — я не имел в виду что-либо похожее. Что мне Гекуба? Я живу в другом мире — и литературном, и реальном. (Как и ты, я думаю, живёшь в другом мире.) Я поддался другому искушению. Но результат подозрительно схож: потеря живого человека, или, лучше сказать, потеря человеческой души. Положим, это действительно «фрагменты», выхваченные наугад куски времени, скреплённые чьей-то индивидуальной судьбой, как рёбра и позвонки мамонта скрепляются проволокой и получается скелет. Но от этой злополучной функциональности, иллюстративности невозможно никуда деться [...]

М.Харитонов — Б.Хазанову

2.12.05

[...] От перевода я, слава Богу, отделался, пришлось помучиться [...] С облегчением вернулся к своим баранам, оформил еще два верлибра. Как бы ни судить об этих моих опытах, меня радует возможность хоть что-то иногда завершать, что-то выразить. Мелкие тексты в совокупности могут сказать не меньше, чем роман, они сами выстраи-

ваются в своего рода роман — роман прожитой жизни. Пастернак считал свой роман не только работой вершинной, итоговой, ему казалась по сравнению с ним несущественной вся предыдущая поэзия. Я, мягко говоря, с ним не могу согласиться.

Солженицын свою грандиозную эпопею затеял, по его собственным словам, отчасти еще потому, что кроме писателя, просто некому было осмыслить историю Февральской революции. В стране, где не было ни самостоятельных историков, ни экономистов, ни парламентариев, только литература могла делать хоть что-то за них. Даже обсуждать проблемы сельского хозяйства — мы еще помним эту прозу. Но когда проект был в разгаре, вдруг и профессионалы получили возможность высказаться, художественная же история в лицах оказалась, как ты верно заметил, не совсем делом литературы. Поражение бывает не менее грандиозным, чем замах [...]

Б.Хазанов — М.Харитонову

16.12.05

[...] Моя литература существует клочками, урывками, время от времени я принимаюсь за переписывание старого, всегда находишь какие-то ляпы, недоделки. Начертил даже между делом небольшой рассказец. Но невозможно отвязаться от подозрения, что всё это — только уловки, лишь бы не заниматься романом. Когда я перечитываю от начала, он мне даже почти нравится; вроде бы ничего; но чем ближе к «современности», тем всё хуже.

Продолжаются посиделки, примерно раз в месяц или немного короче, на которых я вещаю о литературе: род невинного развлечения. А вчера был даже вечер в зале Еврейской общины, собрались люди частью мне знакомые, по большей части незнакомые. Все они приехали в Германию в последние пять, восемь, самое большее десять лет, большинство из Киева или Харькова. Четвёртое поколение советских эмигрантов; конечно, уже не изгнанники, но — никуда не денешься — эмигранты. Когда-то я очень много читал или вещал перед немецкой и австрийской публикой, теперь всё это в прошлом [...]

18.12.05

Дорогой Марк, когда я думаю о литературе (например, в связи с посиделками, о которых писал тебе позавчера), то мне кажется, что пора бы уже пересмотреть свои представления об этом предмете,

«убеждения», которые мало помалу становятся чем-то заученным, — но потом всегда оказывается, что я невольно съезжаю на старые рельсы. Есть и другое: мысли, которые некогда казались важными, если не новыми, понемногу превращаются в «материал»; ими можно уснастить, на правах полухудожественного эссеизма, прозу, собственная же их ценность — нечто не столь существенное. Проза беспринципна — это тоже, впрочем, давнишняя мысль.

Пытаюсь сдвинуть с места свой злополучный роман, если его вообще можно назвать романом. Так сдвигают с места железнодорожный вагон, я научился этому в лагере. Толкают руками, — это делает один человек, — толкают, толкают, пока, наконец, по известному физическому закону, громадина не начнёт раскачиваться, и глядишь, поехала, надо только идти сзади и слегка подталкивать одной рукой, чтобы не остановилась, а при малейшем уклоне — суметь вовремя остановить. Приходилось мне и спастись от наезжающего вагона [...]

У нас с тобой накопилась довольно обширная корреспонденция. Что если бы мы отобрали некоторое количество писем и попытались бы сделать из них книжку. Не заинтересовал бы такой проект, допустим, издательство НЛО, выпускавшее «Способ существования» и «Стенографию конца века»? [...]

М.Харитонов — Б.Хазанову

20.12.05

[...] У нас уже зима, снег, я понемногу хожу на лыжах. В работе у меня очередная пауза [...] Но, как сказал один академик-физик своим сотрудникам: не все же работать, надо иногда и думать. Чем я с удовольствием и занимаюсь. Перечитываю разные книги. Среди прочих, например, Борхеса — еще раз убедился, как много у тебя с ним общего. Вот, кстати, писатель, у которого прозу не отделить от эссеистики [...] А могу вспомнить, скажем, весьма популярного и увлекательного Кундери, который в романе «Бессмертие» перемежает повествование эссеистическими отступлениями о Музиле, называя его своим учителем. Не говорю о самом Музиле. У читателей и критиков могут быть разные вкусы, меняются предпочтения, моды, за развитием литературы надо следить, как и за развитием жизни, меняешься поневоле — но остаешься при этом самим собой.

Вспомнился один давний стишок, я подумал, что у нас сейчас схожее состояние — и захотелось посвятить его тебе:

Б.Х.

Опустошены закрома. Бесплодное время,
Невыносимый простой. Безделье смущает,
Как бессилие — неспособность постыдна.

Благослови эту паузу, передышку,
Промежуток, ожидающий наполнения,
Безмолвие после звука, предвестие звука.

Дышат пустоты, поры уже открыты,
Готовы впитывать соки — вот они подступают,
Поют, поднимаются от корней. Будет цвести.

Если ты ничего не имеешь против — прими это рождественское подношение [...]

Я тоже как-то подумал, что наша переписка могла бы представить некоторый литературный интерес, но без спонсора на издание вряд ли можно рассчитывать. Скомпоновать какую-то книжку впрок все равно, конечно, стоило бы, у тебя уже есть опыт подобных публикаций. Но у меня сейчас, боюсь, на это не хватит работоспособности, тут мне с тобой не сравняться. Я и расшифровку оставшейся стенографии все откладываю, а без меня ее никто не прочтет. Новую, «Стенографию начала века», расшифровываю по ходу дела, кое-что даже публикую [...]

Б.Хазанов — М.Харитонову

21.12.05

Сегодня самый короткий день в году. Глухой, серо-белый, полумимный день. В городе всё постепенно затихает. Спасибо, дорогой Марк, за маленький рождественский подарок — маленький, но ценный. Конечно, мне приятно и лестно увидеть мои инициалы перед этим стихотворением. Я воспринимаю его как призыв не вешать нос, но его содержание и глубже, и универсальней.

Насчёт Кундеры (которого я читал главным образом в немецких переводах, а книгу «Преданные завещания», чисто эссеистическую и которая меня весьма заинтересовала, ещё до того, как она была здесь переведена, то есть читал по-французски) я так и не мог решить, хороший ли он писатель или не совсем. В нём, безусловно, есть очень много привлекательного. Можно понять, почему он стал так знаменит, хотя, с другой стороны, именно это и смущает. Кажется, что он почти

не требует от читателя встречных усилий, не предъявляет к нему никаких требований. В этом можно подозревать известный расчёт. Его вещи всякий раз производили на меня впечатление безупречно выполненных, имеющих замечательный товарный вид изделий из синтетики. Эссеизм? Самый известный роман, «Нестерпимая лёгкость бытия», начинается, несколько нарочито, с рассуждений по поводу философии вечного возвращения.

Совсем другое дело Борхес, и ты совершенно прав: я и сам замечал *post factum*, вернее, *post scriptum*, что подчас вольно или невольно подражал Борхесу или, по крайней мере, испытал его магнетическое действие. Это писатель исключительной красоты — красоты мысли и исполнения. Надо и то сказать, что он превосходно переведён Дубиным, Ярцевой-Кулагиной, Багно и другими [...]

Хорошо понимаю, что мысль издать переписку неосуществима [...] Спонсор, — где же его взять. Да и кто станет поддерживать проект такого рода, ведь это всё та же философия [...]

24.12.05

Дорогой Марк, я послал тебе целых два письма, не дождусь ответа. Сегодня в Германии канун западного Рождества, *Heiliger Abend*. Все сидят по домам, целыми семьями, и свет горит во всех окнах. Мы с Лорой не то чтобы празднуем, но всё же угостились уткой, купленной на известном тебе, знаменитом *Viktualienmarkt*, и превосходным вином с берегов Роны, которое подарил мне сын винодела в мае, в городке Карпантра. Ну, там ещё *Plätzchen* (рождественские домашние коржики, присланы, как всегда, из Эссена вдовой Уве Графенгорста), и так далее. Внешние (политические) новости ужасны, то, что слышится из России, тоже не особо веселит, а жизнь между тем идёт — и уходит.

Настроение смутное, пробовал что-то записывать, проглядывал старое. *Lesen*? У меня лежит толстая биография Пруста *J.-Y.Tadié*, том дневников Андре Жида, но это тоже скорей поглядывание и поклёвывание то там, то здесь, нежели правильное чтение. Можно рассматривать такое времяпровождение как погоню за упрыгавшей птицей вдохновения. Странное дело: я пытаюсь вспомнить, какие книжки (беллетристические) я в последнее время прочёл как положено, то есть от начала до конца, и на ум приходят лишь «Весна в Бадене» Леонида Цыпкина и (но уже довольно давно) романы Гайто Газданова. А также повесть «Возвращение» некоего Б.Хазанова, которую я читал Лоре вслух на сон грядущий [...]

Обнимаю тебя. С наступающими праздниками вас обоих!

М.Харитонов — Б.Хазанову

30.12.05

С наступающим Новым годом, дорогой Гена! Пусть развеются над вашим семейством все беды, и станет светлей!

Я понемногу читаю, думаю, хожу на лыжах. Несколько дней назад дочка дала мне знаменитую английскую книгу Dan Brown. The da Vinci code, 600 страниц убористого шрифта. Я начал читать — и уже не смог оторваться. Virtuозный интеллектуальный детектив, в каждой главе неожиданный поворот, затягивает. Мне осталось меньше половины, может быть, до Нового года сумею закончить. Надо от этого чтения освободиться, а то ничем другим заниматься не могу. Вот когда жалею, что овладел только стенографией, но не скоростным чтением. Я был свидетелем, как читал Кома Иванов, с которым мы были прежде дружны. Он как-то пригласил меня на спектакль в свой Институт славяноведения и балканистики (артисты играли «Стулья» Ионеско, в обычном театре этого тогда нельзя было показать). Перед началом спектакля к нему подошла аспирантка и попросила прочесть ее работу. Я сидел рядом, он при мне ее полистал, держа так, чтобы я тоже видел. Это была статья о поэзии, помнится, Тракля, стихи цитировались по-немецки, но я не успевал прочесть даже двух-трех строк, он перелистывал. В антракте она подошла, спросила Кому, когда он может дать ей отзыв. «А я уже прочел, — сказал он — и сделал несколько деловых замечаний по тексту. Завидная способность. Не знаю, правда, как воспринимается на такой скорости текст не научный, а художественный. Мою прозу он, во всяком случае, не воспринимал, что не мешало нашим добрым отношениям. Мне вообще иногда казалось, что в произведении искусства его больше всего интересуют знаковые системы, культурные переключки, ассоциации, аллюзии — эрудиция его беспредельна. У него, кстати, есть большая работа об Эйзенштейне, который тебя тоже интересовал — это разбор не произведений, а концепций, замыслов, интеллектуальных построений.

Будь здоров, дорогой Гена, и всего самого наилучшего Лоре. Привет и новогодние поздравления вам обоим от Гали. Обнимаю, Марк

2006

Б.Хазанов — М.Харитонову

CharM241
1 января 2006

Ну вот, дорогой Марк, не успели привыкнуть к цифре 2005, как стрелка года перескочила на следующее деление. Совершилось это,

как всегда, под хлопанье ракет и фейерверк над крышами и деревьями. Минувший год был ужасен. Мы с Лорой выпили шампанского. Утром тишина, потепление, снег изрядно подался, гуляют вороны, прыгает чёрный дрозд. Бавария-4 передаёт концерт Моцарта, фортепьянный К 450. В Германии начался год Моцарта [...]

Интернет поместил «Итоги литературного года», статья знаменитого критика А. Немзера. Он выделил как особо выдающиеся романы «Петрович» Олега Зайончковского, «Завещание Гранда» Леонида Зорина, «Они» Алексея Слаповского — известно ли тебе что-нибудь об этих произведениях или хотя бы об авторах? Есть в этом мемориале и ещё несколько книг, стихи Кибирова, детективный роман Мариэтты Чудаковой, с которой я однажды познакомился на ярмарке — замечательная женщина. Упомянут новый роман моего доброго знакомого и в какой-то мере протеже (вилла Вальдберта) Алана Черчесова «Вилла Бель-Летра». Я его не читал, Аннелоре Ничке отзывалась о нём, в отличие от двух прежних книг Алана, которые она переводила, отрицательно.

Последнее время я пытался с великими трудами продолжать затеянное. По заказу, которым почтил меня редактор «Иностранной литературы», написал рецензию на новую книгу Бориса Дубина, затем последовала просьба написать что-нибудь для свободного раздела (не помню сейчас, как он называется). Посылаю тебе этот текст, где, правда, ты услышишь старые попевки.

С Новым годом!

Крепко обнимаю. Г.

М.Харитонов — Б.Хазанову

2.1.06

Представь себе, дорогой Гена, я все-таки дочитал до конца года 300 английских страниц — все больше чувствую, что сюжетные хитросплетения закручиваются и разрешаются автором произвольно, и уже пропуская необязательные описания, подробности, отступления. Как раз в последнем своем рассказе, если помнишь, я писал о разочаровании, которое чаще всего испытываешь, заканчивая детектив. Но чего я от себя не ожидал — что смогу так проглотить английский текст, почти не заглядывая в словарь. Говорить по-английски я не могу.

Действие книги начинается в Лувре и продолжается в разных местах Парижа — мне знакомо необъяснимое очарование этого города, о котором ты пишешь. Что до суждений о конце романа, каким он

должен или не должен быть — меня это, честно говоря, никогда особенно не занимало. Вот сейчас я, не занятый работой, стал перечитывать «Сто лет одиночества» Маркеса, «Мастера и Маргариту» Булгакова — у каждого своя идея порождает свой мир, без оглядки на Джойса или Толстого. Литературовед в моем «Сундучке» попытался разобраться в хаосе фантиков — так стало выстраиваться повествование, необычное и неожиданное для самого автора. Чья тень нависала над твоим «Часом короля»?

Увы, сейчас у меня новых существенных идей пока нет — впервые за долгое время. Так, брезжит что-то. Думаю, ищу подсказки, стимула в чтении. Книг, которые ты перечисляешь, я не читал, но некоторых авторов знаю и ничего особенного от них, признаться, не жду. Разве что чудо, как выразился у Булгакова мастер. К Немзеру я отношусь с симпатией, но оценкам его не очень доверяю. Ты читаешь больше моего, дай знать, если что блеснет.

Впрочем, что значит «нет идей»? Вот, дней десять назад я оформил небольшой стишок. Не знаю, насколько всерьез ты относишься к моим опытам в этом жанре — но почитай.

Тот же сон...

Тот же сон: подхожу опять к тому же старому дому.
Значит, он еще существует, еще не снесен — деревянный
Среди неузнаваемых новостроек, бетонных многоэтажек.
Облезлый забор, остатки сухого сада, косая калитка,
Мама смотрит в окно куда-то, не удивляясь, не отмечая
Моего появления — чем я так необъяснимо смущен?
Значит, все-таки знал, что она продолжает тут жить.
(Воспоминание недостоверного сна: будто дом этот снесен,
Будто ее уже нет.) Так долго не приходил. Что-то понял не так
Или постыдно забыл. Как теперь объяснить, объясниться,
Вспомнить, зачем я пришел, что ей хотел сказать?
Надо хоть принести воды — но где же теперь колонка?
Смотрит мимо меня, блик на оконном стекле закрывает лицо.

О, безнадежность сна! Невозможно в нем задержаться,
Невыносимо проснуться, томясь неясной виной,
Недостоверной надеждой наконец подтвердить, убедиться,
Снова попасть туда.

В тот же сон. Деревянный дом почернел,
В окошко никто не смотрит. На последней петле калитка,
Провалилась ступенька крыльца. Надо ее починить...

Нет, я пришел не за этим, я вспомнил — сообразил, наконец,
Почему столько лет не доходят долгожданные письма:
Их приносят по прежнему адресу, продолжают бросать
В старый почтовый ящик. Ключ, как в сказке, подходит.
Смяты газеты, конверты, вываливаются, выпирают.
Сколько успело вместиться! Назад уже не запихнешь.
Адреса, имена припоминаются смутно, малопонятны
Запоздалые новости, предложения — даже не подозревал,
Сколько было упущено в жизни и уже не имеет значения...
Корешок извещения... почерк мамы — вздрогнуло сердце:
«В посылке письмо, там сказано все, получишь на почте».
Но где же старая почта?

О, неизбежность сна!
Не удержаться, не разрешить — только опять проснуться
С бьющимся сердцем, надеждой хоть что-то поправить,
Повторить, объяснить, объясниться, снова вернуться туда,

В тот же сон...
[...]

Б.Хазанов — М.Харитонову

8.1.06

Дорогой Марк, конечно, когда роман (или рассказ) обретает внутреннюю необходимость, начинает жить по собственным законам, рефлексия о нём, о прозе вообще перестаёт быть инородным белком, но усваивается организмом, другими словами, подчиняется художественным задачам и становится частью целого, того, что ты называешь собственным миром. Роман сам диктует и отбирает. Роман насмехается над литературным критиком, которому рефлектирующая словесность чужда и непонятна. По крайней мере, я надеюсь на то, что философствование может стать компонентом художественности. Получается ли это, неясно, об этом если и можно судить самому, то много позже, задним числом, когда уже дистанцировался от написанного. Так или иначе, мне порой трудно отказаться от рассуждений, и, пожалуй, я, действительно, ищу оправдание этому, ищу поддержку в новой западной литературе (собственно, давно уже не новой). В «Фальшивомонетчиках» такая рефлексия даже удвоена, если включить сюда «Дневник “Фальшивомонетчиков”».

Вообще же, независимо от конкретных литературных задач, от писания, меня всегда интересовали некоторые проблемы «теории», отнюдь не все, но именно те, которые связаны с построением романного мира, с его онтологией. Относительность романной действитель-

ности, романного времени, точка или точки отсчёта, кто это говорит, чьими глазами мы смотрим на вещи, и т.д. Что касается всяческих отпеваний романа (последний раз это делалось на страницах журнала «НЛО», лет пять тому назад), то я всегда думал и думаю, что роман умрёт тогда, когда умрёт человек.

Я прочёл и перечёл «Тот же сон...», стишок, как ты его называешь. Если бы я не принимал твои вещи «в этом жанре» всерьёз, очень даже всерьёз, я бы не стал их обсуждать. Сказал бы: спасибо, и будь здоров.

Это очень хорошее стихотворение, я бы сказал, хватающее за душу. Мне показалось, что ритмически оно как-то не сразу раскручивается: вначале чувствуется (как некий атавизм) присутствие прозы. «Не отмечая моего появления». «Чем я так необъяснимо смущён». «Она продолжает тут жить». «Воспоминание недостоверного сна». Дальше уже начинается поэзия. Сюжет очень в моём вкусе [...]

М.Харитонов — Б.Хазанову

11.1.06

[...] Дошла, наконец, твоя книга, спасибо — и поздравляю еще раз. Роман и некоторые рассказы я уже читал. Начал читать «Возвращение» — в какой-то момент и тут что-то показалось знакомым: сны о возвращении, о страхе, о безнадежно больной стране, о невозможности примириться с историей. А кое-что знакомо биографически: эпизоды с соредактором Климом. Интересно, что на Украине есть правозащитное издательство.

Пришло письмо от «Зарубежных записок». Гонорар был для меня приятной неожиданностью. Небольшой, но все-таки. Пригласили сотрудничать дальше — я ответил, что готов.

Вдруг подумал: а не предложить ли этому или какому-то другому (желательно гонорарному) журналу подборку нашей переписки? До книги когда еще дойдет, опыт публикации в периодике у тебя уже есть

Я за прошедшую неделю накопал аж сразу шесть верлибров, теперь так же вдруг сразу иссяк. Буду опять думать о прозе [...]

Б.Хазанов — М.Харитонову

14.1.06

Дорогой Марк, [...] пришли мне твои последние стихотворения, все сразу или по частям — как тебе удобней. Не находишь ли ты, что приблизилось время составить книжку верлибров? Надо придумать название. Вот только кто сможет её издать?

Тот же вопрос задаёшь себе по поводу твоего предложения опубликовать избранную переписку. Конечно, было бы лучше всего сделать книгу. Видимо, это невозможно — или?.. Другой вопрос, если бы она всё-таки была издана: кто её станет читать? Когда мы с Джоном Глэдом выпустили «Допрос с пристрастием» — электронную переписку, слегка стилизованную под допросы мнимого следователя госбезопасности, о писательстве в эмиграции, а заодно о литературе вообще, — в России, насколько мне известно, появился единственный отзыв Г.Ермошиной, да и то лишь потому, что я звонил ей по просьбе Джона в Самару. Книжка вроде бы продавалась, но не думаю, чтобы кто-нибудь её прочёл.

Ты говоришь о подборке для журнала. В принципе подобрать тексты нетрудно: у меня хранятся все письма последних лет в компьютере и, возможно, некоторые старые в каких-нибудь папках. Кроме того, можно было бы запросить Гарика Суперфина. (У него, кстати, в Бремене богатейший архив русской литературы и прежде всего архив литературной эмиграции Третьей волны, какого, надо думать, нет ни в Америке, ни тем более в России.) [...]

Насчёт повести «Возвращение», о которой ты упомянул: весь сюжет, конечно, выдуман, но, как это обычно бывает, использованы реальные кулисы. Клим, как ты верно угадал, может напомнить о покойном Крониде [...]

М.Харитонов — Б.Хазанову

17.1.06

Ты поощряешь меня, дорогой Гена, я продолжаю показывать свои верлибры, даже послал сразу два цикла Ларисе Щиголь, и ей вроде понравилось. У меня их набралось уже больше сотни. Издать книжку, вообще говоря, не проблема — за свой счет или за счет друзей-меценатов. Так делают большинство начинающих поэтов, и не только они. Так начинали и Пастернак, и Мандельштам. Кстати, о заголовках: у Пастернака книга называлась красиво: «Близнец в тучах» — он был тогда близок к футуристам, у Мандельштама просто «Камень», и это не делало ее хуже. В «Возвращении» ты объясняешь редакторское отношение к заголовкам: надо, чтобы они сразу не говорили о содержании, для этого есть подзаголовок.

Посылаю тебе два заключительных стиха из шести. Последнюю строку знаменитого 66-го сонета Маршак перевел так: «Но жаль тебя покинуть, милый друг». У Пастернака, пожалуй, ближе к Шекспиру:

«Да другу будет трудно без меня». У Маршака жалость скорей к себе. My love — любимый, любимая. Английские существительные не имеют рода. Наверно, давно обсуждались гомосексуальные толкования, я их не знаю.

Над строкой Шекспира

*Save that, to die, I leave my love alone¹
Shakespeare, Sonnet 66.*

Ничего не поделаешь, это известно заранее,
Неизбежного не избежать, только клянуть отсрочку,
Философски грустить — и это входит в программу,
Искать утешения, смысла: вдруг что-то будет потом,
Хотя подтверждений нет. Надежней другая мысль:
Покуда ты есть — нет смерти, когда же наступит она,
Не будет тебя. Хорошо б без особых мучений.
Но это уж как получится. Жалко оставить тебя,
Погорюешь, конечно, прости.
Не остаться бы без тебя —
Вот чего не могу без ужаса даже представить,
Вот о чем продолжаю беззвучно молиться, твердить
Малодушное заклинание: только бы раньше тебя.

Обнимаю тебя. Будь здоров. Твой Марк

Б.Хазанов — М.Харитонову

18.1.06

Конечно, дорогой Марк, возможный адресат сонетов обсуждался не раз, одна из кандидатур, если не ошибаюсь, — молодой граф Саутгемптон. Но существует и другое мнение: сонеты — чисто литературная стилизация в манере эпохи, обращены к воображаемой героине или условному герою. Есть ещё, как ты помнишь, the dark lady of sonnets². Так названа пьеса Бернарда Шоу, где «смутная леди» — сама королева Елизавета. Можно добавить, что по-русски «моя любовь» — женского рода; напрашивается женщина.

¹ Всё мерзостно, что вижу я вокруг,
Но как тебя покинуть, милый друг!
(англ., перевод С. Маршака)

² смутная леди сонетов (англ.).

Об этом Шестьдесят шестом сонете, хорошо помню, я узнал во время войны, в эвакуации; мне было лет 15, когда я читал роман Фейхтвангера «Изгнание», не подозревая, что когда-нибудь разделю судьбу его героев, — лежал в лесу и с упоением читал эту книгу. Одна часть этого романа так и называется: «Сонет 66», с соответствующим эпиграфом, и я этот перевод не забыл до сих пор:

«Я смерть зову, смотреть не в силах боле, Как гибнет в нищете достойный муж, А негодай живёт в красе и холе, Как попрано доверье честных душ, Как над искусством произвол глумится, Как в лапах зла бессмысленно томится Всё то, что называли мы добром... От этой жизни я покоя жажду...» И так далее, это был не Маршак.

Составляя антологию «Абсолютное стихотворение, я воспользовался этим сонетом — ведь он меня сопровождал всю жизнь, комическим образом фигурировал в моём деле, был найден в моих бумагах и, конечно, привлёк внимание следователя, решившего, что автор — это я. И в самом деле, почему бы и нет? Стихотворение звучало в высшей степени крамольно. Но понимание Шекспира, его языка — непростое дело даже для самих англичан и американцев. По моей просьбе Джон Глэд продиктовал мне буквальный, слово в слово, перевод и явно испытывал при этом определённые трудности. Во всяком случае, замечательные переводы Маршака, ставшие явлением русской поэзии, — скорее *Nachdichtungen*, переложения, нежели переводы в строгом смысле слова.

Кажется, я посылал тебе эту антологию, вот на всякий случай прозаический перевод, который я поместил в антологии, довольно близкий, как мне кажется, к оригиналу:

«Устав от всего, я жажду покоя и зову смерть, несущую успокоение, словно родившийся нищим, перед которым — пустыня, когда жалкое ничтожество наслаждается жизнью, и самая преданная вера жестоко поругана, и бесстыдно попрана честь, и растоптано целомудрие, и оболгана справедливость, и стойкость духа сломила убудочная власть, и начальство заткнуло рот искусству, и мнимая учёность даёт указания уму, и очевидную истину объявляют глупостью, и связанная добродетель ожидает решения своей участи от безумца.

Устав от всего этого, я бежал бы отсюда, если бы, умирая, не пришлось оставить одной мою любовь».

Любопытно, что и в твоих верлибрах читатель, не знающий (или не догадывающийся), к кому они обращены, не сумеет решить, женщина это или мужчина. Орешек для раскусывания будущим комментаторам [...]

М.Харитонов — Б.Хазанову

1.2.06

[...] Вчера неожиданно получил письмо от Гриши Померанца. Пишет, что выступал на polit.ru 27.10.05 («Русская история с точки зрения теории цивилизаций»; наверно, это можно посмотреть в интернете), получил Карамзинскую медаль (я про нее ничего не знаю). Пишет про женщину, которая участвует в его семинарах, распространяет его и Зинины книги, читает ее стихи по тюрьмам и устраивает совместные купания в проруби русских и татар на Крещение. Зине в январе исполнилось 80 лет, ему через два месяца 88. Дивные люди! Их активность восхищает и ободряет [...]

Б.Хазанов — М.Харитонову

3.02.06

[...] Последние недели жизнь была (к счастью) довольно однообразной. Состояние Лоры более или менее стабилизировалось. У меня была возможность заниматься литературой, среди прочего — романом, при этом окончательно выяснилось, что это не роман, а «фрагменты». Фрагменты чего? Минувшего века, то есть воспоминаний. Проза воспоминаний и воспоминаний о воспоминаниях — это уже не приём, не мода, не следование Прусту или кому там ещё, а нечто почти неизбежное, чуть ли не синоним художественной литературы; и можно было бы сказать, что XIX век в литературе — это век действительности, а XX — век памяти. (О двадцать первом мы ничего не знаем.)

О выступлении Гриши в polit.ru я прочёл краткий отчёт в интернете. Купание в проруби видели как-то по немецкому телевидению; теперь оказывается, что это не просто так, не спорт, не бравада, не спектакль для зевак, но благочестивый ритуал зининых читателей [...]

М.Харитонов — Б.Хазанову

7.2.06

[...] В Москву вернулись морозы, сегодня ночью было под 30 градусов. Нынешний фольклор: приезжего из Магадана спрашивают: говорят, у вас очень холодно? — Нет, не особенно. 15 градусов — разве это холод? — А писали, у вас минус 50. — Так это на улице! [...]

Я вяло кропаю то прозу, то стихи, без особого успеха. Вот тебе для развлечения один из январских верлибров.

Ничего, кроме чудес

Нет ничего, кроме чудес. Расцветает радуга в капле,
Круг неба вмещается в выпуклом органе зрения,
Тяжесть птицы зависла в воздухе без усилий,
Голубой невесомый трепет, ожив, окружает полено,
Частица прозрачного запаха одолевает пространство,
Чтобы кто-то, ее уловив, устремился в поисках встречи,
Соединенья с другим — возникает новая жизнь.
Неподвижное тело сопит во сне, переживая при этом
Приключения где-то в нездешнем, другом измерении.
Вот — только попробуй вникнуть: раскрыты створки,
Сочетание мелких значков на пластинах белого вещества
Под взглядом становится именем, очертанием, мыслью.
Время продолжает двигаться между тем само по себе
Только в одну сторону.
[...]

Б.Хазанов — М.Харитонову

7.2.06

[...] Мысль о том, что нет ничего, кроме чудес, содержит самоопровержение: если всё — чудеса, значит, чудес нет, ибо чудо есть нечто исключительное. Но в стихах всё может быть, и поэту позволено увидеть чудо в обычном и тривиальном. Сказано: поэзия — это искусство удивляться. Есть известный стишок (на этих днях, кстати, отмечалось 150-летие смерти Гейне):

Das Fräulein stand am Meere
Und seufzte lang und bang,
Es rührte sie so sehre
Der Sonnenuntergang.

Mein Fräulein, sein Sie munter,
Das ist ein altes Stück:
Hier vorne geht sie unter
Und kehrt von hinten zurück.

Сегодня, наконец, оттепель. Нам пришлось с утра ехать в город, всё развезло [...]

М.Харитонов — Б.Хазанову

8.2.06

Нет, дорогой Гена, чудо — это не то, что необычно, чудо — это необъяснимое, непостижимое. Так воспринимает мир ребенок. Я,

кажется, посылал тебе стишок «Впервые». Там первая строфа — взгляд ребенка, для которого все впервые, вторая — опровержение умудренного ироничного взрослого: все уже было, все известно, все только повторяется. А в третьей поэт подтверждает правоту ребенка: нет, каждый живет впервые, единственный и последний раз. «Такого, как ты, еще не было». Можно, конечно, считать, что Гейне иронизирует не только над романтической барышней — над самим собой, но у него нет третьей строфы. Закат все-таки для каждого небывалый, как небывала жизнь каждого [...]

Б.Хазанов — М.Харитонову

[...] Моему сыну понадобилась доверенность, чтобы отослать её в Тверь (где он родился) для получения копии метрического свидетельства, которое потерял; жуткая волокита. По этому поводу мы отправились в Генеральное консульство России. Так называется комната, битком набитая просителями. Островок отечества.

Я давно там не был. Вместо чёрных окон (тебя видят, ты никого не видишь, оттуда раздаётся неприветливый голос) чиновники сидят теперь за обыкновенными стёклами. Просители: смиренные деревенские бабушки в платках, родственницы приехавших на работу в Германии, мордатые мужики; кто протискивается с бумагой к окошку, кто за продлением российского паспорта, кто тулится за тесным столом, заполняет чудовищную анкету, ещё кто-то стоит за получением справки о том, что он жив. Я сам видел двух таких бедолаг.

Что ещё?

Лариса Щиголь ответила мне на предложение опубликовать фрагменты нашей переписки:

Здравствуйте, дорогой Геннадий Моисеевич!

Думаю, что да. То есть почти стопроцентно уверена, что будет представлять интерес. Почему почти? Ну, один процент я всегда кладу на возможные непредвиденности. Но и это, не подумайте, не из-за даже ничтожной неуверенности в качестве материала, а в силу особенностей моего характера.

Подготовьте, если можно, пожалуйста. Объем должен быть, по-моему, порядка полулиста, не больше, — у нас же журнал квартальный, и разрешено не более двухсот страниц. Oder? И надо же будет сделать вводку, да? Ну, это мы потом договоримся. А вообще — спасибо большое.

Теперь вопрос: как ты сам это себе представляешь? Полистай свои архивы и сообщи твои соображения [...]

[...] «Нетерпение» очень близко мне по теме и настроению. Один философ, кажется, Ганс Йонас, писал, что по мере того, как множатся усовершенствования, помогающие экономить время, времени становится всё меньше. Верлибр напомнил мне (по структуре) один мой давнишний полустихок, где речь шла о тесноте, сопровождавшей нас всегда и всюду, — нас, живших в такой просторной стране.

Предполагаемая «война цивилизаций» (или «культур»), о которой толковал Гриша, изредка всплывает и в здешних дискуссиях. Мне кажется, правильней было бы говорить о ярости опоздавших. Правители и население арабских стран, столь зависимых от Европы и Америки, вовлечённых в эту мировую цивилизацию, стран, где всё — нефтяное оборудование для шейхов, оружие и взрывчатка для террористов, ракеты, самолёты, автомобили, компьютеры, строительная техника, бытовая техника, радио и телевидение, телефон и телеграф, университеты, банки, — буквально всё — изобретено и сделано европейцами и американцами, слишком хорошо чувствуют, что они никогда не смогут соперничать с западным миром, и чувствуют себя народом второго сорта. Они ненавидят западную цивилизацию, потому что сами увязли в ней и не силах без неё существовать. Нечто похожее время от времени вспыхивает в Африке, где верхушка и образованная элита проклинаят колониализм, которых их же и породил.

Конечно, я, как ты, тоже не в состоянии заниматься какой-либо общественной деятельностью. Неестественные времена радио, разных интервью и т.п. давно миновали, чему я искренне рад. Правда, я по-прежнему, раз в 3–4 недели, вещаю в маленьком литературном кружке. Вчера говорил на тему «Проза и судьба».

Публикацию нашей переписки отложим; пусть сначала напечатает то, что ты им дал [...]

Снова как-то начал листать и почитать там и сям «Подённые записи» Давида Самойлова. Представь себе, мне это до сих пор интересно. Но как далеко всё это ушло! Похоже, что и Дезик забыт.

Мне рассказывал человек, смотревший по русскому телевидению празднование Дня Советской армии 23 февраля (я думал, что этот праздник давно похерен). Хор в мундирах исполняет грозную патриотическую песнь, где каждый куплет начинается со слова «Благослови», на фоне огромного изображения: икона Христа [...]

8.3.06

[...] Вчера в ЦДЛ, в малом зале, отмечали 75-летие Симы Маркиша. Выступали разные люди, в том числе иеромонах Макарий — сын Симона Марк, в рясе и клобуке; из знакомых тебе — Сарнов. Я тоже сказал несколько слов — прочел фрагмент из письма Симы. Видимо, в своем письме я упомянул о дневниках, которые вели заключенные евреи в Терезине, и что-то о необходимости сохранять память о пережитом. Вот строки из его ответа: «Передать память 50-х — 60-х некому по простейшей причине: никому, кроме нас же, ее носителей, она напрочь не нужна. Бытовые мелочи Терезиенштадта ведут к частице в мозаике Холокоста (предпочитаю, по совести говоря, русское «катастрофа»); наши копошения и умодвижения не ведут никуда, разве что к вершинам маразма. Эти 18 лет, от издохновения кавказского горца до моего отъезда из нелюбезного отечества, новое поколение привлечь неспособны ничем, на мой отчужденный взгляд. А Вам толковать о них и того менее стоит, это как в венгерском анекдоте о двух евреях, они сидят в городском сквере, на длинной лавке, на противоположных ее концах, и один вдруг глубоко и протяжно вздыхает. Другой немедленно оборачивается к нему: Это вы мне рассказываете?»

Нет уж, осмысливать память и гниение неохота. Остается сугубо личное существование, которое остается самим собою при всех, даже самых тяжелых обстоятельствах».

В мартовском номере «Лехаима» публикуются его письма Марлену Кораллову, я их еще не видел.

А еще за два дня до годовщины Симона (хотя вообще-то он родился 6.3) отмечали годовщину «издохновения кавказского горца». Множатся свидетельства того, что он умер не своей смертью, по телевидению была передача об этом [...]

У нас замечательная снежная зима, легкий морозец, красивый лес. Хожу почти каждый день на лыжах. Однажды встретил на лыжне твоего брата с дамой, он тебе, возможно, об этом уже писал. Как положено туземцу, даже немного прошел с ними, показал им дорогу к самым красивым елям [...]

9.3.06

[...] В последние 8-10 дней навалило горы снега, каких я не видывал за двадцать три с половиной года. Ночью наступила отте-

пель, и теперь ждут наводнений. В воскресенье я поскользнулся и основательно приложился половиной нижнего бюста; объясняется это и тем, что под снегом лёд, и тем, что чукча состарился. Теперь хромаю с пятном на заднице и вокруг, напоминающим абстрактную живопись.

С покойным Симой Маркишем я был знаком давно, виделся с ним хоть и нечасто, но регулярно. Почему на вечер его памяти не пригласили вдову Симу Жужу Хатани? Это довольно-таки бестактно. Сима старался полностью отстраниться от отечества, оставившего тяжёлые воспоминания. Я это сделать не могу, но хорошо понимаю чувство, продиктовавшее ему пассаж, который ты цитируешь. У меня тоже — да и у многих — впечатление, что в России мало кого интересует реальное прошлое, что его стремятся забыть, заслонить, как когда-то фанерный Дворец Советов загораживал огромную вонючую яму, декорациями в сусально-патриотическом духе. «Мы всё это уже знаем, хватит». На поверку же выясняется, что не знаем и знать не хотим. Может быть, следующее поколение потребует отчёта у отцов, как это было в Германии 60-х годов, а может, и нет, и всё уйдёт в песок, в обычное российское безвременье.

Есть что-то гротескное и даже макабрское в том, что почти в один день с Симой отмечалась годовщина кончины горца. (Я о ней вовсе забыл, хотя день, когда было сообщено о тяжелой болезни вождя народов, прекрасно помню. В это время он был уже мёртв.) Версию о насильственной смерти, если не ошибаюсь, первым выдвинул покойный Авторханов. Но, несмотря на весьма преклонный возраст, он сохранил способность к самокритике. Однажды я имел честь посетить его, разговаривал с ним и усомнился в его тезисе; оказалось, что он и сам был готов поставить его под сомнение.

Это, конечно, сказки в весьма традиционном роде. Некоторые говорят о том, что Сталин помер оттого, что его оставили без лечения. Лечение было назначено, но с опозданием и самое осторожное. Надо, однако, принять во внимание, что, во-первых, активно бороться с мозговым инсультом в то время не умели, во-вторых, академики и профессора были объаты страхом — слишком свежа была память о деле врачей, — а отнюдь не собирались умертвить его свои бездействием. Наконец, и это главное, клиническая картина затянувшейся комы указывает на тяжёлый, практически безнадежный прогноз. Вождя незачем было убивать, даже если бы кто-нибудь, что крайне неправдоподобно, помыслил об этом: медикам с самого начала было ясно, что шансов выжить у больного нет. Диагноз — по тем симптомам, которые всем очевидцам бросились в глаза, — мог бы поставить

студент IV курса: острое нарушение мозгового кровообращения в бассейне правой средней мозговой артерии. Вещь чрезвычайно распространённая, земной бог окочурился от самой что ни на есть тривиальной причины [...]

М.Харитонов — Б.Хазанову

11.3.06

[...] Медицинский бюллетень, убедительный даже для студента, вполне можно было сочинить, разве нет? Последнее время появились ссылки на рассекреченные документы, на показания охранников и пр. Прошлое у нас, как всегда, непредсказуемо.

Давид Маркиш вспоминает, как на другой день после объявления о смерти Сталина в кишлак, где они отбывали с семьей ссылку, принесли поздравительную телеграмму из Москвы: «Поздравляем, целуем, надеемся на лучшее будущее». Телеграмму принес местный оперуполномоченный, стал орать, что всех расстреляет или загонит в дальние лагеря: их, видите ли, поздравляют со смертью вождя! Пришлось показать ему метрику Симона: 6 марта был его день рождения.

Давида как и Жужу, конечно, приглашали, они просто не смогли приехать.

Я пока в прежнем состоянии. Ищу подсказки в разном попутном чтении. Сейчас, например, читаю книгу воспоминаний о режиссере Сергее Параджанове: очень интересно. В общем, обычное дело.

А пока ничего нового не появилось — вот тебе еще небольшой стишок из январского цикла:

Заглянуть бы оттуда, узнать, что там теперь, без тебя,
Что стало с детьми, их детьми, с народом, страной,
Поминает ли кто-то тебя, может, даже читает,
Продлевая твое, так сказать, существование заочно,
Жив ли еще язык, на котором ты был понятен...
Белый след в синеве, вначале отчетливый прочерк
Растворяется, тает... его уже нет, не осталось.
[...]

Б.Хазанов — М.Харитонову

11.3.06

Я не имел в виду официальное медицинское заключение, подписанное Лукомским и другими (которое я, кстати, хорошо помню. Там

конкретного диагноза — «в бассейне средней мозговой артерии» и т.д. — не было, говорилось просто об апоплексическом ударе на почве атеросклероза). Речь идёт о внешних симптомах, о том, что без труда вычитывается из воспоминаний Хрущёва и других. В конце концов, картина удара более или менее известна всем. Никто из историков и воспоминателей в медицине не был сведущ. Новые материалы, рассекреченные документы, о которых ты пишешь, тоже, по-видимому, принадлежат неспециалистам и соответственно комментируются неспециалистами, а хотелось бы прочесть компетентный анализ. Его нет.

Тут, по-моему, важен и некоторый психологический фон. Хочется тайны, сенсации, хочется скандальных разоблачений. (Вспомни, сколько чепухи было наворочено о мнимом сифилисе Ленина.) Для журналистов, помимо всего прочего, это хороший калым. И, конечно, хочется, чтобы великий вождь не просто так окоchureлся «от органических причин», по выражению славного Козьмы Прутковка, а был коварно отравлен заговорщиками. Старая песня [...]

Твоё стихотворение звучит грустно. Белый след в синеве... н-да. Крепко обнимаю тебя, дорогой друг.

М.Харитонов — Б.Хазанову

4.4.06

Ну что, дорогой Гена, только насладился венецианскими каналами — теперь можно любоваться лодками на дрезденских улицах? У нас тоже бурно тает, снега в этом году выпало полторы нормы, ожидается небывалое половодье. В городок Холуи повадились иностранные туристы, их катают на лодках по затопленным улицам, показывают нашу, русскую Венецию. Действительно, виды живописные. Ты пишешь про «пышно расцветающий российский патриотизм» — не знаю, что имеется в виду, но вот, даю тебе еще один пример.

Я тоже в эти дни слегка грипповал, но, как ни странно, повышенная температура сделала меня больше обычного работоспособным. Такое уже бывало; можно подумать, что болезненные токсины каким-то образом подстегивают работу мозга. Что об этом говорит медицина?

В Союзе композиторов исполнялась первая симфония моего старшего товарища, композитора Миши Марутаева. Ему в этом году 75 лет, я с ним знаком с 1960 года. В 1953 году всех восхитил его первый струнный квартет, его приняли в Союз еще до окончания консерватории, к нему благоволил Шостакович. Я раза два-три присутствовал при его мимоходных разговорах с Шостаковичем, он брал меня в Союз

на концерты. Мы когда-то часто встречались, я многим обязан ему в своем музыкальном образовании. Он демонстрировал мне «на пальцах», как устроены разные произведения, как они развиваются, показывал на фортепьяно додекафонию, Шенберга, которые тогда были запрещены, повторял по моей просьбе, если я что-то не сразу уловил. Сам он потратил многие годы на теоретические изыскания — обнаружил математические основы гармонии, пропорции, соответствия, общие для классической музыки, планетных орбит, атомных весов и пр. Уверен, что это великое открытие, его сейчас печатают в разных специальных изданиях. В последнее время он обнаружил такие же числовые соответствия в датах исторических событий — но тут я заподозрил неладное, даже не стал с ним это обсуждать. Все это отрывало его от музыки, он писал медленно. Тему траурного марша симфонии я слышал у него на фортепьяно лет 15 назад — в оркестровом исполнении она оказалась действительно мощной, он, по-моему, очень талантлив. Но оркестр был второсортный, неслаженный, чтобы переписать и разучить партитуру, надо было уплатить тысячу долларов — это сделал Союз композиторов к юбилею своего члена. Первоклассному оркестру надо уплатить много больше. Башмет уже несколько лет не может разучить посвященный ему концерт для альты, (который ему понравился). «Чтобы меня услышали, нужно имя, — сказал мне Миша, — а чтобы было имя, нужно, чтобы меня услышали. Заколдованный круг». Знакомая ситуация [...]

Б.Хазанов — М.Харитонову

6.4.06

Дорогой Марк, я не вылезая из своей берлоги, у меня, а теперь уже и у Лоры, грипп. Весна всё никак не соберётся с силами. Вчера шёл снег. Птицы в недоумении.

Субфебрильная температура, якобы или на самом деле подхлестывающая литературу, о чём ты пишешь (как, впрочем, и мигрень, я замечал это на себе), — это, скажем так, отдалённое слабое отражение бытовавшего у старых врачей представления о том, что сифилитическая интоксикация центральной нервной системы порождает взрыв творческих способностей у писателей, музыкантов и т.д. — чтобы завершиться прогрессивным параличом. Некогда я довольно усердно занимался сифилисом. Кстати, в «Докторе Фаустусе» с замечательным искусством выстроены двойные рельсы: Левкеркюн лихорадочно и с необычайной продуктивностью творит благодаря тому, что распродал

душу князю тьмы, но и оттого, что он болен. Обе линии скручены в спираль, сходятся, как рельсы на горизонте: чёрт рассказывает о том, что в XVI веке — время первой большой эпидемии сифилиса в Европе — «они» взяли на вооружение бледную спирохету.

О композиторе Михаиле Марутаеве я слышу только от тебя. Истинно так: чтобы добиться признания, нужно, чтобы о тебе узнали, а узнать о тебе могут, лишь если ты признан. Из этого заколдованного круга, который становится в наши всё уже и безвыходней, есть, возможно, только один выход: нужно умереть! Или заключить сделку с чёртом — но на очень выгодных условиях.

Меня всегда интересовали — лучше сказать, «фасцинировали» — материи, которыми он занят: метаматематическое эхо музыки, физики и астрономии. Спроси у композитора: не попадалась ли ему статья знаменитого физика Вольфганга Паули о Кеплере и Флудде? Она была напечатана по-русски в сборнике статей и этюдов Паули, выпущенном в 70-х годах. Там же о связях с Юнгом и прочее. Всё это в самом деле безумно увлекательно. Как бы мне хотелось снова иметь эту книжку.

Российский неопатриотизм, впрочем, какой же «нео», — я о нём упомянул, потому что столкнулся напрямую с тем, о чём сейчас много пишут в самой России, — об этом злокачественном ксенофобическом комплексе, сегодняшнем *vox populi*. Любопытно, что в России вообще не стыдятся этих самославословий, не чувствуют постыдности национализма [...]

М.Харитонов — Б.Хазанову

12.4.06

Вчера, дорогой Гена, мы с Галей были на вернисаже покойного художника Бориса Петровича Чернышева. Это Галин учитель, у меня есть о нем очерк в книге «Способ существования». В этом году ему исполнилось бы сто лет. Выставлены были работы на бумаге, акварели и темпера, среди них есть изумительные. Никакая репродукция, даже хорошая, не передает особого обаяния, какого-то свечения, которое исходит от оригиналов. Его работы постепенно расходятся по музеям, покупаются, но кроме немногих, знающих его творчество, он настоящему останется неизвестным. Увы. Множество его работ пропало, монументальные фрески и мозаики разрушены. Редкий, исчезающий, а может, уже вовсе исчезнувший тип художника, который получал удовольствие от процесса работы, а о судьбе работ оставил заботиться потомкам. Сохранением, реставрацией, продажей сейчас занимается его дочь.

Еще одна близкая мне судьба, не согласующаяся с современными представлениями об успехе. Такие когда-то обнаруживались и на Западе — запоздало, иногда после смерти. Возможны ли незамеченные гении сейчас? [...]

Б.Хазанов — М.Харитонову

18.4.06

[...] В литературном кружке я вещал на тему «Слог и стиль», читал кусочки из «Апологии» Платона и «Анабасиса» Ксенофонта (победа греков и гибель Кира). Есть ли разница между двумя понятиями. Я думаю, что о слоге можно говорить применительно к фразе: правильно построенное предложение подобно хорошо сложенной женщине. О стиле же — применительно к тексту. Я пытался философствовать: стиль как преодоление хаоса [...]

М.Харитонов — Б.Хазанову

19.4.06

Похоже, дорогой Гена, что ты не получил мое последнее письмо недельной давности [...] У меня подоспели некоторые журнальные публикации. В апрельском «Октябре» напечатали рассказ «Голуби и стрижи», в «Нота бене» — «Седьмое небо». Обоих журналов я пока не видел. В майском «Лехаиме» печатают мои верлибры, там же — окончание перевода А.Цвейга, с которым ты мне помог [...]

Соседка приносит мне новый «Политический журнал», довольно интересный. В последнем номере интервью Бориса Дубина. Его оценки на удивление совпадают с моими и потому кажутся правильными. Подумал, что хорошо бы с ним пообщаться, ведь в одном городе живем. Можешь сообщить ему об этом моем желании и дать координаты. Рад буду, если возникнет встречное желание [...]

Б.Хазанов — М.Харитонову

20.4.06

[...] За последние десять примерно лет произошли перемены. Во-первых, с окончанием противостояния коммунизму интерес к современной русской литературе увял. Стало очевидно, что корифеи недавних лет были обязаны своей славой исключительно политическим об-

стоятельствам. Две книжных ярмарки, посвящённые России, — во Франкфурте и в Париже, — нисколько не улучшили положение вещей. Исключением были некоторые нашумевшие в России имена, за которые ухватились слависты: Сорокин, Пелевин, ещё два-три писателя, но коммерческого успеха не последовало, и шум утих. Ещё одно исключение (в Германии) — пишущий по-немецки писатель и владелец собственного кафе в Берлине Владимир Каминер, если я правильно называю его фамилию, — но это уже чистая коммерция. И, наконец, Людмила Улицкая, которая до последнего времени пользовалась грандиозным успехом, особенно у читательниц.

Второе обстоятельство — то, что бросается в глаза всем и каждому, — шагающая семимильными шагами коммерциализация телевидения, кино, литературы, вообще всех «средств». Множество малых издательств прекратилось. Что касается крупных, то могу сослаться на два примера. Фишер, один из старейших издательских домов, после смерти старика Фишера-младшего (я его знал) перешёл в руки сына, раскололось обломки были проданы какому-то шведскому концерну, утратив престиж и прежнее значение. Deutsche Verlags-Anstalt (DVA), большое и весьма престижное книгоиздательство, с которым, как ты знаешь, я был связан долгие годы, дошло до того, что предлагало себя покупателям. Но удержалось, однако художественную литературу почти не выпускает. Моё последнее приключение с ними — роман «Далёкое зрелище лесов», который был переведён, я даже получил аванс. Но роман так и не вышел. В прошлом году это издательство продало в Париж мою старую повесть «Час короля», которая там неожиданно имела большой успех, очень хорошо распродавалась. Но никаких денег я не получил, всё осело в обеих издательствах, французском и немецком (у последнего — в счёт прежних авансов), и отношения мои с DVA не восстановились. Ни одно из моих творений, прежде ими издававшихся, не принесло дохода. Раньше издательство могло позволить себе выпускать литературу, которую оно считало престижной. Теперь этому положен конец [...]

М.Харитонов — Б.Хазанову

28.4.06

[...] Взял зачем-то почитать книгу англичанина Дональда Рейфилда «Жизнь Антона Чехова» — долго не выдержал. Жизнь состоит из бытовых подробностей: семейные отношения, алкоголизм и прочие проблемы братьев, их трудоустройство (привлечен огромный малоиз-

вестный архив), заработки, унылые отношения с женщинами, которых старается удалить от брата сестра, адюльтеры Ольги Леонардовны, ее гинекологические проблемы, болезни самого Чехова (приводятся письма врачей на эти темы; Чехову почему-то неделями запрещали мыться — считалось, что это вредно при туберкулезе), заработки, отношения с издателями, театрами. Главное, творчество, где-то на периферии — и какой же тягостной без него выглядит жизнь! По поводу последнего рассказа, «Невеста» (1903) автор пишет, что Чехов работал над ним целый год — так тщательно стал отделять стиль, не только из-за болезни, а до этого ему хватало на рассказ нескольких дней. Захотелось его перечитать — я ведь тоже стал медленней работать. Правда, комментарий к рассказу уточнил, что Чехов работал над ним не год, а лишь пять месяцев — но все-таки. Читал — и тоже с каким-то тягостным чувством. «Она ясно сознавала..., что она здесь чужая, ненужная, и что все ей тут ненужно, все прежнее оторвано от нее и исчезло, точно сгорело, и пепел разнесся по ветру». Как я это когда-то любил! Не мог восстановить прежнего чувства. Та же интонация из рассказа в рассказ, из пьесы в пьесу. Интеллигентные, скучные, скучающие, томящиеся чем-то люди, умные — но мысли неяркие, незначительные. У Бродского есть весьма язвительное стихотворение «Посвящается Чехову» — знаешь ли ты его?

Из Goethe-Institut сегодня пришло извещение, что прекращается издание журнала «Kulturchronik», который я получал лет пятнадцать: финансовые проблемы. И у вас тоже [...]

Б.Хазанов — М.Харитонову

28.4.06

Дорогой Марк, мы вернулись из Вены, вместе с нашим сыном Ильёй, который организовал и финансировал этот четырёхдневный отпуск. Вена была первым европейским городом, в котором мы приземлились в августе 1982 г., сто лет назад, и, кстати, мы разыскивали гостиницу, куда поместили нас тогда на первые дни. С тех пор мне не раз приходилось бывать в Вене, но по-настоящему я только сейчас увидел и почувствовал волшебную красоту и очарование этого города. Всё приходит с огромным опозданием — российская судьба [...]

Прочёл беседу с Борисом Дубиным в «Политическом журнале», то, о чём он говорит, мне более или менее знакомо по его статьям. Ты писал мне, что его соображения близки к твоим собственным мыслям о нынешней ситуации в нашем отечестве; что ты конкретно имел в виду? [...]

Кажется, я уже писал тебе о том, что Лора получила разрешение на трёхнедельное пребывание в реабилитационной клинике (вроде санатория) на юге Баварии, начиная с 23 мая. Я поеду вместе с ней, но за моё пребывание придётся платить [...]

М.Харитонов — Б.Хазанову

28.4.06

[...] У Дубина я задержался на фразе: «Погибших цивилизаций в наше время нет, но тупиковые режимы есть. Еще возможно, как говорили в 19-м веке, внеисторическое существование». Вот это слово, мне показалось, найдено (и не сегодня): внеисторическое существование [...]

Б.Хазанов — М.Харитонову

5.5.06

[...] Внеисторическое существование. В разные времена моей жизни я видел множество людей, существовавших, как мне казалось (и кажется сейчас) вне истории. Я уж не говорю о лагере, где большинство заключённых были именно такие люди. На предпоследнем курсе медицинского института я работал городским участковым врачом и заходил в квартиры, где стояли телевизоры, более или менее современная мебель, но жили там люди с психологией XII века. А ведь это была не глухая деревня, — областной город. И слова Дубина о том, что внеисторическое существование всё ещё возможно, не кажутся мне преувеличением. Может быть, это даже норма. Может быть, существует глубокая внутренняя тяга к такому существованию — некая бессознательная основа «великой славянской мечты о прекращении истории», о которой писал Мандельштам.

Книгу Рейфилда о Чехове я не читал, но биографии писателей, где о творчестве почти ничего не говорится, где оно как бы подразумевается, прячется за кулисами, — довольно обычное дело. Нам как будто хотят сказать: жизнь и творчество — что у них общего? Таково, например, жизнеописание Маргерит Юрсенар француженки Josyane Savigneau. (Когда-то я написал рецензию на эту книжку для «Знамени», к юбилею Юрсенар; её отвергли.)

А вот что касается самого Чехова... Секрет — или один из секретов — Чехова заключается, очевидно, в том, что вполне прозаическая

жизнь весьма заурядных людей, часто — интеллигентов, любителей рассуждать, угощая друг друга и читателя такими же неяркими, по твоим словам, мыслями, как неярки и незначительны они сами, — что вся эта жизнь, эта тусклая, бедная и бездарная российская житуха каким-то образом соединена с потаённым, словно стыдящимся самого себя лиризмом. В итоге ни один русский классик не сумел так опозитивировать нашу страну, как Чехов, и при этом достигнуть такого эффекта ненавязчиво, почти неуловимо, крайне экономными средствами, соблюдая железную дисциплину прозы. И не зря говорится у Лотмана (статья «В точке поворота»), что в русской литературе не было более одинокого гения.

Этим, вероятно, можно объяснить странный факт непонимания Чехова, нечувствительность к Чехову — до сих пор. Положим, глупость, которую выдал Солженицын о повести «Архиерей», легко объяснима. Но вот ещё один пример: мой старый друг Юра Колкер посвятил недавно Чехову нелепейшую, позорную статью. И, наконец, Ахматова с её декларацией неприязни к Чехову.

Забавное и по-своему очень изысканное стихотворение Бродского «Посвящается Чехову», как всякая хорошая пародия, лишь подчёркивает эту главную черту — необъяснимость, секрет. В нём сквозит и недоумение: а что тут такого? [...]

М.Харитонов — Б.Хазанову

11.5.06

[...] Одно дело внеисторическое существование для страны, другое — для отдельного человека. Ты, помнится, писал о желании человека вырваться из кошмара истории. Провинциалы во всем мире охотно бы без нее обошлись. На эту тему вся моя «Провинциальная философия», чем-то вроде такой трагикомичной утопии был одержим мой Милашевич. Может, когда-нибудь досужий исследователь найдет немало существенного на эту тему в его фантиках. Я представляю себе провинцию немецкую, французскую, не отказался бы там пожить, хотя некоторым там кажется скучновато. Но внеисторическое существование страны — существование провинциальное — по определению довольно убого. У нас, во всяком случае. В Новой Зеландии, может, так не думают.

На праздники мы с друзьями прокатились по Московской и Калужской области. Свежая майская зелень, прекрасные замусоренные пейзажи, реставрированные и еще полуразрушенные церкви, усадьбы,

среди серых домишек — коттеджи новых богачей. В красиво обновленном монастыре Вознесенско-Давидова пустынь (где недавно, похоже, был лагерь) — роскошные гранитные надгробия двух местных бандитов; на деньги братвы тут все, наверно, и восстановили. В Пафнутьево-Боровском монастыре я был почти ровно четверть века назад, у меня в «Стенографии» есть запись от 26.3.81. Тогда там был техник и какое-то производство. Теперь в церкви идет служба, новый иконостас, но старые фрески едва различимы. А вокруг несравненная красота, дивные когда-то церкви, сюда могли бы совершать паломничества туристы — видишь, какое было загублено богатство и, боюсь, непоправимо.

Ты хорошо написал о Чехове, о его лиризме. Читая неплохих современных рассказчиков, я нередко спрашиваю себя: чем же они отличаются от Чехова? Не так просто уловить. А еще не всегда удается почувствовать его приглушенную самоиронию. Редкие режиссеры понимают, почему он свои пьесы называл комедиями. Когда со сцены провозглашают с пафосом: «Мы еще увидим небо в алмазах», хочется смеяться — над актерами [...]

Б.Хазанов — М.Харитонову

12.5.06

[...] Внеисторическое существование грозит России как государству, я полагаю, не больше, чем Новой Зеландии (весьма вовлечённой, если не в мировую политику, то в мировую торговлю) или даже королевству Непал. Но вот что касается господствующих настроений, мировоззрения «масс»... Сочетание затхлого провинциализма с великодержавными амбициями — явление, конечно, не новое.

Между прочим, мне тут на днях Бен Сарнов прислал запись радиодискуссии о нынешнем состоянии «державы», в этой дискуссии, кроме него, участвовали известный в прошлом правозащитник А.Подрабинек и некто по имени Наталья Нарочницкая, заместительница председателя комитета Государственной думы по международным делам, Беседа называлась «Правда ли, что шестидесятники развалили СССР?» Если бы ты знал, какую жуткую хреновину несла эта заместительница по международным делам, уже немолодая дама, — какая смесь дремучего национализма, незнания реальной жизни и вполне обывательского невежества.

Я пользуюсь этими последними более или менее свободными днями, чтобы подвинуть хотя бы немного своё сочинение. Вероятно,

это будет мой последний роман (если это вообще роман). Вечный вопрос: как соединить сугубо личную судьбу человека с историческими событиями. Для литературы это означает исчезновение действующих лиц — они становятся марионетками. Но писать романы «просто» о любви, «просто» о семье — другими словами, «просто» о реальной, единственно подлинной и по-настоящему реальной жизни — больше невозможно, не так ли?

Вспомнил сейчас, что месяца два тому назад накропал, по просьбе редактора «Иностранной литературы», небольшую статью о романе — умирающем и неумирающем жанре, правда, используя частично некоторые старые тексты. Посылаю тебе наудачу [...]

М.Харитонов — Б.Хазанову

13.5.06

Недавно и мне, дорогой Гена, предложили бесплатный санаторий, даже с бесплатным проездом. Я отказался. Когда-то я, пользуясь привилегиями туберкулезника, проводил месяцы в санаториях крымских и подмосковных, получая при этом выплаты по больничному листу. Замечательное было законодательство. Я там встречался со множеством разных людей. В расшифрованной «Стенографии» 60-х годов воспроизводятся интересные разговоры с шахтером, шофером, экскаваторщиком, партработником — картинки тогдашней жизни. Но сейчас мне трудно представить жизнь в палате на несколько человек, общепитовскую кормежку. Разбаловался. Я и тут гуляю по лесу, вчера услышал первого соловья. Немецкие санатории, конечно, не чета нашим.

Твой текст о Париже показался мне знакомым. Пошлю и я тебе один из недавних верлибров.

Молитва

Из-под тучи закатное солнце. Осеннее золото роцци
Засветилось на темном небе, напряглась до краев тишина,
Засияла, запела, наполнилась трепетом, гулом —
Как благовест к молитве.
Но это и есть молитва.

Смотришь на ту, что любишь — тело ее сияет.
Перехватило дыхание, сердце устремляется к ней —
Приникнуть в безмолвном восторге. Если б найти слова!
Восхищенье сродни молитве.
Но это и есть молитва.

Обращаешься памятью к тем, кто был тебе близок,
Кого знал и любил, о ком плакал, не в силах вернуть.
Они снова с тобой, не забытые, оживленные чувством.
Воспоминание, как молитва.
Но это и есть молитва.
[...]

Б.Хазанов — М.Харитонову

13.5.06

[...] В стихотворении меня несколько смущает название, отчасти потому, что сразу вспомнились попытки возражать Зине, которая любила цитировать афоризм кого-то почитаемого в их кругу: «Каждая картина — это икона, каждое стихотворение — молитва». Но дело, конечно не в этом. Слово «молитва», многократно, кроме рефрена «Но это и есть молитва», повторённое в тексте, кажется слишком навязчивым. Мне показалось, что нужен какой-то обходной манёвр — другой, может быть, иносказательный, не сразу понятный заголовок.

В этом стихотворении есть коварная фраза: «Если б найти слова!» Удалось ли их найти? Удалось ли избежать не то чтобы сентиментальности, но несколько банальной восторженности? Не знаю; может быть, я недостаточно настроился на волну.

Пришли ещё что-нибудь [...]

М.Харитонов — Б.Хазанову

16.5.06

[...] Я расшифровал уже сотни страниц стенографии, начиная с 1963 г., выборочно. Время от времени, чтобы не корить себя за безделье, добавляю небольшие порции. Это быстро надоедает, но читать мне потом самому интересно. Увы, я не могу прислать тебе большой текст: твой компьютер отказывается читать русские приложения. Стихи другое дело.

Насчет «Молитвы» ты, наверное, прав, этот стишок мне самому показался вначале немного сентиментальным. Хотел что-то изменить — не получилось, а потом мне показалось, что это, пожалуй, не так уж плохо. Решил: пусть будет и у меня сентиментальная струя. Почему бы нет?

Вот тебе немного в другом духе:

Чего же тебе еще?

Современнейшая модель, хромированный корпус, дисплей подсвечен,
Набор мелодичных сигналов, музыка на двенадцать часов,
Память на сто номеров, соединение с любой точкой,
Возможность видеть, с кем говоришь, записать сообщение,
Если тебя не будет на месте. Впрочем, что значит не будет?
Аппарат всегда при тебе. Чего же тебе еще?
Фантастика! Такое могло только сниться в пору,
Когда метался от будки к будке, шнур оказывался оборван,
Щель глотала монеты, их всегда не хватало,
А так надо было пробиться, услышать сейчас же голос,
Целительный, как глоток для пересохшего горла!
Менял, не считая, у нищего бумажную пятирублевку
На горстку потных медяшек, листал записную книжку,
Разбухшую от номеров — вот, выцветший карандаш,
Чернила местами расплылись... не разберешь, не вспомнишь,
И незачем — не действительны. Чем же теперь заполнить
Память на сто номеров? Позвонить, может быть, на фирму:
Нет ли других аппаратов — с введенными номерами,
По которым откликнутся, со знакомыми голосами,
Которые спросят хотя бы: как жизнь, почему не звонил?
Стереофонический звук, мелодия — хит, автоматический клерк
Предлагает на выбор — нет совершенству предела:
Хочешь — задвигаются на экране фигуры, увидишь фильм,
Хочешь — сними даже свой, подключись к мировой паутине.
Корпус, пожалуйста, золотой с бриллиантами.
Чего же тебе еще?
[...]

Б.Хазанов — М.Харитонову

19.5.06

Дорогой Марк, видимо, меня обуял критический раж: стихотворение «Чего же тебе ещё?» показалось мне неудовлетворительным. Пожалуй, и мне можно было бы задать тот же вопрос: вот до чего мы дожили; чего тебе ещё надо...

Надо сказать что-то новое и по-новому. Растерянность перед очередным чудом электроники, избыток технических возможностей — мне кажется, тема банальная, тема бытового разговора, во всяком случае не для поэзии. Или же надо было найти какой-то совершенно неожиданный поворот. Не зря стихи с самого начала сбиваются на прозу, даже на рекламный проспект («Современнейшая модель... Воз-

возможность видеть, с кем говоришь, записать сообщение... Фантастика! Такое могло только сниться...»). Спрашиваешь себя, а зачем, собственно, понадобилось разбивать это на стихотворные строчки [...]

Мы собираемся отвалить во вторник 23-го. Может, ещё успеешь мне ответить? [...]

М.Харитонов — Б.Хазанову

20.5.06

[...] Не берусь судить о своем верлибре, но он совсем не о том, что ты в нем прочел. Не о растерянности перед чудом электроники. Он об одиночестве, о чувстве пустоты. Что толку в технике, если тебе некому позвонить?

Благополучного тебе пребывания в санатории. Обнимаю, Марк

Б.Хазанов — М.Харитонову

20.5.06

Мне придётся ещё разок перечитать стихотворение, дорогой Марк, его подспудная мысль, очевидно, должным образом до меня не дошла. Опять же — нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся. Отзовётся ли оно правильно, то есть в согласии с замыслом автора, в умах других, более внимательных и проницательных читателей? Боюсь, что подробное, изумлённо-ошарашенное описание технического шедевра заслонит и для них эту суть. Или в крайнем случае сведёт всё к довольно тривиальному выводу: вот, дескать, до какого совершенства дошла техника, а пустыня одиночества, какой была, такой и осталась — если не хуже. Как ты думаешь? [...]

17.6.06

Дорогой Марк, мы вернулись. Три недели пробыли в онкологическом санатории в Аулендорфе, курортном городке на высотах бывшего вюртембергского королевства: огромный парк с 200-летними буками, дворец-замок вымершего графского рода — последний отпрыск 23 лет погиб в России, — леса, поля злаков, две часовни на холмах, куда по случаю Троицы направляется процессия с хоругвями и флажками, дети в орденских рясах, дух католицизма, швабский диалект, словом,

идиллия. И, наконец, главное — Schwäbische Therme, грандиозный бассейн с подводным массажем и разными чудесами. Потом провели ещё три дня в Альгое, возле Боденского озера, у старых друзей, отставного профессора Гарри Просса и его жены Марианны. Разговоры на разные темы. Я взял с собой несколько книг, кое-какую работу. Теперь возвращаюсь к ней.

Всё та же старая тема: история и как с ней справиться. Литература, которая одна, может быть, способна внести порядок и смысл в весь этот абсурд — а заодно и в хаос собственной жизни. Чем больше я погружаюсь в это дело, тем меньше, разумеется, могу рассчитывать на понимание, но надо как-то понять самому. Приходится быть собственным литературоведом [...]

М.Харитонов — Б.Хазанову

19.6.06

Быстро бежит время, дорогой Гена. Уехал только что весной, вернулся — уже разгар лета. За месяц набрались разные события, всех сейчас не переберешь. Позавчера отмечали первую годовщину нашей внучки. Галины работы (масло и графика) представлены на выставке «Другое искусство», которая сейчас проходит в Центральном доме художника на Крымском валу. У нее появилась своя галерейщица, которая теперь будет ее продвигать. Признание постепенно приходит, но слишком рано, но все-таки. Рядом с ее живописью висят работы Кропивницкого, покойного «патриарха Лианозовской школы», которого при жизни знали только иностранные собиратели, и недавно еще совсем неизвестного Абрама Монозона. Он 1914 года рождения, в свое время был исключен из Союза художников, до конца так и не оправился, жил, видимо, одиноко. Женщина-искусствовед года три назад случайно встретила старика на базарчике возле метро, где он пытался по дешевке продать свою работу. Сейчас эти картины стоят большие деньги, говорят, даже поддельваются. Сам он, видимо, уже умер. Не новая история, но интересно, что для нас уже не советская, а постсоветская.

Мне пришлось отделаться от нескольких верлибров, чтобы вернуться, наконец, к отставленной прозе. Понемногу начал продвигаться. Пришел португальский перевод моей книги «День в феврале». В рекламном тексте на обложке рассказывается, как Гоголь оказался в Париже в 1987 году. Опечатка на 150 лет — для вечности невелика разница. А ты продолжаешь размышлять об истории. Не показалось ли тебе, что в твоей швабской провинции вполне можно бы за послед-

ние полвека от истории отключиться? Замки, орденские рясы — отстоявшаяся культура, так бы в этой идиллии и пребывать, заботясь лишь о несурзностях и драмах обыденной жизни? Хорошо бы, а? [...]

Б.Хазанов — М.Харитонову

23.6.06

[...] Отключиться от истории, живя в швабской провинции, да ещё на целых полстолетия? Увы, это невозможно. Когда-то Германию называли в положительном смысле провинциальной страной: идиллическая природа, мало крупных городов, нет единой, магнетизирующей всю нацию столицы. Великая культура создавалась не в городах, а в городишках, в затхлых карликовых княжествах. Сейчас глухих углов не существует, и жители повсеместно живут жизнью этого века [...]

Я не могу писать свою прозу, не размышляя о ней, для чего необходимо отчуждение. Чаще всего это означает раздумывать о конфликте неисторической личности с материнской утробой — историей. Нечисто отказаться от больших моделей литературного времени, от конструирования романических персонажей, от повествовательности, от того, что было названо метанаррациями и объявлено безвозвратно изжившим себя, — тоже невозможно.

Эти умствования, конечно, — как и всякое философствование в литературе, — сугубо неотечественная традиция. Вчера вечером я читал Лоре один свой рассказ (он напечатан в «Заруб. записках») под названием «Другой». Больших возражений он не вызвал, но моя жена, обладающая достаточно тонким слухом, сказала: «Это не русский рассказ. Это рассказ эмигрантский» [...]

М.Харитонов — Б.Хазанову

28.6.06

[...] На прошлой неделе Кома (Вячеслав Всеволодович) Иванов, с которым мы много лет дружили, читал стихи из своей книги в клубе-кафе с симпатичным названием «Билингва». Меня пригласили от его имени — я вздохнул с облегчением. Недоразумение, ненадолго омрачившее было наши отношения, кажется, развеялось. Выглядел он очень усталым и как будто отрешенным, грустным, читал очень хорошо, но я лучше воспринимаю стихи глазами. При чтении на бумаге

многое гасло. Самый большой раздел в книге (которую он мне надписал) — стихи о стране, России, с которой он, оказывается, уже не одно десятилетие продолжает сводить счеты. «Трагический роман с Россией / Оканчивается разрывом» (1976). «Недотыкомка. Недооткрыта...» (1980). Мне вспомнилось, как он именно в этом, 80-м году сказал по поводу моих «Двух Иванов», что я слишком снисходителен к русской истории, слишком поэтизирую ее. Что-то в таком духе, у меня, наверно, записано точнее, надо посмотреть. А другие, как ты знаешь, говорили об «Иванах» совсем обратное. Это тебе на тему твоих размышлений об истории.

Жена Комы напомнила мне, что в августе у него день рождения. Я сказал, что и так помню. Ему будет 77. «Нас так мало осталось», — сказала она. У меня самого все чаще возникает это чувство. Галя звонила друзьям приглашать на выставку — у кого-то инфаркт, кто-то в больнице, а кого-то уже нет. Возможно, ты знаешь, что совсем недавно умер наш друг Юлий Крелин. И какие-то сплошные потери у филологов. Вслед за Гаспаровым умерли, оказывается, Мелетинский и Топоров, многолетний соавтор Иванова. Я обоих немного знал. Если добавить к ним Лотмана и Аверинцева — кто вообще остался из мощной плеяды? Кроме Иванова — разве что наш прекрасный Гриша Померанц. Я давно ему не звонил, не знаю, как они с Зиной себя чувствуют. Не получается разговора, отклика. Увы.

Нас действительно мало осталось. Общаемся, конечно, со многими другими, но существенными остаются почему-то лишь отношения, возникшие годы назад. Независимо от возраста (я и тот же Гриша — разные поколения).

Надеюсь, у вас с Лорой все в порядке. У меня в 7-м номере «Лехаима» напечатали три стихотворения с очень красивыми иллюстрациями из Сутина [...]

Б.Хазанов — М.Харитонову

28.6.06

Дорогой Марк, история, о которой я без конца толкую себе и тебе (других слушателей почти что и нет), это история, видимая, так сказать, не с близкого расстояния, — хотя жизнь за границей всё-таки многому научила, — а та, о которой пишет мне Елена Бальзамо, моя французская переводчица. Издательство Seuil заинтересовалось одной русской книжкой, только что вышедшей в Москве, и просила написать отзыв. «Книжка» — это, конечно, сказано второпях. Речь идёт о двух

томах по 700 страниц каждый: Максим Кантор, «Урок рисования». Роман не роман, полубеллетристика, полуэссеистика, полужельетон, а точнее, хрен знает что. Книга очень понравилась Лене, она сравнивает её с «Зияющими высотами» покойного Зиновьева, которые, по-видимому, ценит очень высоко. Речь идёт о советском обществе и как оно эволюционировало к послесоветскому. Общество это представлено характерными фигурами интеллигентов, художников, новых русских, старых и новых бюрократов и пр., о которых Лена пишет, что это не столько живые индивидуальные лица, сколько маски. Много юмора, много сарказма, много диалогов и выдумки. Из отзыва, который Лена мне прислала, можно сделать вывод, что это выдающееся, весьма талантливое и забавное сочинение, прочесть которое у меня не достало бы терпения уже потому, что оно такое толстое.

В том-то и дело, что расстояние, внутреннее и внешнее, имеет очень большие преимущества и очень опасные недостатки. Ну и, разумеется, старость, принадлежность к дружно и стремительно вымирающему поколению (в твоём списке отсутствуют Эмма Герштейн и Лидия Гинзбург). Старость, когда очень многое, что занимало когда-то, становится просто скучным. Вопрос, что можно создать в литературе, имея за спиной такой background [...]

М.Харитонов — Б.Хазанову

4.7.06

[...] Из твоего письма я не совсем понял, прочел ли ты уже сам грандиозную эпопею Кантора или просто пересказываешь мнение о ней своей переводчицы. Расскажи, если прочел, о своем впечатлении. Кантора я знаю как художника, он уже много лет живет где-то у вас в Германии. И, как я могу понять, не только не отстал от российской жизни, но обсуждает ее заинтересованно и со знанием дела [...]

Б.Хазанов — М.Харитонову

5.7.06

[...] О Канторе мне известно, что он со своим более известным братом в чуть ли не смертельной вражде. Что он обретается в Германии, я не знал. Эпопею не читал, даже не видел; сужу о ней по отзыву Елены Бальзамо. Вероятно, любопытная книга. А вот вопрос о том, существует ли специфическая эмигрантская литература и кого сейчас можно называть эмигрантом, — для меня, как ни странно, всё ещё остаётся вопросом.

Несколько лет тому назад я даже решил написать статейку на эту тему, но как-то остыл к ней и бросил. Сейчас разыскал в компьютере этот набросок. Посылаю тебе ради любопытства.

[Приложена статья «Федот, да не тот»]

М.Харитонов — Б.Хазанову

6.7.06

Давай конкретней, дорогой Гена. Максим Кантор живет в Германии лет пятнадцать, но о российских делах пишет не как эмигрант. Мой знакомый Михаил Шишкин лет пятнадцать живет в Швейцарии, работает там переводчиком. В прошлом году премию «Национальный бестселлер» получил его роман, действие которого происходит в обеих странах. До этого он получил Букеровскую премию. Однажды он спросил меня: «Вы не собираетесь переехать в другую страну?» Меня этот вопрос удивил, для него это естественно. И никаких специфически эмигрантских проблем ни с издателями, ни с читателями. Имена можно перечислять.

Пока автор чувствует себя эмигрантом, существует эмигрантская литература — это другое дело. Тут ничего не скажешь. Во всяком случае, ничего нового.

Ты опять пишешь, что литературу питает главным образом память. В какой мере это относится к твоему «Часу короля»? Или к историческим детективам Умберто Эко? Или... — но и тут перечислять можно сколько угодно.

Обобщения всегда хромают. Жизнь прекрасна своим разнообразием. Как и литература [...]

Б.Хазанов — М.Харитонову

6.7.06

Ты, конечно, прав, Марк, множество конкретных примеров опровергает мою теорию (если таковая вообще имеется), и не зря я оставил эту затею — статью о двух отрядах литературы. Прав в особенности, говоря — это, может быть, ключевая фраза, — что решает дело самочувствие автора, живущего за пределами России. Я, например, ощущаю себя чужаком, и с этим ничего не поделаешь. Не исключаю, что и Шишкин испытывает нечто подобное, — не говоря уже о других, тех,

кто, продолжая писать по-русски, громко заявляют, что они с этой страной не желают иметь ничего общего. Таких ведь тоже немало. Их горечь, чтобы не сказать: озлобление, понятна. Но любопытно, что время от времени, и это касается не только меня, приходится наткаться на сходное встречное отношение. Сетовать не приходится, такова жизнь. Рискну даже высказать подозрение, что отчуждение, водораздел между «нами» и теми, кто за бугром, увеличился за последние годы — возможно, в связи с общим поправлением общества, патриотическим настроением, возрождением советской психологии и т.п. Не говоря о таких государственных мероприятиях, как изъятие львиной доли гонорара за опубликованные в России произведения у авторов — бывших граждан СССР.

Разумеется, и Аксёнова, и Максима Кантора, и Володю Войновича, и кого там ещё, спокойно живущих в обеих странах, с двумя паспортами, отнюдь не гостей, эмигрантами и отщепенцами не назовёшь. К ним и отношение иное. Но я говорил, собственно, не об «отношении», а о литературе как таковой. Тут, пожалуй, вопрос остаётся открытым — либо на него и впредь придётся отвечать двояко.

Кстати, о литературе. О том, что литературу питает память: ты спрашиваешь, относится ли это к повести «Час короля».

Онегин, я тогда моложе, я лучше, кажется, была. Давнишняя история, порождённая тогдашним настроением. И всё же я не могу сказать, что память тут была ни при чём. Например (как это ни покажется странным), память о лагере.

Новостей особых вроде бы нет. Жара. Я пользуюсь каждым свободным днём. Их ведь осталось не так много. Любое писание вызывает сомнение, не помню случая, чтобы я спокойно ехал вперёд, не терзая себя сомнениями касательно маршрута. Это ведь нормально, не так ли? Конечно, всё происходит более или менее стихийно. Но по мере погружения начинаешь задумываться и сравнивать. В данном случае, то есть сейчас, сомнения, хоть и не новые, вызывает «субъект повествования».

Я помню, как мне было интересно натолкнуться на одну статью покойного Ролана Барта, где спрашивается: кто говорит? Этот вопрос то и дело приходится ставить снова. Обыкновенно, когда идёт речь о прозе, задаётся вопрос: о чём это? И далее обдумывается содержание. Но не менее существен, хотя не всегда осознан (нужно ли вообще «осознавать?»), вопрос, кто говорит.

Тебе рассказывают историю. Кто рассказывает? Чьи глаза видят всё это? С чьей точки зрения ведётся повествование. (Между прочим, это тот самый пункт, который надлежало бы обсудить критику, если бы таковой нашёлся, по поводу рассказа «Сеанс».)

Я как-то писал тебе, что время от времени вещаю в небольшом кружке поэтов и писателей. На этот раз была предложена — как всегда, не мною — тема: автор и авторство. Встреча перенесена, но я успел попытаться её обдумать. Даже выбрал несколько иллюстраций — коротких текстов. Начало «Обрыва» и начало «Дворянского гнезда» (два поразительно похожих отрывка): безличный, всесторонне информированный наблюдатель-повествователь, идеал объективной прозы в духе Флобера. Первый абзац «Максим Максимыча»: имеется функционирующий персональный рассказчик, но он не участвует в действии, и о нём мало что известно. Начало «Княжны Мэри»: появился активно действующий рассказчик; Ich-Erzählung. Вступление к «Госпоже Бовари»: вроде бы тоже есть рассказчик, который говорит от имени одноклассников («Мы готовили уроки, когда вошёл директор...»), но любопытно, что это «мы» потом нигде на протяжении всего романа больше не появляется. Начало «Бесов»: условный хроникёр, сам по себе абсолютно неинтересный, функция которого — собирать сведения и релятивировать происходящее, другими словами, снимать ответственность за адекватность рассказанного с официального автора романа «Бесы». Начало «Доктора Фаустуса»: что-то похожее на хроникёра «Бесов», но всё же реальный персонаж, индивидуальный рассказчик со своей биографией; задача та же: сместить точку зрения в сторону от официально обозначенного автора. Отрывок из «Фальшивомонетчиков» (дневник Эдуарда): некоторый кунстшюк, который заключается в том, что автор романа затесался среди действующих лиц своего же романа и тут же его обсуждает. Наконец, финал «Улисса». Якобы подслушанный внутренний монолог Мэрион, даже не монолог, а поток сознания, но кто до него дознался, кто подслушивает, неизвестно. Предельная субъективность объективирована. В результате текст, притязающий на предельную близость к реальности — реальности души, — и как бы окончательно распрощавшийся с «литературой», оказывается в высшей степени литературным.

Ух ты! Получился целый трактат [...]

М.Харитонов — Б.Хазанову

8.7.06

Надеюсь, дорогой Гена, что твои литературные лекции зафиксированы и когда-нибудь могут быть изданы отдельной книжкой. В Германии (ФРГ) лет сорок назад, помнится, проходили так называемые

мые «Франкфуртские лекции», потом они издавались. Я держал в руках одну такую книжку, лекции Генриха Бёлля. И Борхес свои лекции издавал. Но им обоим, думаю, неплохо платили.

По поводу твоих размышлений о позиции автора. На эту тему много разных работ, исследований. Я вспомнил, что лет пять назад написал верлибр «Наблюдатель», давший название целому циклу — тоже в каком-то смысле об этом.

Наблюдатель

Слух, не нуждающийся в слуховом устройстве,
Зрение, не нуждающееся в глазах,
Некто без внешности, без очертаний,
Способный воспринимать, ощущать, сознать,
Отмечает в пространстве затуманенный шар.
Если в него взглядеться, приблизив —
Шар местами покрыт веществом, похожим на плесень.
Можно еще укрупнить, подробней:
Вещество имеет вид мха, трав, деревьев, кустов.
Оно живое, способно меняться, расти.
(Заодно понаблюдаем рост красивых кристаллов).
Что-то движется. Названия так же открыты
Всесознающему, как суета муравьев.
Можно задержаться на них, проследить
Движения, постройку жилища, кладку яиц,
Услышать грохот горы, из которой прорвался огонь,
Предсмертный вопль, хруст костей в зубах зверя,
Уловить шевеление мысли в уме человека,
Который вдруг замер, не может проникнуть во что-то,
Происходящее перед ним сейчас, в этот самый момент:
В таинство, называемое пожиранием.
Понятен (так думает он) рвущий клыками плоть
(Удовольствие вызвано щекоткой выделяемых соков),
Понятно существо, способное ощутить боль и ужас,
(Так называется отклик особо организованных клеток),
Но вещество, становящееся уже неживым —
Для него переход, запредельное превращение
Неизвестно во что, в частицу другого тела,
Не исполнен ли чудовищного восторга,
Непостижимого для подобных мне? Нам доступна
Только мысль, возникающая (так мы считаем)
Внутри отдельного мозга. Но есть, говорят, измерение,
Где сходится трепет всех мыслей, откуда они исходят,
Овевая прозрачно наш шар. Представляется кто-то,

Для кого сейчас все открыто, доступно
В ошеломительной полноте, как на ладони.
Намекнул бы хоть, подсказал! Нет, в том-то и дело:
У него нет языка для других. Всезнающий не всемогущ.
Ничем не может помочь, ни во что вмешаться.

Если что-то перекликается с твоими мыслями, можешь взять строчку в эпиграф [...]

Б.Хазанов — М.Харитонову

12.7.06

Дорогой Марк, лекции, если их можно так назвать (скорее — свободный разговор), конечно, никак не «фиксируются», но даже если бы кто-нибудь записывал, их не стоило бы издавать. Да и кто бы стал это печатать? [...]

Кажется, я рассказывал тебе, что приблизился когда-то к писательскому миру благодаря Бену Сарнову, с которым меня познакомили Гриша Свирский и покойный Борис Володин; потерю Бори мы с Лорой оплакиваем до сих пор. Я приходил к Бену в гости, мы вели интересные разговоры, но когда часом позже приходили на огонёк братья-писатели, жившие в этом же доме, и начинался совместный разговор на кухне, за прекрасным столом, который готовила Слава, жена Бена, то говорили всегда о мелких событиях и сплетнях окололитературной жизни, что сказало начальство или что передали «голоса», но собственно о литературе никогда разговоров не было, и это меня поначалу очень удивляло. Когда друзья Флобера собирались в ресторане Маньи — о чём они говорили? То-то и оно, что ничего подобного в России не может быть. Теперь, впрочем, и в Германии трудно представить себе нечто аналогичное лекциям Бёлля, многих других, «Литературную мастерскую» Хорста Бинека (записи его бесед с писателями) и т.п. Рынок не поощряет издание таких книг.

Разумеется, вопрос об авторе в его произведении, о масках автора, наконец, о «смерти автора» породил обширную литературу. В моём случае речь шла о том, чтобы как-то уяснить эти вещи себе самому, уяснить, где находится точка зрения, с которой предстаёт рассказ. (Я ещё давно, в нашем бывшем журнале, разглагольствовал об этом в одной статье о Горенштейне, на примере его прозы; по-моему, это была вообще первая статья о Фридрихе. Увы, и его нет.) Тема стихотворения «Наблюдатель» — кажется, я его прежде не читал — в са-

мом деле каким-то боком соприкасается с тем, о чём я писал тебе прошлый раз. Твоего наблюдателя можно уподобить сверхавтору. Со своей стороны, безличный объективный автор порождает особую теологию литературы [...]

М.Харитонов — Б.Хазанову

15.7.06

Ты опять за свое, дорогой Гена: «ничего подобного в России не может быть». Писатели тут не могут говорить между собой о литературе. Ты, да я, да Гриша, да еще Бен — экзотические исключения. И «бесед с писателями», как у Бинека, у нас не могут издать. Между тем в прошлом году вышла книга таких бесед с писателями, которые проводила покойная Таня Бек. Она была замечательным собеседником, интервьюером. И сколько таких книг!

Мне вспомнилось, как во Франции знакомый русский художник, женившийся на француженке, угощал меня какой-то обычной булочкой: «У вас в России этого нет». И даже съездить, посмотреть, что там теперь есть, совершенно не хочет, продолжает лелеять воспоминания тридцатилетней давности.

Назвать ли это эмигрантским комплексом? Литература тут, во всяком случае, ни при чем — особенности личного самочувствия.

Журнал «НЛО» предложил мне участвовать в проекте: они собираются сделать спецномер, посвященный 1990 году в России: «его политическим, экономическим, демографическим и культурным аспектам». Составляется хроника каждого месяца, по газетным и прочим источникам, разным авторам предлагается прокомментировать по выбору один из месяцев на основе собственных дневников, воспоминаний и пр. Это может быть интересно. Подумаю [...]

Б.Хазанов — М.Харитонову

15.7.06

Дорогой Марк, проект любопытный: что происходило, как жилось в России в 1990 году. Тебе есть что сказать, а мне было бы очень интересно прочесть, что ты напишешь для журнала. Тут можно, вероятно, среди прочего найти кое-что в твоих письмах ко мне, если ты сохранил копии.

Это было, кстати, время, когда здесь, в Мюнхене догорал наш бывший журнал «Страна и мир». Хорошо чувствовалось, как он чем

дальше, тем всё больше отставал (в своей политической части) от событий в метрополии. Покойный Кронид с особым волнением воспринимал все новости. И так же неуклонно наши разногласия, разница характеров и вкусов перерастали во взаимное отчуждение. Было ясно, что ему хотелось поскорей от меня избавиться. Последний номер, датированный 93-м годом, был снабжён уведомлением от имени редакции («мы не прощаемся», журнал будет продолжен в Москве), но готовил его уже один Кронид. Вскоре он уехал, а что было дальше, ты знаешь. И когда я сейчас вспоминаю годы нашей работы, первоначальный энтузиазм, настойчивость, веру, вспоминаю, какая уйма сил и времени была потрачена, и притом зря, впустую, мне становится грустно.

По поводу твоих возражений: что мне сказать? В отличие от твоего приятеля, парижского художника, я лелею (или как там это надо назвать) не тридцатилетней давности воспоминания, а 50-летней, 60-летней. Мой роман приближается с грехом пополам к предварительному концу и представляет собой «фрагменты XX века» — правда, всего лишь фрагменты. Теперь я добрался как раз до этого времени, до 90-х годов.

Ты говоришь об «эмигрантском комплексе». Совершенно справедливо. Это старая история. Я приобрёл этот комплекс ещё в Москве, задолго до эмиграции.

Я упомянул о вечерах у Бена Сарнова потому, что это было моё первое знакомство с представителями литературного мира, от которого я был по условиям жизни и моей профессии весьма далёк. Эта среда меня живо интересовала. Возможно, я слегка её идеализировал. Да и жили они какой-то совершенно особой, волшебной жизнью. Поздний час их не беспокоил: мне предстояло на рассвете в обозлённой толпе брать штурмом автобус, давиться в метро, ехать на работу час пятьдесят минут в один конец, вечером возвращаться в темноте и давке домой, и так изо дня в день, а они могли встать хоть в полдень, проводили день как им вздумается, не стояли в очередях, отдыхали в благоустроенных домах творчества и так далее. Тогда-то мне и бросилась в глаза особенность, которая в общем-то не должна была удивлять: литераторы с увлечением говорили о литературной (точнее, околотитулярной) жизни, но никогда — о собственно литературе.

С отроческих лет, ещё в эвакуации, я пристрастился к чтению литературной критики и не могу отстать от этого до сих пор. Кроме критических статей в русском интернете я просматриваю время от времени и дискуссии в сетевых журналах. Последнее, что я читал, — ответы на анкету о массовой и «элитарной» литературе в так называемом

Живом журнале. Это нечто жалкое. Но и в серьёзных статьях известные и уважаемые мною критики, если оставить в стороне свойственный многим кокетливый тон, нет-нет да и прорывающееся дурновкусие, известный налёт провинциализма, — избегают общих вопросов: обыкновенно речь идёт о произведениях какого-нибудь конкретного современного автора. Если же и приходится упомянуть о каком-нибудь совокупном направлении литературы, о «постмодернизме», о «реализме», получается что-то совсем беспомощное. Что я хочу сказать? Дело не только в том, что размышления о поэтике, о композиции, о философии творчества, о том, что так важно для писательства, вышедшего из стадии юношеской подражательности, считаются противопоставленными не только писателю, это уж само собой, — но и критику. Всякая, а не только литературная, рефлексия отвергается как нечто заведомо скучное, неинтересное, заумное. В этом я нахожу — может быть, чересчур обобщая — особенность российского литературного сообщества. (Иллюстрацией может служить, например, последняя статья Бена в «Воплях».)

Ты скажешь: а литературоведение. Да, но она наглухо отгорожена в особых резервациях: в «НЛЮ», отчасти в тех же «Вопросах литературы» [...]

Но и книга Бинека, о которой я вспомнил, тоже дело давнишнее. Ведь общее падение интереса к литературе происходит не только в России [...]

М.Харитонов — Б.Хазанову

20.7.06

[...] Я сделал подборку записей за январь 1990 — захотелось от этого скорей освободиться, чтобы больше не думать. Жуткое было время. Армянская резня в Баку, антисемитский шабаш в ЦДЛ, ожидание погромов, разговоры и неотвязные мысли об эмиграции, чудовищная пустота в магазинах, очереди, предчувствие близкой катастрофы. Сейчас это почти забылось.

За текущей литературой я следить почти перестал, критику читать кажется бесполезно, если не знаешь книг, о которых идет речь. Разве что при случае задерживаюсь на стихотворных цитатах в рецензиях на поэтические книги — по строкам, строфам все-таки можно составить некоторое представление об уровне. Увы, жемчужные зерна выловишь редко. Никогда не публиковалось так много книг и не выплескивалось в таком изобилии графоманство. Оно было всегда, о

стихотворческой инфляции была, помнится, статья у Мандельштама, стихи в юности пишут чуть ли не все. Но тогда не было интернета, где каждый может опубликовать себя, зато было авторитетное экспертное сообщество.

Как-то я прочел в «Шпигеле», что теперь ученому проще заявить о своей идее. Раньше надо было отправлять статью в специальный журнал, ждать там оценки, публикации, на это уходили месяцы, и кто-то успевал раньше, объявлялся автором открытия. Теперь достаточно поместить статью в интернете — приоритет в тот же день обеспечен. Я рассказал об этом знакомому физику, который редактирует один из авторитетных журналов. Он усмехнулся: какой специалист станет копаться в этой навозной куче?

Вчера я купил билет в Женеву на 18 августа, это необходимо для получения визы: надо удостоверить, что у тебя есть обратный билет, ты не намерен там остаться. А ты говоришь: заезжай в Мюнхен. В Германию нужна еще одна виза. Каждый раз унижительное напоминание о второсортности страны [...]

Б.Хазанов — М.Харитонову

29.7.06

Дорогой Марк! Спасибо за стенографию [...] Эти записи, как и прежние, интересны для меня прежде всего тем, что они как-то стимулируют мысль. Жаль только, что так мало. Некоторые подробности, чёточки того времени знакомы и мне, я побывал тогда в Москве, видел эту разруху. Пожалуй, не знал, что разговоры об эмиграции, желание бросить всё и уехать, велись так интенсивно, отчасти затронули и тебя.

С дневником Вернадского я знаком весьма поверхностно. Я жил неподалёку от проспекта его имени. Если бы градостроители и начальство знали, что он думал о Советской России! Недалеко и памятник «отцу космонавтики». Мне приходилось читать брошюры, которые Циолковский выпускал в Калуге своими силами, на обёрточной бумаге. Из них можно было почерпнуть его представление о будущем человечества, которое в конце концов превратится в гигантское эфирно-лучистое тело, и тело это будет плавать в околосолнечном пространстве. Представь себе этого полуслеплого лохматого фантазёра, нищего школьного учителя, который пробирается в калошах по залитым непросыхающей грязью, полутёмным улочкам захудалой Калуги и сочиняет ослепительный проект будущего. Но вот, совсем недавно,

мне прислали большую статью из FAZ (читаешь ли ты по-прежнему эту газету?) о Николае Фёдорове и Циолковском, одного специалиста из Ростова. Он вытащил у Циолковского цитаты, из которых видно, что великий сын нашего народа был (как и Фёдоров) не просто злокачественный антигуманист, но законченный фашист.

Четверть века назад ты размышляешь о неизжитости русской истории, о настойчивом и обескураживающем возвращении ветра на круги своя. Неизжитость, очевидно, не должно смешивать с традицией: традициями гордятся, продолжать их — занятие во всяком случае почтенное. Неизжитость же, если я правильно тебя понял, — это вечное «опять двадцать пять». Опять свирепая власть, коррупция, неустройство, возвышение худших, элиминация лучших. Конечно, это так. «В Россию можно только верить». Сколько скрытого отчаяния в этих затёртых словах. Иногда кажется, что спасение страны, исторический выход и убежище — это её огромность. В стране с очень большим населением чисто статистически всегда окажутся талантливые люди, бодрые умы. В такой стране очень трудно исчерпать природные ресурсы, загадить все уголья, вырубить все леса. И есть на худой конец куда убежать. У тебя в стенографии приведена история человека, которого тайная полиция до того запугала, что он бежал в тайгу и прожил там почти в полном одиночестве 42 года. Я об этой истории не слышал. Но любопытно, что в романе, который я сочиняю, есть весьма похожий сюжет [...]

1.8.06

[...] Когда-то говорили: свет с Востока, ex oriente lux, — разумея не только свет истинной веры, но и то простое обстоятельство, что солнце встаёт на востоке. Сегодня в востока пришли дожди, прохлады, и стало легче.

Прошлый раз я упоминал — в который раз — о своём злополучном романе, об истории человека, бежавшего в лес (жаль, что твоя новая стенография такая короткая). Я почти добрёл до конца, спотыкаясь то и дело, и постепенно завяз окончательно, потерял инерцию, а тут ещё изнурительная жара и приезд гостей. Начал всё снова, от начала, переписывал, правил, обычная история. Роман этот, если всё-таки удастся его закончить, будет невелик, немногим больше двухсот компьютерных страниц.

Я разыскал в компьютере твоё письмо с замечаниями о моём предыдущем изделии, «К северу от будущего». Там были лестные слова, но указано и на два крупных недостатка. В роман вкраплены эпизоды,

не имеющие отношения к делу, к сюжету. И второе, в заключительных текстах, то, что касается исторических событий, мысли о войне, о Сталине, — в сегодняшней России хорошо известно. Это справедливые замечания. Тем не менее, в новом романе я возвращаюсь к тому же.

Дело, однако, не только в привычке, в том, что я состарился и вязну в рутине, долбя тривиальности, — хотя есть и это. В романе имеется сквозной персонаж. Ему приданы до известной степени черты автора, использованы эпизоды из жизни автора, перемешанные с вымыслом. Ты это заметишь, если найдётся время и охота читать, и если, конечно, сочинение удастся закончить и привести в Божеский вид. В нём легко заметить повторение, с известными вариациями, не раз написанного и описанного, ведь я постоянно пользуюсь материалом собственного «жизненного пути» и то и дело возвращаюсь к знакомым сценическим площадкам. Например, в дом, где я вырос. Я не боюсь этих возвращений, ведь значительная часть моих книжек — это, в сущности, одна книга.

Речь идёт о человеческом существовании на фоне «истории». Слово, которое приходится брать в кавычки, ибо в его смысле и содержании для меня слишком много сомнительного. История становится историей не раньше, чем она написана. Биография становится биографией, коль скоро она написана. До этого и биография рассказчика, и история страны остаётся временем воспоминаний, «вчерашней вечностью». Я заимствовал это выражение (сделав его заголовком романа) у блаженного Августина, как ты догадываешься, из знаменитой XI книги «Исповеди», о времени.

Но эти попытки возродить прошлое могут быть (в романе) только фрагментами, разрозненными эпизодами. Эпоха похожа на отбивную — кусок мяса, по которому так долго колотили молотком, что он превратился в дырявый лоскут, — и роман о ней может быть только обрывками. Связное повествование, таково моё глубокое убеждение, — достояние литературы других времён, когда отдельный человек, в данном случае герой романа, был субъектом истории. Сейчас он только объект и жертва.

Мне показалось невозможным обойтись без некоторых сцен войны и без двух символических кончин — смерти Гитлера и смерти Сталина. Я пользовался разными источниками, русскими и нерусскими. Какой диссонанс между немецкой и российской историографией! Как бы то ни было, можно повторить твой упрёк: многое известно. Но я пишу об известном немного иначе, а главное, далёк от мысли что-либо разоблачать. Разоблачениями мы занимались в нашем бывшем журнале, четверть века назад.

Главное в том, что я собираюсь доделывать, что пытается решить главный персонаж, — можно назвать его повествователем, можно считать писателем, и тогда роман оказывается книгой, которую он пытался написать, при том что в моём романе присутствует и некая посторонняя анонимная инстанция, которая оценивает и самозваного сочинителя, и его попытки писать, — главное — это вопрос о смысле и оправдании пережитого. В записках Лидии Гинзбург, которые я недавно перечитывал, есть замечательное суждение: смысл жизни нашего поколения — выжить. В той системе представлений, которая может быть приписана моему роману, этот ответ не годится; во всяком случае, он представляется недостаточным. У сочинителя могут быть три ответа, правда, и с ними дело обстоит не лучше. Ни один из них не является ни окончательным, ни удовлетворительным. Оправдание жизни — в самой жизни; жизнь есть факт, не нуждающийся в оправдании. Оправдание — жизнь в истории («Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые»), ибо жить в истории, как бы ни относиться к ней, значит непременно в ней участвовать. И, наконец, смысл и оправдание — в любви к женщине [...]

М.Харитонов — Б.Хазанову

2.8.06

Трудно, дорогой Гена, судить об идейном замысле еще не дописанного сочинения. Мне тоже случалось начинать работу с определенной идеи, и почти всегда она по ходу дела менялась, иногда на противоположную. Развитие героев, внутренняя логика событий, которую автору приходилось принять, раздумья над сложностями противоречивой, непостижимой жизни, в которые я сначала вникал, оказывается, недостаточно глубоко, не всерьез, (а иной раз слишком всерьез, без иронии к самому себе) делали первоначальный замысел неузнаваемым, он казался потом до смешного поверхностным, упрощенным, прямолинейным. Работу можно считать удачной, если автор в процессе ее умнеет, обогащается, начинает что-то заново понимать. Нанизывать жизненный материал на заданную, заранее бесспорную идею — дело всегда сомнительное. Да ты это и сам знаешь, как чувствуешь опасность самоповторов, воспроизведения все тех же комплексов (не просто комплекса идей).

Нет идеи, которую нельзя оспорить. Из трех заранее предложенных твоим сочинителем суждений лишь одно мне кажется неопровержимым: жизнь есть данность, она не нуждается в оправдании (пе-

ред кем? «За радость тихую дышать и жить Кого, скажите, мне благодарить?» — это написал девятнадцатилетний юноша и готов был повторять до конца своей трагической жизни). Что за странное «оправдание»: «жизнь в истории»? Любовь к женщине — причем тут смысл и что значит тут оправдание? Продолжение рода? А как выразилась бы женщина? У нее, может, иное отношение к истории? Слова, слова. Повествователь в романе может над этим умствовать — ты вправе над ним (и над самим собой) посмеиваться. Смысл — в поисках смысла; в сочинении он возникнет (в том числе для тебя самого, нередко обескураживая) не просто из размышлений — из жизненного вещества. Я заранее предвкушаю в романе эпизоды, пришедшие из твоей собственной жизни. Осмысливать их сможет вместе с тобой читатель.

Сомнительны все обобщения. Почему в наше время так уж невозможно связное повествование? Я сам, как ты знаешь, составил сочинение из фрагментов, фантиков. Но это дело данного автора. Набоков, Гроссман, Маркес, Горенштейн, да кто угодно еще строили прекрасные традиционные сюжеты — честь им и хвала! Чем это они несовременны? Есть авторы, которые сами размышляют о происходящем в романе на его же страницах, тебе они близки, и хорошо — но и это нельзя считать единственно достойным (современным) способом повествования. И т.д. и т.п. Ты пишешь о «диссонансе между немецкой и российской историографией». Какой диссонанс, какую историографию ты имеешь в виду? Исторических сочинений сейчас необозримое множество, есть замечательные. У нас, кстати, переведена целая библиотека немецких исследований о минувшей войне, мой внук почему-то этой темой увлекался, у нас дома лежали несколько книг.

Я искренне надеюсь, что твоя работа, будучи законченной, опровергнет и эти мои преждевременные умствования. Рад буду, если ты сам себе потом удивишься: надо же, что у меня получилось! И подтвердишь, что в нашем возрасте еще возможно развитие [...]

Б.Хазанов — М.Харитонову

4.8.06

[...] Ты, конечно, прав, первоначальный замысел и «идея» до неузнаваемости меняются, выцветают, когда втягиваешься в писание. Мало помалу они теряют (подчас) всякую привлекательность. Вырисовывается новая концепция. Но когда начинаешь о ней задумываться, она начинает притязать на роль новой идеи. Я ценю твоё недоверие ко всяческим умозрительным конструкциям и особенно к обобщени-

ям. Но ведь хочется понять, о чём, собственно, ты пишешь, что ты хочешь сказать. (Или, как выразился один математик, прослушав Девятую симфонию: «Превосходно — но что это доказывает?»)

Рассказ о жизни ничего не доказывает, кроме того, может быть, что живая жизнь есть факт, в самом существовании которого заключено его собственное «доказательство», другими словами, жизнь — реальность, которая не нуждается в обосновании. Но человеку свойственно задумываться о смысле жизни. Если угодно, он поступает в пику Витгенштейну — я имею в виду знаменитый афоризм в 6-м разделе Трактата:

«Der Sinn der Welt muß außerhalb ihrer liegen. In der Welt ist alles wie es ist und geschieht alles wie es geschieht; es gibt in ihr keinen Wert — und wenn es ihn gäbe, so hätte er keinen Wert»¹.

В этом высказывании, по-моему, самое замечательное, а может, и самое печальное, — последние слова: всякая ценность, если бы она существовала внутри нашего мира, сама по себе не имела бы никакой ценности.

Человек не может с этим согласиться, какой бы бесспорной ни выглядела эта максима. Человек — это, понятное дело, звучит отнюдь не гордо, и всё же его величие в том, что усилия, всегда обречённые на неудачу, самое наше брэнное существование, вносят смысл в бессмысленный и абсурдный мир. Сколько я видел людей (да и сам был таков), о которых можно было с полным основанием сказать: всё проиграно, нет никаких шансов, остаётся только ждать смерти — а он всё ещё рыпается, всё ещё чего-то ждёт и чего-то добивается. Как мне было жалко всех этих людей, этих смертников — моих пациентов или моих знакомых! Как мне было жалко женщин, которые вечно стараются устроить безнадежную, рассыпающуюся, как замок из песка, жизнь. Но нет — они всё ещё сопротивлялись, всё ещё отстаивали — не задумываясь, не отдавая себе отчёт — достоинство человека, которое именно в том и состоит, чтобы противостоять разрухе и абсурду.

У меня была одна больная, пожилая одинокая женщина, уже не встававшая с постели, с безнадежным диагнозом; дело было в 24-й больнице, лет сорок тому назад. Когда я подходил к ней, она вынимала из коробки на тумбочке диапозитивы: это была коллекция цветов. У неё уже не было ни цветов, ни квартиры. Она лежала и время от времени разглядывала эти стёклышки.

¹ Смысл мира должен лежать вне мира. В мире все есть, как оно есть, и происходит, как оно происходит. В нём нет никакой ценности, а если бы она была, то не имела бы никакой цены (*нем.*).

В Очакове, где я заведовал отделением, была страшная палата для умирающих. Там стоял запах, с которым невозможно было бороться. Большинство были старухи, некоторые уже не в себе. Все лежали. Среди них на койке сидела молодая женщина, у которой дома остались дети, с диагнозом, равносильным смертному приговору.

И вот теперь литература, сочинительство... Перед нами, позади нас — жуткое видение минувшего века. Оглядываться на него — стать женой Лота. Оттого ли, что это близкая эпоха, «наше время», или потому, что век этот в самом деле с трудом может найти равных себе по масштабу злодеяний и разрушений, он с изумительной наглядностью демонстрирует абсурд истории. В романе о XX веке (как и в жизни) маленький человек не может жить просто так, в своём углу. На каждом шагу он сталкивается с историей. Частной жизни, личной свободы больше не существует. Он живёт в государстве тотального подавления — таков ближайший, наиболее знакомый ему облик истории. Она как будто твердит ему: всё бессмыслица — и твоя жизнь бессмыслица. Не рыпайся, опускайся на дно. И вот, если это человек более или менее интеллигентный, сколько-нибудь мыслящий, он не может не искать ответа: в чём смысл, в чём же всё-таки оправдание его жизни. Как сказано в стихотворении Бенна: *Die ewige Frage: Wozu?*¹

«Смысл — в поисках смысла; в сочинении он возникнет... не просто из размышлений — из жизненного вещества». Ты прав.

Насчёт фрагментарности — на месте скомпрометированного (как иногда кажется) связного повествования. Любопытная тема. Но я и так растёкся по древу, вернусь к ней в другой раз. И насчёт диссонанса между немецкой и русской историографии [...]

М.Харитонов — Б.Хазанову

5.8.06

Как драгоценны, дорогой Гена, упомянутые тобой больничные эпизоды, как прекрасно было бы, если бы ты их развернул! У меня на чем-то близком строился рассказ «Голуби и стрижи», но ты, врач, знаешь несравненно больше меня. Со времен Иова люди вопрошают о смысле и бессмысленности жестокой, несправедливой жизни. Пациенты смотрят на тебя с ожиданием и надеждой — твоим достойнейшим ответом будет сочувствие, лечение; философствования на эту тему неизбежно окажутся общими местами. В одном клубе, помню, была когда-то объявлена лекция «О смысле жизни», по окончании обещались тан-

¹ Вечный вопрос: зачем? (нем.)

цы. Ты не прав, государство тотального подавления вовсе не навязывало человеку мысль, что жизнь абсурдна и смысла в ней нет — как раз наоборот, ты прекрасно знаешь, какие оно предлагало лекции. Человек страдает от насилия, от произвола властей, политических безумств, от голода, от нищеты, от болезни (почему называть это непременно историей)? И он, как ты справедливо пишешь, почему-то рыпается, сопротивляется, что-то делает. Почему? В умствованиях твоего персонажа отсутствует измерение, которое я бы назвал религиозным, вне всяких конфессий: ощущая непостижимость этой жизни, человек руководствуется в ней не рациональными построениями, ему знаком импульс, который не назовешь иначе как религиозным. Нас угораздило родиться не в лучшее время не в лучшей стране — что же теперь, проклинать абсурд истории, искать непонятно какого оправдания своей испорченной, неудачной жизни? Манделъштам в девятнадцать лет был мудрей: «На стекла вечности уже легло мое дыханье и мое тепло». Да ведь не тебе считать неудачной свою жизнь — наполненную, богатую, драматичную, в конце концов, состоявшуюся. Про многих ли можно так сказать?

Спасибо за «Навигацию». Обнимаю тебя, твой Марк.

P.S. Не помнишь, о каком своем эссе Томас Манн сказал, что оно было написано из желания разгрузить роман от избыточного идейного материала? Может, и ты перегрузишь часть своих идей в эссе, доверив его, допустим, своему сочинителю? А сам получишь право иронизировать с надзвездных высот все над теми же общими местами. М.

Б.Хазанов — М.Харитонову

8.8.06

Ты пишешь: «Государство... вовсе не навязывало человеку мысль, что жизнь абсурдна и смысла в ней нет». Конечно. И, однако, навязывало — на свой лад, — или, лучше сказать, наводило на мысль. Наше бывшее государство в лице своих идеологов и вождей общалось с Градом и Миром на искусно зашифрованном языке. Примером, лежащим на поверхности, могли служить лозунги к Первому мая и Седьмому ноября. Я помню, как ещё в далёкие советские времена один социолог говорил, что при опросах читателей передовиц «Правды» выяснилось, что большинство опрошенных не понимает их смысл. (Эти исследования, как и вся так называемая, зародившаяся было в хрущёвские годы конкретная социология, были пресечены.)

Как бы то ни было, обыкновенные люди понимали — или старались понять — официальный язык буквально, то есть думали, что чёр-

ное — это чёрное, белое — белое. Но существовал и эзотерический смысл. Он требовал навыка. Это вроде того, как еврейские мистики читали библейские тексты. Знаменитое, висевшее повсюду послевоенное изречение Сталина «Мир будет сохранён и упрочен, если народы мира возьмут дело мира в свои руки и доведут его до конца» на первый взгляд могло показаться бессмыслицей, в лучшем случае — орнаментом для украшения зданий. Но существовал тайный смысл этой нелепой фразы, и притом довольно простой; она означала: надо вооружаться.

На рубеже 70—80-х годов, если ты помнишь, была опубликована ширококвещательная Продовольственная программа: «О дальнейшем повышении...». Слово «программа» — кодовое обозначение катастрофы. Впрочем, кому я это рассказываю; ты знаешь это лучше меня.

«Ленин жил, Ленин жив...» и так далее — означало: умер Максим, и х... с ним.

Даже когда не было нужды в откровенной лжи, даже не в строго пропагандистских, не в целенаправленных индоктринирующих текстах — вот ведь в чём весь смех! — государство говорило на условном языке, жаргоне для посвящённых, наподобие жаргона воров или герметического языка алхимиков. Можно было бы открыть курсы изучения советского официального языка для историков и всех интересующихся бывшим Советским Союзом; можно было бы составить советско-русский фразеологический словарь для чтения с его помощью докладов, решений, постановлений, газетных передовиц, а также стихов, прозы и всего остального.

Напиши-ка фантастический рассказ на эту тему.

Что касается того, что идеология не только отметала всякие догадки о мизерии человеческого удела и т.п., но, напротив, внушало мысль о высокой осмысленности жизни и работы в самой счастливой в мире стране, — то кто же спорит. Но за этим стоял другой смысл. Правда, это был тот случай, когда слова таили в себе незапланированный смысл, означали всё наоборот — против намерений тех, кто их выкрикивал. Зычным голосом государства вещал абсурд.

Я всё ещё возвращаюсь к своему неоконченному роману. В умствованиях главного персонажа отсутствует, как ты пишешь, религиозное измерение. Ты прав. Что можно об этом сказать? Сейчас любят приписывать религиозный смысл всякого рода морализаторству. Можно было бы утверждать, что вопрос о смысле существования сам по себе, независимо от ответа, есть вопрос религиозный. Но, с другой стороны, можно было бы сказать, что главное действующее лицо, соединяющее фрагменты повествование, подобно тому, как самоиден-

тификация личности восстанавливает целостность разрозненных воспоминаний, — что жизнь этого человека совпадает с эпохой, когда религия потерпела сокрушительное фиаско и приходится искать опору в чём-то другом.

Я нашёл однажды в воспоминаниях Жана Марэ о его друге (и многолетнем любовнике) Кокто фразу: «Я — ложь, которая говорит правду». Я заметил, что давно уже отвык, отошёл (в художественных произведениях) от авторской однозначности. Кто говорит? Вам рассказывают историю. Кто рассказывает? Кто исповедуется? С чьей точки зрения, из какого угла обзревается мир? Обыкновенно в классической прозе вопрос решается относительно просто, хотя иногда дело и не обходится без каверз («Мы готовили уроки, когда вошел директор... Новичок всё еще стоял в углу, так что мы с трудом могли разглядеть этого деревенского мальчика...», — начало «Госпожи Бовари»). После чего это «мы» пропадает: больше нигде в романе оно не упоминается).

В моём случае — и это не искусственный приём, я просто не могу иначе — «авторство» может сдвигаться в пределах одного абзаца и даже одной фразы. Начинаем за здравие, кончаем за упокой. Что-то похожее можно найти в прозе Горенштейна: начинается вроде бы с косвенной речи, с размышлений героя, — глядишь, герой пропал, это уже философствование самого автора. Но в моей прозе автора, собственно, нет, в лучшем случае это стилизованный повествователь; нет и последовательно субъективной речи; привычная грань между субъективным и объективным, между претензией на реализм и разного рода вывихами и сдвигами, равно как и между воспоминанием и настоящим временем, а порой и между реальностью и сновидением (сон без сновидца), — эта грань похерена, её нет. Говоря выспренным (философским) языком, абсолютной действительности не существует.

Уф!

Томас Манн, если не ошибаюсь, говорил, что хотел бы разгрузить роман от избыточного идейного материала, имея в виду «Размышления аполитичного» и «Волшебную гору». Впрочем, это надо проверить.

Обнимаю крепчайше, твой старый друг Г.

М.Харитонов — Б.Хазанову

26.8.06

[...] Позавчера ночью вернулся из Швейцарии, понемногу возвращаюсь к обычной жизни. Поездка оказалась сверх ожиданий содержательной. Фестиваль Рильке проходил, в основном, на террито-

рии роскошного шато, на разных площадках выступали музыканты, артисты, делались доклады, но я этого почти не видел, в основном общался с разными людьми. В этом году тема фестиваля была «Рильке и Россия», много говорили о тройной переписке Рильке — Цветаева — Пастернак, в местном музее была на эту тему выставка. Среди литераторов, с которыми я общался: Евг. Б. Пастернак с супругой, Наташа Горбаневская, К. Азадовский (специалист по Рильке), поэты из Франкфурта Олег Юрьев и Ольга Мартынова (знаешь ли ты таких? Их вечер для немецкой аудитории вела Ильма Ракуза), из Берна приехали в качестве слушателей Юра Гальперин с супругой. Ну, и конечно Жорж Нива с супругой, он еще с одним швейцарским журналистом вел беседу со мной для французской аудитории. После фестиваля он еще задержался на сутки со мной, свозил меня в горы, мы провели за беседой прекрасный вечер в ресторане роскошного курорта Монтана. И еще почти два дня меня опекали две швейцарские дамы. Одна оказалась уроженкой немецкой Швейцарии (городок Siere вообще на переходе от французской к немецкой Швейцарии), она, видимо, прониклась ко мне расположением, мы с ней сначала съездили по окрестностям, связанным с Рильке (замок Muzot, его могила в Rogogne), потом еще высоко в горы, к глетчеру, заехали к ней домой. И всю дорогу, конечно, болтали по-немецки. Другая оказалась моей переводчицей, живущей в соседнем городке Sion, мы побывали у ее мамы, она из русской эмигрантской семьи, ее отец был руководителем французского НТС, долго рассказывала мне порусски разные истории. Побывал еще в одной швейцарской семье. Но всех пяти дней не перескажешь. Такого спокойствия и благополучия, как здесь, не ощутишь ни в Германии, ни во Франции. Я, пытаюсь взглянуть в эту жизнь, думал: о чем здесь мог бы рассказывать писатель? И увидел на улице, возле лотка с местной газетой, рекламный плакатик с сенсацией дня: «ВАРВАРСТВО! На вокзале найден труп повешенной кошки!» Местная драма [...]

Б.Хазанов — М.Харитонову

21.09.08

[...] Я вернулся из Парижа третьего дня. Было, как всегда, очень хорошо. Жил в гостинице, где меня знают. Снова ездил в Шартр к переводчице Лене Бальзамо, виделся с Ренэ Герра, совершили путешествие в замок Рамбуйе. Занимался своим романом (ударение на первом слоге) и читал для подкрепления сил душевных биографию Пруста [...]

8.10.06

Ну, вот мы и вернулись из Черногории, дорогой Гена. Была прекрасная погода, очень теплое море, мы проводили целые дни на почти безлюдном пляже, обедали виноградом и хлебом, вечером пили вино. Одно из преимуществ — сюда нам пока не нужна виза, при этом сравнительная дешевизна и быт вполне европейской провинции. Местность когда-то находилась под властью Венеции, «до свидания» на здешнем сербском — «чао». Вообще ощущение средиземноморской Европы. Я взял с собой карманное издание Манделыштама, читал на берегу. «Разрывы круглых бухт, и хрящ, и синева». (Рифмуется: «Я с вами разлучен, вас ощутив едва»). «О, если б распахнуть, да как нельзя скорее / На Адриатику широкое окно». Вот она была передо мной, Адриатика, во всю ширь. (Рифмуется: «Власть отвратительна, как руки брадобрея».) Удивительная красота.

А еще я взял с собой номера прошлогоднего журнала «Знамя» (4-6) с романом моего знакомого Михаила Шишкина «Венерин волос». По-моему, это замечательная работа. Автор уже много лет живет в Швейцарии, эпизоды тамошней жизни (он работает толмачом), переплетаются с эпизодами российской действительности, с другими повествовательными линиями. Все это показалось мне очень симпатично литературно и по-человечески. Посмотри, если еще не видел, мне было бы интересно твое мнение [...]

По возвращении на меня вдруг обрушились здешние новости (антигрузинская истерия, вчерашнее убийство Анны Политковской), это надо еще переварить [...]

Б.Хазанов — М.Харитонову

11.10.06

[...] Российским новостям, весьма нерадостным, и здесь уделяют большое внимание. Сегодня правитель приезжает в Мюнхен.

Сейчас утро, я собираюсь ехать в больницу, Лора выписывается. Наши новости не слишком весёлые: обнаружены множественные мелкие метастазы в лёгких. Предстоит новый курс химиотерапии.

Я урывками занимался романом. Он приближается к концу, до которого никак не может достигнуть. Это напоминает асимптотическое приближение кривой к оси координат или попытки землемера К. добраться до графского замка [...]

М.Харитонов — Б.Хазанову

15.10.06

[...] У нас золотая осень. Я понемногу втягиваюсь в работу. Отвлекаюсь на чтение. Купил на случайном развале двухтомник Бунина с послереволюционными работами, которых не было в моем советском пятитомнике: «Жизнь Арсеньева», «Окаянные дни», дневники, воспоминания. Полуграмотные цитаты из тогдашней революционной прессы напомнили мне о времени, когда я писал «Сундучок Милашевича» и листал в библиотеке эту макулатуру. Сейчас я в дневниках такими выписками пренебрегаю — может быть, зря, спустя годы они производят впечатление. В литературных воспоминаниях Бунин наблюдателен и резок до злости, и с этой злостью поневоле соглашаешься, когда он сопоставляет опять же революционную и антирелигиозную риторику именитых поэтов с чудовищной реальностью. Но когда заглядываешь в его собственные стихи, напоминаешь себе о необходимости делать поправку на его представления о поэзии.

По радио прозвучало позавчера суждение, что события минувшей недели обозначили сдвиг в общественных настроениях. Антигрузинская кампания, убийство Политковской, дурно пахнущие комментарии президента на эту тему оттолкнули от власти существенную часть общества [...]

Б.Хазанов — М.Харитонову

17.10.06

Дорогой Марк, я читал когда-то «Окаянные дни», у меня есть эта книжка (выпущенная за границей). Там есть впечатляющие страницы, но читать её было неприятно. Уж очень она озлоблённая. Что, впрочем, понятно. Такое же впечатление было и от дневников Зинаиды Гиппиус, тех же лет. Что касается бунинских литературных воспоминаний, чудовищной чуши, которую он написал о Блоке, злопахательства и несправедливости по отношению к Горькому, и пр., — то он пощадил, кажется, только одного человека — Чехова.

То, что ты пишешь о сдвиге общественных настроений, представляется мне — при том, что судить отсюда много труднее, — по своему логичным продолжением давно уже наметившейся тенденции. Осторожно, но настойчиво насаждаемый сверху государствен-

ный национализм встречается с такого же рода настроениями полуобразованной массы снизу. Об этом неопровержимо свидетельствует и обширный материал социологических исследований (Дубин, Гудков). Интересно, что и заметная часть интеллигенции непрочь, по крайней мере, щегольнуть антиевропеизмом и этим вечным «только у нас», «только Россия...».

У меня особых новостей нет. Стараюсь, хоть и с перерывами, дodelывать мой злополучный роман. Но всё время такое чувство, что так и не удалось выразить достаточно внятно то, что хотелось. С другой стороны, не можешь позволить себе растекаться по древу, слишком назойливо говорить впрямую, в главном предложении вместо придаточного, короче, злоупотреблять терпением предполагаемого (то есть весьма сомнительного) читателя. Вообще говоря, читатель в пространстве литературы — фигура сугубо условная, домысливаемая, так сказать. Нечто вроде поправочного коэффициента k в уравнении: сам по себе этот коэффициент не имеет физического смысла.

Нельзя сказать, чтобы читатели были недостаточно хороши для нас. Но уж, конечно, и о себе не осмелишься утверждать (разве только утешаться потихоньку), что ты слишком хорош для российских читателей. Как говорил конферансье в спектакле Образцова «Обыкновенный концерт»: не слишком ли я для вас интеллигентен?

Время от времени я вещаю в литературном кружке (о чём как-то писал тебе). Последний раз это было на тему «Детективный роман». Довольно отважный финт, если принять во внимание, что сам докладчик очень мало читал такой литературы. Я пытался начертать что-то вроде философии детективного жанра, который основан на вере в однозначно-неоспоримую действительность и единственную истину. Детектив — это архаический жанр [...]

М.Харитонов — Б.Хазанову

22.10.06

Не странно ли, дорогой Гена: мы в своих письмах обсуждаем все время российские проблемы, русскую литературу — а у тебя, в благословенной Германии, как будто не происходит ничего, заслуживающего интереса? Помнишь, я писал тебе о швейцарской сенсации: на вокзале найден труп повешенной кошки? У нас-то буквально каждый день убивают людей, и не простых, известных. Не соскучишься. С тех пор, как я перестал получать немецкую прессу, я и за вашей культурной жизнью не слежу. Ну, про шумел скандал вокруг Гюнтера Грасса.

Не нам, учившимся в советских школах, читать мораль семнадцатилетнему юнцу, который не разобрался, в какие пошел войска. Но и признаться в своем тогдашнем идиотизме нам не кажется зазорным. Похоже, это до странности запоздалое признание действительно было разыграно, как рекламный рыночный ход. Что у вас было еще? Непотребная шумиха вокруг высказывания вашего баварского папы? Больше ничего не припомню. Не скучно ли там тебе? Спорят хоть у вас о чем-то? Хоть книжки новые бывают интересны? [...]

Б.Хазанов — М.Харитонову

22.10.06

Дорогой Марк, нет, конечно, и в Германии жизнь течёт по камням, а не плавно и безмятежно, как большая река, глядя на которую даже не сразу поймёшь, в какую сторону она течёт. Правда, я не читаю или почти не читаю газет, в «Шпигель» или «Фокус» заглядываю только когда приходится сидеть в приёмных у врачей. Обхожусь известиями по радио и телевидению. Но в спорах, волнениях, разоблачениях, разного рода сенсациях недостатка, разумеется, нет. Причём речь идёт отнюдь не о повешенной кошечке или о чём-либо подобном. Страсти бушуют вокруг реформы здравоохранения, энергоснабжения, роста цен, «новой бедности», опасностей, связанных с изменением климата, демографической ситуации, натиска беженцев из нищих стран — да мало ли о чём. Последние дни много говорилось и о России, новости оттуда удручают всех. О безумной Северной Корее, о гнусном Востоке, сумасшедшем доме под названием Иран, терроризме и прочем нечего и говорить.

Новости сыплются, как апельсины, из которых спешат выдавить сок, чтобы потом отшвырнуть и схватиться за новый. История с Гюнтером Грассом (я согласен с твоей оценкой) как-то затихла. Но я всегда недолюбливал этого писателя, если не считать его первого и лучшего романа «Die Blechtrommel»¹ [...]

Я покончил с романом. Не могу вынести ему никакого приговора, ни обвинительного, ни оправдательного; возможно, это моя последняя неудача. Говорю об этом без всякого кокетства. Впечатление отчасти зависит от времени дня. Утром ещё туда-сюда. Чем ближе к вечеру, тем хуже. Получилось 270 страниц, да я ещё решил написать послесловие. Хочу тебе его послать (две странички).

¹ «Жестяной барабан» (нем.).

В романе повторяются мотивы некоторых моих прежних творений, что в общем — довольно печальный симптом, но так уж получилось. Называется он (не помню, писал ли я об этом) «Вчерашняя вечность» и снабжён эпиграфом из XI книги «Исповеди» Блаженного Августина в моём самодельном переводе:

«...Настоящее же, если бы оно всегда оставалось настоящим и никогда не переходило в прошлое, было бы не временем, а вечностью» [...]

Ангел, полночь, история

Постскриптум автора

Angelus Novus, рисунок Пауля Клее.

Кажется, он сейчас отшатнётся, отпрянет от чего-то, к чему прикован его взгляд. Его глаза выпучены, рот приоткрыт, крылья распахнуты. Должно быть, так выглядит ангел Истории. Свой лик он обратил в прошлое. Там, где нам представляется цепь случайных происшествий, он зрит непрекращающуюся катастрофу, груды развалин, которые она без устали швыряет к его ногам. Ему хочется крикнуть: «Остановись!», хочется разбудить мёртвых, восстановить то, что разбито вдребезги. Но ветер бури несётся из рая с такой силой, что ангел не может сложить свои вздыбленные крылья. Буря гонит его в будущее, к которому он повернулся спиной, — а лицо его обращено к горе обломков, что растёт до неба. Этот ветер и есть то, что мы называем прогрессом.

Вальтер Беньямин. Понятие истории, IX.

Эти заметки можно рассматривать как попытку объяснить, но прежде всего они вызваны желанием разобраться самому в только что законченном сочинении. Читать их не обязательно.

Название книги больше подошло бы к мемуарам, тем не менее (как сказано в предисловии к «Опасным связям» Лакло), «есть основания утверждать, что это роман».

Некоторую трудность представляет субъект повествования. Я спрашиваю себя, кто он. Чьими глазами обозревается романский мир?

Множественность голосов — далеко не новый приём, здесь, однако, сталкиваешься с расщеплением одного и того же повествователя. Это расщепление происходит подчас в пределах одного абзаца и чуть ли не внутри одной фразы.

Роман представляет собой цепь эпизодов из жизни некоего персонажа — кажется, это ясно. Человек этот говорит о себе то в первом, то в третьем лице; некто двуликий, живущий в реальном времени и в воспоминаниях — сочинитель романа «по материалам» своей жизни. Есть и флюберовское время незримого автора — суррогат вечности. Все три системы координат наложены одна на другую.

Это сообщает повествованию известную ненадёжность. Между мнимой объективностью и откровенной субъективностью нет твёрдой грани — как нет её между сном и явью. Выражаясь несколько выпендренно (философски), абсолютной, незыблемой романной действительности не существует.

Позади этой зыбкой действительности стоит «эпоха». Порой её тяжёлое дыхание оттесняет героя с его маленькой жизнью.

Цепь эпизодов, говорю я. Ничего не поделаешь. Приходится расписаться в своей неспособности вести мерный последовательный рассказ. Эпическая проза — достояние другого века. Герой классического романа был субъектом Истории. Сейчас он только страдательное лицо. Мы все — жертвы этого Молоха. Быть может, никогда человек не жил в такой степени «в Истории», не был настолько порабощён Историей, как в наше время.

Итак, — обломки чьей-то жизни на фоне эпохи.

Это была полночь. Долгие часы проходят, брезжит рассвет. В серой мгле проступает поле обгорелых руин.

На переломе века почувствовалась необходимость разделаться с Историей. Разоблачить её истинную суть. Истина, понемногу дошедшая до сознания, была та, что никакой «сущи» у неё нет. То, что называлось историческим разумом, подвергнуто заслуженному осмеянию. Никакого положительного смысла История, какой она предстала взору Нового ангела Клее, не имеет. Нужно было научиться жить с этим сознанием, подобно тому как людям XVI столетия пришлось привыкать к тому, что они больше не живут в геоцентрической вселенной.

Можно называть по-разному иррационализм истории: Промысел или Абсурд; выяснилось, что это одно и то же.

Говорить о том, что герой романа противостоит абсурду, смешно: мутный поток истории сбивает его с ног. Повествование прыгает по камням, в надежде перебраться на другой берег. Я прихожу к заключению, что герой ищет целостности и оправдания. Он стремится восстановить целостность своей разлохмаченной жизни и целостность калейдоскопической истории. Надеется возвра-

тить ценность своему сугубо частному существованию и найти оправдание злодейскому облику Истории. Это обретение утраченного смысла есть не что иное, как литература. Удалось ли оно? Могут ли вообще увенчаться успехом эти попытки? That's the question.

М.Харитонов — Б.Хазанову

23.10.06

Сердечно — и не без зависти — поздравляю тебя, дорогой Гена, с завершением долгожданной работы. Постскриптом, что говорить, интригует, но стоит ли его включать в текст книги, прояснится, когда будет прочитан сам текст. Может быть, читатель и без автора все поймет, а чего не поймет, пояснят критики. Если тебе не накладно, пришли роман по почте, до публикации еще не скоро дойдет [...]

Б.Хазанов — М.Харитонову

27.10.06

[...] Спасибо за поздравление. Я отпечатал своё новое изделие. Стал читать его вслух Лоре, и настроение испортилось. Всё как-то не то, слабосилие, вязкость, рутина. Не мог потом спать, до такой степени удручающим было это чтение, оставило скверный вкус во рту, как после недоброкачественной пищи. Боюсь, что я не преувеличиваю. В общем, что сказать? Сейчас мне не хочется смотреть на этот роман, пусть он лучше немного полежит.

Лучше я напишу два маленьких рассказа.

Ты спрашиваешь о литературных новинках в Германии. Новинок очень много, книгопроизводство работает на полных оборотах, огромная часть продукции, если говорить о беллетристике, — откровенное барахло, рыночный товар, как и всюду, пожалуй, даже в большей мере, чем во Франции (все последние годы я каждый раз обходил в Париже книжные магазины, кое-что покупал). Что касается серьёзных писателей, то водораздел, отделяющий их от коммерческих авторов, от тривиальной литературы вообще, конечно, существует и, очевидно будет существовать и впредь, но промежуточная зона с размытыми границами становится, кажется, всё обширней.

Я знаком с произведениями некоторых сравнительно молодых и привлекающих внимание прозаиков (таких, как Кристиан Крахт или Юдит Герман), но они меня совершенно не трогают. Последние годы в

Германии стала известной Агота Кристоф, венгерка, пишущая по-французски. Я недавно читал её роман «Толстая тетрадь», первую часть трилогии; это высокоталантливая писательница, аскетическая проза без красотостей, без оценок, лаконичная, жёсткая и жестокая, короткие фразы, напоминающие рубленую прозу 20—30-х годов. Литература, рисующая голую жизнь «как она есть», нарочито чуждающаяся какой бы то ни было литературности и оттого производящая впечатление сугубо литературной. Читателю выдержать долго этот стиль трудно.

Из старших писателей, возможно, самые значительные — прозаик Мартин Вальзер и драматург Бото Штраус; к ним можно прибавить бывшую именитую писательницу ГДР и хорошо известную в России Криту Вольф (шум, поднявшийся из-за того, что она числилась в архивах Stasi как *informeller Mitarbeiter*¹, утих) и недавно умершего прозаика, драматурга и театрального режиссёра Хайнера Мюллера, тоже бывшего «осси». (Мы с Лорой видели его постановку «Тристана и Изольды» в Байрейте.) Последний и, говорят, очень хороший роман М.Вальзера о детстве в нацистской Германии я не читал, но однажды просматривал наделавшую много шума «Смерть критика», roman à clef², где Вальзер сводит счёты с Райх-Раницким. Покупать не стал.

К несчастью я мало читаю, больше перелистываю, просматриваю и выхватываю отдельные места. Представляю себе, как должно быть обидно автору, у которого вот так «выхватывают». Если говорить о художественной литературе, современные авторы, и немцы, и россияне, чаще всего наводят на такого старца, как я, скуку. Прочту страничку-другую, и баста. Куда значительней, куда интересней и «вдохновительней» остаются великие писатели прошлого. Я ведь и сам человек прошлого. Кроме того, мало времени; мне — как, вероятно, и тебе — приходится больше заниматься мемуарами, жизнеописаниями, дневниками, комментариями и т.п. По-прежнему в большой чести в Германии Рюдигер Зафранский, автор прекрасно написанных книг о Шопенгауэре, Ницше, Шиллере, Хайдеггере и других. Да и другие: до сих пор я то и дело снимаю с полки недавно вышедшие биографии Бенна, Юнгера, то и дело выходящие книги о Кафке, о Томасе Манне и прочее в этом роде. В былые времена я сочинял для «Знамени» этюды-рецензии об иностранных книгах (писал, кажется, первым на русском языке и о Зафранском), однажды обозревал биографию Маргерит Юрсенар, сочинение писательницы и журналистки Josyane Savigneau.

¹ внештатный сотрудник (нем.)

² роман с ключом (фр.)

И вот, представь себе, когда в Париже в прошлом году выпустили «Час короля», то среди множества рецензий оказалась (в *Figaro littéraire*) статейка, очень доброжелательная, этой самой Савиньо, для которой, полагаю, российская журналистика не существует.

Последний год, в связи с моим злополучным романом, я много занимался историей войны, особенно последними днями Берлина. Книжки на эти темы появляются и тотчас раскупаются снова и снова.

Вот, кстати, насчёт журналистики: в последнем номере «Знамени» есть в некотором роде программная статья Нат. Ивановой, открывающая журнал. В общем добросовестная, дельная и свидетельствующая о хорошем знании (чему можно позавидовать) современной русской литературы. И всё-таки — как узок кругозор у известного, этаблированного критика. Говорится, уже не впервые, что ни о каком конце литературы не может быть речи. Литература вновь окрепла и заговорила полным голосом. При этом новая надежда этой литературы — фантастика. Приводится длинный перечень писателей и книг с фантастическим сюжетом или по крайней мере с элементами фантастики. Книжки разные и, как я догадываюсь, по большей части скучные. Но не в этом дело. Станным кажется у критика это изобретение велосипеда. Вдобавок ей как будто невдомёк, что речь идёт или должна идти о чём-то более основательном: о меняющейся концепции действительности в литературе. О том, что действительность, какой она предстаёт обыденному сознанию, отвергнута сознанием художника, которое создаёт свой вариант действительности, а значит, и о фантазии приходится говорить совершенно по-новому [...]

М.Харитонов — Б.Хазанову

30.10.06

Знакомое состояние, дорогой Гена: казалось, совсем уже закончил работу, время спустя перечитываешь другим взглядом — надо еще постараться. Обычное дело.

Я, кстати, еще раз внимательней перечел твой «Постскрипtum», у меня вызвал большое сомнение эпитафия. Не произвольно ли Беньямин толкует клеевского «Нового ангела» как ангела истории? Разве история — это лишь непрерывная катастрофа, оставляющая после себя только развалины? Так саму жизнь можно трактовать как непрекращающуюся череду смертей, оставляющую после себя лишь кладбища. Кто-то умирает, кто-то рождается, одновременно с разрушениями возникает, строится что-то новое. «Новый ангел» может

передать ощущение близкого Клее исторического периода, обобщения всегда хромают. Вообще, как я уже писал, лучше заранее не навязывать читателю собственного мнения о написанном, пусть разбирается сам [...]

Б.Хазанов — М.Харитонову

[...] «Новым ангелом» Клее я немного занимался прежде, цветной рисунок выполнен около 1920 года и почти тогда же был приобретён Беньямином. Обрати внимание на даты — всё это задолго до Второй мировой войны. Текст Беньямина сам породил довольно большую литературу. А Клее я просто люблю.

Может быть, ты и прав — стоило ли помещать этот текст (переводился ли он на русский язык, не знаю) в качестве эпиграфа к постскриптому и как бы подсказывать читателю определённое толкование романа. Мне самому то, что написано у Беньямина, очень близко. Но ведь в послесловии автор говорит, что он сам хочет разобраться в романе. (Так оно и есть. Я, правда, слегка его переписал, сделал не таким напористым.) Это всего лишь его точка зрения, отнюдь не обязательная для тех, у кого достанет терпения прочитать книжку. Лоренс сказал: «Не верьте художнику, верьте его рассказу».

Хотя всё же к тому, что произошло в минувшем веке, такое толкование, согласись, очень подходит. Причем видение (с ударением на первом «и») катастрофы — это всё-таки видение ангела, сверхъестественного существа, это, так сказать, метаисторическое видение. Или, вернее, про-видение, прозрение» [...]

[...] Я снова начал ковыряться в своём злополучном романе, а для отдыха между делом нацарапал маленький (и малосерьёзный) рассказик. Над ним, вероятно, ещё надо бы поработать, но как-то не до этого. Посылаю тебе как он есть.

Ты спрашиваешь, что означали в моём письме слова о меняющейся концепции действительности в литературе. О том, что действительность, какой она предстаёт обыденному сознанию, отвергнута сознанием художника, которое создаёт свой вариант действительности, а значит, и о фантазии приходится говорить совершенно по-новому.

Я думаю, что очень многие из твоих вещей могли бы служить иллюстрацией этих слов. Ведь для них, для твоего творчества вообще, характерно это стремление раздвинуть рамки обыденной действительности, соединить, слить позитивную, реалистическую картину

мира с субъективностью, которая в свою очередь выплёскивается за пределы индивидуального сознания. Всё это звучит довольно коряво. Попробую сам разобраться.

Классика XIX века — наше литературное отечество — приучила нас к здравомысленному взгляду на жизнь, к убеждению, что действительность, какой её изображает писатель-реалист, несомненна, при всей своей сложности однозначна или, скажем так, однозначно читаема. Когда Лев Толстой рассказывает об Анне Карениной, можно быть уверенным: он знает о ней всё, и нет оснований сомневаться в его компетентности — он видит всё и читает во всех сердцах.

Сегодняшний романист, даже если бы он обладал гением Толстого, так о себе сказать бы не мог.

Такая способность воспринимать действительность сегодня кажется равнозначной обыденному взгляду. Хорошо это или плохо, но в литературе она ушла в прошлое, и понимание этого — тоже, конечно, не новость. Может быть, в этом сказывается стремление художника отстоять свою суверенность в мире, где царит хаос.

Сегодня литературная действительность есть в большой мере преодоление эмпирической действительности. Картина мира есть то, что реконструируется — но и конструируется — нашим сознанием, для прозаика одинаково бытийственны и воспоминания, и сны, время повествования есть время нашего сознания; писатель имеет дело не с реальностью в старом смысле слова, но с её версиями.

Это — приобретение XX века. Тут вопрос не столько эстетический, сколько философский (онтологический). Мне приходилось встречать людей, которые считали усложнённый повествовательный принцип «Фальшивомонетчиков» (судьба подростков, оказавшихся во власти бандитов, составляет сюжет романа, который пытается написать некий писатель Эдуард, все действующие лица — плод его фантазии, но при этом он сам — действующее лицо, изобретённое автором; персонажи, в свою очередь, обсуждают его замысел; наконец, существует «Дневник “Фальшивомонетчиков”», выпущенный Андре Жидом), — приходилось, говорю я, встречать людей, которые считали это модернистским трюком. Между тем это было вызвано необходимостью. Писатель почувствовал, что он может только так, пользуясь системой зеркал, справиться с действительностью [...]

М.Харитонов — Б.Хазанову

23.11.06

[...] Ты прав: каждый руководствуется критериями, которые принимает и создает для себя сам. Сомнительны лишь обобщения. Для

тебя образец — латинская ясность; твои тексты убедительно демонстрируют ее достоинства. Я такой ясностью вряд ли могу похвастаться. Без дисциплины, конечно же, невозможен осмысленно выстроенный текст, но хаос внутри него может иллюстрировать глубокую мысль. Пример — бессвязное словоизвержение одного из персонажей «В ожидании Годо». Твоим размышлениям могли бы придать конкретность и глубину иллюстрации. Моя «Сюита» в каком-то смысле — тоже о сопротивлении хаосу.

(Попутно вспомнилось: стихотворение Бодлера «Кошки» было опубликовано в теоретическом журнале в составе знаменитой работы о нем Леви-Стросса и Якобсона).

Русская литература, о которой ты спрашиваешь, между тем процветает и обогащается. Вчера были названы лауреаты новой, самой денежной «Большой премии»: Быков, Кабаков и Шишкин. О последнем я тебе, помнится, писал; работу Быкова о Пастернаке мне очень хвалили Евгений Борисович Пастернак и Жорж Нива, я ее пока не читал.

Чукча не читатель, чукча писатель. Продолжаю кропать свое [...]

Б.Хазанов — М.Харитонову

23.11.06

[...] Вопрос о дисциплине письма меня, впрочем, давно занимал. Мне казалось, что плеонастическая речь, прихотливое многоглаголанье, разымчивость и расхлябанность — своеобразная болезнь русской прозы, утратившей после смерти Пушкина латинскую традицию, и в особенности сегодня нужно этому как-то противостоять.

Я вёл в разные годы мелкие записи, нашёл там такую:

«Наш язык, по типу своему архаический, сохранивший черты древних языков, утратил их лаконизм и перевёл потенциальную энергию в кинетическую: это язык, который непрерывно размахивает руками вместо того, чтобы ограничиться движением бровей».

Но это долгая тема.

С книгой Быкова о Пастернаке я отчасти знаком; это в самом деле очень хорошее сочинение.

Как хочется, приехав, получить от тебя длинное, подробное письмо. От твоих писем становится как-то веселее на душе, начинаешь даже подозревать, что мы в самом деле занимаемся серьёзным делом [...]

М.Харитонов — Б.Хазанову

8.12.06

Дорогой Гена!

Давно тебе не писал — не о чем было. Да и сейчас не о чем. В Москве аномально теплый декабрь, хмурое небо, иногда моросит.

В газете занятная статейка о языке русских в Германии. «Я вам уже звонил в монтэг». «Мне это никогда не пассировало» (т.е.: «Das hat mir nie passiert»). Ну, и т.п., ты это знаешь лучше меня.

Букеровскую премию получила Ольга Славникова за роман «2017», как я понимаю, антиутопия; отзывы доходили кисловатые. Зато очень хвалят новый роман Улицкой. Вчера Маканин представлял на телевидении свой новый роман (забыл название), тема — стариковская любовь.

Ничего этого, как ты понимаешь, я пока не читал. Стимулирующие впечатления редки. Иногда немного скучаю по стихам, только идей новых нет.

Вот тебе для развлечения из последних верлибров:

Счастье

Счастье — это так просто.
Улыбка ребенка спросонья,
Облако, полное птиц,
Поющее их голосами,
Растрепанный свет в волосах,
Дрожь серебристой листвы,
Дыхание без усилий.
[...]

Б.Хазанов — М.Харитонову

9.12.06

Дорогой Марк, стихотворение «Счастье», очень милое и на вид простенькое, формально приближается к белому стиху: размер почти регулярный. Так мне показалось.

У меня тоже особенных новостей нет, ездим с Лорой к врачу, химиотерапия будет закончена к Рождеству. А что будет в следующем году, боюсь подумать. К нам приехал на несколько дней наш сын Илья. В двадцатых числах нагрянут внуки.

В Мюнхене, на St.-Jakobsplatz, то есть в самом центре города, с помпой отгрохан Еврейский центр, комплекс зданий в модерно-архаическом стиле, включая большую новую синагогу. При открытии вся площадь была забита народом, улицы — машинами, прибыла вся Prominenz и так далее.

Выражения «позвоно в монтаг» и «мне это никогда не пассировало» (mir ist so was nie passiert) я никогда не слышал, но подобные речения, конечно, весьма обычное дело, и притом не только в нынешней и не только в русской эмиграции. В России любят такие наблюдения, тут проявляет себя некоторое злорадство.

Впрочем, ошибки языка, «варваризмы», то есть буквальные — и чаще всего совершенно безвкусные — заимствования из других языков, наводняют и журналы, и газеты, особенно в Америке. Порча языка — это профессия журналистов.

Из произведений букеровских лауреатов мне знакомо одно — роман В.Маканина «Испуг». Эта книга переводится сейчас на немецкий язык, и так же, как с предыдущим романом «Анде(р)граунд», Аннелоре Ничке приезжала ко мне для уточнения или разъяснения разных забористых выражений. Как писатель Маканин мне далёк, но это истинный мастер языка, современной жаргонной речи, которая приобретает под его пером необычайный блеск, неисчерпаемый юмор и своеобразную музыкальность.

Ты прав, нужна стимуляция: чтение, некоторые произведения живописи, музыка, память, горечь жизни. Я что-то пытаюсь писать. По предложению Рене Герра я связался с Женей Поповым и послал ему в журнал «Взор», который он редактирует, статейку о коллекциях Герра. А тебе посылаю для развлечения «Диалоги», нечто легковесное, сочинённое между делом [...]

Ведёшь ли ты по-прежнему стенографию? [...]

М.Харитонов — Б.Хазанову

11.12.06

Симпатичные ты мне прислал рассказы, дорогой Гена. «Голема» я бы советовал тебе показать в «Лехаиме», там могут неплохо уплатить.

Различие между верлибром и белым стихом я теоретически знаю, но пишу, об этом не думая: как само сложится [...]

Иногда мне кажется, что ничего лучше стихов я уже не напишу. И «Стенографии», пожалуй. Мне самому перечитывать интересно [...]. У нас по-прежнему нет снега. Раньше я в это время бегал на лыжах, сегодня сходил в бассейн [...]

Б.Хазанов — М.Харитонову

13.12.06

[...] Ты полагаешь, что лучше стихов и «Стенографии» уже ничего не получится. Ошибаешься. Можно уйти от стихов в прозу, это бывает довольно часто. Но оставить прозу ради поэзии не так-то просто. Рано или поздно старая жена постучится в окно и потребует, чтобы её впустили — предъявить свои права. Стихи стихами, а к прозе, я в этом уверен, всё же придётся вернуться. Писательство — это рецидивирующее заболевание.

Стенография? — разумеется, я рад, что ты продолжаешь вести свои записи. Между прочим, я то и дело заглядываю в эту книгу, читаю страничку-другую перед сном. В ней есть какое-то трудно объяснимое очарование. Кроме того, — при том что я жил не в литературном мире, — я как будто узнаю в ней свою собственную жизнь. Высказывания некоторых собеседников кажутся забавными, порой напоминают поиски спрятанного предмета в игре «холодно — горячо», этот запрятанный предмет — будущее, оно уже надвигается. Необыкновенно точно схвачен и донесён до читателя дух и запах времени, которое одновременно кажется и давнишним прошлым, и вчерашним днём.

Это тот самый вчерашний день, о котором сказано в «Северных элегиях» Ахматовой («Есть три эпохи у воспоминаний...») [...]

М.Харитонов — Б.Хазанову

14.12.06

[...] Только что в нашем «Политическом журнале» я прочел весьма интересное интервью с Германом Андреевым (Фейном), которого, как мне помнится, ты хорошо знаешь. Вот тебе небольшая цитата: «Вы знаете, я сегодня стоял на станции «Площадь Революции», смотрел на лица — сколько обаяния у русских! С Германией даже сравнивать нечего! Столько приятных лиц я за всю свою жизнь там не видел. Я живу в Германии, но живу Россией».

Как это тебе? [...]

Б.Хазанов — М.Харитонову

18.12.06

[...] С Германом Андреевым я знаком давно, но последние годы связь как-то ослабела, если не вовсе прервалась; весной он звонил,

приглашал участвовать в Летнем университете. Я прочёл интервью, о котором ты пишешь. Ничего не могу сказать против, во многом он, как мне кажется, прав, хотя на некоторые вещи я смотрю иначе. Злоупотребление словом «национальный» — дань российской моде и выглядит странновато в устах человека, живущего на Западе. Замечание, — впрочем, брошенное вскользь, — о причинах революции 17 года звучит комично. Что касается его восторга при виде толпы на станции метро «Площадь Революции»... что ж, каждому своё.

Слава Богу, журналист не стал задавать ему вопросов о смерти экс-агента тайной полиции, о всей этой грязной истории.

Ну вот; что же ещё? По утрам, если день оказывается свободным, я сажусь за компьютер, и мне кажется, что ещё можно что-то сделать, что-то поправить. Вечером настроение портится.

Я читаю рассказы Леонида Цыпкина, прочёл (во второй раз) биографическую статью, написанную его живущим в Америке сыном. В некоторых пунктах — удивительное сходство с моей собственной жизнью. Но он давно умер, предчувствовал как будто, что его работа останется незамеченной, и, конечно, не мог предполагать, что найдётся такая Сузн Зонтаг, которая сделает его знаменитым. Читал ли ты «Лето в Бадене»? [...]

М.Харитонов — Б.Хазанову

22.12.06

Представь себе, дорогой Гена, я вдруг закончил работу! Именно вдруг — за неделю решил, выстроил, прописал то, над чем вяло возился полгода с лишним, с трудом подыскивал слова, вычеркивал сделанное. Ты помнишь мои эпистолярные сетования на эту тему. Один мой умный коллега как-то грустно ответил на них: «Это возрастное». Но я ведь не стал моложе, и давление отнюдь не пришло в норму. Вдруг сразу высветилось, не пошло — покатилося. Ночью просыпался — в уме составлялись готовые фразы, как по писаному. Другое состояние мозга. Как это объяснить, как назвать? Ты знаешь, наверно, лучше меня. Вдохновение — слишком красивое слово. Но какое-то пробудившееся волевое напряжение. Удивительный феномен творческой психологии. И непередаваемо счастливое состояние — признак того, что действительно, кажется, получилось. Галя меня, во всяком случае, поздравила.

Это большой рассказ или небольшая повесть около трех печатных листов, я назвал его «Ловец облаков». Охотно бы тебе послал — если

бы не сомнение, что ты сможешь прочесть в приложении; для письма текст великоват. Попробую для проверки приложить сейчас крохотный стихотворный этюд, может, откроется.

С приближающимся Рождеством тебя и с наступающим Новым годом! Здоровья вам с Лорой и всяческого процветания!

Обнимаю. Твой Марк

Б.Хазанов — М.Харитонову

22.12.06

Дорогой Марк,

это похоже на то, о чём когда-то писал Жан-Луи Барро: приготовление майонеза. (Он имел в виду свои спектакли.) До отчаяния долго взбивают смесь, ничего не получается. И вдруг — схватилось, жидкость больше не расслаивается, майонез готов. Что-то такое совершается и в литературной работе. Бьёшься, бьёшься, и вдруг! Сердечно поздравляю! Я знал, что рано или поздно это с тобой произойдёт.

Теперь, конечно, мне очень бы хотелось поглядеть на твою новую прозу. (Стихи, посланные тобой в приложении, не открываются. Почему, непонятно.) Собственно говоря, ты вполне мог бы послать мне рассказ «Ловец облаков» обыкновенным способом, в основном окне. Но если тебя смущает объём, можно послать, например, двумя порциями. Заодно и стихи.

Пишу тебе наскоро, так как только что прибыли из Америки внуки. Будь здоров, с Рождеством вас обоих, с Новым годом, с новым счастьем.

Твой Г.

2007

М. Харитонов — Б. Хазанову

1.1.2007

Итак, дорогой Гена, с 2007-м! Для меня, как ты знаешь, это год юбилейный. Недавно я получил письмо от одного венгерского издательства: меня пригласили принять участие в периодическом сборнике, где о себе рассказывают известные люди, которым в этом году исполняется 70. На этот раз пришел черед родившихся в 1937-м. Текст должен быть не более 70 строк. Я послал им экстракт из эссе «Родившийся в 1937».

Минувший год я завершил неожиданной для себя работой: переложил на русский язык стихотворение Фернандо Пессоа. Переводом это назвать нельзя: я не знаю, как выглядит португальский оригинал, регулярный это стих или верлибр. Французы, и не только они, с некоторых пор в качестве перевода любых стихов предлагают, как ты знаешь, даже не верлибр — качественный подстрочник. По-моему, это правильно. Предлагаю тебе свою версию. Текст для новогоднего поздравления грустноватый, но что ж тут поделаешь?

День рождения

Из Фернандо Пессоа

Времена, когда праздником был день моего рождения...
Я был счастлив, и все еще были живы,
Собирались у нас, в старом доме — это была традиция,
Что-то вроде светской религии, ритуал, торжество,
И я отмечал его, праздновал вместе со всеми.
Времена, когда праздником был день моего рождения...
Все меня называли умницей, хотя что я тогда понимал?
На меня, говорили, надеются — значит, я был достоин надежд.
Когда начал надеяться сам — надежды уже не осталось.
Стал понимать что-то в жизни — в ней уже не было смысла.
Да, наверное, лишь в сердцах тех, кто меня любил,
Я еще кем-то был. Куда все это ушло —
Время, когда праздником был день моего рождения?
Сейчас я похож на разъединенный сыростью дом,
(Тот, старый, едва различаю сквозь мерцание слез),
Дом, переживший жильцов, никому уже больше не нужный.
Так отгоревшая спичка переживает себя.
Времена, когда праздником был день моего рождения...
Я еще мог любить, кем-то казался себе, надеялся кем-то стать,
Странствовал больше в мечтах, нежели наяву,
И не сомневался при этом, что действительно существую.
Ничего этого больше нет, все проглочено второпях —
Не успел даже толком распробовать вкус.
Я, точно слепец, не различаю того, что вокруг,
Но отчетливо вижу тот стол, скатерть на нем, посуду,
Угощения, фрукты, пирожные — им не хватало места,
Тетушек старых, кузин, и все это для меня —
Во времена, когда праздником был день моего рождения.
Сердце, остановись! Не стоит томиться зря.
Добавлены лишние дни, но праздника нет среди них.
Я пережил себя. О, Боже, о, Господи-боже!
Какая же это боль — невозможность с собой унести
Время, когда праздником был день моего рождения.

[...] Ночью мы с Галей прогулялись к акведуку, там сейчас роскошный парк, елка, и все запускали фейерверки. Часов до трех — грохот, свист шутих, запах пороха.

Еще раз с Новым годом тебя и Лору! Всего вам самого доброго.
Марк

Б. Хазанов — М. Харитонову

2.1.07

Дорогой Марк, и тебя, и Галю — с уже наступившим! Авось этот год будет лучше прошедшего. Да и дата — LXX — кое-что значит.

Сегодня отбыли за океан наши внуки с Сузанной. Это была всё-таки немалая нагрузка, особенно для Лоры. Настроение поганое, всё время думаешь о предстоящем (10 янв.) обследовании: а что если всё — изнурительная химиотерапия и прочее — напрасно?

Ты прислал грустное стихотворение — подстать всему.

Фейерверк в ночь Нового года — и у нас, как каждый год, по всему городу, часов до двух ночи [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

11.1.07

Дорогой Гена, что Лоре показало обследование? Хотелось бы надеяться, что все в порядке.

У меня время назад подскочило давление, я обратился к иглоукальвателю. В поликлинике мне сразу бы закатали укол какой-нибудь магнезии и велели бы лежать: обычное дело. Этот прослушал разные пульсы и поставил диагноз: у вас простуда. — Какая простуда? — удивился я. — У меня ни кашля, ни насморка. — Вы думаете, простуда проявляется только насморком и кашлем? — усмехнулся он. Она проявляется по-разному. Лекарства могут снять симптомы, болезнь остается. Провел три сеанса, рекомендовал больше двигаться. Помогло. Я ему с некоторых пор доверяю. Он окончил медицинский институт в Ташкенте, потом два года овладевал традиционной акупунктурой в Китае, несколько раз помогал мне и особенно Гале. У нее как-то раз появилась болезненная опухоль на пальце, разные врачи проводили разные обследования, назначили операцию. Этот операцию отменил: просто, сказал, ноготь растет куда-то не туда, надо направить куда следует какую-то энер-

гию «че». Опухоль прошла. Еще раньше у нее были нелады с позвоночником, она с трудом двигалась, успела получить инвалидность (а с ней бесполезные льготы) прежде, чем он ей помог. Мне интересно слушать во время сеансов его многословные и мало понятные объяснения, философствования. Я понял, во всяком случае, что организм живет по каким-то своим, не всегда очевидным законам, восточная медицина помогает ему самому, без лекарств, справляться с болезненными нарушениями [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

13.1.07

[...] На компьютерной томограмме очажки в лёгких (метастазы опухоли) уменьшились или, по крайней мере, не растут — эффект весьма интенсивной химиотерапии. Это не выздоровление — выздороветь на этой стадии едва ли возможно, — но ремиссия, отсрочка. Теперь начато другое лечение (антигормональное), дальше будет решаться, стоит ли пытаться удалять метастазы хирургическим путём. Конечно, камень свалился с души — пока что. В феврале, 8-го, если самочувствие будет приличное, мы с Лорой собираемся вместе с немецкой роднёй отправиться на Мальорку, на три недели. Однажды, лет пять тому назад, мы там уже были.

Ты пишешь об акупунктуре. Надеюсь, она тебе помогла. Это главное. Здесь иглоукальвание весьма распространено, медики проходят специальное обучение. Теоретические (скорее, мифологические) основы дальневосточной медицины не подлежат научной критике, но дело не в этом, врачи — не ригористы и оценивают достигнутое по принципу: победителя не судят. Если иглоукальвание, прижигания и пр. помогают — значит, так тому и быть.

Других особенных новостей нет. Бен Сарнов прислал мне свою последнюю, довольно толстую книгу «Маяковский. Самоубийство», и мне пришлось, прежде чем написать ответ, ещё раз обдумать своё отношение к поэту, не принадлежащему к числу особо для меня важных и любимых. Каковы твои взаимоотношения с Маяковским?

Я по-прежнему занимаюсь своим романом. Как бы ни относиться к этому изданию — а я отношусь к нему без восторга, — получается, как я заметил, трилогия или триптих: те же, хоть и по-другому повернутые, мотивы, места и персонажи, что и в двух других книгах, «Я Воскресение и Жизнь» и «К северу от будущего» [...]

15.1.07

Слава Богу, дорогой Гена! Будем считать, что пока обошлось — и надеяться на лучшее.

Интересно, что написал Бен о Маяковском, и что ты об этом думаешь? Мне вспомнилось, как уже много лет назад он начинал писать опровержение на книгу Карабчиевского — не знаю, закончил ли. По странному совпадению, вдруг сразу несколько человек занялись Маяковским. Не так давно у нас был в гостях главный режиссер театра «Эрмитаж» Михаил Левитин, рассказывал о своей новой работе: спектакле по трагедии «Владимир Маяковский», с использованием других фрагментов, документальных текстов. Одна из его мыслей: Маяковский — сплошная боль, он постоянно страдал, мучился. И ему надо было страдать громко, публично. Он очень театрален. Я тогда перечитал эту трагедию. Талантливый 20-летний юноша действительно криком кричит, как ему плохо — ему кажется, что он вбирает в себя общую боль. Ему сочувствуешь, но про себя пожимаешь плечами: как-то взвинченно, невразумительно — в чем, собственно, дело, чем он так мучится? Но в театре это может быть интересно, я пока не видел.

А перед Новым годом мне прислал свою большую работу о раннем Маяковском Кома (Вячеслав Всеволодович) Иванов. Часть ее была опубликована в юбилейном сборнике Витторио Страда, у тебя он, кажется, есть, можешь посмотреть. У меня вызвал недоумение финал работы, я Кома об этом написал. Его ответ смутил меня еще больше. Воспроизведу для тебя этот обмен мнениями (между нами, конечно).

Вот что я ему написал:

«Меня смутили некоторые заключительные пассажи Вашей работы. *«Маяковский, — пишете Вы, — был связан с тем началом великой русской революции, осмысленного и справедливого — щадящего невиновных (я намеренно возражаю расхожему «бесмысленный и беспощадный») возмущения народа, которое изливалось в ранних его стихах. Он его разделил».* Я недавно перечитывал дневники и «Окаянные дни» Бунина — свидетельства, цитаты, факты, сам когда-то копался в этой истории. Убийство Кокошкина и Шингарева, (не говорю о царской семье), расстрелы заложников, бессудные расправы ЧК, «ножичком на месте чик» — перечислять можно страницами. Где тут «осмысленное», «справедливое», «щадящее невиновных»? Что на самом деле разделил Маяковский? Я тут, видно, чего-то не понимаю.

Как не понимаю и последующего утверждения: «Эта революция не кончилась, одни перевороты, оттепели, заморозки, перестройки и недостройки, аресты и реабилитации (часто посмертные) сменяются другими, мы живем в продолжениях революции и в состоянии уловить только те отблески и отзвуки, которые не затемнены и не заглушены непрерывным блеском и грохотом истории». Ведь так историю вообще, и не только российскую, можно трактовать как перманентную революцию: все время что-то происходит».

Вот его ответ, полностью:

7.1.07

Дорогой Марк!

Спасибо за отклик.

По поводу первой моей цитаты:

Под революцией в ее начальном периоде я имею в виду то умонастроение бунтарей начала века, которое в ранних стихах (до революции, о ней Маяковский знал заранее из-за предсказания Хлебникова, но и сам по себе— он и был частью революции вместе с Пикассо, Хлебниковым, Пастернаком, Шагалом, Эйштейном, Бором, Циолковским) отразил и воплотил Маяковский и которое я считаю исторически и человечески оправданным. Случившееся сразу после большевистского переворота (по сути контр— революционного) я и расцениваю как контрреволюцию (толпа, том числе и совершая те злодеяния, которые Вы называете, выступает как орудие угнетения, так было и с Гитлером и у нас много раз): Ленин совершенно неслучайно запрещает революционные вещи Маяковского (хотя потом —на следующем этапе Ленин лавирует и поэтому признает начало антибюрократических стихов Маяковского). Вы ошибочно толкуете мои слова о «начале революции», противопоставляя им то, что я описываю как более позднюю контрреволюцию: Ваши доводы не относятся к той продолжающейся глубокой революции душ и гениев, о которой я говорю.

Еще важнее второе наше расхождение, поскольку оно касается не прошлого (как первое, где можно считать причиной разночтений разное понимание слов про историю— прошлое:»начало», «революция»). А здесь речь о настоящем и будущем, как они продолжают период перманентной революции (термин Троцкого уместен. Здесь я согласен с Вашим словоупотреблением):

Я глубоко убежден в том, что Россия— как Франция после Великой революции— столетие (уже с лишком— после 1905г.) пережива-

ет и все никак не изживет все ее прямые последствия, к которым относятся не только большевистская контрреволюция, дальше затеянная тем же Лениным попытка возврата через НЭП к началу буржуазной революции (кстати, именно поэтому Ленину тут стало идти по дороге с Маяковским— у них возник общий враг: советское государство, тем же Лениным перед этим созданное и его скушавшее, как потом Маяковского), ее подавление Сталиным— и все дальше до попытки перескока от государственного капитализма к олигархическому и обратно. Если продолжать сравнение с Францией, нынешний этап близок ко времени между Наполеоном Третьим и Парижской Коммуной и ее расстрелом Тьером. Удастся ли избежать этих последних катастроф перед окончательным установлением буржуазной демократии (только тогда, но не раньше! период революции в моем смысле кончится), пока нельзя сказать. Но это должно решиться в ближайшее время. Осложнение, делающее невозможной прямую аналогию с концом периода во Франции, состоит в том, что одновременно — впервые в истории! — быстро идет глобальное объединение всего земного шара. т.е. осуществляется именно троцкистский вариант, [но пока— кроме Китая— не в чисто коммунистическом экономическом оформлении— скорее по типу ленинского империализма как высшей стадии— при политической гениальности предвидения он ошибся в сроках] при одновременном обострении противоположных фундаменталистских тенденций. исторически обреченных: человечество как биологический вид выживает только при победе глобализма. Иначе погибнет.

Блажен, кто посетил ...

Ваш

Кома

Возможно, ты, Гена, сможешь прояснить мое недоумение. Напиши [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

16.1.07

Дорогой Марк, я, конечно, далеко не уверен, что понял мысль Вяч. Вс. Иванова вполне и до конца. Думаю, однако (судя, в частности, по некоторым оговоркам, например, по этому перечислению имён: Пикассо, Хлебников, Пастернак, Шагал, Эйнштейн, Бор, Циолковский...), что Кома имеет в виду грандиозный всеевропейский сдвиг —

можно назвать его революцией, — который произошёл на переломе XIX—XX веков, завершился между двумя мировыми войнами и захватил естествознание (теория относительности, физика микромира, рождение генетики), философию (Бергсон, Витгенштейн, венский кружок, Хайдеггер), искусство (отказ от реалистической парадигмы в литературе, парижская и мюнхенская школы в живописи, «новая музыка», кино; Пруст, Джойс, Кафка, Т. Манн, Т.С. Элиот, Борхес, Платонов, Бруно Шульц и т.д.; Шагал, Пикассо, Клее, Модильяни и т.д.; поздний Малер, Шостакович, Шёнберг, Стравинский, Прокофьев и т.д.). Одновременно — обе мировых войны, дискредитация и крах либеральной демократии XIX века, русская революция, рождение и триумф тоталитарных режимов, конец классического капитализма и буржуазного общества, конец доминирующей роли Европы в мире...

Оригинальность (и странность) представлений Иванова, как мне кажется, в том, что он не видит конца этой революции. (В книге Себастьяна Гафнера «Im Schatten der Geschichte¹», отрывки из которой я когда-то переводил и печатал в нашем бывшем журнале, есть любопытная статья о том, что буржуазная революция не закончилась.) Но параллели с Французской революцией кажутся мне натянутыми. Моё глубокое убеждение состоит в том, что XX век принёс человечеству нечто новое, небывалое.

К сожалению, я не знаком с работой Комы о «лучшем, талантливейшем». С твоей оценкой до- или предреволюционного Маяковского я совершенно согласен.

Насчёт книги Бена о Маяковском. Посылаю тебе копию моего письма Бену.

[...]Вы прислали мне книгу «на суд и расправу». Лихо сказано, а главное, обязывающе. Но какой там может быть суд. Я прочёл быстрее, чем обычно читаю. Я думаю, что перечислить достоинства этой книги нетрудно. Прежде всего, она захватывает. Персонажи — это живые люди, и самым убедительным получился портрет центрального героя. При этом Вы, словно по его примеру становясь на горло собственной песне, не пытаетесь скрыть от читателя тёмных сторон этого портрета. Введено в рассмотрение — скажем так, привлечено к судоговорению — множество самых разных фигур. Это эпоха в лицах. Замечательно работает Ваш излюбленный и любимый мною приём — хоровод цитат, разноголосица струнных, деревянных, духовых и ударных инструментов, которые вступают,

¹ «В тени истории» (нем.).

то повторяя, то перебивая друг друга, друг другу переча, и, однако, создают впечатление единого оркестра. И, наконец, не последняя и немалая заслуга — привлечь внимание, заставить пристальней взглядеться в фигуру поэта, который на наших глазах становится малочитаемым.

За этим, очевидно, должна следовать критика, но мы уже с Вами много толковали о Маяковском. Вы говорите о том, как много он значил для Вас в юности. В этом всё дело. Это очень важно. Это, может быть, делает всякое обсуждение излишним. Ведь для меня Маяковский, как Вы знаете, значил гораздо меньше. В разное время жизни я возвращался к Маяковскому и всякий раз думал: в чём дело?

Итак, если всё же позволено будет возражать, то вот один пункт. Ваш ответ на центральный вопрос, действительно ли канонизация «лучшего, талантливейшего» так повредила Маяковскому, точнее, был ли этот поцелуй Иуды незаслуженным, — Ваш ответ кажется мне недостаточным. Смирять себя, «наступив на горло собственной песне», разрываться между лирикой и гражданственностью, чистой поэзией и поэзией ангажированной, политической, пожертвовать первой ради второй — мотив достаточно традиционный, восходящий к Гейне. Вы заостряете это противоречие, говорите о двух Маяковских, подлинном и насильственном; это меня не убеждает. Маяковский — один. Он всегда верен себе.

Агитационные стихи — от плакатов до поэм — сохранили, если говорить вежливо, историческое значение; попросту говоря, их невозможно читать всерьёз. И не потому, что их насильственно внедряли, как картофель при Екатерине. Ведь уже народилось поколение, для которого советского литературоведения не существует. Тем не менее и для молодёжи эти вирши в лучшем случае — медь звенящая и кимвал бряцающий. Но несчастье (если это несчастье) в том, что и в самых нежных, самых проникновенных своих, охотно цитируемых Вами вещах поэт остаётся тем же поэтом — автором «Мистерии-буфф», «150 000 000», поэм о Ленине и «Хорошо!», рассказа литейщика Ивана Козырева, разговора с товарищем Лениным, стихов о советском паспорте, стихов о загранице, стихов для детей и так далее. И наоборот: почти в каждом из этих барабанных произведений можно найти сильные, свежие, увлекающие строчки; прочитав их однажды в юности, помнишь всю жизнь: «Сто пятьдесят миллионов — этой поэмы имя. /Пуля — ритм, рифма — огонь из здания в здание. /Сто пятьдесят миллионов говорят губами моими...» Это поэт строчек.

Словом, идиотическое вероучение не было чем-то чужеродным, насильственно навязанным, внешним по отношению к «подлинному» Маяковскому. Он и в самых своих восторженных, самых верно подданных, самых зловещих вещах был вполне подлинным.

Та же поэтика, те же, всегда узнаваемые интонации, угловатые ритмы, обязательные неологизмы, небывалые, брызжущие, поражающие своей изобретательностью, а порой и удручающе искусственные, притянутые за уши рифмы, — а ведь поэтика, если верить Ходасевичу, — самое верное, адекватнейшее выражение души поэта.

Что же касается «идеологии», тут недаром приходится это слово ставить в кавычках: и в «Про это», и в других, самых лучших послереволюционных вещах идеология и поэзия у Маяковского — почти синонимы; отделить одно от другого невозможно. Мне кажется, это весьма важный пункт.

Конечно, в Вашей книге есть и другое, с чем я не согласен или согласен лишь наполовину. Я недостаточно подготовлен для основательного разбора. Но вот, к примеру, вопрос, рассмотренный Вами подробно и всесторонне: причины и подоплёка самоубийства. Мы об этом уже говорили немного. ПатогRAFия Маяковского не написана, а она могла бы добавить к вашему рассказу ещё одно — недостающее — измерение. Вы постарались релятивировать «показание» Брички, говоря о том, что обстоятельства, заставившие поэта наложить на себя руки, может быть, и можно — каждое в отдельности — считать поводами, но не случайно именно они оказались роковыми, а не какими-нибудь другие; и, значит, их можно смело возвести в ранг причин. Я против этого не спорю, но меня смущает очевидное желание отодвинуть в тень нечто не менее важное — эндогенную основу. А ведь она вполне очевидна. Разумеется, психопатология убившего себя поэта не снимает вины со всевозможных аграрных и халатовых. И разочарование в революции и советском режиме тоже нешуточная вещь. Как и неутолённая любовь. Но я хотел бы только сказать, что внутренняя, обусловленная психической конституцией и годами носимая в себе тяга к смерти сама ищет поводы — и рано или поздно находит. Знаменитые строчки «А сердце рвётся к выстрелу, а горло бредит бритвою» настолько искусны, что могут показаться искусственными. На самом деле они глубоко выстраданы. Маяковский был одним из тех людей, — хорошо известный синдром! — которые всю жизнь борются с искушением покончить с собой. Пока, наконец, очередная депрессия не ставит точку.

Можно было бы кое-что сказать и касательно Вашего вывода о том, что перерождение революции, истинный облик социализма и сознание конца эпохи — вот главная, коренная причина. Документальное подтверждение этого вывода очень шатко. Апокрифического рассказа Юрия Анненкова, фразы, кем-то переданной: «сейчас нехорошо», — недостаточно. Ни в стихотворениях, ни в выступлениях последних лет ничем таким и не пахнет. Неубедительна Ваша ссылка на строчку из финала поэмы «Хорошо!»: «Пойду направо...» Очень может быть, что борьба с левой оппозицией и т.п. тут совершенно ни при чём. Может быть, поэт вспомнил обычную уличную вывеску: «Держись правой стороны». Может быть, соблазнился каламбуром: «жезлом правит... пойду направо».

Тут у нас всплыло, как же иначе, имя Лили Брик. Должен признаться, что вся эта компания — и карикатурный Ося, и «лефбы», и сановные гости этого гротескного пролетарского салона, и, конечно, сама королева бала, похожая на Мессалину, — равно как и пошловатый стиль самовыражения в разговорах, в письмах, в идиотических вещаниях о литературе, равно как и готовность травить всякого, в ком можно подозревать классового врага, — всегда вызывали у меня глубокое отвращение. Всё что напоминало им высокую литературу XX века с её «утончённой сложностью», «искусством сопряжения» (слова Б.В. Дубина в недавней речи памяти Александра Гольдштейна), подлежало вытеснению. Вы процитировали высказывание о Мандельштаме: «мраморная муха». Недурно сказано, и сказано оттого, что Мандельштам был римлянин, а они — варвары, остготы.

Это варварство даёт, как мне кажется, основание сделать общий вывод. Это я уже, так сказать, от себя.

Было бы по меньшей мере глупостью пытаться сбросить с парохода Маяковского. Маяковский не только не умер, он, насколько мы можем заглянуть вперёд, бессмертен. Если я решаюсь повторить фразу Липкина о «крупнейшем из второстепенных поэтов», то потому, что нахожу в ней не столько хулу, сколько похвалу. Не будучи поэтом первого ряда (там, где Пушкин, где Лермонтов, где Тютчев, где Блок, Мандельштам, Ахматова и кто там ещё), он занимает почётное место во втором ряду, а это, согласитесь, очень, очень много. Это особенно много для поэта, не обладавшего глубокой культурой (условие столь же необходимое, как и поэтический дар). Это сказалось и на той черте его поэзии, которая не может не броситься в глаза (которую отметил и Пастернак): необычайный, почти экзотический, порой грубо-плакатный, ярчайший и по-

разительно талантливый поэтический наряд — и бедность содержания. Бьющая через край эмоциональность, сердце, готовое вместить в себя весь мир, — и плоскость, тривиальность мысли. Маяковский был варваром — с изумительной, как у ребёнка, языковой одарённостью, с неуклюжими ухватками подростка, порой нарочитыми, как бы назло кому-то, с этим вечным желанием кого-то эпатировать, лихо сплёвывать, с зычным голосом, могучим темпераментом. Он не был поэтом эпохи, он был поэтом времени, которое оказалось очень коротким, более того, он был порабощён своим временем — порабощён настолько, что не сумел (да и не хотел) над ним подняться. Но его чрезвычайно важное значение, между прочим, состоит, как я думаю, и в том, что он был самым, может быть, талантливым в XX веке трубадуром фашизма. В известной мере это было запрограммировано в футуризме (не зря Маринетти стал личным другом дуче). Надеюсь, Вы понимаете, что я употребляю слово «фашизм» не в узко политическом смысле (впрочем, и в этом смысле он по праву может быть — тут надо отдать справедливость Карабчиевскому — охарактеризован как певец тоталитарного режима, хотя бы и почувявший, что с этим режимом что-то не всё в порядке).

Пора кончать, я вторгся в необозримую тему. [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

23.1.07

[...] Впервые за январь слегка приморозило, припорошило. Все толкуют об аномально теплой зиме — и не только у нас. О погоде в письмах начинают говорить, когда других новостей нет. Я, чтобы занять время, снова стал вводить в компьютер расшифровку пропущенной стенографии за разные годы. Есть записи очень интересные. Расширяется, углубляется пространство прожитой жизни, возникают из небытия забытые происшествия, встречи, мысли. Между делом время от времени кристаллизуются верлибры; кажется, начался новый цикл: «Персонажи». Посылаю тебе первый.

Голос персонажа

Чего опять испугался? Дай мне уйти из дома.
У меня уже есть характер, я способен к порывам.
Не делись преждевременным благоразумием —
сам успел узнать ему цену.

Ты ведь, чувствую, старше меня, сердце, небось, не в порядке,
Пишешь — и бережешься, не хочешь себя беречь,
Окорачиваешь воспоминания, боишься коснуться правды.
Я ведь тоже могу о тебе сказать кое-что, мне сочинять не надо,
Осторожничай, не договаривай — отсюда ты очевиден.
Умен, может быть, даже слишком (не поскупился и на меня),
Прожил благополучно жизнь со случайной — признайся — женщиной,
Рисковал только в воображении, да и то до черты,
Не узнал настоящей любви — она ведь тебе сказала,
Да, тебе: «Ты боишься». Но что-то еще возможно!
Не вычеркивай — все равно голос будет звучать,
Напоминать об упущенном. Ты всемогущ, как создатель —
Дай мне пожить, как хотел, проживи хоть немного со мной
Полноценно, по-настоящему — не то до последних страниц,
До последних строк будешь, как я, томиться
О несбывшемся, не состоявшемся [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

23.1.07

Очень удавшееся стихотворение, Марк, нужный тон, безупречный ритм и ни одного лишнего слова. И, по-видимому, очень интересный замысел; продолжаешь ли ты этот цикл? [...]

Новая Стенография меня очень интересует [...]

У меня особых новостей пока нет. Идет снег, издали очень красиво, вблизи слякоть [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

25.1.07

Ты меня опять вдохновил, дорогой Гена: я вдруг сразу сделал небольшую подборку из прошлогодней «Стенографии», возможно, подойдет Блюменкранцу. А если не подойдет, почитай сам [...]

[Приложена «Стенография»]

Б. Хазанов — М. Харитонову

26.1.07

[...] Я проглотил присланную тобой новую Стенографию вчера вечером, то есть в день получения, — как и прежде, читал с большим увлечением. Будут ли, как ты предположил, дневники М. Харитонova

лучшим, что от него останется, не знаю, — да и вообще мы не в состоянии что-либо предсказывать, разве только жить и «творить» в презумпции, что для того, чтобы о нас вспомнили, необходимо как минимум умереть. Но то, что Стенография — очень важная книга, замечательная в разных отношениях, не вызывает ни малейшего сомнения.

Конечно, я читатель не вполне беспристрастный, многое воспринимаю как современник и соотрапезник. Много узнаваемо. Например, историю с повешенной кошечкой и мнимым отсутствием иных забот у жителей счастливой Швейцарии, сразу узнал: ты писал об этом. Упоминается В.П. Эфроимсон — я его знал и жил с ним в одном городке — Клину, вернувшись из лагеря (он вернулся чуть раньше меня). Кое-что провоцирует на возражения. Под иными записями хочется подписаться обеими руками. Любопытны, в числе прочего, размышления о «Докторе Живаго»: в самом деле, христианская историософия Пастернака заставляет только пожать плечами. Кстати, я нашёл у себя следующую запись, довольно давнишнюю:

«Оптимистическое чувство истории у П., который оставался советским поэтом, сменилось скептическим и трагическим у абсолютно несветских поэтов Мандельштама и Ахматовой. Я бы рискнул назвать Пастернака — единственного из великих поэтов — дачным поэтом. Подобно воспетой им дачной природе, существует дачное мировоззрение. Он не сельский и не городской, не идиллический и не трагический, — он дачный».

«Христианский (или якобы христианский) взгляд на историю приводит его к какому-то оптимистическому фатализму, отсюда почти абсурдный замысел “Доктора Живаго”, как он изложен в письме Спендеру 1959 года: “В романе делается попытка представить весь ход событий, фактов и происшествий как движущееся целое, как развивающееся, проходящее, проносящееся вдохновение, как если бы действительность сама обладала свободой и выбором и сочиняла самоё себя, отбирая от бесчисленных вариантов и версий”. Поразительные слова. Это написано после Освенцима, после советских концлагерей, после двух мировых войн, бессмысленных разрушений и бессмысленной гибели многих миллионов людей. Вот чем вдохновилась действительность. Вот что она сочинила» [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

28.1.07

[...] Слова из письма Пастернака Спендеру действительно поразительны, я их не знал. Не угнаться за этими гениями. В твоей фразе о

том, что «оптимистическое чувство истории у Пастернака... сменилось скептическим и трагическим у Мандельштама и Ахматовой» мне кажется неточным слово «сменилось»: это было одновременно [...]

Да, медицинский вопрос: как называется прибор, которым приводят в действие сердце, когда она остановилось во время операции? И остается ли после него на груди гематома?

Б. Хазанов — М. Харитонову

28.1.07

[...] О твоём медицинском вопросе: под остановкой сердца в подобных ситуациях обычно подразумевается смертельное мерцание или трепетание желудочков сердца (фибрилляция мышечных волокон миокарда), которую можно снять, восстановив нормальный сердечный ритм, очень коротким электрическим разрядом высокого напряжения (так что тело больного подскакивает). Боли при этом нет, никаких следов на коже груди не остаётся. Прибор называется — дефибрилятор.

Я вспоминаю, как я однажды в деревне вернул к жизни больного, впрыснув ему в сердечную мышцу стрихнин (теперь это давно уже не применяется). Ожив, он прожил сутки и умер, на сей раз окончательно [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

5.2.07

Ну что, Гена, через два дня отбываешь в теплые края? Не завидую — я только что с удовольствием начал кататься на лыжах. Возьмешь с собой, наверно, разного чтения? [...] Мне попался в руки весьма интересный англичанин Йен Пирс «Сон Сципиона»: французский специалист по античности и Средним векам в 30-40-е годы пишет о сочинении провансальского поэта 14-го века, написанном по мотивам трактата времен конца Римской империи; действие происходит во всех трех временах, события перекликаются, одно время помогает понять другое. Литературоведческий детектив весьма высокого, по моему, уровня. Еще я случайно взял в руки немецкую книжку статей Marsel Reich-Ranicki — право, умница! Он ссылаясь на Голо Манна — открыл и его воспоминания, попутно стенографировал мысли, возникавшие по разным поводам [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

2.3.07

Здравствуй, Марк! Вот мы и вернулись — вчера, поздно вечером. В Мюнхене холодно, дождливо, а на благословенном острове Мальорка весна, переходящая в лето, цветут миндальные деревья, висят апельсины на деревьях (сам видел), огромные пальмы раскачиваются под морским ветром и всё такое. Мы были там однажды, лет 6—7 тому назад. На этот раз ездили вместе с родителями нашей невестки Сузанны, довольно много путешествовали по острову. Представь себе, к примеру, пятисотлетний, горный, уединённый, безлюдный и молчаливый, как Остров мёртвых, монастырь в конце кипарисовой аллеи. И далеко внизу, между скалами темно-синее, голубое, серо-зелёное и серебряное море.

Я немного занимался, дописывал или переписывал последние главы романа, переписал один рассказ, начатый между делом, и занял нечто наподобие небольшого этюда о музыке прозы. На полпути к восьмидесяти годам всё ещё что-то сочинять — смешно. Но ничего лучшего не придумаешь. Читал Кафку, читал биографию Беньямина, читал вслух Лоре (перечитывал) мемуары С.И. Липкина «Квадрига», прекрасно написанные, — известна ли тебе эта книжка? [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

4.3.07

С возвращением из теплых краев, дорогой Гена! Могу позавидовать, если ты там купался. А так — у нас был красивый снежный февраль, я с удовольствием бегал на лыжах. За эти три недели были, конечно, разные впечатления, встречи (среди прочих — презентация «Зарубежных записок» в ЦДЛ), но основной фон, как всегда, — работа. В свое время для «Стенографии», как ты знаешь, я расшифровал лишь малую часть своих записей, сейчас на досуге стал вводить в компьютер — опять весьма выборочно — кое-что из пропущенного. Опять было сверх ожиданий интересно (так много, оказывается, забыл), опять иногда надоедало тратить время на техническую, в сущности, работу. Но без меня ее никто не сделает. Изредка возникали вдруг идеи стихов — именно вдруг, это всегда удивляет. Казалось, думаешь о другом — и вот внезапно:

Долгая жизнь поденки

Жизнь начинается не с рождения, когда выпростаешься из оболочки,
Всплыв среди пузырей, пахнущих сладким илом,
Держишься, еще не совсем очнувшись, на упругой травинке,
Покачиваешься, перебирая сны предыдущего существования,
В котором была кем-то другим, называлась личинкой,
Питалась в дремотных водах проплывающей мимо пищи —
Тоже, значит, жила. До начала добраться трудно,
Тает, уходит все дальше, становится недостоверней.
Уже ничего не вспомнишь. Жизнь, оказывается, вот это:
Сияние света в пространстве, прозрачная бесконечность,
Прикосновение воздуха к телу, пыльца на поверхности вод.
Берег густо усеян скорлупками прошлых рождений,
На одной еще кто-то плывет, покачивается, как на лодке,
Кто-то уже расправляет прозрачные крылья, взлетает,
Словно в волшебной сказке. Нетерпение полнит тело
Пузырьками щекочущей легкости, вдоль спины начинает свербеть
Трещина или надрыв, добирается до головы,
Обозначается все отчетливей. Значит, это рождение
Было еще не последним. Выбираешься из еще одной оболочки
С сетчатыми крылышками за спиной — можешь взлететь!
Летний вечер — вершина жизни. Волшебная музыка сумерек.
Загорелись хороводы планет, огни береговых фонарей.
Поднимаешься, падаешь сладко, зависаешь, снова паришь
Бесконечно, не заботясь о счете. Вечность впереди и вокруг.
В воздухе разливается аромат, непостижимый, влекущий.
Не знаешь, куда тебя тянет, с кем сблизиться, соединишься
В безоглядном, безумном полете, губительном танце любви,
Порождающей новую жизнь — о смерти знать еще рано.
Растянность долгой жизни, вмещающей бесконечность,
Блаженное время поденок — оно не расчленено
На будущее и прошлое. Внизу едва шевелятся
Невнятные тени существ, которых чем дальше, тем больше
Беспокоит истерика механизмов, сделанных ими самими.
Почему так неумолимо спешат? Что это с ними случилось?
Никогда не хватает времени. Сколько еще осталось?
[...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

13.3.07

Дорогой Марк, я обнаружил, что последнее моё письмо (№ 300) было не отправлено, по-видимому, по недосмотру. Повторяю — см. Приложение. На днях отпишу ещё. Твой Г.

Дорогой Марк, каково? Эпистолярный юбилей — трёхсотое письмо. И это не считая прежнего счёта. Доживём ли до четырёхсотого?

Очень рад тому, что ты снова взялся за «Стенографию». О том, что в Москве был вечер журнала «Зарубежные записки», и даже в ЦДЛ, мне немного рассказывала Л. Щиголь. Каково твоё впечатление об этом собрании? Выступал ли ты? Может ли такой журнал вообще кого-нибудь заинтересовать в России? [...]

Замечательное стихотворение «Долгая жизнь подёнки» поначалу смутило меня своим заголовком. Подёнка напомнила сразу о Чехове: «На подёнку будем с тобой ходить...» («В овраге»). Но в словаре, оказывается, есть и другое значение: «Крылатое насекомое, продолжительность жизни которого не превышает нескольких дней» [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

16.3.07

Дорогой Гена, так и не дождавшись нового письма, отвечаю на запоздавшее, десятидневной давности. Презентация «Зарубежных записок» сопровождалась, по законам жанра, преувеличенными восхвалениями, я тоже, грешным делом, не смог не проучаствовать. Но журнал, как выяснилось, у нас знают, читают и, даст Бог, будут читать больше. Интересней была другая презентация, точнее, вернисаж: в редакции журнала «Знамя» открылась выставка замечательного карикатуриста Сысоева, умершего в прошлом году в Берлине. Он отсидел у нас два года, кажется, по обвинению в порнографии, но, конечно, за антисоветчину. У него и эротика переплеталась с политикой. Я познакомился с ним в Берлине в 95-м, он показывал гору своих альбомов, среди его работ были блистательные. Возможно, ты знаешь некоторые: оборванный солдатик везет на тощей кляче, запряженной в розвальни, межконтинентальную ракету. Или работы из цикла «штрих-код»: штрих-код на лобке у проститутки и т.п. Умный, скептический, не выносил наших «перекрасившихся», да и к Западу был весьма критичен. Фрагменты его писем опубликованы в 3-м номере «Знамени» (там же и мой рассказ «Седьмое небо», ты его, кажется, знаешь). Выступавшие, между прочим, говорили, что сейчас его работы на политические темы вызывают у наших чиновников больше неприязни, даже страха, чем еще года три назад: атмосфера в обществе все больше напоминает со-

ветскую. Прочел недавно в одной газете о любопытной «смене брендов». Ленина стало модно оплевывать: он развалил великую империю, был окружен евреями и т.п., зато все откровенней возвеличивают имперского патриота Сталина. По ТВ второй месяц показывают сериал «Сталин live», я раза два включал, но не мог больше минуты выдержать вида этих мерзких рож. Фильм, говорят, вполне апологетический. А до этого с ностальгией отмечали столетие Брежнева. Страна непуганых идиотов. (Или именно пуганых?) [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

17.3.07

[...] О политических и прочих настроениях в нашем отечестве я довольно много слышу от разных людей, читаю в разных источниках. Эту эволюцию (которую, впрочем, можно было предсказать) достаточно трезво обсуждает время от времени и немецкое телевидение и печать. О многосерийном сериале «Ус живьём», о тоске по сапогам вождя, ностальгии по правлению Брежнева, ненависти к иностранцам, инородцам, либералам и т.д. мне рассказывал недавно Павел Нерлер [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

24.3.07

[...] Всю эту неделю я вычитывал верстку своей новой книги «Времена жизни», в которую вошли тексты разного жанра 1995 — 2002 гг. Все они образуют единое целое, отчасти сюжетно связаны; большая часть печаталась в журналах, кроме последнего романа «Проект Одиночество», эссеистический фрагмент из которого ты знаешь. Я в них давно не заглядывал, многое забыл, читал, как работу незнакомого автора, иногда удивлялся. Вместе они производят более значительное впечатление, чем порознь; это существенная для меня книга. Свежему взгляду стали очевидны недостатки, кое-что пришлось доработать, сократить — к неудовольствию издательства «НЛО» и своему стыду: надо было спохватиться раньше, придется переверстывать. Книга может выйти где-то летом. Еще один сборник рассказов, в том числе новых, должен выйти в другом издательстве. Если бы еще пристроить книжку стихов, я мог бы сказать, что все написанное до сих пор напечатал. (Кроме Стенографии, конечно, это не для прижизненного издания.) Мечта прошлых лет: только бы напечататься, оставить след на бумаге — авось сохранится для вечности.

Насчет читательского успеха иллюзий, по опыту, строить не стоит. Но бывают замечательные единичные встречи; они подтверждают, что ты не ошибался, в тексте действительно содержится и может быть прочитано то, что ты в него вложил.

Три месяца назад, под Новый год, я созвонился с Г.С. Кнабе и послал ему по электронной почте свой цикл «Исторические руины»: мне было интересно мнение крупнейшего культуролога, античника, оказалось, что тема может быть ему близкой. Увы, я не учел, что ему уже под 90, он, видно, не очень в ладах с компьютером, не смог сразу раскрыть послание, пришлось повторять. Герман Степанович долго молчал, время спустя позвонил мне, сказал, что должен созреть для разговора. Договорились, что я к нему приеду, созвонились еще раз, стали уточнять подробности. Когда он, уже прощаясь, сказал, что перед встречей надо будет кое-что обсудить по телефону, я опять с грустью подумал о возрасте, предложил: давайте обсудим сейчас.

Гена, ты бы слышал, какую блистательную получасовую лекцию об исторической памяти и мифологии — по поводу моих стихов (о которых отозвался высоко) — он прочел мне по телефону! Я пробовал кое-что застенографировать на подвернувшихся листках, но поспевал с трудом, а главное, это мешало слушать — и я бросил. Герман Степанович спросил у меня разрешения процитировать мои стихи на своей ближайшей лекции (он ведет раз в неделю какой-то спецкурс в университете, его возят на машине). Я сказал, что цикл был напечатан в «Зарубежных записках», моего разрешения не требуется, это была бы для меня большая честь — и намекнул: если бы он изложил письменно то, что сказал мне, и прислал по электронной почте. Ведь никто другой не прочтет эти стихи так, как он. Он ответил неопределенно. Вряд ли напишет. Но обещал пригласить меня на будущую лекцию, где-то в первых числах апреля. Встречу отложили до тех пор. Дай Бог! [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

26.3.07

[...] Я получил книгу Дм. Быкова о Пастернаке (читал её в поезде) и двухтомный путеводитель Сергея Чуприна по современной русской литературе. Я всегда относился к Быкову с некоторым скептицизмом, но нахожу этот его, почти 900-страничный, труд блестящим. Читаю я такие книги по старой привычке не подряд, а из разных мест. Прочёл, среди прочего, главу о «Докторе Живаго». Здесь отдана дань моде: главный герой, как и сам автор, — прежде всего христианин. Не-

зависимо от того, как оценивать эту главу («Живаго» — роман «не реалистический, а символистский»), она заставила меня снова задуматься над романом, а заодно и над историософией Пастернака.

Когда-то меня поразили слова Пастернака в одном письме 1959 года. Он пишет о «Докторе Живаго»:

«В романе делается попытка представить весь ход событий, фактов и происшествий как движущееся целое, как развивающееся, проходящее, пронсящееся вдохновение, как если бы действительность сама обладала свободой и выбором и сочиняла самоё себя, отбирая от бесчисленных вариантов и версий».

Что ты скажешь? Это написано после Освенцима, после советских концлагерей, после двух мировых войн, бессмысленных разрушений и бессмысленной гибели многих миллионов людей. Вот чем вдохновилась действительность. Вот что она сочинила.

Я далёк от того, чтобы сравнивать роман Пастернака со своим романом (или псевдороманом, который, кстати, на днях закончил). Но и там, и здесь речь идёт об индивидуальном существовании в истории, о русском XX веке. Метаисторический оптимизм Пастернака меня — уже в который раз — изумил. Концовка романа умиляет своей умиротворённостью. Историю, сквозь все утраты и тьму, незримо направляет чья-то благодатная рука. Я чуть было не сказал, как меня воротит от этой благодатности [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

31.3.07

[...] Позавчера в клубе-кафе «Билингва» состоялась презентация специального сдвоенного номера журнала «Новое литературное обозрение» (N 83/84): «1990-й: опыт исследования недавнего прошлого». Я, как ты знаешь, участвовал в нем фрагментом из своей «стенографии» и потому получил авторский экземпляр. Это два увесистых тома в футляре, больше 1500 стр., при этом бумажный текст составляет лишь половину электронного варианта, который был приложен в виде компакт-диска; там есть и видеоматериалы. В интернете, как мне сказали, он появится поздней, после того, как будет продана часть тиража, но факультеты славистики многих университетов этот журнал, я знаю, выписывают. Это весьма интересно. Представлены свидетельства, материалы, хроника, исследования на разные темы (политика, экономика, быт, масс-медиа, искусство, литература, эротика и т.п.), есть дневники албанцев, немцев и др. Я только начал читать. Особенно интересными показались мне статьи на темы истории вообще и «недавней истории» в частности.

Презентацией началась научная конференция на ту же тему: «Недавнее прошлое как объект исследования». Я на нее не хожу, но взял себе программу с тезисами объявленных выступлений. Вот заголовки некоторых: «Когда начинается и кончается «ближайшая история»?». «Недавнее прошлое в перспективе философии времени». «Конец постсоветской эпохи: читая руины». «1990-е как катастрофа»: дискурсивный анализ текстов современной российской публицистики и историографии».

Конечно, вспомнилась наша прошлогодняя переписка на темы истории — по поводу романа, над которым ты тогда работал. Ты размышлял об «ужасе истории», которая словно по чьей-то злой воле вторгается в частную жизнь, мне это представление казалось таким же сомнительным, как пастернаковская восхищенность «вдохновенным» саморазвитием событий. Противоречивая, неисчерпаемая полнота жизни, которая была твоей жизнью — и тут же, почти мгновенно становится общей историей, не укладывается в эмоциональные оценочные концепции. Хотя без эмоций и оценок, разумеется, не может обойтись герой романа — с завершением которого я тебя еще раз поздравляю. Интересно было бы его прочесть.

Пришла открытка от Гриши Померанца, которого я недавно поздравил с днем рождения, он пишет: «Я чувствую себя обязанным прожить еще несколько лет, чтобы ободрить тех, кто значительно моложе: сколько еще лет впереди! « Драгоценный человек! [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

1.4.07

[...] Первое апреля — никому не верь!

Дорогой Марк, всё же ты — это ты, и я — вроде бы я. И весна, которая, по-видимому, наступила у нас окончательно, — это весна, а не какое-нибудь другое время года. А вот что касается истории, поди знай что сей сон означает.

Вчера пришло твоё письмецо. Я надеюсь, что в интернете появится вскорости сдвоенный номер «НЛО», о котором ты пишешь, это должно быть в самом деле очень интересное чтение. По крайней мере, в части «недавней истории».

Парадокс этого определения очевиден. Чем ближе к нам, тем больше участников, свидетелей, документов и так далее; казалось бы, и больше достоверности; а между тем никто так не беспомощен в своих попытках разобраться в современности, как именно современники.

Уже обилие свидетельств само по себе застилает глаза. Весь этот мусор времени. И можно сказать, что история Рима нам в некотором смысле лучше известна (или, во всяком случае, более понятна), чем, к примеру, история России последних десятилетий. Или это вообще не история, и её надо называть как-то иначе.

Названия докладов интригуют; я бы охотно послушал. «Конец постсоветской эпохи». Звучит по-журналистски. Манера газетчиков и телевизионщиков — забывать о существовании вопросительного знака. Но ведь тут учёные мужи. Откуда известно, что этот конец уже наступил? А что если впереди ещё только начало?

Ты упомянул мои философствования об истории. Конечно, любой специалист скажет: вольно дилетанту и недоучке опровергать историографию, подкапываться под её достоинство. «Хочу очнуться от кошмара истории», — заявил некто Стивен Дедалус. Кто он такой, чтобы самодовольно вещать о предметах, в которых ничего смыслит? На это герой Джойса, будь он на моём месте, ответил был: да, я ничего не понимаю в истории, но чуточку разбираюсь в жизни. Маленько хлебнул. А Джойс бы — из какого-нибудь волшебного далёка — добавил: и немного понимаю в литературе. А ещё кто-нибудь бы сказал: и к тому же мы родились в России. Что такое Россия? Огромная насмешка над историей.

Да, именно так: история издевается над нами, а мы смеемся над историей.

Занимаясь романом, о котором я сейчас совершенно не в состоянии сказать что-нибудь путное (тем более судить о нём), я думал, между прочим, о том, не является ли литература в некотором роде оправданием и нашей жизни, и истории [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

4.4.07

[...] Я сейчас понемногу почитываю НЛО-90. Наглядно видишь, как многого еще недавно мы все не понимали, как дилетантски, «на коленке», люди начинали создавать частные предприятия, журналы, издательства, разрабатывать законы, как барахтались в происходящем, не очень представляя, куда нас несет, и не умея направлять события. А еще — как изменилась не только мода, но и мимика, поведение, сознание, стиль жизни. Увидеть бы себя раньше, не изнутри, а таким вот отстраненным, из будущего, взглядом!

Недавно я заглянул в замечательную книгу воспоминаний Голо Манна «Erinnerungen und Gedanken¹». Там в заключительной главе прекрасный анализ исторических событий, причин Первой и Второй мировых войн, прихода к власти Гитлера — на каждом этапе очевидно упущенная возможность избежать катастрофы, слепота современников. Можно ли было увидеть это вовремя, что-то понять? В самом конце он задает тот же вопрос. «Wo liegen die Grenzen zwischen Schuld und Unvermeidlichkeit? ...Wann erschien der letzte Moment, in dem es noch möglich wäre, Europa von [den] extremsten Folgen zu bewahren? Beweisen läßt sich hier in aller Ewigkeit nichts. Die „logische Positivisten“ lehren uns, eine Frage, die man prinzipiell niemals beantworten könne, sei keine. Falsch. Es gibt solche, über die man nachdenken *muß*, auch wenn sie keine Lösung zulassen; und das können die allerernstesten sein»² [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

5.4.07

[...] Кажется, я рассказывал тебе, что раза два видел и слышал Голо Манна в Баварской академии. Он был небольшого роста, но лицом и манерами очень похож на отца (у которого, кстати, ходил в нелюбимых сыновьях). Редко кто писал так хорошо, как Голо.

Есть интересная беседа об историографии, которую вёл с ним мой старый друг Гарри Просс. Там, между прочим, есть такая мысль. Голо Манн предостерегает против попыток формулировать общие законы истории, создавать всеобъемлющие теории. Этого требует честность учёного. Вместе с тем он был человек со своим отчётливым мировоззрением либерального консерватора.

Посылаю тебе рецензию на Чупринина³, хотя она (рецензия), как ты увидишь, не Бог весть что [...]

¹ «Воспоминания и мысли» (нем.)

² Где проходит граница между виной и неизбежностью?... Как определить последний момент, когда еще можно было уберечь Европу от тягчайших последствий? Доказать тут никогда ничего невозможно. «Логические позитивисты» говорят нам, что вопрос, на который в принципе невозможно ответить, просто снимается. Неправда. Существуют вопросы, над которыми мы *обязаны* размышлять, даже если они не имеют ответа, и как раз эти вопросы бывают самыми серьезными (нем.)

³ Речь идет о книге С. Чупринин «Путеводитель по современной русской литературе».

М. Харитонов — Б. Хазанову

6.4.07

[...] Спасибо за рецензию, дорогой Гена. Она вполне удовлетворила мой интерес к книге Чупринина, сам бы я ее читать не стал [...] Немалая часть этого объемистого текста, как можно судить по твоей рецензии, посвящена явлениям, которые вообще не относятся к литературе. (А ты, оказывается, знаешь имена, о которых я понятия не имею.) Не далее как вчера я прочел у Мандельштама: «Нельзя выбрасывать на рынок безнаказанно сотни тысяч неуважаемых, непочтенных или полупочтенных книг, хотя бы продажных, хотя бы тиражных книг». Он называет это «горькой и унижительной болезнью». 1929 год. Ничего нового, так было и во времена Пушкина, разве что цифры тиражей другие. Насчет безнаказанности — вот это пока не ясно [...]

А как ты прокомментируешь мысль Голо Манна о «неизбежности и вине»? [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

6.4.07

[...] Замечательная фраза Мандельштама, 1929 год, и твоё заключение: «Ничего нового, так было и во времена Пушкина...»

Нет. Хотя речь идёт о том, что нам так хорошо знакомо, времена не те, что в двадцатых или тридцатых годах, не говоря уже о пушкинских. Совершилось нечто такое, о чём, возможно, тогдашние власти дум смутно догадывались. Но представить себе масштаб и следствия они не могли. В 1929 году можно было позволить себе воскликнуть: «Нельзя выбрасывать на рынок сотни тысяч... хотя бы и продажных...», — не рискуя вызвать в ответ пожатие плечами.

В том-то и ужас, что сегодня это — «не вопрос». Мы дышим другим воздухом. Мы живём в другом обществе. Это общество сложилось в Западной Европе в послевоенные десятилетия, в России оно складывается сейчас и, как всегда, в спешке, боясь опоздать и вечно опаздывая, усваивает худшие черты этого нового массового общества. Обилие мусорной литературы, мусорной музыки, мусорной информации, лавина вообще всякой информации без разбора, без передышки, журнализм, правящий умами масс и в свою очередь поработанный массовым сознанием, которое он воспитал, коммерциализи-

зация всего на свете, индустрия потребления, рассчитанного на всех и доступного всем, ибо всё должно стать товаром и становится товаром. В результате — вот она, диалектика или, что то же, ирония истории, слышишь ли ты горное эхо, хохот богов? — в результате и все- сильный рынок становится рабом самого себя. Э-эх! Мы об этом, по моему, много раз уже говорили [...]

Что сказать о «неизбежности и вине»? Я снял с полки Голо Манна и перечитал это место. Где тот пункт, тот еле заметный поворот на скользком пути вниз, когда, уже съезжая, ещё можно было остановиться? Вместо того, чтобы ответить на этот вопрос, не имеющий ответа, подумаем о парадоксе истории.

История — это знание о том, что «было». Но в этом знании незримо присутствует и знание того, что было потом. И это то, что отличает историка от политика, от тех, кто не сумел во-время остановиться. Вопрос, заданный Голо Манном, не находит ответа не потому, что они оказались неспособны учуять: здесь надо остановиться, а потому, что для них вообще не существовало всей этой проблемы. Может быть, это — худший приговор Не людям, не слепым деятелям, не умеющим видеть за сегодняшним днём завтрашний, а историческому «процессу».

Может быть, я скажу чепуху. Но! Не кажется ли тебе, что пресловутый исторический подход, великое завоевание XIX столетия, когда всякое явление должно рассматриваться в исторической перспективе, в молчаливой презумпции, что мы-то уж эту историю знаем, — что подход этот себя изжил и висит на шее, как тяжёлое чугунное украшение? Может быть, поиску истины, ловле неуловимого, бессмысленного смысла истории мешает хронология? [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

7.4.07

Дорогой Гена, я процитировал Мандельштама в сокращении, там была еще фраза: «Книга не терпит деморализации, болезни ее приличивы». Видно, ты ответил и на мой вопрос о «безнаказанности». Какой вывод? Такой же, как и во времена Мандельштама: держаться, сопротивляться. «Против шерсти мира поём» [...]

Твою мысль об истории я не вполне понял. Представление об историческом времени, направленном из прошлого в будущее, пришло на смену представлениям о повторяющемся мифологическом цикле. «Знание о том, что было» — любое знание о позавчерашнем дне: в нем «присутствует и знание того, что было потом» (вчера). Ника-

кой «презумпции», что мы и сегодняшний день достоверно знаем. (Разговор-то начался с попытки оглянуться на 90-й год.) «Поиск истины, ловля неуловимого, бессмысленного смысла» — это не только об истории; недостаточность рациональных концепций везде очевидна. Не знаю, при чем тут хронология [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

8.4.07

[...] Сегодня пасхальное воскресенье, мягкий полусолнечный день, тишина, безлюдье, народ в церквах либо разъехался. Бавария-4 передаёт соответствующую музыку и вдруг Итальянское каприччио Чайковского. Я помню, как весной 45 года, — мне исполнилось 17 лет, — в первых числах марта, когда в России так часто наступает весна, всё капает и сверкает на солнце, чтобы потом, к середине месяца смениться рецидивом зимы, — как я несколько часов подряд катался в гремучем трамвае, стоя на задней площадке, без всякой цели, и это чувство избавления от чего-то, свободы, юности, — и в ушах у меня всё время звучала песня двух кларнетов.

Но это воспоминание не существует *per se*, — хочешь не хочешь, к нему подмешаны память и знание о том, что было позже, и... и тут мы возвращаемся к нашей теме.

Когда-то я переводил и печатал в бывшем нашем журнале «Страна и мир» статьи-этюды из прекрасно написанной книги Себастьяна Гафнера «В тени истории» (S. Haffner, *Im Schatten der Geschichte*, 1985. Попадалась ли она тебе?). Там вступительной статье было предисловие следующее изречение:

«*Erst Geschichtsschreibung schafft Geschichte. Geschichte ist keine Realität, sie ist ein Zweig der Literatur*¹».

Дело не только во внешней художественности, в красоте слога Фукидида, или Тацита, или Мишле, или Моммзена, или Ключевского, или Голо Манна и кого там ещё, — дело в том, что историографическое изложение строится по законам художественной прозы. Если летопись — это дневник, то история — повествование. Традиционный способ литературы — рассказ о чём-то, что однажды началось, происходило и закончилось. Ты говоришь об иудейской стреле единонаправленного времени и об эллинском круге, вечном возвращении/круговращениях времени; в конце концов победила стрела. В небольшой степени — благодаря литературе.

¹ Лишь историография создаёт историю. История не есть реальность, история — отрасль литературы (*нем.*)

Говоря о парадоксе истории, серьёзной, научной истории, я имел в виду следующее. Историк восстанавливает события, какими они случились, но, в отличие от действующих лиц, знает о том, что было после. Этого мало. Знание последующего — того, что для современников было непроницаемым будущим, а для него сделалось позапрошлым, по отношению к которому бывший футурум стал плюсквамперфектом, — это знание неустранимым образом примешивается к истории и, хочешь не хочешь, меняет, денатурирует с таким трудом реконструированное прошлое, как кислота — белок.

И тут он снова оказывается в ситуации романиста. Если, что бывает чаще всего, писатель более или менее представляет себе судьбу героев и общую линию повествования, он оказывается по отношению к своим героям в будущем. Это будущее, как и тот, кто обретается в нём, для них — тайна. Анна Каренина ничего не знает о Толстом.

Персонажи исторического прошлого не ведают об историке. Для них он как будто вовсе не существует. И, однако, существует — потому что его знание о том, кто пришёл после них и что потом случилось, искажает их облик, и с этим ничего поделаешь.

Ты спрашиваешь, причём тут хронология. А при том, что, если мы приняли как аксиому концепцию прямолинейного однонаправленного времени, все события оказываются насаженными на него, как куски мяса на шампур.

Вернёмся к литературе, которая, особенно в XX веке, как бы назло здравому смыслу, взбунтовалась против хронологии. «Смеем уверить, что в нашем романе время расчислено календарю». Основываясь на этом, Лотман восстановил внутреннюю хронологию «Евгения Онегина». Так нет же. Романист (а нередко и драматург) после-классической поры норовит смешать карты: у него события отнюдь не следуют одно за другим. И смотрите-ка, оказалось, что отмена или смещение хронологии даёт возможность по-новому, глубже постичь действительность.

Может быть, ты помнишь пьесу Дж.Б. Пристли «Время и семья Конвей». Только что окончилась война; в первом акте молодые люди — солдат, вернувшийся с фронта, будущая талантливая писательница, прелестная, жизнерадостная младшая сестра, ещё кто-то, — радуются жизни и строят планы на будущее. Второй акт — та же комната, но прошло двадцать лет. Солдат спился, будущая писательница стала третьеразрядной журналисткой, а младшая сестрёнка умерла. В третьем акте время вернулось к тому далёкому полузабытому вечеру, с которого началась пьеса: продолжают прерванные разговоры, смех, все молоды, никто не ведает, что его ждёт...

В конце концов исторический подход обещает найти смысл происходящего, понимаемого как закономерный процесс; настоящее — этап развития, нужно исследовать предыдущие этапы и на этом основании, исходя из правила «после — значит поэтому» (*post hoc ergo propter hoc*), постулировать будущее как легитимный итог прошлого. Исторический подход подсказан любимой метафорой XIX века — произрастанием злака. Мы становимся детерминистами чуть ли не на манер Лапласа, для которого будущее заключено в прошлом, как свойства треугольника — в его определении. Жить становится легче: мы проникаемся уверенностью, что «всё образуется»; каждый из нас и все вместе — участники некоторой законосообразной, осмысленной эволюции, чьё имя — История.

Так нет же! Что-то расстроилось во всём этом построении. Чувство разумной осмысленности, будь то божественный промысел или какие-нибудь законы, рухнуло. Я как-то процитировал тебе Вальтера Беньямина: Ангел Истории, вперившийся в развалины.

Уф! — вот тебе целый трактат [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

14.4.07

[...] Забрезживший было прозаический замысел погас, угольки пока теплятся — нужен какой-то стимул. Я обложился поэтическими сборниками, думаю о стихах — блаженное состояние. Опять обратил внимание, что у Бродского (если судить по оглавлению) за иные годы (1983–86) написано всего 4–5–6 стихотворений. Не надо корить себя за непродуктивность, не в количестве дело. Я за эту неделю набросал аж три верлибра — посмотри.

Башня

Ясный, казалось, замысел разросся по ходу работы,
Менялся неузнаваемо, начала уже не вспомнить,
Чертежи не раз обновлялись, язык стал малопонятен.
Чем дальше строим, чем дальше видится завершение.
Готовые стены ветшают, растасканы на кирпичи,
Вокруг возникают склады, виллы, бани, временки,
Поднялся уже целый город, не предусмотренный планом.
Пусть башня становится мифом — что было бы без нее?

Умирать придется впервые, репетиции не предусмотрены,
Не считать же пробой беспамятство, перспективу легкого сна,
Из которого не вернешься. Других потом не расспросишь,
Да и опыт чужой не впрок. Как остаться собой, не сфальшивить?
Что исходит с последним выдохом? Говорят, племенные заводы
Не зря ставят ближе к бойням — плодovitость растет.

Запечатление

Утята послушно спешат за экспериментатором в шортах:
Первый, кого увидели, вылупясь из скорлупы,
Стал им матерью вместо утки. Он в пруд, и они за ним.
Вокруг деревенская благодать. Колокол созывает на службу
В сухопарую кирху без украшений. Все одеты по-городскому.
Здесь не месят распутицу сапогами, не щелкают в магазине
Костяшками доисторических счетов. Здесь яблоки на деревьях
Безупречно круглы, не червивы, здесь среди цветников
В ухоженных садах гномы из сказки чьего-то детства.
Язык дословно понятен...
Во сне сорока-воровка,
Загибая пальцы, бормочет, кормит кашей деток-птенцов,
Колобок скребен по сусекам. Детский лепет до понимания —
Не растолкуешь, не переведешь. В воздухе возникает
Запах октябрьской антоновки, сваленной кучей в сених,
Запах картофельной дымной ботвы, запах псины,
Оттаивающий у печки после дождя, арбузный запах белья
На морозе, его ночной перестук, запах подснежной воды,
Музыка льдинок в ведре, занесенном под утро в дом.

Из Mont-Noir пришло письмо от учеников латинского колледжа, они собирают мнения разных людей о значении латинского языка. Не по адресу обратились — спросили бы тебя. В письме цитируется некий Quintus Ennius (3-й век до н.э.): «il se vantait d'avoir trois coeurs parce qu'il savait parler grec, osque et latin¹». Не скажешь ли мне, что такое osque? [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

14.4.07

Дорогой Марк! Из трёх стихотворений мне больше понравилось последнее — «Запечатление». Постепенно у тебя набрался целый том стихов-верлибров. Подумал ли ты о плане такой книги? о названии?

¹ он хвастался, что у него три сердца, так как умел говорить по-гречески, по-осски и по-латыни (*φρ.*)

А всё-таки жаль, что проза у тебя как-то отошла в тень.

Как поживает новая Стенография?

От Энния сохранились только фрагменты, он и Невий считаются очень важными фигурами доклассической поры и в обязательном порядке фигурируют в руководствах по истории римской поэзии. В моё время главным учебником римской литературы на классическом отделении был Тронский (переделавший свою фамилию Троцкий), но мне бы очень хотелось приобрести замечательную «Римскую литературу» М.М. Покровского, которую я читал подростком. В университете я пользовался немецким руководством Ribbeck.

Оскский язык, *lingua osca*, — один из италийских языков, которые вымерли уже в древности, вытесненные языком Лациума — латинским.

Что ты ответил ученикам колледжа?

Я хочу послать тебе тоже два текста. Один — это рассказик, который я сочинил между делом, а другой — ответ С. Чуприна на известную тебе рецензию [...]

[В приложении: Откуда ты, прекрасное дитя]

М. Харитонов — Б. Хазанову

16.4.07

[...] В твоём рассказе мне интересно было описание врачебного провинциального быта. Великое, несравненное знание. (А в письме меня еще раз восхитила твоя латинская эрудиция.) Но история психического сдвига, беспричинного чувства вины, (медицински, наверно, объяснимого), показала мне литературно необудительной.

О письме Чуприна ничего сказать не могу — не читал его книги. Он, что ли, себя называет плюралистом, а тебя монистом? Ты в книге отметил, помнится, слово «консенсус» — это не из литературного словаря [...]

Для работы мне понадобилась история о человеке, внезапно ослепшем. Я попробовал поискать что-то в интернете, но по неумелости находил только сайты о чемпионате слепых футболистов, компьютере для слепых и пр. Не известны ли тебе необычные случаи (истерическая слепота, удар молнии)? [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

16.4.07

Дорогой Марк, я не окулист, офтальмологических больных видел мало. Не следует также забывать, что мои медицинские познания

весьма устарели. Несколько лет тому назад я был подвергнут операции на обоих глазах и мог убедиться, какой громадный шаг вперёд сделали наука и врачебное искусство за последние десятилетия.

Я стал думать над твоим вопросом. Конечно, самое простое было бы полистать учебник глазных болезней, но у меня его нет под рукой.

Был такой случай: женщина родила ребёнка с гноящимися глазами. Я заподозрил бленоррею (гонореею глаз), это дело серьёзное, заканчивается слепотой. Но мне удалось справиться промыванием и закапыванием капель пенициллина каждый час, и всё обошлось. Из разговора с роженицей стало ясно, что она в самом деле хворала незадолго до родов острой гонореей; вероятно, заразилась от мужа. В деревне женщины часто не придают значения гнойным выделениям. О каждом свежем случае венерического заболевания полагалось подавать извещение в район, и я получил выговор от начальства за то, что поспешил поставить диагноз без бактериологического подтверждения и испортил районную статистику.

Среди очень частых причин внезапно или быстро наступившей слепоты я могу назвать снежную офтальмию (произносится с ударением на «и»), то есть ослепление, чреватое слепотой, после пребывания среди снегов на ярком солнце без очков-консервов, обычно в горах. Вообще вспышка сверхяркого света может вызвать стойкое ослепление, во время которого пострадавший стонет от сильнейшей боли в глазах.

Ну и, конечно, травмы. Одна из самых распространенных, бытовых, — при откупоривании шампанского. Однажды такая история была и со мной, меня спасли очки, удар пробки пришёлся на оправу. Стол и праздничный торт были засыпаны осколками, несколько кусочков стекла торчали в веках, но глаз уцелел.

Отец европейской хирургии Амбруаз Паре, который жил в XVI веке, вытащил (чуть ли не кузнечными щипцами) у герцога Гиза обломок вражеского копья, застрявший в углу глаза — видимо, пробив костную орбиту. Не знаю, сохранился ли глаз, но раненый выздоровел.

Прочти балладу А.К. Толстого о Гаконе Слепом.

Твоё предложение попробовать опубликовать часть нашей переписки — весьма здравая идея. Хотя, конечно, сразу возникает вопрос, кто это будет печатать. Ведь читателей, интересующихся материями, которые нас с тобой занимают, можно, по крайней мере в России, пересчитать по пальцам. И всё же: подумай, какие письма ты бы хотел отобрать, а я полистаю (в компьютере) свои послания. Можешь ли ты закинуть удочку в каком-нибудь журнале в Москве? [...]

Ответ Чуприна заинтересовал меня указанием на разницу в возрасте. Сам он тоже не мальчик, но всё же моложе меня как-никак почти на 20 лет. Отстояние поколений усугубляется географической и отчасти политической дистанцией. Люди моего сорта — отработанный пар. Ты же оказываешься посредине. Чувствуешь ли ты себя представителем старшего поколения?

В моём рассказе о русалке, вероятно, слишком выпячена медицинская сторона. Задача была — не описать случай помешательства, а продемонстрировать то, что можно назвать принципиальным двуличием действительности. Чувство вины не имеет медицинского основания. Рассказчик отказывается от профессии врача (ибо для неё второй действительности не существует) и выбирает литературу (для которой прозрачная действительность является легитимной). Но одно дело задача, а другое — исполнение [...]

25.4.07

Дорогой Марк, бронепоезд литературы стоит на запасном пути, который, как известно, представляет собой тупик. Выбраться оттуда можно только задним ходом. Что я и пытаюсь сделать, деваться некуда. Я собрал кое-какие старые тексты, отрывки и проч. и хочу попробовать сделать книжку о литературе. Конечно, без всякой надежды её напечатать, — если из этого вообще что-то получится [...]

Между делом я сочинил маленький рассказец, который хочу послать тебе. Тряхнул стариной. Когда-то я с увлечением занимался историей медицины, которая, между прочим, довольно близко связана с философией.

Телевидение транслирует из Москвы грандиозное отпевание Ельцина в храме Христа Спасителя. В Западной Европе это когда-то называлось «союз алтаря и трона».

Дела у нас скверные, у Лоры рецидив, и завтра будет сызнова начата химиотерапия [...]

[Приложен рассказ «Лев и звезды»].

М. Харитонов — Б. Хазанову

27.4.07

Хороший рассказ, дорогой Гена, жаль только — слишком короткий. Мне представилось более развернутое повествование, скорей в духе Юрсенар, чем Борхеса. И это, право, могло бы быть востребовано.

Знание, которым ты обладаешь, драгоценно. А можешь ли ты на языке современных представлений предположить, какой чудодейственный порошок высыпал в чашу Парацельс?

В день смерти Ельцина мне вспомнилось, как от такой же «внезапной остановки сердца» умер в больнице Натан Эйдельман. На панихиде я спросил нашего друга Юлия Крелина: как же это могло быть? При врачах, под монитором? Могли бы мгновенно что-то сделать? Он досадливо отмахнулся от моей глупости.

Рецидив у Лоры — новые метастазы? Будем опять надеяться на химиотерапию [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

29.4.07

Дорогой Марк, я рад, что рассказ тебе понравился. Занимаясь когда-то историей медицины и отчасти естествознания, о чём я тебе уже говорил, я сочинил для «Химии и жизни» среди прочего довольно большую статью о Парацельсе, читал разные материалы и документы. Ему, между прочим, принадлежит заслуга внедрения в практику ртутного лечения сифилиса (Парацельс был свидетелем первой эпидемии сифилиса в Европе), которое он обосновал теоретически: Венере противостоит Меркурий. Это лечение, достаточно тяжёлое (в XVI веке больного сажали в яму, куда наливали ртуть, и он дышал её парами), оказалось по-настоящему эффективным, но Парацельсу пришлось столкнуться с торговцами гваяковым деревом и изготовителями гваякового масла, которое приносило огромные прибыли, будучи совершенно бесполезным. Гваяковым маслом тщетно пытался исцелиться Ульрих фон Гуттен. Ртутная мазь для втирания в голени и предплечья, кстати, дожила в венерологической практике до самого недавнего времени, когда я был студентом.

Болезнь вымышленного герцога в моём рассказике — это, по всей видимости, крупозное воспаление лёгких в его классической форме, с типичным симптомом и характерным течением, когда (об этом знали ещё древние) кризис наступает в нечётный день, обыкновенно на пятый или седьмой день болезни, и пациент либо умирает, либо начинает быстро поправляться. Сейчас такая форма уже почти не встречается.

Что касается чудодейственного или якобы чудодейственного порошка, то сообщение о том, будто *utriusque medicinae magister et doctor*, то есть «доктор и той, и другой медицины» (по-нашему, хирургии и терапии) хранил некое тайное снадобье в рукоятке меча, с кото-

рым он и представлен на одном из известных портретов, — то я это вычитал где-то. Тайным средством доктор исцелил от кровавого поноса маркграфа Баденского — исторический факт, — лекарство это оказалось порошком из опиумного мака. Опиум останавливает перистальтику, и до крайности изнуряющий больного кровавый стул (я сам болел токсической дизентерией в лагере) прекращается. Но в моём рассказе сцена лечения выдумана. Ученик Бонифаций Амербах — реальное лицо.

Мне казалось важным в литературе нечто противоположное тому, чем занимается научная история медицины, которая стремится отшелушить от легенд и суеверий рациональное зерно, — а именно, я стремился стереть грань между мифом и действительностью или, вернее, создать мифическую действительность. Рассказ в самом деле слишком короткий для такой претензии. Но так уж получилось [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

1.5.07

[...] Дорогой Гена, я вдруг взял и одним духом составил подборку из нашей переписки для «Зарубежных записок». Объем получился больше, чем нам в свое время было позволено Ларисой, но можно сократить, можно распечатать в двух номерах. Ты, конечно, внеси свои коррективы, можешь видоизменить состав. Посмотри [...]

[Из переписки]

Б. Хазанов — М. Харитонову

2.5.07

Дорогой Марк, я связался с Л. Щиголь, она отнеслась, как и прежде, к идее опубликовать переписку весьма положительно. После чего я переслал ей текст.

Она писала, что публикация возможна только в следующем году: десятый номер уже готов, а в 11-м намечено поместить отрывок из «Стенографии» и мою рецензию на литературный путеводитель Чупринина (который собирается ещё прислать свой ответ). Но, кроме того, Лариса сообщила мне по секрету — следовательно, и тебе пишу это по секрету, — что материальное положение журнала позволяет рассчитывать на продолжение в будущем году «лишь на 70 процентов».

Журнал финансируют богатые люди в Дортмунде или Кёльне, для них, по её словам, до сих пор новость, что литературный журнал не может быть прибыльным. Но они хотели престижа и репутации меценатов. Чего и добились, но, оказывается, этого мало [...]

Ну вот; что ещё? Недавно я получил из Москвы любопытную бумагу, помеченную 16-м марта, — ответ на моё заявление. Довольно давно я сделал, получив для этого официальный бланк в консульстве, запрос насчёт возможности получать пенсию из России. Я работал с 17 лет (был рабочим на газетно-журнальном почтамте), потом учился, потом сидел в тюрьме и вкалывал в лагере, потом снова учился и работал, а после окончания медицинского института работал почти до самого отъезда и, смею думать, работал добросовестно.

Если бы я, на моё счастье, попал в лагерь не в СССР, а в Германии, я сидел бы сейчас на мешке с золотом. А так я получаю здесь маленькую пенсию за те немногие годы, что успел проработать в журнале «Страна и мир», а также за три последних года (как положено по немецким законам) учёбы в школе и в высшем учебном заведении в России.

Если бы я уехал из Федеративной республики, пенсия сохранилась бы за мной, где бы я ни жил, подданным какого бы государства я ни был. Так принято в западном мире.

Я не был настолько наивен, чтобы ждать положительного ответа из отечества или вообще какого-либо ответа; но ответ пришёл, на бумаге с длинным грифом и трижды коронованным орлом. Исполнительная дирекция Пенсионного фонда Российской Федерации (так это называется) сообщает:

«При определении права на пенсию по российскому законодательству для лиц, не проживающих постоянно на территории России, одним из обязательных условий является принадлежность к гражданству Российской Федерации».

Эта страна, какой была, такой и осталась [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

5.5.07

[...] Мы на праздники остались одни, дети разъехались по разным странам: дочери с детьми в Турцию и Черногорию, сын аж в Америку. А мы с друзьями съездили в Гусь-Хрустальный, там замечательный музей стекла в бывшей церкви; кирпичные дома вокруг фабрики были когда-то выстроены для рабочих по образцу французского Баккара. Назад возвращались через Владимир.

Я понемногу втягиваюсь в работу. Мне понадобилось упомянуть случай скоротечной смерти женщины, возможно, от белокровия. Не мог бы ты описать, как это житейски видится окружающим? Опять консультируюсь у тебя [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

5.5.07

[...] «Белокровие» — термин, так сказать, светский; врачи обычно говорят: лейкоз (в России) или лейкемия (в Западной Европе и Америке). Часто употребляемое выражение «рак крови» неправильно. Речь идёт о процессе злокачественном, но совсем другого рода. Важно различать острый лейкоз и хронический. Ближайшая задача лечения — перевести острую форму в хроническую, которая может давать ремиссии, тянуться многие годы. В моё время (тридцать-сорок лет назад) это удавалось нечасто, диагноз острого лейкоза почти всегда означал смертный приговор. Сейчас положение изменилось, у многих больных удаётся добиться стойкой ремиссии или даже полного выздоровления.

Болезнь начинается незаметно, исподволь, главные симптомы — необычная утомляемость даже при небольшой физической нагрузке; одышка; кровоточивость (кровь из дёсен, причём обязательно после еды, кровь из желудка и кишечника — чёрный стул или так называемая скрытая кровь, которая определяется в лаборатории); склонность к инфекциям — воспаление лёгких, инфекция мочевыводящих путей — пузыря, почечных лоханок, воспалительные гнойные процессы в полости рта и так далее вплоть до сепсиса, от которого больной чаще всего и погибает; ну и, наконец, характерные изменения картины крови и костного мозга, прежде всего неуклонное падение числа лейкоцитов и тромбоцитов, обилие патологических незрелых кровяных клеток.

От лейкоза, между прочим, погиб Рильке, погиб Шаляпин.

У меня ничего нового, ездим с Лорой к врачу, чувствует она себя по-разному [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

15.5.07

[...] В апрельском «Знамени» опубликовали большую рецензию (можно сказать, статью) на роман Максима Кантора «Учебник рисования», которым, помнится, интересовалась твоя французская знако-

мая. Рецензия, похоже, избавляет от необходимости читать роман. Автор книги, среди прочего, косвенно ссылается на труд своего отца, известного философа Карла Кантора «Двойная спираль истории». Вот цитата из рецензии: «Его теория строилась на параллельном существовании двух историй: одной, воплощенной в события и факты, и другой, воплощенной в идеи и произведения интеллекта. Вторую историю (т.е. историю духа) он именовал собственно историей, а первую (т.е. историю фактическую) называл «процессом социокультурной эволюции». По Рихарду-Кантору, они порой совпадали, но чаще нет. Поступательное движение во времени обоих процессов и есть двойная спираль истории, которую ученый сравнивает со спиралью ДНК». Ты, помнится, толковал о трех ипостасях истории; может, тебе это покажется интересно [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

19.5.07

[...] О романе «Учебник рисования» я имею некоторое представление не только из добросовестной французской рецензии Елены Бальзамо, но и по довольно большому фрагменту, который мне кто-то присылал. У меня впечатление, что произведение Максима Кантора — ниже уровня даже плохой литературы, и я с трудом могу поверить, что московские рецензенты, которые его расхваливали, смогли прочесть это огромное хаотическое изделие.

О «двойной спирали истории» ничего не знаю. История гуманитарной культуры и просто История. Не кажется ли тебе, что автор попросту обыгрывал двойное значение слова «история»? Но сравнение с двойной спиралью Уотсона и Крика не лишено остроты [...]

23.5.07

Дорогой Марк, вот я, кажется, оклемался. У нас жара (в Москве тоже), пышная зелень и цветы перед домом напоминают о том, что мы всё-таки живём на юге, хоть и по сю сторону Альп. В последнем номере «НЛО» — твой дневник за один месяц 1990 года. По какой-то причине редакция выбрала этот год, но почему бы и нет? Я эти времена, конечно, помню. Мы — я имею в виду нашу редакцию «Страна и

мир» — были в общем-то достаточно хорошо осведомлены о событиях в России, но Кронида они увлекали больше, чем меня. Он почувствовал, что близится его час, ведь он всегда осознавал себя политиком, жил политической актуальностью, и, может быть, его счастье было, что, вернувшись, он не стал или не успел стать политическим деятелем: его постигло бы тяжёлое разочарование. Вдобавок по свойствам своего характера он не годился для этой роли. (Кстати, в примечаниях к твоей публикации есть неточность: «главного редактора» в нашем журнале не было.)

К этому времени, то есть к началу 90 года, можно было уже хорошо почувствовать, что журнал в своей политико-публицистической и злободневной части стал отставать: события «там» перегоняли нас, приоритет свободной печати постепенно ускользал. Всё больше давала себя знать общая неудача нашей журнальной деятельности. Стала отчётливой и трещина, расколовшая льдину, на которой мы раскинули нашу палатку. Мы были очень разными людьми, и это не могло не сказаться на личных отношениях. Мне хотелось сделать из журнала культурный орган. Для Крониды журнал был инструментом политической борьбы. Я хотел сделать журнал современным, он — своевременным. (Его первоначальным намерением, ещё до моего приезда, было создать газету.) До поры до времени эта разница направлений шла на пользу делу: палатка растягивалась, журнал был широк и достаточно разнообразен. Кронид отвечал за политику, за правозащитное движение, я за культуру, философию и пр. У нас был специалист и по экономике, покойный Рафик Шапиро (Рафаил Бахтамов). У него был большой опыт работы в газете и, что ещё важнее, умение читать советские газеты. Это умение позволяло ему извлекать из непревзойдённо лживой прессы реальную информацию, подобно тому как из морской воды можно добыть весь спектр микроэлементов. Он был настоящим журналистом: нужна срочно статья — он садился и писал. Разумеется, вся наша работа была в общем-то коту под хвост. Но сохранялся энтузиазм. Мы ни от кого не зависели.

Кронид имел связи в Вашингтоне и добыл деньги для журнала. Мы получали зарплату и выплачивали авторам приличные гонорары. Так как у меня был опыт работы в журнале, я был нужен Крониду, придумал общую концепцию, название и структуру журнала. Мы должны были отличаться от самиздата (оставившего тяжёлое наследие) и доморощенной, дилетантской и малокультурной эмигрантской печати. И нам это, я думаю, более или менее удалось. Первые годы мы были товарищами. Но постепенно он стал мною тяготиться. В характере Крониды (которого я хорошо знал) сочетались в высшей степени

симпатичные черты с малосимпатичными. Он мог быть щедр и самоотвержен, всегда готов был помочь преследуемым и производил впечатление человека, живущего идеей. Вместе с тем он был несдержан, вспыльчив до истерических выходок, груб, злопамятен и нетерпим к любым возражениям. Тот, кто ему перечил, в его глазах был нечестным человеком. Я наблюдал это много раз. В спорах с противниками (а их было очень много, разделение на «наших людей» и «не наших людей» всегда сохраняло для него актуальность, новые знакомства обыкновенно заканчивались ссорой и разрывом навсегда) он всегда выступал в качестве осуждающей моральной инстанции. Он поразительно напоминал доктора Львова из пьесы Чехова «Иванов». Главное противоречие его личности, от которого он сам страдал, было то, что по своим убеждениям он был демократом и либералом, а по характеру — авторитарной личностью.

К 90-му году наша дружба практически прекратилась, он превратился в директора сугубо советского типа, а конец был совсем некрасивым: Кронид уехал, захватив с собой редакционную технику (в надежде продолжать журнал в Москве), а мне и секретарю Гертнеру оставил весьма значительные долги, которые нам пришлось выплачивать.

Всё это тебе, вероятно, более или менее известно, а сейчас как-то вспомнилось при чтении твоей новой Стенографии [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

24.5.07

Дорогой Гена, значит, «1990» уже есть в интернете? Если ты уже начал читать, там объясняется, почему выбран именно этот год. Как раз тогда были заложены основы почти всех будущих перемен: созданы первые кооперативные, частные предприятия, в том числе издательства, разработаны многие законы, ликвидирована однопартийность, практически отменена цензура и т.п., а главное, изменилось общество, мышление людей, даже язык. Я, понемногу читая, сознавал, как многое успел забыть. 1991-й, по сути, подвел итоги.

Не так давно я получил приглашение от журнала «Неприкосновенный запас» на презентацию тематического номера: «Régime pouceau. Россия в 1998-2006». Этот период в приглашении был назван «важнейшим этапом развития России, начало которому положил дефолт 1998 г. На рубеже 2006-2007 годов обозначились предпосылки для смещения этого периода в историческую плоскость — в

разряд завершённых феноменов». На презентацию я не пошел, но любопытно, не правда ли, по каким признакам может выделяться исторический период? [...]

Недавно я встретил Галю Салову (Любарскую), она сказала, что вышло полное издание переписки Крониды с Желудковым. Она, кстати получает пенсию и в Германии, и в России. Я упомянул про полученный тобой отказ, ей это показалось странным: в Израиле, сказала она, эмигранты продолжают получать российскую пенсию. Не знаю, так ли это [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

25.5.07

[...] Да, я знаком и с другими материалами этой рубрики «1990». Там есть интересная статья Мариэтты Чудаковой. Просмотрел я и вводную социологическую статью. На огромном циферблате истории есть тонкая, стремительно скачущая стрелка лет, есть движущаяся неторопливая стрелка потолка — она отсчитывает десятилетия. И есть третья — короткая, толстая и ленивая, почти неподвижная: похоже, что ржавый механизм едва способен сдвинуть её с места. Это стрелка веков. На взгляд вблизи кажется, что присутствуешь при исторических событиях необыкновенной важности, чётко отличаешь одно десятилетие от другого, видишь, как всё меняется. Но это иллюзия: на самом деле прыгает лишь секундомер. Две других стрелки почти не сдвигаются с места. Вдобавок я продолжаю думать, что никто так плохо не разбирается в своём времени, как именно тот, кто в нём живёт и мыкается. Он может быть тонким наблюдателем; постичь своё время ему не дано. Фраза, которую ты приводишь: «На рубеже 2006—2007 годов обозначились предпосылки для смещения этого периода в историческую плоскость — в разряд завершённых феноменов», — звучит поразительно наивно.

Но мы не можем не думать, не рассуждать о нём. Мы, как ни печально это звучит, — современники. У нас, как у жены Лота, не хватает выдержки — мы не в силах удержаться от того, чтобы не оглянуться. И не то чтобы оглядываться на век, который мы покидаем, но даже на последнее десятилетие.

То, что доносится до меня, как и то, что я читаю в статьях Дубина и Гудкова, а теперь в этой вступительной статье А. Левинсона, говорит об одном и том же. «Общественное сознание» в России, иначе говоря, психология и взгляды рядового человека, этой огромной

массы людей среднего или ниже среднего достатка и умеренного телевизионного образования, повернулось в тёмный угол, в беспросветную правизну. Уж это-то, по крайней мере, ясно. Очевидно и то, что никакие квази-просветительные меры здесь бесполезны. Можно говорить о наследии советских лет или даже о наследии столетий; ведь это всё появилось не вчера; можно вообще указать на множество обстоятельств, объясняющих мракобесный комплекс, но помочь делу никакой анализ не в состоянии: с таким положением дел приходится жить — и утешаться тем, что дела не идут ещё хуже, что правитель не поощряет экстремистские движения, а народ, подданные не жаждут кровопролития.

Переписка Крониды с Сергеем Алексеевичем Желудковым мне известна. Нечто архаическое [...]

7.6.07

Дорогой Марк, плохи наши дела, если не о чем писать. Проза, пишешь ты, зашла в тупик. Верлибры — способ перевести стрелку. Тогда состав сможет двинуться дальше. В последние месяцы моего потустороннего существования я был «комендантом станции», последней остановки лагерной железнодорожной ветки, в нескольких километрах от нашего, самого северного лагпункта. Станция называлась Поеж, с ударением на первом слоге. Титул коменданта носил бесконвойный рабочий, в чьи обязанности входило заготавливать дрова и топить печи в помещениях станции, чистить крыльцо, выдавать машинистам керосин, добывая его из железной бочки известным способом — с помощью шланга, один конец которого погружается в бочку, а другой берут в рот, насыщая керосин, сплевывают (Мандельштам прав — керосин имеет сладковатый вкус) и опускали шланг в канистру; наконец, нужно было расчищать пути от снега и заправлять керосином, чистить и переводить стрелки. Собственно, там я и узнал, как функционирует железнодорожная стрелка [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

7.6.07

Знаешь, дорогой Гена, когда-то летописцы пропускали в своих хрониках год: ни войн, ни мора, не о чем писать. Разве не прекрасно? Дела ничуть не плохи [...]

18.6.07

[...] Вот уже и половина года прошла, через три дня — solstitium, летнее солнцестояние. Несёмся вперёд, как в чёрный туннель. Что у тебя нового, собираешься ли куда-нибудь на лето? Возобновил ли ты свои взаимоотношения со старой супружницей — прозой. (Поэзия — любовница, Seitensprung.)

Лора снова проходит курс химиотерапии, на сей раз очень длительный. Как туча, всё это висит над нами.

Я занимался эти недели рассказом о сектантах; кроме того, были проездом гости — Юз и Ира Алешковские. Рассказ я закончил предварительно, он довольно рискованный, боюсь даже, что сбивается на бульварщину. Пожалуй, и некому его предлагать. Хорошо бы теперь взяться за ещё одну брошенную на полдороге работу.

Was sonst?¹ Мне позвонили наши литературные дамы, завтра должно состояться очередное вещание. Тема — о литературных словарях, пример — вышедший недавно двухтомный Путеводитель по современной русской литературе Сергея Чуприна. (Если вообще есть смысл обсуждать его.) Не помню, писал ли я тебе об этой книге.

Я всегда с интересом читал разные словари. И вот я стал думать — надо же будет что-то сказать, — как бы я поступил, если бы мне пришлось самому составлять литературный справочник, лексикон, энциклопедию, что-нибудь в этом роде. Определил бы прежде всего эпоху, временные рамки. Допустим, это будет современная русская литература. Наметил бы жанр: словарь-справочник писателей, словарь произведений, энциклопедический словарь (статьи об авторах и тематические статьи).

Далее встаёт вопрос отбора. Очевидно, что задача лексикографа тем сложнее, чем ближе он подходит к сегодняшнему дню. Ибо он вынужден иметь дело с неустоявшейся иерархией. Вдобавок нам твердят, что все традиционные критерии устарели. Всё условно. (Словарь Чуприна переполнен всяческим барахлом. Его критерий — «несомненное присутствие в литературном процессе и на рынке». Божий дар и яичница — всё вместе. Теоретические — или псевдотеоретические — статьи часто беспомощны.)

Ясно, однако, что всякая культура иерархизована. Иерархия — это, собственно, принцип культуры.

¹ Что еще? (нем.)

Литература прошлого — парк с клумбами, расчищенными дорожками, с обдуманном чередовании роц и полян, с указателями, скамейками для отдыха. Литература современности — лес. Овраги, топь, колючий кустарник. Поди разберись. Привычное представление о том, что великая литература — в прошлом, есть результат отбора. Подлесок, бурьян удалены. Иерархия функционирует как безжалостный механизм отбора. О плохих писателях знают только специалисты. Кое-что даже выполото (забыто) несправедливо.

Мы сами не замечаем что находимся в двойной иерархической системе — навязанной нам школой, воспитанием, общепринятыми установками, и нашей собственной — личными вкусами, предпочтениями, предрассудками, опытом жизни и опытом чтения). Я когда-то давно заметил, что наши литературные симпатии бессознательно, может быть, связаны с тем, что мы угадываем в писателе «родственную душу» [...]

30.6.07

[...] Я распечатал и прочёл верлибр — маленькую поэму, а потом перечитал статью Бориса Дубина «Пессоа = персoна. Поэт как семейство персонажей» (в книге «На полях письма»), и, хотя статья написана десять лет назад, она показалась мне комментарием к «Поэтам Фернандо Пессоа».

Верлибр замечательный и, как всегда у тебя, полон явных, полувяных и скрытых мыслей. Мне показалось, что одна из них, может быть, самая важная, — самоотчуждение писателя как неперемное условие творчества. В случае с португальцем, каким он оказывается у тебя (а может быть, и был таким на самом деле), оно, это самоотчуждение, доходит, по-видимому, до крайности: это уже не только лирико-литературные маски, но и расщепление собственной личности, потеря личности, то есть нечто выходящее за пределы высокой литературной игры [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

1.7.07

[...] Сейчас я читаю книгу С. Лема «Библиотека XXI века» — знаешь ли ты ее? Это сборник *рецензий на несуществующие книги*. Замечательный жанр, дающий разнообразные возможности. Ему отдавал дань Борхес, но Лем сделал целую замечательную книгу. О состоя-

нии культуры, цивилизации, о проблемах, которые мы с тобой обсуждали всерьез, он пишет с блистательным юмором — нелишне напомнить себе, что еще лет тридцать назад, когда создавались эти тексты, многое было уже общим местом. Я подумывал о возможности написать что-нибудь в этом жанре. У тебя это наверняка бы получилось [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

2.7.07

[...] С рецензиями Лема на несуществующие книги я немного знаком: когда-то с удовольствием читал то немногое в этом им придуманном жанре, что печаталось в СССР. Но о том, что вышла целая книга, слышу впервые. Как бы её достать хотя бы на время? [...]

Я закончил статью, о которой писал тебе прошлый раз, — собственно, не статью, а хрен знает что: какая-то сборная солянка. Называется «Родники одиночества». Там использованы некоторые старые тексты и записи. Скверный признак — когда скребут по закромам [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

13.7.07

[...] Присланный тобой текст — эссеистика высочайшей пробы. Самыми интересными для меня были фрагменты о Чеславе Ожеховском, маме, (я опять пожалел, что ты редко отвлекаешься на воспоминания). Почти все остальное мне показалось знакомо: Флобер, Джойс и Солженицын, Барт, Музиль, Кафка, Беньямин, Достоевский, Толстой, Барт, Борхес, Париж и пр. Сокращения и переделки можно оценить, держа перед собой старые тексты, (некоторые остались у меня в компьютере) — но незачем. Это скорее сборник эссе, объединенных сквозной темой; их, думается, лучше не нумеровать, как главки, а печатать под самостоятельными заголовками. И конечно, в книге — предлагать их журналам попросту невозможно: тебя достаточно знают, чтобы узнать уже публиковавшееся.

Кстати, я недавно просматривал старые номера «Страны и мира» и наткнулся на «Лео Блума и Саню Лаженицына». Должен признаться, что «Улисса» я, увы, так и не прочел подряд, от начала до конца, но время от времени, по рабочей надобности, заглядывал в разные главы. Не знаю, читает ли его сейчас кто-нибудь, кроме исследователей и писателей — как и «Колеса» [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

14.7.07

Дорогой Марк, спасибо за лестную оценку. Это как-то очень ободряет. Конечно, ты прав, посылать это в какой-нибудь журнал нет смысла. Да у меня и нет никаких конкретных планов. Может быть, я ещё к этим «Родникам» когда-нибудь вернусь.

Вдруг наступила жарища. Завтра будет 35 градусов [...]

Об «Улиссе» я могу сказать то же, что и ты: я не читаю его (и комментарии) подряд, а лишь отдельные главы, возвращаясь к прочитанному, и тоже большей частью «по рабочей надобности», вернее, для того, чтобы как-то подбодриться, уверовать в смысл собственной работы. Это, действительно, писатель главным образом для писателей, что, конечно, отнюдь не унижает великую книгу [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

20.7.07

[...] Я, наконец, получил свою книгу. Она красиво издана, с Галинными рисунками. Увы, авторская радость оказалась омрачена страным недоразумением. Я был весьма доволен исправлениями и особенно сокращениями, которые сделал в верстке, редактор уверяет, что все они были внесены в компьютер — в книге верстка оказалась воспроизведена в неуправленном виде, со всеми опечатками. Редактор теряется в догадках. («Хотя в компьютере бывают всякие вещи, Вы сами об этом пишете в «Приближении».) Галя сейчас читает, ей все нравится, но я читать не смог. Кажется, что все будут замечать именно то, что я хотел убрать или изменить. Например, замеченную тобой когда-то неточность в переводе из Музиля: «баллон» вместо «футбольный мяч», который он хочет зашнуровать. Я ведь исправил [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

21.7.07

[...] То, о чём ты пишешь, неучтённые поправки автора в твоей книге, мне, увы, знакомо и очень понятно. Общая причина — пренебрежение к писателю, к его труду. Эти люди — разумею редакторов, издателей и т.п. — усвоили начальственное отношение к авторам, похожее на отношение грубого хозяина к своему домашнему скоту. Исключо-

чение составляют лишь особо удачные, то есть коммерчески очень выгодные литераторы в генеральских погонах, тут тон совершенно другой. Вообще о вежливости, внимательности и такте в России вспоминают только тогда, когда чувствуют свою зависимость от тебя.

Германию (точнее, Пруссию) когда-то называли *Obrigkeitsstaat*¹. Вот это то самое.

Утешением (если вернуться к твоей книге) может служить то, что читатель ничего не знает об авторских поправках и улучшениях [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

25.7.07

Дорогой Гена, вчера я отправил тебе свою книгу. Дай знать, когда получишь. Отправил я ее из бывшего Главпочтамта на Мясницкой (в основном здании сейчас Товарная биржа), по пути в знакомый тебе Кривоколенный переулок, в клуб-кафе «Билингва», где проходил вечер памяти Пригова — отмечались его девятины. С экрана он читал много стихов, демонстрировались и комментировались слайды с его изобразительными работами, видеофильмы, выступавшие называли его великим поэтом, явлением культуры европейского масштаба. Я кое-что воспринял по-новому или впервые. Пригов сам немало теоретизировал. Меня заинтересовала, среди прочего, его публикация десятилетней давности в «НЛО», где он размышлял о том, что произошло с русской культурой после Октября. Перескажу схематично, своими словами. Он находил в происшедшем аналогию с закатом античной, греко-римской культуры. Последние ее носители доживали свой век среди варваров, угасал великий, утонченный язык, исчезали традиции, (и забывались, добавлю от себя, боги). То, что приходило ей на смену, казалось вульгарным, примитивным, грубым — но развитие продолжалось, уже другое. Возможно, и нашей, прежней, предстоит Возрождение. (Не совсем понятно, впрочем, к России ли только это относится.) [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

25.7.07

Дорогой Марк, спасибо, буду ждать твою книгу. С бывшим Почтамтом на Мясницкой, тогдашней улице Кирова, связаны у меня воспоминания и о детстве, и ещё больше о весне 45 года, времени во всех отношени-

¹ начальственное государство, государство начальств (нем.)

ях забываемом, когда я работал там рабочим-сортировщиком, правда, не на основном почтамте для публики, а на газетно-журнальном, который помещался в задней части здания и был соединён с двором; оттуда крытые фургоны развозили мешки и пачки с центральными газетами и журналами по вокзалам [...]

О смерти Пригова узнал только что из твоего письма. Мне удалось найти в интернете статью Пригова в НЛЮ, 1998, № 34. Но, возможно, ты имел в виду какую-то другую публикацию. Как бы то ни было, аналогия с концом античной цивилизации достаточно банальна. Мне приходилось время от времени читать или просматривать статьи Пригова. Вот цитата из одного выступления:

«То, что нынче покрывается одним определением “литература”, является весьма разнородными продуктами, порой разительно отличаясь друг от друга и не попадая в общие рамки. Примером, кстати, может служить структурирование музыкального пространства, которое, отказавшись от традиционного аристократического вертикального построения литературы, объявило номинационную систему, противостоящую амбициям рынка поглотить все соответственно своей позиции власти. И, соответственно, наличествуют номинации: лучший певец кантри, лучший певец рэпа, лучший саунд, лучший классический музыкант и т.д., когда Баренбойм не соревнуется с Майклом Джексонном. Невозможно быть лучшим вообще, но лучшим в своей номинации. И в каждой свои деньги, свои идеалы и критерии успеха».

Или ещё:

«Думается, ситуация рынка распределила приоритеты в современном мире по-иному. Ну, переведут вас. Ну, издадут. А дальше что? Ну, конечно, деньги заплатят, что немаловажно. (Нет, я, конечно, не лицемер и не брюзга какой-нибудь. Но все-таки, все-таки я не об этом! Я о другом. И вы меня понимаете. Не понимаете? Понимаете, понимаете!) Когда в начале века, а, вернее, после Первой мировой войны, аристократический тип правления тотально сменился властью рынка и эгалитарных форм народного представительства, литература, как это с ужасом обнаружили мыслители типа Ортеги-и-Гассета, оказалась в незавидном положении. Я говорю о литературе высокой и радикальной. В отличие от изобразительного искусства, производящего единичные объекты, литература и литератор могут существовать только тиражами. И, естественно, гораздо легче отыскать 5, 6, 7, ну, 10—20 ценителей и покупателей неординарного и оригинального визуального объекта, чем отыскать миллион изысканных и продвинутых читателей, де-

лающих литературную деятельность подобного рода в пределах рынка рентабельной. Изобразительное же искусство дошло до того, что сподобилось продавать и музеефицировать поведенческие проекты, артистические жесты, перформансы, акты, оторвав автора от текста и весьма дискредитировав самооценку любого текста (и визуального, и вербального, и поведенческого) и его онтологические претензии. И если наиболее радикальные деятели изобразительного искусства последних лет с их неординарными произведениями могут найти себе покупателя, иметь дело с высокими рыночными ценами, быть на рынке активными агентами и престижными личностями в пределах как авангардного искусства, так и широкой культуры, то подобного же рода литераторы, производящие подобного же рода неординарные произведения, вряд ли могут рассчитывать на сколько-нибудь окупаемые тиражи и довольствуются грантами, стипендиями, то есть оказываются на открытом рыночном пространстве маргиналами и паразитами. У них остается, конечно, возможность академической карьеры, однако связанной с их творческой деятельностью лишь косвенно. Ну, естественно, всегда существует возможность написания всяческого рода масс-литературы и бестселлеров. Но мы не об этом. Что же, вполне возможно, что нынешний (в смысле, совсем недавний) вариант высокой литературы, родившийся в определенное время и честно свое отслуживший, так и остался в своем времени, как уже некогда случилось с мифами и эпосами. Тем более что множество литератур и литературных языков, даже и в Европе, возникли буквально недавно, в конце XIX — начале XX веков. Ситуацию не стоит драматизировать, но следует лишь понять и принять. Все некогда актуальные и радикальные художественные практики со временем становятся художественным промыслом и фолк-искусством, в коем качестве могут существовать почти до бесконечности. Я понимаю, что многие принципиально и целиком не согласятся с подобной картиной. Да я и сам, скорее, соглашусь с ними, чем с самим собой. Таким вот самим собой. Но все-таки».

Здесь всё очень характерно: и образ мыслей, и претенциозность, с которой декларируются общие места, и смехотворный язык, то псевдоучёный, то кухонный. Спорить здесь невозможно, потому что на свой лад, в системе его представлений и в границах его кругозора автор прав. А если выходить за эти границы, окажется, что нет общего языка. Вдобавок всё известное мне теоретизирование имеет вполне ясную цель — защитить собственное (невероятно обильное) творчество. Но это бывает часто и со многими.

Я не был знаком с Д.А. Приговым, лишь присутствовал дважды на его эстрадных выступлениях. Это было непрерывное позёрство. В своём роде была довольно колоритная фигура. Что касается его поэзии, то я никогда не мог уловить границу, отделяющую его литературные упражнения от жульничества. Фантомный поэт. Царство ему небесное.

У меня ничего нового, ездим к врачу. Вечерами я долго сижу, бо-язнь не заснуть, если лягу. Между прочим, листал и перечитывал на этих днях «Подённые записи» Давида Самойлова, о котором ты когда-то так хорошо написал. Я ненамного моложе его — а какая пропасть нас разделяет [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

8.8.07

Получил «Вторую навигацию» — спасибо [...] Моя книга, хоть и была отправлена тебе раньше, все еще идет — видимо, против течения. Позавчера я просматривал верстку другой своей книги, «Ловец облаков». Все рассказы этого сборника тебе известны, кроме заглавного; он обещан в восьмом номере «Знамени», возможно, уже есть в интернете [...]

Так что, завершая седьмой десяток, не буду жаловаться на продуктивность, (хотя с твоей мне, конечно, не сравниться). Как-то я подсчитал объем опубликованного — раза в два, наверно, больше, чем у Гоголя. Смешно говорить о количестве. На обложке одного стихотворного сборника значилось, что это уже девятнадцатая книга автора. Сколько их было у Мандельштама?

Когда моя книга все-таки (надеюсь) дойдет до тебя, ты будешь знать практически все, что я написал, не считая только названного рассказа, сказочной повести «Учитель вранья», да некоторых стихов и эссе. Если вдруг ничего больше не напишу, можно будет делать обобщения. Но пока еще поживем, не правда ли? [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

18.8.07

[...] Сегодня 25 лет со дня, когда мы покинули Россию. Этому предшествовали дни, о которых я и сейчас вспоминаю с ужасом, с отращением. Пришлось всю жизнь, начиная с быта, с жилья, со всевозможных мелочей и до всеобщего, не сразу сознаваемого, трудно опре-

делимого, — сломать и создавать заново. При том, что я не чувствовал себя вполне чуждым в другом языке и культуре, — это был, тем не менее, совершенно иной мир, чуть ли не другая планета. Последние минуты в аэропорту, когда за барьером маленькая кучка провожающих махала руками, и я видел, как Володя Лихтерман плакал, и затем отвратительные таможенные кагебешники, обыск с раздеванием догола, последняя возможность поиздеваться; в самолёте, где я сидел, держа на коленях пишущую машинку, в своё время отвоёванную у прокуратуры и которую почему-то пропустили, был всё ещё русский персонал, всё ещё омерзительный Советский Союз, и среди чиновных пассажиров мы были, кажется, единственными изменниками этой собачьей родины; и, только выйдя из самолета в солнечный день, в спокойный и равнодушный мир, где никто ничего не проверял, не рылся в твоих карманах, вещах и бумагах, не толкал тебя, не ругался матом, где никто ни за кем не следил и никто тобою не интересовался, где шла своя жизнь, — только тогда почувствовалось, что мы на свободе и никогда больше не вернёмся, — и какое-то сиротское чувство одиночества в безбрежном мире. Чувство, немного похожее на то, которое было, когда весной 55 года я вышел за ворота зоны с чемоданом, где лежали мои книги, и один, без конвоя двинулся на станцию, конечную северную остановку лагерной ветки.

Вчера к большой радости и как будто специально по случаю четвертьвекового юбилея, почтальон принёс твою книгу. Вечером, когда все улеглись (у нас гостит сын с семейством, дома у нас тоже дела неважные), я стал читать наугад повесть «Дух Пушкина» из цикла, давшего название всей книге (хорошее, ёмкое и непретенциозное название), читал до тех пор, пока не стали слипаться глаза. Прекрасная книга с обдуманно составленным, разнообразным, но не нарушающим целостность тома содержанием (кое-что мне известно), и притом хорошо изданная, со вкусом выполненный переплёт, — поздравь Галю, — настоящая белая бумага, чёткий шрифт. Издательство, которого можно не стыдиться. Сердечно поздравляю тебя, дорогой Марк. Будем потихоньку читать дальше [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

19.8.07

Рад, что книга почти за месяц, но все-таки дошла, дорогой Гена. Никогда нет уверенности. Еще одно подтверждение, что на твоей «собачьей родине» слишком многое не изменилось. Сплошь и рядом напоминания об этом — иной раз до тошноты. Когда ты уезжал, я был в

Эстонии, ты прощался по телефону с Галей. Недавно я заглядывал в твои письма, ты не раз там возвращался к подробностям отъезда: как доехали из Вены в Зальцбург, как там вас встретили Войнович с женой, довели до деревушки на баварской границе. Твои письма читаются, как первоклассная эссеистика, не сомневаюсь, что их когда-нибудь напечатают.

Я понемногу углубляюсь в работу, поэтому новостей никаких. Известное тебе состояние перманентного тупика, сомнений: получится ли вообще? Одно из достижений возраста: можешь вспомнить, что так бывало уже не раз [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

29.8.07

[...] Я читаю твою книгу, но медленно, обычно вечерами, когда все укладываются, и уже через полчаса у меня самого начинает путаться в голове. Спать я не ложусь, так боюсь не уснуть быстро и, как говорит Лора, «изваляться», но и делать больше ничего не могу. Сперва я прочёл небольшую повесть или рассказ «Дух Пушкина», название, которое расшифровывается только ближе к концу. Вещь мне понравилась, оказалась неожиданной, как-то даже не совсем характерной для тебя, и то, что там есть, по моему впечатлению, сюжетные параллели с Трифоновым, отнюдь не снижает её качества. Затем взялся за «Проект “Одиночество”» — отрывок был когда-то напечатан в «Заруб. Записках», теперь весь роман предстал целиком — я не успел ещё полностью в него войти.

Мне сейчас пришло в голову, что я бессознательно выбрал для чтения именно этот роман по ассоциации со своим сочинением, которое носит (случайно) почти то же название, «Родники одиночества», и к которому я возвращаюсь урывками то и дело. По сравнению с тем, что я тебе присылал, текст несколько увеличился: эта рыхлая вещь, при всём моём старании быть лаконичным, имеет тенденцию разбухать. Всё же я думаю, что она должна была стать именно тем, чем стала: лоскутным одеялом или подобием яичницы с растёкшимися желтками. О том, чтобы её напечатать, очевидно, не может быть и речи: её никто не возьмёт.

Не помню, была ли в том варианте, который я тебе посылал, главка о Мопассане. (Я искал его надгробье на кладбище Монпарнас и не мог найти. Увидел какого-то парня, который сидел на земле и подновлял кисточкой золотые буквы на чьём-то камне. А, сказал он, пойдёмте, покажу. Но и сам нашёл тоже не сразу.) [...]

Твоя проза снова заставила меня задуматься. Наши темы то и дело пересекаются, даже ключевые слова порой одни и те же, одиночество как условие творчества — только один пример. И в то же время — совершенно разная манера, разная оптика.

Я бы сравнил чтение твоих вещей — «Одиночество» в этом смысле очень характерно — с прокладыванием дороги в лесу, где всё свободное пространство между стволами деревьев заросло кустарником и мелколесьем. Через такую прозу нужно продираться. Это проза, требующая значительного встречного усилия, современная проза сложного зрения, где внешняя и чаще всего обыденная ситуация отнюдь не описывается, но скорее угадывается за густой пеленой текучих мыслей, ощущений, впечатлений, подчас искажённых, — в итоге создаётся картина жизни настолько же реальной, насколько и созданной воображением главного героя. Границы, водораздел между «объективным» и «субъективным» нет, это просто одно и то же, отчего такую прозу можно с одинаковым правом называть и реалистической в общепринятом смысле, и какой-то, не знаю уж, метареалистической, что ли.

Особенность твоей манеры, как мне кажется, и в том, что ты взглядываешься в материал жизни чрезвычайно пристально, глаз то и дело задерживается на мелочах, на случайных прохожих, на мелочах уличного или домашнего обихода, поначалу вроде бы несущественных, на которые и не стоит обращать внимание, но в которых начинает мало-помалу проглядывать умысел, сквозить что-то загадочно-символическое. Рискованная манера, что и говорить, с опасностью наскучить, вызвать упрёк в излишнем многословии, но, как потом становится ясно, необходимая, ибо она входит в задание. Не знаю, можешь ли ты согласиться с такой беглой оценкой. Будем читать дальше [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

12.9.07

[...] Твое суждение о моих текстах кажется мне слишком обобщенным, все они разные. «Как хороши...» вполне традиционная, довольно понятная вещь, «Путь к жизни», если ты в него заглянешь, требует совсем другой настройки. На «Конвейере» после «Приближения» можно просто отдыхать. При этом именно собранные вместе, эти тексты образуют некое объемное единство. Можно лишь надеяться на

читателя твоего уровня, у которого появится готовность, а главное, потребность перечитать все еще раз. Когда-то это казалось делом естественным, от нынешних критиков этого вряд ли дождешься.

Вчера в метро я прочел рекламу какой-то книжки: «В отстой развлеченья минувшего века. Прикольная книга спасет человека» [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

12.9.07

[...] Я, конечно, написал о твоих новых вещах мало и довольно абстрактно, преимущественно под впечатлением «Проекта “Одиночество”». Но у нас ещё будет случай вернуться к твоей новой книге [...] Не думаю, чтобы критики, по крайней мере, те, о ком я могу судить по их работам, были в восторге от этой книги, да и мало надежды на то, что кто-нибудь вообще откликнется. Твоя проза для них слишком сложна [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

13.10.07

Дорогой Гена, вчера вернулись из Черногории. Жили в доме нашей младшей дочки, потом приехала и она с семьей. Незнакомое прежде чувство хозяина: никому не платишь, срезаешь к обеду гроздья винограда прямо над головой. Мандарины к нашему отъезду еще не созрели, инжир отошел раньше. К морю спускаться метров 80, столько же вверх до магазина. Так и прожили четыре недели, плавали каждый день. Под конец дети немного покатали нас по стране на машине. Галя неплохо работала, я делал разные заметки. Подумал, что можно бы весной приехать сюда с ноутбуком, поработать по-настоящему. Посмотрим.

Для чтения взял с собой, среди прочего, два номера «Знамени», 5-й и 7-й. Читал ли ты в 7-м номере записи тарусского врача Максима Осипова «Об отце Илье», православном священнике Илье Шмаине, и знакомо ли тебе это имя? Шмаин был одним из участников кружка, собиравшегося у Кузьмы (известного тебе Анатолия Бахтырева), в 1948 году получил восемь лет, в 1954-м освобожден, закончил мехмат МГУ, работал в ВИНТИ (возможно, с Гришей Померанцем), принял крещение, эмигрировал в Израиль, потом во Францию, в 1997 году стал священником в России, умер в 2004 г. Прости, если пересказываю, возможно, хорошо тебе известное. Осипов много цитирует этого необычайно интересного человека, и сам автор, врач-кардиолог, видимо, вы-

сокого уровня, весьма интересен. Он кандидат наук, работал в научно-исследовательских и учебных медицинских институтах, в Калифорнийском университете, но последние два года предпочитает практику провинциального врача. По совпадению, в 5-м номере его же заметки о жизни в нынешней провинции, о современной медицине («В родном краю»). Если есть в интернете, посмотри, тебе это будет интересно.

Как дела у тебя и Лоры? Напиши [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

13.10.07

Дорогой Марк, вот ты, наконец, и вернулся. Я соскучился по твоим письмам. Вот уж никогда не думал, что можно жить в Черногории, на берегу Адриатики, в собственном или почти собственном поместье. Завидую тебе.

Об Илье Шмаине я, конечно, знаю давно, и не только из книги Гриши. Знаю, что семья покинула Израиль и сколько-то времени прожила под Парижем, где тоже не обрели покоя и счастья. Одно время я переписывался с дочерью Ильи Анной Шмаиной-Великановой, получал от неё интересные, талантливые письма, как-то раз опубликовал в журнале «Страна и мир» её восторженную статью по поводу только что вышедшего тогда в России романа «Доктор Живаго». Наконец, они вернулись в Москву. Однажды я побывал в гостях у Ольги Седаковой в Москве (они подруги), забежала вечно куда-то спешащая, обременённая религиозно-благотворительными обязанностями Аня. Я неосторожно спросил, как поживает её младшая сестра, страдавшая клиническими депрессиями. Ответа не последовало. Оказалось, сестра выбросилась из окна. Позже, во Франкфурте, Оля Седакова рассказывала мне о несчастьях, которые преследовали эту семью: в Москве не было собственного жилья, скитались по друзьям и знакомым, растеряли имущество [...]

Моя жизнь сосредоточена главным образом на больнице, где Лора находится уже третью неделю. Вероятно, выпишется в понедельник или вторник, но очень слаба, сильная одышка и другие тяготы. Причина — по-видимому, всё ещё дающие себя знать последствия химиотерапии, особенно тяжёлые после последнего курса, Дело дошло до того, что пришлось ночью срочно ехать в больницу в Гарлахинге, где Лора уже бывала. Это довольно далёкий от нас район Мюнхена.

Я занимаюсь отрывками литературой, что же ещё остаётся [...] Трудно сосредоточиться. Дела в общем-то скверные [...]

Ты спрашиваешь, дорогой Гена, как я существую? Как обычно: читаю, пишу, думаю, гуляю по лесу. Чего еще можно желать? Грех жаловаться (если здоровье, конечно, не донимает). Ездить куда не хочется. Пришло по электронной почте приглашение на выставку художника Любарова, с несколькими репродукциями в приложении. Постоянные герои его разных серий, деревенские жители, мужички в телогрейках, дородные бабы в белых бюстгалтерах в этой серии занимаются спортом, играют в футбол (женщины), прыгают в воду и т.п. Симпатично, забавно. Я подумал, что ты Любарова можешь знать, он был художником журнала «Химия и жизнь», было бы, что тебе рассказать. Но показалось, что репродукций вполне достаточно, поленился поехать.

Блюменкранц прислал свою статью «Между добром и свободой», возможно, ты ее знаешь. Приводятся данные телевизионного опроса: для большинства богатство теперь значит больше нравственных ценностей. Обменялись с ним мнениями по этому поводу.

Я как-то просматривал свои записи о современной ситуации: суждения, которые недавно казались новыми, оригинальными, со временем оказываются общими местами. Вдруг обнаруживаешь, что другие говорят примерно то же. Неповторимым может оказаться художественный образ.

Не знаю, расположен ли ты сейчас к чтению — но вот тебе последний верлибр.

Ангел теряет форму, давно ему не с кем бороться.
Слегка пополнил, облысел, крылья трачены молюю.
(Кто-то сказал бы: временем, но его для ангелов нет).
В кафе «У Иакова» под стеклом показывают перо,
Найденное при раскопках — сохранилось на удивленье.
У игровых автоматов азарт: новинка «Борьба с неизвестным».
До приза никак не добраться. Победа, кажется, близко —
Опять game is over. И приз остается загадкой. Знать бы приемы.
Приходится пробовать снова. Зато выброс адреналина!
(И доход заведением). В задней комнате полусумрак.
Запыленные переплеты на полках — собрание старинных снов.
Дым сладкого курева в воздухе загустевает, обещая видения.
В этих местах они, говорят, непростые, здесь проходит разлом,
Геологический и духовный, что-то вдруг может открыться.

Ангел принохивается, вдыхает. Виденья даются каждому
По способностям, по готовности к встрече, к прорыву
За доступный предел.
Но как же сладко растечься!
[...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

3.11.07

[...] Я знал Володю Любарова довольно близко, мы работали вместе, он числился в журнале главным художником, но собственных работ, насколько помню, в «Химии и Жизни» не помещал. Много позже я встретился с ним во Франкфурте. Он приобрёл древнерусскую внешность и подарил мне свой альбом на темы, о которых ты упомянул. Сейчас он — преуспевающий художник.

Просмотрел я (частью прочёл) по твоему совету и воспоминания М. Осипова в «Знамени» № 7 об отце Илье Шмаине, о котором когда-то впервые я узнал из «Снов земли» Гриши, — но в те поры Ильи Шмаин ещё не был «отцом». Бесспорно, это был замечательный и, видимо, очень симпатичный человек. Его краткое жизнеописание, помещённое редакцией, стилизовано. В Париже, если судить по очень сдержанным письмам Анны Шмаиной-Великановой, они сперва подружились с Никитой Струве, а затем почувствовался антисемитизм Струве и его окружения (нисколько не удивительный).

Я обратил внимание на одно место в воспоминаниях Осипова: «Говорили про “Доктора Фаустуса”. О[тец] И[лия] сказал, что медицина там — лишнее, не пропущена через сознание автора и его героев, не то что в “Волшебной горе”».

Конечно, это нелепое заявление сделано мимоходом, случайно. Всё же мне показалось, что оно, быть может, — пример того, как конфессиональная религиозность искажает восприятие литературы. Нечто подобное происходило с Гришей Померанцем под влиянием Зины, хотя оба с ортодоксальной точки зрения — отчасти еретики. Но религия, особенно православная и, конечно, католичество, — в самом деле противник духовной свободы, старый, упорный противник, и не может не относиться с подозрением ко всякой независимости искусства. В былые времена я спорил об этом с Гришей.

Твой верлибр мне понравился. Таинственное стихотворение. Ангел сделался сюжетом для кича, сам изрядно обрюзг, но в подтексте скрыта, как мне кажется, мысль о брезжущей новой роли или, если угодно, функции ангела в нынешнем мире. (Собственно, ἀγγελος означает по-гречески «вестник».) Конечно, я вспомнил про «нового ангела» Клее, каким его увидел Бенъямин [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

6.11.07

[...] Верлибр про ангела был уже почти оформлен, когда мне вспомнилось строки Пастернака / Рильке: «Так ангел Ветхого Завета / Нашел соперника под стать». Вот с кем тут действительно переключка. Я который раз перечел «Созерцание» параллельно по-русски и по-немецки. Тут какое-то чудо: предельная, без потерь, хотя не буквальная точность — и при этом больше, чем перевод. Перевод местами казался мне гениальней подлинника — но, конечно, просто потому, что русский язык я чувствую лучше, чем немецкий [...]

В рецензиях на новые книги я стал встречать термин «поколенческая литература». Что это такое? С одной стороны, все написанное неизбежно отмечено печатью времени, возраста писавшего. Но означает ли это ориентацию на круг, близкий по возрасту? «Степной волк» был написан уже немолодым человеком, но много лет спустя стал культовой книгой молодежи. А «Мастер и Маргарита»? Ну, и на себя поневоле оглядываешься [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

7.11.07

[...] Как-то так получилось, что Рильке я читал (сравнительно немного и прежде всего то, что люблю) только по-немецки. У меня есть некоторое предубеждение против переводов Пастернака, правда, это больше касается «Фауста». Но всё-таки сообщи мне, как называется в оригинале стихотворение об «ангеле Ветхого Завета», о котором ты упомянул [...]

Меня тоже ставит в тупик выражение «поколенческая литература». О своём возрасте ещё можно сказать: принадлежишь к такому-то поколению. Но к какому поколению в литературе принадлежат, к примеру, такие авторы, как М. Харитонов и Б. Хазанов? «Ориентация на круг, близкий по возрасту»? Но я вообще не знаю, на кого я ориентируюсь, и подозреваю, что я не один такой. Не говоря уже о том, что из жизни и событий в России я выключен [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

17.11.07

[...] Газета «Еврейское слово» напечатала статью о тебе Вадима Фадына «Время короля» (как можно понять, перепечатка из «Русской

Германии», я только слышал об этой газете). Цитируется Александр Мильштейн, назвавший тебя «живым классиком». На иллюстрации обложки твоих книг, две из них я не видел [...]

У нас уже снег, возможно, пойду сегодня на лыжах. Вчера мы с братом и женами ездили на Востряковское кладбище: годовщина маминой смерти. Потом посидели, помянули ее. А вечером поехали в ресторан Дома журналистов на 70-летний юбилей нашего давнего товарища, ученого-кристаллографа. Среди знакомых был поэт Олег Чухонцев, мы заговорили о том, что нам сейчас туго пишется. Он сказал, что даже от больших поэтов остается совсем немного, из многотомного Блока, например, можно по большому счету отобрать тонкую книжку. Нынешние многопишущие поэты производят, по его словам, клоны. Но чтобы было из чего отобрать, надо писать.

Еще от одной знакомой узнал, что Фазиль в прошлом году крестился, она была его крестной матерью. Он чувствует себя сейчас лучше, гуляет. Я звонил ему в марте — поздравить с днем рождения, говорил с Тоней, он не мог подойти [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

18.11.07

[...] О газете «Еврейское слово» я слышу впервые. Разыскал её в интернете, но никакой статьи Фадины не нашёл: какой это номер? Может быть, просто перешлёшь мне её? Всё-таки любопытно.

Что касается «живого классика»... Mein Gott! Сколько мы видели таких классиков, которые не пережили даже самих себя.

С Вадимом Фадиным и его женой Анной я знаком довольно давно. Они живут в Берлине, однажды я был у них в гостях. Он поэт и прозаик, в прошлом авиационный специалист. Обыкновенно мы встречаемся на собраниях ПЕН-клуба в разных местах — в Германии, в Чехии. Но на последнюю конференцию, месяц тому назад, я не смог поехать.

Слова Чухонцева о Блоке примечательны. Похоже, что этот абсурдный вердикт выражает взгляд целого поколения. Когда-то Ходасевич говорил о поколении, которое не слышит Пушкина. Сейчас наступило время глухоты к Блоку. Слово его слушают сквозь вату. Это называется «по большому счёту». Гнусное время. И ведь признаётся в этой глухоте серьёзный, известный поэт, по мнению некоторых — лучший из ныне живущих. Но есть ещё более разительный пример:

Иосиф Бродский. Там, правда, прохладное отношение к Блоку было, по-моему, объяснимо. Бродский был первым среди великих поэтов в России, кто не был лириком [...]

Гнилое поветрие крещений — с седой бородой. Теперь Фазиль?

Ты спрашиваешь, как я живу. Плохо, брат. Мучительные ночи, одышка, боли, резкое похудание: болезнь Лоры прогрессирует, и возможности сопротивления, похоже, близки к тому, чтобы иссякнуть [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

19.11.07

[...] Суждение Чухонцева относилось не только к Блоку. И у Тютчева, и у Лермонтова, и у Ходасевича, и у Пастернака вершинных достижений меньше, чем написанного. Я с ним согласен. Отбор — это уже дело вкуса.

Небольшую статью Фадина я могу выборочно процитировать. (№ 42 от 14.11. А ты можешь найти газету «Русская Германия»?)

«Замечательный писатель Борис Хазанов долгое время был больше известен за рубежом, чем в России. Еще в середине 70-х годов эмигрантский журнал «Время и Мы» напечатал его повесть «Час короля». В Москве же произведения Хазанова распространялись лишь в самиздате».

Затем в двух абзацах пересказываются факты биографии — ты ее и так знаешь. И дальше: «Александр Мильштейн, называя Хазанова живым классиком, пишет: «Повесть «Час короля» до сих пор только по недоразумению не вошла до сих пор в обязательную школьную программу». Дальше пересказывается содержание повести, говорится о том, что автор постоянно обращается к еврейской теме. «Один из критиков писал, что Борис Хазанов так относится к своим героям, как эти герои относятся к евреям».

Дальше небольшой абзац о вынужденной эмиграции, называются некоторые произведения («Антивремя», «Город и сны», «Дорога», «Далекое зрелище лесов»). И завершается статья так: «Нет ничего более очищающего душу, чем чтение хороших стилистов», — говорил Борис Хазанов. Мы знаем, что Хазанов — один из них. Что ж, нам повезло: его книги теперь доступны» [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

21.11.07

[...] Если, как ты пишешь, слова Чухонцева относились и к Тютчеву, и у Лермонтову, и к Ходасевичу, etc., значит, это просто баналь-

ность. Тут и спорить не о чем. Но меня поразило, что из всего корпуса произведений Блока он подбирает тонкий сборничек «стоящих» стихотворений, всё остальное, по-видимому, барахло. Между тем отбор, произведённый самим Блоком — три тома стихов, три ступени жизни и поэзии — почти исключительно состоит из вещей высокого класса. Блока надо слышать, жить с ним. И я могу только повторить сказанное: нынешнее среднее и младшее поколение поэтов, включая лучших представителей, едва в состоянии услышать Блока. Что, конечно, можно объяснить разными обстоятельствами (в том числе модой) [...]

Я сижу дома, общаюсь с Лорой по телефону, чтобы её не заразить. Пытаюсь что-то делать [...] Не нам с тобой говорить себе, что литература — это проклятье. Но она же и спасает [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

26.11.07

Ох, милый Гена, ты общаешься с Лорой по телефону — как мне писать о своих мелочах? Ну, разве что расскажу о недавнем медицинском приключении. Хирург, который пять лет назад удалил из моей сонной артерии холестериновую бляшку, время от времени приглашал меня в институт Склифосовского на обследование и с каждым разом все настойчивей предлагал оперировать и вторую артерию. За последние месяцы стеноз стремительно увеличился с 40% до 60% (прости за дилетантскую лексику: проходимость уменьшилась). Ужасно не хотелось на операцию, и зачем, если чувствую-то себя неплохо? Знакомый врач устроил меня на квалифицированное обследование в поликлинику Минздрава на Пироговке. Аппаратура там потрясающая. Короче: выяснилось, что никакой операции мне не нужно, закрыто всего 38%. Врач подтвердил мое подозрение: хирурги нередко без надобности навязывают платные операции, чтобы заработать. «К сожалению, такое бывает», — сказал, усмехнувшись. Кажется, не только у нас.

Между тем, у меня, наконец, вышла книжка «Ловец облаков». Все рассказы этого сборника я тебе посылал, кроме последнего, заглавного, но ты его, помнится, нашел в интернете. Как я понял, тебе сейчас не до чтения [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

27.11.07

Да, Марк, ты, как видно, чуть не попался в лапы полумошенников, которые, видимо, недурно устроились в мутном аквариуме хищ-

ного предпринимательства, хорошего зарабатывания и шатких законов. Что касается диагностического оснащения, не сомневаюсь, что там, где много денег, клиники не уступают немецким, не говоря уже об американских.

Выход «Ловца облаков» в виде книги (кто его издал?), как ни говори, — праздник и для автора, и для меня. Это неважно, читал или не читал, — мне очень бы хотелось иметь этот сборник, не можешь ли ты мне его послать? Я найду время почитать и подумать. Мой грипп прошёл, осталась физическая слабость. Сегодня я узнал, что Лору выпишывают из стационара послезавтра, так что в четверг мы приедем домой вместе. Выписывается она далеко не в удовлетворительном состоянии, но делать нечего, да и дома, как известно, стены помогают. В середине декабря прилетит на два дня Илюша.

Жизнь моя хаотически-монотонная. Мне удаётся (по крайней мере, удавалось) посидеть немного перед компьютером. Но, помимо всего прочего, и работоспособность сильно сдала. То и дело наступают полосы какого-то отупения. Я смотрю на свой архив — нагромождение писем. Их страшно много, их надо бы разобрать, хотя бы разделить по корреспондентам, но жалко времени, которого так мало. Теперь это отложилось в напластования прошлого, свинцовый груз, в котором, может быть, и скрывается, как прожилки металла в пустой породе, что-нибудь объективно интересное; но когда я думаю о том, что это никого всё равно не интересует, остатки энергии покидают меня. Самое лучшее было бы просто отправить всё скопом Гарику Суперфину, но и это требует времени (и затрат), а главное, это значило бы окончательно перерубить связь с прошлым, с мыслями и трудами, как уже не раз бывало в жизни. Всё равно что стащить с себя старую облезлую шубу и остаться в исподнем. Можешь ли ты дать мне какой-нибудь совет? [...]

Напиши подробнее, как ты живёшь, чем занят, реагируешь ли как-нибудь на уличные события, о которых каждый день вещают радио и экран. Где бываешь, видишься ли с кем-нибудь. Напиши что-нибудь хорошее. Твой Г.

М. Харитонов — Б. Хазанову

2.12.07

[...] Я тоже время от времени вспоминаю об архивах. В свое время я уничтожил почти все, написанное до 1970-го года, недавно выбросил две пачки заваливавшихся писем аж 50-х годов. (Тебе в свое время архив

помогли облегчить органы.) Электронная почта весьма упростила проблему. Письма не надо распечатывать, их можно при желании хранить на дискетах. Рукописи, черновики тоже уходят в прошлое. Как-то ко мне приходила девочка из Литературного музея, выразила желание взять в архив мои рукописи. Я подобрал ей оставшиеся пачки, но ей оказалось тяжело нести, обещала прислать кого-нибудь. Так они пока у меня и лежат на антресолях. Надо повыбрасывать еще кое-что, руки не доходят. Но вообще эта проблема остается наследникам.

О ситуации в стране писать неохота — физически тошнит. Да ты, думаю, знаешь подробности не хуже меня. Ощущение фальши, бессилия, общественной апатии, а нередко и страха. Вспоминается советская атмосфера. Но я-то в «уличных», как ты пишешь, событиях не участвую, занимаюсь своими делами [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

3.12.07

Дорогой Марк, только что увидел в компьютере твоё письмецо, оно дошло как раз в тот момент, когда Лора дремлет, дела наши плохие, тяжёлые ночи; постоянно работает кислородный аппарат, время от времени приезжает наш доктор, кое-что делает, словом — о чём говорить.

Нет, всё же пришлось прерваться; продолжаю. Итак, мы толковали об архиве. Жаль, конечно, что ты выбросил старые письма [...] Я всё-таки успел перед возвращением Лоры из больницы снова отослать кое-что (тяжеленные пачки) Гарику Суперфину в Бремен: там при университете и так называемой Forschungsstelle Osteuropa находится образцовый Русский архив, которым заведует Суперфин. Он и твои материалы приобрёл бы с превеликой охотой, основал бы персональный фонд Марка Харитонова. Конечно, я прекрасно понимаю, что связываться с другой планеты, из далёкой Москвы с каким-то там Брементом непросто, не говоря уже о Библиотеке Конгресса в Вашингтоне, где, вероятно, сосредоточена главная масса российского архивно-культурного прошлого. (Туда, кстати, Джон Глэд по собственной инициативе отдал и часть моих писем.) А всё-таки подумай. Мы не можем судить о ценности наших литературных и личных материалов, будь то рукописи, дневники, письма или ещё что-нибудь, мы вообще не ведаем, что будет завтра, но... кто знает, может быть, от нас что-нибудь и останется. Наше время рассыплется в пыль, и всё же, всё же... Но нельзя, я думаю, забывать и о том, что разрушение прошлого, даже

совсем недавнего, беззастенчивое манипулирование прошлым, вычёркивание имён как бы за ненадобностью, истребление целых пластов истории и культуры с тем, чтобы освободить место для картонных декораций, которые чуть ли не на другой день пожухнут и повалятся, наконец, просто историческое беспамятство, привычное, обычное, всё это — устойчивая отечественная традиция.

Новости из отечества удручающие, с ненавистной демократией, по-видимому, покончено раз и навсегда, однако — представим себе шахматную партию, которая продолжается после того, как у тебя съели короля. Можно играть и без короля. В конце концов, всё на месте, страна существует, снова набирает силы и амбиции, снова вооружается, народ доволен — в чём дело?

Моё представление об Истории тебе известно, и, может быть, оно не столь уж абсурдно, каким может показаться. Нужно сопротивляться этому монстру, насколько это в человеческих силах, хотя чаще всего сопротивляться Истории значить попросту выжить. В любом случае не дело писателя стараться шагать в ногу. Нужно держаться подальше от своего народа. Нужно вообще быть *подальше*. Делать своё дело, а там — как получится. Вот и всё [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

3.12.07

[...] Вчера я виделся с Даниилом Чкония, он сказал, что в будущем году журнал будет печатать твой новый роман, высоко о нем отзывался. А ты время назад не захотел мне его присылать, сказал, что еще должен поработать. Что ж, прочту в «Зарубежных записках».

Журнал, по словам Даниила, тиража не прибавляет, но приобретает репутацию. На спонсоров произвело впечатление, что одним из финалистов нынешнего Букера стал роман Юрия Малецкого «Конец иглы», напечатанный у них. (Ты, думаю, его читал; мне эта работа показалась серьезной, хотя читать ее трудновато.) Вручатся премия будет завтра. Некоторую пикантность ситуации придает то, что вторым финалистом стал роман Улицкой «Даниэль Штайн, переводчик», против которого Малецкий опубликовал в «Континенте» гневный, чуть ли не книжного формата, памфлет. Я читал сокращенный вариант этой статьи в «Новом мире». Малецкий, православный еврей, уличает православную еврейку Улицкую в вопиющем конфессиональном невежестве. Наверное, справедливо, я на это не обращал внимания; вообще прочел книгу, должно быть, немного по-

верхностно, некоторые места пропускал (там целыми страницами цитируется, скажем, путеводитель по Хайфе и т.п.). Но мне было интересно не идейное — художественное содержание, фабула, характеры. Даниилу роман резко не понравился, он мне в разговоре объяснил некоторые свои претензии — видимо, справедливые. (Я пробовал перечитывать — не пошло.) По его словам, влиятельные литераторы не захотели выступать против него в печати, боясь обвинений в антисемитизме. Популярность романа несравненна, он уже получил престижную Большую премию.

Мы разговаривали с Даниилом, стоя неподалеку от памятника Пушкину, проход к нему был загорожен. Рядом собирались отряды подростков лет 14-17, с еще не развернутыми флагами, в белых и красных накидках с портретом Путина и надписью «Своего не отдадим». Один держал табличку «Воронеж», подходили отряды из других городов. Усталые, скучающие, замерзшие. (Был морозец, — 7°.) Вечером по радио я услышал, что они в разных местах пытались сорвать митинги оппозиции. Putinjugend. Не знаю, насколько удастся натаскать пока еще безразличных ребятишек. И каких денег стоила экипировка, проезд, питание.

Мне позвонил вчера товарищ, которого я в «Стенографии», в записи от 19.8.91 обозначил инициалами Л.З.; он тогда первым сообщил мне о путче. И вот опять спросил: что теперь будет? Я ответил: некоторое время то же, что и сейчас. Пока жизнь для многих не станет совсем невыносимой. Цены растут уже неудержимо, социальное неравенство увеличивается — реальные проблемы очевидны, отрезвление неизбежно. Рано ли, поздно ли, и какие оно примет формы — посмотрим. Детям придется расхлебывать [...]

Вопросов тебе не задаю, напиши сам, что сочтешь нужным. Держись [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

4.12.07

Дорогой Марк, спасибо тебе. Я сейчас вернулся из больницы, куда нам в конце концов, после всех этих мучительных дней и ночей, пришлось поехать. Там провели довольно много времени, прежде чем Лора была стационарирована (в ту же Station, то есть отделение, откуда её выписали дней десять тому назад). Возвратился я в пустую квартиру. Настроение не блеск, но твоё письмо помогло как-то рассеяться.

К стыду своему, я не читал ни нашумевшего романа Людмилы Улицкой, ни романа Юрия Малецкого, о котором ты пишешь. Читал только, вернее, безуспешно пытался одолеть обширный критико-теологический трактат Малецкого. Мне как-то всё скучно, лучше сказать — скушно. С обоими авторами я знаком довольно давно. Улицкую я читал прежде, потом перестал. Малецкий, бесспорно, даровитый писатель, но и его проза как-то вязнет в зубах. Дело, конечно, не столько в самой прозе, сколько в её читателе. Кстати, я не знал, что Большая премия считается престижной [...]

Насчёт моего романа... Он и по сей день вызывает у меня большие сомнения, и это, собственно, было причиной, почему я не решился прислать тебе это изделие [...]

Выборы кончились так, как и ожидалось. Игра стала ясной уже давно. Теперь сенат на коленях буде просить цезаря не бросать империю на произвол судьбы. Из-за границы, с самых высоких уровней, посыпались протесты, комментаторы с трудом сдерживают свои чувства. Из всего этого как будто следует, что тут ещё верили в российскую демократию, реформы, готовность дружить с цивилизованным миром и т.д. Хорошего настроения и самочувствия все эти известия, само собой, не прибавляют [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

11.12.07

[...] У нас целую неделю оттепель, снег почти стаял. Я вернулся к прозе, стал, наконец, выстраивать что-то вроде связного повествования. Пока совсем начерно, просто чтобы прояснить целое, к написанному пока даже не возвращаюсь, не исправляю. Тебе знакомо это состояние. Почти ни о чем другом не думаю, новых книг не читаю — о чем тебе написать? Не о политике же. Пошлю просто один из последних верлибров — он созвучен тому, над чем я сейчас размышляю.

Знаю ли я тебя? Можно ли знать другого,
Проникнуть в чужую жизнь, прожитую отдельно,
В мысли, сомнения, сны, в то, что затаено
Даже от нас самих? Только вообразить.
Я просто тебя люблю.
Вообрази меня.
[...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

13.12.07

[...] Твоё маленькое стихотворение мне очень понравилось.

У меня особых перемен нет. Я встаю утром с великим трудом, обливаюсь холодной водой, чтобы придти в себя, иногда успеваю немного посидеть перед компьютером, потом еду в больницу. Клиника находится далеко от нас, и путешествие занимает почти час. Возвращаюсь во второй половине дня. В декабре в это время уже темнеет. Погода пасмурная, мгlistая, то и дело моросит дождик, не столько даже моросит, сколько nieselt, висит в воздухе. Через два дня — третий Адвент, а там и Рождество.

Ты занялся прозой, это прекрасно. Что нового на литературном Риальто? [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

17.12.07

[...] Мы этой осенью издали альбом Галиной живописи на средства семьи и друзей, больше 90 цветных репродукций. Все они есть на сайте, который ты видел. Там же перечислена дюжина выставок, в которых она участвовала. Ей через полтора месяца 70 — не слишком рано выходит в мир. Может быть, в конце концов удастся привлечь к ней внимание серьезных знатоков, коллекционеров, галеристов. Появились возможности, которых прежде не существовало. В Третьяковской галерее недавно проходила выставка Галиного учителя, художника Бориса Петровича Чернышева, к 100-летию со дня рождения. У меня есть о нем очерк в книге «Способ существования». Он почти нищенствовал, рисовал иногда на газетах, выставок у него было при жизни две-три, об альбомах, даже простых репродукциях он и мечтать не мог. И вот — Третьяковская галерея.

Как-то по телевизору я увидел неизвестного мне художника, он говорил, что своих работ пока не продает: после его смерти они будут стоить гораздо больше. Занятная забота о потомках.

Литераторам в этом смысле грех жаловаться. У нас с тобой книг при жизни издано уже больше, чем у гениев советских времен, они лежат в библиотеках, которые горят не так часто. Потомки разберутся.

Хорошо бы, пока есть время, доделать работу, которая иногда мещится, но все никак не дается. При всех разговорах о муках творчества, это действительно счастливое, живое состояние [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

18.12.07

Лора умерла минувшей ночью.
Г.

М. Харитонов — Б. Хазанову

19.12.07

Горестное известие, дорогой Гена. Какие тут найти слова? В нашем возрасте с каждым это может случиться в любой момент, но тут пришлось месяцами готовиться к неизбежному. Мужчина всегда надеется эгоистично, что он успеет раньше, оставит переживать женщину.

Если бы наше с Галей сочувствие могло хоть немного уменьшить твою горе!
Марк

Б. Хазанов — М. Харитонову

20.12.07

Дорогие Марк и Галя, спасибо вам. Я собираюсь сразу после похорон отправиться с Илюшей в Америку на несколько недель. Ваш Г.

М. Харитонов — Б. Хазанову

21.12.07

Дорогой Гена, я решил тебе отправить эту статью, пока ты не уехал. Она должна появиться в январском номере «Лехаима», наверно, уже есть в интернете. Для публикации пришлось ее сократить наполовину. Там должна быть помещена фотография, где мы с тобой, Лорой и Плаасами в Линдау.

Хорошо, если ты сможешь написать из Америки.

Будь здоров. Обнимаю тебя. Твой Марк

[Приложено эссе «Нам нужно восстанавливать память»]

Б. Хазанов — М. Харитонову

21.12.07

Дорогой Марк! Спасибо за прекрасную статью. Действительно прекрасную, хоть и повергнувшую меня в смущение. Никто, кроме тебя, не смог

бы написать лучше — точнее и благородней. Спасибо, спасибо. Я сейчас не в лучшей форме, всё буквально валится из рук, даже для того, чтобы написать эти несколько строк без ошибок, мне понадобилось чуть ли не полчаса. Отпишу тебе из Чикаго. Будь здоров, мой дорогой. Твой Г.

24.12.07

Дорогой Марк,

вот, решил тебе написать. Сегодня Heilig(er) Abend, по-русски сочельник. Народ сидит по домам. Я тоже сижу, хожу из комнаты в комнату и вижу вещи Лоры. Сейчас темнеет. Утром прогулялся немного. Погода самая рождественская: солнце, деревья белые от инея. Через два дня похороны. Все эти дни моя немецкая родня — мать и отчим Сузанны — опекала меня, кормили обедами, взяли на себя все формальности. Послезавтра прилетит Илья, а затем мы сразу вдвоём отправимся в Чикаго. Я пробуду там, вероятно, недели четыре. А как буду существовать дальше, без Лоры, не знаю. Она умерла ночью, мне сказали — во сне. Позвонили из больницы рано утром. Я всё потерял. До сих пор в моей жизни было две утраты. Когда мне было шесть лет, умерла моя мать, ей было 33 года. Я этот день помню. Помню я во всех подробностях и дни, когда ушёл мой отец. А теперь я потерял всё сразу: жену, мать, сестру, товарища. И это при том, что я старше Лоры на десять лет. Злая несправедливость. В общем, что говорить...

Там полагается исполнить какую-нибудь музыку, недлинную. Компакт-диск. Сначала я подумал о «Humoresque» Дворжака, прелестная миниатюра, которую Лора любила. Но потом решил взять арию «Erbarme dich, mein Gott»¹ из Страстей по Матфею Баха, это очень известная вещь, ты, наверное, её знаешь. Поставь её, если она у тебя есть.

Вот такие дела. Вся моя литература мне обрыдла, не знаю, когда я к ней вернусь, сумею ли вернуться вообще. Правда, беру с собой кое-какие бумаги, одну начатую вещь, на всякий случай. Но...

Обнимаю тебя. Твой Г.

2008

Б. Хазанов — М. Харитонову

CharM344

24.1.08

Дорогой Марк, вот я и собрался, наконец, тебе написать, но, по видимому, придётся отсылать это письмо уже из Мюнхена, так как в

¹Помилуй мя, господи (нем.)

новом доме, куда только что переселилось семейство моего сына, ещё нет подключения к интернету. Я взял с собой, уезжая, кое-какие бумаги, хоть и не думал, что смогу вернуться к литературе; захватил и твою статью к 80-летию. И, представь себе, она как-то ободрила меня, вообще что-то повернула, и я понемногу снова взялся править, дописывать, переписывать... Кроме того, принял некоторое участие в устройстве нового илюшиного жилья, сидел с детьми и пр. Удивительное дело: давным-давно, когда мне было 17 лет, я писал на немецких книжках, купленных по дешёвке в букинистических магазинах, — все полки и склады были тогда завалены военной добычей, — мою фамилию в изобретённой мною транскрипции по правилам немецкой орфографии, — и вот теперь на школьных тетрадях моих внуков я вижу эту ужасно длинную для Америки фамилию: Faibussowitsch.

Дом трёхэтажный, с множеством просторных комнат, такие хоромы и не снились ни мне, ни тебе. Прежде с Лорой мы ездили и ходили по Чикаго, много раз бывали в Institute of Art, богатейшем собрании картин, скульптур и всего на свете, которое я так люблю, так бы и сидел там не вылезая, — но в этот раз я почти никуда не выхожу, и вот наступает вечер, и становится худо, всё стоит перед глазами: и похороны, и последние дни и месяцы, и вся наша жизнь — Лоре было 18 лет, когда мы познакомились, и кто тогда мог подумать, что всё так сойдётся, ведь у меня не было ни кола ни двора, и в кармане волчий билет.

Был такой случай: я поехал на Viktualienmarkt, может быть, ты помнишь: знаменитый мюнхенский рынок в центре города, приезжаю домой и вижу, что она в полном изнеможении от домашних дел, задыхается, а я просил её не работать. И я сказал, ляпнул: «Ты делаешь мне назло». И вдруг она разрыдалась, чего никогда с ней не было за всё время болезни, она вообще никогда не плакала, не жаловалась никогда в самые трудные времена. Заболев, держалась с исключительным мужеством. И я понял, как важно было для неё убедить себя и меня, что она всё ещё стоит на ногах, всё ещё сопротивляется и может что-то делать. У меня даже не было мысли, что не пройдёт и месяца, как я сам буду её оплакивать. Она уже сильно исхудала и двигалась с трудом, и я гладил её бедную стриженую голову, и всё это то и дело встаёт перед глазами, и я не могу себе простить этой дурацкой, бестактной, жестокой реплики.

Ну вот, — ты, может быть, не поверишь, как мне помогла твоя статья. Как подумаешь — восемьдесят лет! — то и начинаешь недоумевать, неужели можно ли ещё, с таким горбом на спине, рыпаться, что-то предпринимать, придумывать. Я стал просматривать хаотический

текст, который, кажется, присылал тебе, под претенциозным названием «Родники одиночества», которое я тотчас устранил, — и почти всё переделал. Как-то не захотелось отказываться от свободной конструкции. Жалко было выкинуть всю эту работу, чего она, возможно, заслуживает. Кроме того, переработал две новеллы, пытался что-то сделать с ещё одним рассказом, набросанным и брошенным в последние месяцы. Кое-что читал. Такие дела [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

24.1.08

С возвращением, дорогой Гена! Твое пребывание в Америке, я чувствую, было для тебя благом, к Мюнхену придется заново привыкать.

Пока тебя не было, в Москве вышел «Лехаим» с фрагментом моей статьи о тебе и хорошими фотографиями. Другой фрагмент, я знаю, должен был появиться в «Зарубежных записках», где тебя собирались чувствовать. Этот номер ты, наверно, уже видел. А полный текст статьи появился в «Библиотеке» Никитина-Перенского, тоже с поздравлением тебе.

Меня, наконец, подключили к интернету, но вместе с ним в компьютер проник вирус. Пока не исправят, мне приходится ограничивать себя лишь электронной почтой. Все же я успел в «Библиотеке» полистать кое-что у тебя. С особым интересом обнаружил там целую эссеистическую книгу «Понедельник роз», о которой раньше лишь слышал. По беглому пока впечатлению — замечательная работа! Вспомнилось, как я убеждал тебя перемежать литературную эссеистику с фрагментами беллетристики, мемуаров и т.п. Оказывается, ломился в открытую дверь, ты чем-то подобным уже занимался (отчасти, может, под влиянием моего занудства). Среди прочего, мелькнуло и мое имя: ты писал о литераторах, которые закономерно приходят от туманной поэзии к ясной прозе; у меня можно диагностировать обратное развитие. Впрочем, контекст помнится уже смутно, перечитаю, когда наладят компьютер.

И там же, в интернете, увидел обложку твоей новой книги, которая только что вышла в «Вагриусе». Есть с чем поздравить.

Сам я понемногу втягиваюсь в новую прозу, как раз сегодня с утра проложил достаточно плотно первую небольшую главку. А потом пробежался на лыжах: несколько дней назад выпал, наконец, снег, с декабря его не было [...]

[...] Все эти дни я занимался разными мелочами, а также записями, которые делал в Америке. До сих пор не могу приспособиться к европейскому чередованию дня и ночи. Раньше это происходило как-то быстрее. Вообще вечером настроение совсем портится. А я хорошо помню, что в юности было наоборот, утром вставал в смутном расположении духа, к вечеру жизнь становилась веселей [...]

Я увидел у Ильи сборник Юрия Трифонова и перечитал московские повести. Как всякий крупный писатель, он владел какой-то тайной. На первый взгляд проза может показаться традиционной или даже подражательной. Но это впечатление ложное. Он в самом деле как будто унаследовал от Чехова его скрытый лиризм, музыкальность, кажущуюся безыскусность, внимание к мелочам жизни, даже эту манеру двойственного повествования, когда рассказ ведётся одновременно и «от автора», и голосом персонажа. (Так построена, например, «Скрипка Ротшильда».) Это, однако, писатель вполне самостоятельный, самобытный, когда-то даже актуальный; теперь же, перестав быть своевременным, он остаётся по-настоящему современным.

И это умение воспроизвести микроструктуру жизни, всю эту паутину, в которой барахтаются жители большого города. Это не отдельные нейроны, это синцитий, сеть. Конечно, я читаю его особенными глазами и постоянно поражаюсь его скрупулёзности — точности реалий и точности интонаций. Ведь я вырос и жил там же, где и он, и в те же годы. В узких кругах его упрекали, если ты помнишь, в камуфляже, в том, что он говорил намёками, не называл вещи своими именами, не поминал прямо Лубянку и т.п. Ещё бы — это был писатель легальный, советский, подцензурный. Можно предположить, что редакторы всласть проехались по нему, прежде чем печатать. Но замечательно то, что эту недоговорённость он превратил в художественный приём. И оттого, например, тягостная атмосфера, повсеместное присутствие тайной полиции в его мире впечатляет сильнее, чем если бы обо всём говорилось открытым текстом. Это как с сексом (вторая после политической крамола): разговор вполголоса достигает большего художественного эффекта, чем во всё горло. «Дом на набережной» (который я дочитал здесь) показался мне сперва, в некоторых местах, чересчур плакатным, но прекрасная, невыносимо грустная концовка искупила всё.

Ещё я перечитывал некоторые места из «Der Steppenwolf»¹, волшебного романа, а заодно заглянул и в «Glasperlenspiel»². Невозможно не поддаться очарованию этого несколько нарочито старомодного, музыкального языка и стиля. Всё же читать книгу с безоглядным восторгом и увлечением, как когда-то, я уже не могу. Впрочем, её всегда критиковали. Иоахим Кайзер в старой статье писал о том, что ссылки на музыку выглядят дилетантски, стихи у Йозефа Кнехта неважные, и так далее. Сейчас в Германии Гессе пылится на полках. Но, конечно, никому не придёт в голову вычеркнуть его из святцев немецкой прозы.

По поводу «Игры в бисер» я прочёл в Лексиконе мировой литературы Kindler следующую характеристику «стариковского стиля» (Altersstil):

«Все достоинства и все неприятности гениального стиля старости проявились в этом романе: прозрачность, умение с возвышенной отрешённостью вникнуть в отношения между людьми, точность формулировок, абстрактность и проникновенность языкового жеста, долгое и спокойное дыхание, эпическая умиротворённость, — а вместе с тем чудачество, что-то навсегда проигранное, утрата живой жизни и действительности, склероз языка, соскальзывание в таинственное, утопическое, аллегорическое, зашифрованность мотивов, налёт сюрреализма...»

Что скажешь об этом? Выходит так, что когда, наконец, обретаешь себя, свой слог, свою оптику, то оказывается, это не что иное как результат дряхления и предвесье конца [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

7.2.08

[...] Заглянул в Интернет, нашел в твоём тексте упоминание обо мне: «По поводу того, что М.Х. перешел от прозы к стихам. Чаще бывает наоборот: начинается со стишат, с купания в ручейке, а уже потом погружаются в море прозы». Наоборот — значит, стал купаться в ручейке?

Я между тем барахтаюсь в море прозы. Заглядываю в книги, показавшиеся нужными для работы. Кстати, и в «Степного волка» тоже заглянул. Не вдохновился. Зато с интересом читал Л.Я. Гинзбург, «Человек за письменным столом». Там есть эссе «О старости и об ин-

¹ «Степной волк», книга Г. Гессе (нем.)

² «Игра в бисер», книга Г. Гессе (нем.)

фантильности». Она различает биологическую старость и старость гражданскую. «Гражданская старость — несоответствие между протяженностью жизни и ее насыщенностью. В одном и том же возрасте можно быть старым доцентом и молодым академиком... Насыщенность прожитого времени свершениями, опытом — не старит, а молодит человека... Многоопытность старит только если истощает» [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

10.2.08

Мой дорогой Марк, я совсем не хотел сказать — вернуться, устав от блужданий по морю, к барахтанью в ручейке, имелось в виду просто обращение от прозы к стихам. Это, впрочем, бывает: Борхес, уже стариком, нет-нет да и снимал с гвоздя лиру. Эренбург, совсем другой пример, писал стихи, оказывается, чуть ли не до конца жизни. Бен однажды прочёл мне стихотворение, которое ему показала Ирина Эренбург, из архива отца; к сожалению, я не помню наизусть, там говорилось об устрашающем сне, и смысл всего был — сознание жизненного банкротства.

Ты процитировал этюд Лидии Гинзбург о старости. А я тебе приведу цитату из собственного сочинения.

«Гипертрофия памяти, о, этот старческий недуг, подобный гипертрофии предстательной железы. Молодость умеет сопротивляться, молодость побеждает агрессию памяти; беспамятство — её защитный механизм: мы молоды, покуда способны забывать. Но незаметно, неотвратимо наши окна покрываются копотью памяти. Отложения памяти накапливаются в мозгу. Словно горб, склеротическая память не даёт распрямиться. Утрата способности забывать, вот что такое старение; мы умираем, раздавленные этим бременем. Итак, берегитесь! Вы заболете той же болезнью. Вот что могло бы сказать старшее поколение младшему. Берегитесь: когда-нибудь и у вас начнёт расти эта опухоль, и вас однажды настигнет бессонница воспоминаний. И уберечься невозможно».

Я переписал два рассказа и стал доделывать третий, который начал ещё при жизни Лоры, во время одного из её пребываний в больнице. Леонард Бернштейн демонстрировал — я это видел когда-то по телевидению, — как он дирижирует оркестром одними бровями. (Благо у евреев брови густые.) Так и я. Говорится много о том, что литературные герои под пером писателя начинают жить собственной независимой жизнью. «Взгляд, конечно, варварский, но вер-

ный». И всё же автор не выбрасывает свою дирижёрскую палочку. А вот я тут, кажется, впервые пустил всё на самотёк. Боюсь, что ничего путного из этого не выйдет [...]

Номер «Зарубежных записок, о котором ты спрашиваешь, насколько мне известно, ещё не вышел. Зато появился в интернете последний номер «НЛО», в котором целый блок — памяти Д.А. Пригова. Открывается статьёй, где Пригов именуется крупнейшим русским поэтом послесоветской эпохи. Я видел и слышал Пригова дважды, кое-что читал из его необычайно многочисленных изданий. Он всегда казался мне фантомной фигурой. Просвети меня: *вус?* — как говорили наши отцы, в чём дело? [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

12.2.08

Ты знаешь лучше меня, дорогой Гена: читается не то, что хотел сказать автор, а то, что было написано. Когда написано, что некоторые начинают «с купания в ручейке, а уже потом погружаются в море прозы», у других же бывает наоборот — слова для умозаключения предложены контекстом.

Пассаж о старческой неспособности забывать требует, думается, оговорки. Вообще-то человеческая память устроена природой щадяще. Невозможно живо вспомнить зубную боль, от которой сорок лет назад лез на стену, иначе жить стало бы невозможно — как невозможно заново пережить, воспроизвести мгновения счастья. Занятие фрейдистов — извлекать ушедшие в подсознание эпизоды. Но вот чего не удается забыть, так это унижения, обиды, несправедливости, стыда, непоправимых ошибок, утрат, их можно перебирать, мусолить всю жизнь, тут действительно разрастается опухоль. «И с отвращением читая жизнь мою»... Это писал отнюдь не старик. Для Марселя Пруста память оказалась счастливым кладезем, из которого можно было черпать бесконечно.

Я погружаюсь в прозу, все больше удаляясь от первоначальных прототипов, личных воспоминаний, приходится создавать мир, прежде не существовавший — известное дело. На интернет жаль тратить время, он затягивает. Заглянул в подборку о Пригове, но читать не смог. Не думаю, что он крупнейший поэт, но конечно, и не фантомная фигура. Лет двадцать с лишним назад до меня стали доходить машинописные листки со стихами — не столько его, сколько созданного им персонажа Дмитрия Александровича Пригова, этакого туповато фило-

софствующего графомана. Мне многое нравилось. Как раз недавно у той же Л.Я. Гинзбург я прочел, как в «Столбцах» Заболоцкого заметили сходство со стихами капитана Лебядкина — и тот не стал открещиваться. Говорят, Пригову как-то принес стихи молодой поэт, и он сказал: плохо. «Но это нарочно так написано», — сказали поэт. — «Тогда другое дело». Сам Пригов любил говорить о «перемене оптики». Писсуар, выставленный в музее Дюшаном, предложено было считать произведением искусства — зрителям понадобилось сменить оптику. Последнее время он все больше теоретизировал на каком-то чудовищном воляпюке, мне его писания становились все менее интересны, как и его «перформансы». И в «НЛО» о нем пишут теоретики, не поэты, кроме, кажется, одного [...]

Прилагаю картинку — на нынешнюю российскую тему [...]

(Приложено компьютерное фото: «2 марта выборы президента Дмитрия Медведева»)

Б. Хазанов — М. Харитонову

13.2.08

[...] Картинка (уличный плакат) — прелесть. Можете не беспокоиться, господа, — всё уже решено. Потрудитесь лишь опустить в урну бюллетень. Хотя слово «выбирать» означает сделать выбор из нескольких, мы привыкли за десятилетия славного прошлого выбирать одного из одного [...]

Последнее время я то и дело вспоминал Пруста, его *mémoire involontaire*, которой, я думаю, нужно противопоставить принудительную, навязанную память, *aufgezwungenes Gedächtnis*. Вот ещё одна цитата:

«Спрашивается, можешь ли ты, имеешь ли право описывать войну, не быв на войне. Но сможет ли рассказать о войне — об этой войне — тот, кто на ней побывал? Захочет ли он вновь увидеть эту действительность? Как глаз слепнет от слишком яркого света, так ослеплена его память. О, ночь забвения, летейская прохлада! Можно усмотреть в этом естественный защитный рефлекс. И, однако, война поселяется навсегда в душе и памяти каждого, кто жил в этом веке. Ибо кроме произвольной памяти Пруста, единственно достойной художника, кроме произвольной памяти, как бы ни оценивать ее права, — есть память принудительная. Писателю предстояло увериться в том, что от такой памяти ускользнуть невозможно. От неё нет спасения» [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

21.2.08

[...] Посылаю тебе еще одну юбилейную статейку — к 90-летию Померанца; она должна появиться на днях в том же «Лехаиме», отсюда некоторый еврейский акцент. Юбилей у него 13.3., думаю, ты успеешь прислать ему письмо обычной почтой. Не могу припомнить, писал ли ты что-нибудь в литературно-биографическом жанре о своих друзьях и знакомых? О Фридрихе Горенштейне, например? Это могло бы быть очень интересно. Я не перестаю склонять тебя к мемуаристике. Нельзя, чтобы пропадала такая бесценная память. В прозе ты можешь быть не всегда уверен, а здесь не может быть неудачи [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

23.2.08

Дорогой Марк, я по-прежнему причисляю Стенографию — и старого, и нового века — к твоим важнейшим работам. Кстати, как раз на этих днях я перечитывал «Стенографию начала века», теперь уже в расширенном и переработанном виде (в библиотеке Im Werden), и нахожу, как и твой неназванный читатель, что лучше сохранить прежнюю форму дневника с обязательными датами, прославляя время от времени дневниковые записи отдельными и самостоятельными эссеистическими текстами. В любом случае это, по крайней мере для меня, увлекательное чтение [...]

Ты призываешь меня попробовать свои силы в воспоминательно-биографическом жанре. Собственно, я когда-то уже писал о Фридрихе Горенштейне, и, кажется, первым: это была статья под названием «Одну Россию в мире видя» в нашем бывшем журнале «Страна и мир». Потом писал для какого-то австрийского журнала или сборника, а ещё позже — для журнала «Октябрь», когда они отмечали годовщину смерти Фридриха. Но, вообще говоря, у меня чувство, что я с этим родом литературы не справлюсь, не знаю, почему.

Недавно, когда я перерабатывал то, что теперь стало называться «Родники и камни», я вставил кусок о моих лагерных товарищах, но он совсем короткий. Сюда же, может быть, следует отнести очерк «Старики».

У тебя есть превосходный этюд о Давиде Самойлове, который я перечитывал не раз, — вот это действительно образец мемуарной

прозы! — а сейчас вспомнил о нём, увидев один в своём роде замечательный текст. Это большая статья о Дезике в «Нашем современнике» (№ 9, если не ошибаюсь), принадлежащая перу славного Ст. Куняева. Прочти, если удастся подавить рвотный позыв, это изделие [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

26.2.08

[...] Прочел я мерзостный, что говорить, текст Куняева. Обратил, между прочим, внимание, что «Наш современник» не представлен в общем «Журнальном зале». Когда-то главный редактор одного из журналов объяснил мне, что полемизировать с этим изданием, вообще обращать на него внимание не имеет смысла. Наверно, это правильно. Нельзя же, в самом деле, опровергать утверждения, что Самойлов похоронен в Эстонии, Копелев в Германии (я обоих хоронил в Москве)¹, а здравствующий, слава Богу, Померанц в Париже [...] К., среди прочего, ссылается на статью Солженицына о Самойлове (против Самойлова). Читал ли ты ее? Меня она, помнится, задела, я позвонил по этому поводу нашему общему с Давидом другу. Тот высказал свое мнение о публикации и добавил: «А вообще-то они оба, Самойлов и Солженицын, остались в прошлом веке». Я, кажется, тебе писал о своем тогдашнем сомнении: публицистика может остаться в прошлом веке — но стихи? Солженицын продемонстрировал, увы, обычную бесчувственность к поэтическому звучанию, о втором и говорить нечего. Но есть ли в самом деле такое, что приходится считать оставшимся в прошлом — таком недавнем — веке? [...]

Зато с истинным удовольствием перечел «Понедельник роз»: высочайшего уровня эссеистика и литературно-биографический автокомментарий. То и дело пробивается желанная для меня мемуарная струя, но ты ей, увы, не даешь воли. В «Литературном музее» много блестящих миниатюр, но читать это подряд трудно. Когда такая же проблема возникла при журнальной публикации фрагментов из моей Стенографии, меня попросили как-то структурировать текст, сгруппировать вокруг тематических заголовков. Ты советовал, наоборот, оставлять дневниковые даты; один раз так я и сделал. Но предлагать журналам дневник? Слишком придется себя цензурировать.

¹ Вынужден внести поправку: Галя Самойлова подтвердила, что прах Давида все-таки действительно был похоронен в Парну, в Москве его только кремировали. Для меня это были похороны. (Прим. М. Харитонова)

Я вообще, в отличие от тебя, недостаточно себя комментирую — а ведь лучше меня, во всяком случае, с большим знанием замысла, это вряд ли кто сделает. И вот недавно решил передать в библиотеку Im Werden свое «Возвращение ниоткуда» вместе с «Послесловием на развалинах» и дневниковыми комментариями, делавшимися в процессе многолетней работы. На днях я обнаружил, что тексты уже там опубликованы. Посмотри, если будет желание и время. Тебе, я помню, роман показался скорей загадочным, углубляться в загадку было тогда недосуг. А я эту работу, мало кем понятую, продолжаю, вопреки всему, считать едва ли не лучшей своей прозой. Возможно, комментарии и другим помогут что-то в ней уловить. Если у тебя она вдруг вызовет встречные мысли — о лучшем читателе я не могу и мечтать [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

28.2.08

Наши мысли, дорогой Марк, так бывало не раз, идут пораллельно; твоё письмо застало меня как раз за дочитыванием новой Стенографии в библиотеке Im Werden. Много интересного, как я уже писал, даже будоражащего. Я как будто слышу твой голос. Кое-что задержало внимание, например, твои замечания о «Невесте» Чехова. Тут у меня, вероятно, болезненный пункт. Я всегда причислял этот рассказ к лучшим, самым совершенным. В нём чувствуется некоторая перезрелость, как у плода, который вот-вот сорвётся с ветки: осень писателя. Быть может, он сознавал, что это последний Чехов, дальше — или смерть, или какой-то новый путь. Надя, которая бросает дом, жениха, бабушку и дедушку и уезжает навсегда, — не сам ли Чехов? (Почему-то Горький — ты, наверное, помнишь, хрестоматийный случай, — решил, что героиня захотела участвовать в революционном движении, «но так, Антон Павлович, в революцию не уходят». Сейчас кажется — причём тут революция?).

То, что при жизни Чехова никому или почти никому не приходило в голову: гениальный писатель, — в порядке вещей. Но любопытно, что и позже, и даже до сих пор Чехов, как редко кто из русских классиков, наталкивается на сопротивление. Ахматова, как это ни поразительно, сказала о нём глупость. Пьер Паскаль, французский русофил и учитель Нива, уличил Чехова (по прочтении повести «Мужики») в клевете на русское крестьянство. О Солженицыне нечего и говорить: если бы Чехов услышал, как наш пророк корит его за недостойное изобра-

жение русских священников в «Архиерее», он бы рассмеялся. И совсем уже недавно мой друг Юра Колкер, живущий в Лондоне, сочинил о Чехове — человеке и писателе — нечто вполне несусветное.

Я нашёл в одной работе Лотмана («В точке поворота», 1991) такое место:

«Позволим себе один предостерегающий пример: на рубеже XIX и XX вв. русской культуре был дан гений, всё творчество которого шло вразрез с «идейными» направлениями предшествующей эпохи и могло послужить великим предостережением. Это был Чехов. Только Чехов, подобно Пушкину, полностью удержался от соблазна однозначных проповедей и снижения искусства до роли служанки пропаганды. Но зато и не было в русской литературе более одинокого гения и, что самое главное, писателя, чьё творчество не получило продолжений».

В этой же электронной библиотеке я нашёл твою новую книжку, небольшой сборник этюдов «Друзья мои» (название отсылает к Пушкину), и был, конечно, очень польщён, увидев там статью обо мне — ту самую.

«Возвращение ниоткуда» мне нужно будет прочесть заново. Разумеется, и новое для меня «Послесловие на развалинах», и дневник работы. Мысль снабдить роман этим приложением мне очень импонирует. Время от времени я возвращаюсь к маленькой книжечке, когда-то купленной в Париже: «Journal des Faux-Monnayeurs»¹ Андре Жида.

Но то были записи, сделанные в процессе работы. Другое дело — автокомментарий к уже написанному: род некролога. Если же говорить серьёзно, то обсуждение, уже законченной работы, иногда годы спустя, даёт возможность — об этом ты пишешь — взглянуть на себя из времени, когда уже не живёшь в своём произведении. И более того, уловить внутреннюю тенденцию и внутренний смысл своей сугубо частной писательской эволюции.

Когда критик анализирует литературный процесс, он тем самым его создаёт. Концепция, которая сложилась в уме комментатора и аналитика, — артефакт, но он превращается в факт, в объективный процесс. Что-то похожее, возможно, происходит, когда размышляешь над собственными писаниями. Начинает казаться, что в твоей многолетней работе прячется нить, которая связывает разные времена и разные сочинения, просматривается внутренняя последовательность — подобие смысла. Хаос превращается в судьбу. Это может быть поначалу иллюзией. Но, однажды осознанная, она становится для тебя действительностью. И это утешает [...]

¹ Дневник «Фальшивомонетчиков» (фр.)

М. Харитонов — Б. Хазанову

11.3.08

[...] Приятельница уступила мне за ненадобностью сборник эссе Александра Гольдштейна «Аспекты духовного брака» — чтение оказалось неожиданно стимулирующим. Знаешь ли ты это имя? Я раньше о нем только слышал. Необычайно умный, талантливый человек, бакинский еврей, жил в Израиле. Говорить приходится в прошедшем времени: лишь сейчас я узнал, что он, оказывается, умер два года назад, сорока восьми лет от роду. Удивительная энергия исходит от самого его языка, ёмкого, яркого, заставляющего вспоминать прозу Мандельштама, иногда, правда, не без барочных излишеств; словотворчество, культурные аллюзии делают его, боюсь, непереводимым на другие языки. Но трудно объяснить, не цитируя [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

CharM350

11.3.08

Вот, наконец, и письмецо от тебя. Не так-то много осталось у меня друзей, дорогой Марк, и ты, я думаю, номер один. У меня тоже вроде бы нет особых новостей, но всё-таки. Покойного Гольдштейна я читал, когда ещё он был жив, это, действительно, блестящий ум и незаурядный стилист. Но известен он стал здесь, за пределами Израиля, лишь незадолго до своей кончины [...]

Читаю я (или перелистываю), как всегда, разные книжки одновременно. Перечитываю заново «Возвращение ниоткуда», у меня есть книга, подаренная тобой. Читаю медленно, тоже как обычно, но и то сказать — твоя проза требует значительного встречного усилия; всё время приходится держать ухо востро, чтобы не упустить многочисленные внутренние нити. Ты создал особый стиль (в современной русской литературе я ничего подобного не знаю) и соответственно новый жанр. Это не психологическая проза, внутренний монолог или что-нибудь подобное, но и не «поток сознания», а скорее хор голосов, звучащий внутри чьей-то психики. Впрочем, не знаю, посмотрим дальше.

Я затеял один рассказ или небольшую повесть и занимаюсь ею по утрам до обеда. Иногда хожу в концерты. Довольно часто обедаю с моими немецкими родственниками. Слава Богу, что хоть кто-то есть. А вечерами... Эх, Марк. Дай Бог тебе не пережить жену [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

16.3.08

[...] Вот что писал Гольдштейн на тему, которую мы не раз обсуждали:

«Вновь набрала силу малоаппетитная идея единства литературы: не так важно, где находится писатель — в Москве, Нью-Йорке, Берлине (подтекст такой, что жить надо в Москве, но об этом, щадя эмигрантов, говорят не всегда), важно, что сочиненное им вольется в общую реку — «вернуться в Россию стихами». Между тем имперской литературе, какой и надлежит быть русской словесности, подобает тяготеть к иноприродности, инаковости своих проявлений. Необходима поддержка очагов литрассеяния не как частиц и клеточек общего тела с начальниками в московских издательствах и журналах, а в качестве самостоятельных организмов, использующих тот же язык, но с особыми целями, продиктованными особыми же геолитературными нуждами».

Что-то в его доводах меня убеждает. Он эмигрировал из Баку в 1990-м, Россия для него — одна из стран, русская литература — одна из литератур, только русский язык — единственный, природный.

Я погрузился в прозу, ни на что другое не отвлекаясь, (кроме стенографии, разумеется, но это не для печати). Для человека, которому у нас на пенсию не прожить, это барская роскошь. Я как-то перебирал имена людей, которые активно действовали в разных жанрах, и вдруг вспомнил: а Чехов? Вот кто, кажется, не писал ни статей, (если не считать сахалинских заметок), ни рецензий, высказывания «не художественные» позволял себе только в письмах. Редкий для России случай [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

22.3.08

[...] Я сижу дома — как обычно, перед компьютером. Думаю о том, что бы мне сказать на очередном вещании. Что сказал бы ты? Тема — язык. Русский язык принадлежит к архаическому типу синтетических языков. Грамматические отношения преимущественно с помощью флексий и приставок (а не служебных словечек). Отсюда целая коллекция падежей, три рода, два числа с реликтами третьего — двойственного. Богатейший набор уменьшительных, увеличительных, пренебрежительных и т.п. суффиксов. Бедность глагольных времён с лихвой восполняется видами, итеративными формами. Громоздкость при-

частий. Чрезвычайно свободный порядок слов. Тяготение к эллипсам. Неслыханная виртуозность номенклатуры (Александр Иванович; Александр; Иваныч; Алексаша; Саша; Сашура; Шура. Плюс разные способы сочетания с имени и отчества с фамилией, а также уменьшительные, ласкательные, фамильярные, насмешливые, грубые формы собственных имён).

Но надо говорить о литературе.

Прочитал недавнюю дискуссию о рассказе в редакции «Знамени». Этот жанр якобы процветает. Но кто-то там хорошо сказал: рассказ — аристократический жанр. Это прежде всего касается языка и стиля, а с языком у нас дела плохи. Между тем аристократизм чужд современной русской литературе, и это опять-таки прежде всего вопрос языка.

После чего уже можно катить как на велосипеде. Умение пользоваться свободным порядком слов, этой ловушкой, в которую проваливается прозаик. Попробуй-ка переставить слова в начальной фразе «Человека в футляре». Даже вполне невинные инверсии делают прозу натужной, ненатуральной. Умение пользоваться слоями языка, тонкое дело, требующее хорошего слуха, а со слухом у большинства опять-таки катастрофа. Und so weiter, und so fort¹ [...]

Пассаж Гольдштейна о забугорной русской литературе, который ты прислал, — неожиданный поворот темы, — мне понравился. Я ведь, как ты знаешь, вопреки всему, склоняюсь к тезису «две (или даже несколько), а не одна». (Между прочим, ты для меня — скорее зарубежный, западный писатель.) [...]

2.4.08

[...] Последнее время я занимался небольшими текстами — рассказиками, а также компилятивной книжкой, о коей тебе писал. Вставил туда и «Понедельник роз», который тебе понравился (ты был единственный, кто обратил на него внимание). Когда же все эти занятия иссякли, меня не то чтобы обуял страх, но тяжёлое чувство, возможно, и тебе знакомое. Боязнь инвалидности, неспособности писать что-либо дальше. Потом пришло какое-то подобие замысла — правда, на старые, многожды обсосанные темы. Что поделаешь!

У меня слишком короткое дыхание. Мне кажется, что я не в состоянии подвести итог — настоящий, многосторонний итог столетия. А нужно было бы, необходимо. Я всё пытался (и писал тебе об этом) оправдывать эту немощь тем, что-де время подобной литературы, мас-

¹ И так далее, и тому подобное (нем.)

штабной эпической прозы, миновало. Оно миновало — до тех пор, пока не появится писатель, который напишет новый, великий эпос нашего времени. Известный историк Эбергард Йекель, с которым я однажды познакомился во Франкфурте и проговорил часа полтора, подарил мне свою книгу «Das deutsche Jahrhundert»¹, она не показалась мне особенно интересной. Можно ли назвать минувший век русским столетием? Окажется ли русская революция и то, что за ней последовало, самым важным событием двадцатого века? Для нас, само собой. Но, живя здесь, привыкаешь к двойной или даже множественной шкале значений и приоритетов. Покойный Марк Малев, товарищ детства в Большом Козловском переулке, поселившийся в Австралии, однажды привёз карту мира: в центре находится австралийский континент, Россия далеко на севере, а Западную Европу вообще еле видно.

Конечно, я и здесь порабощён Россией, можно сказать — мыкаюсь, томлюсь в её прошлом, как в садах злого карлика Черномора. И это тоже одна из причин неумения дышать воздухом горных высот [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

4.4.08

[...] Я посмотрел в Интернете «Зарубежные записки» с поздравлениями тебе. «Классик», «автор бессмертной повести», «писатель земли русской». Хотел бы я когда-нибудь услышать такое о себе. При всех поправках на юбилейный жанр — искренность пишущих позволяет не заикливаться на обычных литературских комплексах. Временное чувство исчерпанности. А ты перечитай посвященный тебе верлибр «Опустошены закрома». Не подвел итог столетия. А кто-нибудь когда-нибудь подводил? Не написал великий эпос («синтетический роман», как ты выражался раньше). Странные теоретизирования. Чехов и простенького романа не написал — этим, что ли терзаться? [...]

Вчера я был на юбилейном вечере Померанца в ЦДЛ. Он был в изумительной форме, прочел замечательную лекцию, не заглядывая в текст, цитировал на память стихи. Зина тоже как будто не изменилась. В малом зале собралось человек полтора, многие стояли, были и молодые люди. Среди прочего Гриша сказал, что не радуется произошедшим переменам: наступило время цинизма (цитирую не дослов-

¹ «Немецкий век» (нем.)

но). Я бы так не сказал. Цинизм и прочие нынешние пороки — все-таки человеческие, живые, им можно противостоять. То, что царило прежде, было безысходной навязанной мертвечиной. Конкретные сравнения можно перечислять.

Я задал ему вопрос: насколько его всегдашний призыв (прозвучавший и в лекции) «уходить на глубину» доступен людям другого, чем он, уровня, закрученным с утра до вечера повседневными делами, заботами, не имеющими даже досуга? Он ответил, что, конечно, это доступно не всем, но надо об этом напоминать, к этому призывать и пр. [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

5.4.08

[...] Я сейчас немного прошёлся, — луга начали зеленеть, — свернул в пространство между домами, где на одном четырёхугольнике двора роскошно цветут и стали уже облетать розовые японские вишни, а на другом, посреди лужайки, стоит оригинальное сооружение. На высокой мачте две парных планки, как бёдра и голени с шарнирами-суставами, сгибаются, разгибаются, разворачиваются и сворачиваются, и под ними длинная золотая дуга, похожая на челнок или индейскую пирогу, медленно подвигается, указывает общий вектор всех движений. И всё это беззвучно, вечно, безостановочно, в любую погоду, во всякое время дня. Ты усмехнёшься, но эта таинственная инсталляция почему-то напомнила мне твою прозу или, может быть, внутреннее устройство прозы, разнонаправленные движения и всеобщее, высшее, постоянно-непостоянное, генеральное время.

Это, конечно, фантазия. Я всё ещё читаю вечерами «Возвращение ниоткуда», читаю медленно, малыми порциями, только так, вероятно, надо читать эту прозу. Да и не должно удивлять: я так прочитываю почти все книги. Ты и здесь пользуешься своим любимым, как мне кажется, приёмом (на него, если не ошибаюсь, обратил внимание и кто-то из комментаторов): нет абзацев, вместо них отдельно стоящие, полусамостоятельные периоды. Читатель как будто набирает побольше воздуха в лёгкие, ныряет — и выплывает где-то в другом месте; снова набирает воздух, ныряет, и так весь роман. Я уже писал тебе немного о своём впечатлении. Когда-то, десять лет назад, я читал эту вещь, но теперь, кажется, постигаю её лучше — правильной ли, не знаю. Нить повествования скрыта, как змея в траве: кое-где блеснёт и снова пропадает, о сюжете в собственном смысле трудно говорить, как

и о последовательной единой точке зрения; повествователь, если можно так его назвать, маленький мальчик, болезненный подросток и ещё кто-то, тайный автор, — все живут одновременно; «я» в этой прозе — даже не столько конкретное лицо, сколько говорящая психика, как ни странно это звучит. Оттого действующие лица скорее выглядят, как мысли, бесплотными, но таково задание. Так мне кажется. Это не «действительность действительности», *Realität des Realen*, а действительность сознания, длинные, витиеватые, нагруженные словами, как верблюды — тюками, предложения, и, как верблюды, вышагивающие не спеша, рискуют утомить, вынуждают то и дело останавливаться. Но и это, по-видимому, входит в намерения сочинителя.

Я не помню сейчас из прочитанного когда-то, выясняется ли в конце концов, что это была за крамола (исписанный листок), оказавшаяся в подвале вместе с макулатурой, — если не выясняется, то и не нужно, суть дела проступает постепенно сама собой; причина страха, охватившего родителей, недоумение ребёнка, длинный монолог отца, который и тут не может объясниться впрямую, сказать, наконец, в чём дело, и лишь околичностями, обиняками, невнятно пытается предостеречь мальчика и наставить на ум, — всё это понятно без объяснений. Безотчётный ужас даже больше впечатляет, когда не раскрывают его конкретный, чуть ли не смехотворный, на взгляд постороннего, повод. Это ужас экзистенциальный, изначальный (*die Angst Хайдеггера*), он выходит за пределы житейской истории. Одно из условий — и характеристик — человеческого существования.

В дневниковых записях, которыми по твоему указанию (вместе с «Послесловием на развалинах») Перенский сопроводил роман в библиотеке *Im Werden*, есть одна, от 18 марта 1992, показавшаяся мне важной для понимания книги, — возможно, оттого, что эта мысль мне близка и отчасти напоминает мысль Пруста о том, что прожитая жизнь остаётся негативом до тех пор, пока её не проявит литература.

«Может быть, центральная идея книги: жизнь по-разному видится “изнутри”, когда непонятны её направления, связи, смысл, и откуда-то “извне”, когда мы уже не живём и ничего не можем изменить, объяснить другим. Но представить себе этот взгляд имеет смысл».

Литература — это сверхжизнь.

Но, конечно, всё это — лишь беглые, попутные по ходу чтения, соображения.

Я тоже был бы не прочь поприсутствовать на гришиной лекции. Я люблю Гришу, всегда его любил. Но постоянные апелляции к «глубине», возвращение к одному и тому же наскучило. Вдобавок мне чужда, чтобы не сказать: меня отталкивает, эта философическая установка,

ставшая основой мировоззрения. Призыв воссоединиться с гипотетическими глубинами бытия, или, как любит повторять Зина, ощутить Бога в самом себе, идентифицироваться с Абсолютом, чуть ли не эротически слиться с ним, — слишком пахнет индуизмом, слишком похож на отказ от автономии человеческой личности, от того, что есть высшее в нас, по словам Гёте:

Volk, und Knecht, und Überwinder,
Sie gestehn zu jeder Zeit:
Höchstes Glück der Erdekinder
Sei nur die Persönlichkeit.¹

Когда-то я слегка дискутировал на эти темы с покойным Василием Васильевичем Налимовым.

Разнузданность, которая будто бы правит бал в сегодняшней России? Может быть, так оно и есть; похоже на то. Но ещё хуже, позорнее ностальгия по советскому прошлому, тоска по начальственным сапогам, это стародавнее, пустившее глубокие корни холопство, которое прорывается то и дело, и притом у самых разных людей (о Грише я не говорю, он всегда был, с тех пор как я его знаю, свободным человеком) [...]

Юбилей юбилеем, но я, как и прежде, остаюсь на обочине. Всё же у меня есть другое предложение. Есть такой человек по имени Леонид Сергеевич Янович, он был руководителем книгоиздательства в Новосибирске, затем перебрался в Москву, его контора называлась «Сибирский хронограф», теперь — «Новый хронограф». В 2003 году он выпустил мою книжку «Ветер изгнания», небольшой сборник статей и этюдов, а недавно предложил мне издать что-нибудь ещё; я послал ему «Родники и камни» [...]

9.4.08

Вчера я слушал в Гастайге (предпоследний концерт моего абонемента) Пятую Бетховена, с юности знаемую наизусть, но каждый раз как будто молодеешь заново, — и эта вещь, почти столь же грандиозная, как и Девятая, торжество человеческой воли, притом благой воли, навела мне снова каким-то образом на мысли о моём последнем романе: какое это, в сущности, упадочное произведение! Ведь он тоже на свой лад притязает если не на синтез существования в минувшем столетии, то всё же на некий итог — но какой плачевный итог. Герой романа — вовсе не

¹ Народ, и раб, и властелин / Признают в любое время: / Высшее благо детей земли — личность (нем.)

герой, а всего лишь жертва, он это понимает и принимает, и отрицательный пафос его жизни сводится к стремлению во что бы то ни стало выжить. Единственное, что он может противопоставить своему гнусному времени, — это его дистанцированная литература, попытка внести подобие смысла в эпоху, которая кажется ему театром абсурда; но и тут он терпит фиаско, и кончается всё тем, что он побирается и даже пробует наложить на себя руки, — увы, опять же безуспешно!

Кажется, что всё это можно оправдать временем, календарём, эпохой, этим разбитым корытом, оставшимся после двух мировых войн и всего, что случилось в России, с Россией. Есть какое-то особое сладострастие в том, чтобы сказать: так вам всем и надо! Рассчитаться с иллюзиями гуманизма, с великими упованиями, вроде того, как Лерверкюн собирался отменить Девятую симфонию. Но ведь это не оправдание. И даже патетика героического пессимизма в духе Ницше больше не работает. Не выстоять, вопреки всему, а спрятаться, бежать, подобрав лохмотья, — вот что можно вычитать из моего романа.

Мы уходим и передаём потухший факел, от которого тянет чадом, следующему поколению. Самое же замечательное состоит в том, что этому поколению на нас нас...ть [...]

[...] Мне удалось, наконец, связаться с «Волгой XXI век» (так теперь называется журнал. С.Г. Боровиков болен, я разговаривал с дамой по имени Анна Евгеньевна Сафронова). Говорил с ней о нашей переписке. Она просит прислать. Теперь надо подумать, как это сделать. Собственно, ты уже подготовил подборку, посмотри ещё раз; м.б., что-нибудь добавить [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

10.4.08

Дорогой Гена, я, не откладывая, доработал наш совместный текст. Прежний завершился серединой 2006-го, я продолжил до середины 2007-го, соблюдая, в общем, единство тематики, чуть подсократил. Может, стоит подсократить еще или что-то добавить, посмотри [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

11.4.08

Я тоже решил ковать железо, пока горячо. Всё просмотрел, мне кажется, всё в порядке. Но нужен небольшой вступительный текст. Не напишешь ли ты? [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

11.4.08

Дорогой Гена, написать предисловие к собственной переписке один из участников вряд ли сможет. Я, во всяком случае, не знаю как, попробуй ты. Попросить кого-то третьего? Не приходят на ум имена. Но, может, попросить о предисловии саму редакцию? [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

14.4.08

Дорогой Марк, сегодня я снова всё проверил, форматирование, интервалы, курсивы, иноязычные цитаты и пр., отослал Сафроновой и почти сразу же получил ответ. Ей понравилось, она готова печатать. Но журнал снова в конфликте с министерством культуры, и она ещё не знает, чем всё это кончится. Посмотрим, сказал слепой [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

21.5.08

[...] По радио случайно услышал, что главный редактор «Волги» Сафронова снята с должности. Она в интервью назвала решение «политическим», говорила о попытке навязать редакции цензуру и т.п. Можешь посмотреть в интернете подробности. Будущее редакции пока неясно, однако нашей с тобой публикации, похоже, не светит [...]

Интерес к искусству, литературе продолжает видоизменяться не только из-за экспансии рынка, масс-медиа и прочих известных вещей. Он все больше дифференцируется, дробится, ценителям разных имен и жанров непросто бывает понять друг друга. Пророчества о конце нарратий и чего угодно еще — не более чем умственные упражнения.

В апрельской «Звезде» я прочел статью Комы Иванова о братьях Стругацких. Меня заинтересовало одно его суждение: «В конечном счете, после всех происходящих и готовящихся мировых катаклизмов будут читать прежде всего писателей с великими сюжетами, а не просто гениальным описанием деталей (как в русской прозе того же Набокова)».

Меня немного удивила характеристика Набокова, но существенней показалось другое. У Марселя Пруста нет великих сюжетов (если не считать сюжетом саму жизнь), у других нет чего-то еще, например,

тех же «нарраций». «Я подумал (написал я Комер): а будут ли тогда читать поэзию? Пушкина или Пастернака? «Припомнить жизнь и ей взглянуть в лицо» по мне — задача не только поэзии, но вообще той литературы, к которой я хотел бы принадлежать. И вынужден констатировать, что уже до всех будущих катаклизмов литература не сюжетная (но отнюдь не смакующая детали, красоты стиля) оказывается действительно все меньше востребована» [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

23.5.08

[...] Я заикнулся о «великих наррациях», в немецком научном обиходе *Meta-Erzählungen*, потому что мне жаль с ними расстаться. Я всё ещё обретаюсь в модернизме, не в «пост». Льотар говорил о трёх метанаррациях: освобождение человечества; «теология духа»; историзм — история как предполагаемое воплощение некоторого высшего смысла (или осуществление высшего замысла) и как нечто смыслопорождающее. С наступлением постмодерна эти цельности, как и всякое цельное знание, распадаются. Доверие к ним утеряно.

Я всё-таки думаю, что это были не только, как ты пишешь, умственные упражнения. После Пруста и Томаса Манна писатели уже не отваживаются на великие, вдохновлённые единой, высокой и общей идеей повествования, а если и пытаются сочинять нечто в этом роде, то либо терпят крах (как наш пророк), либо (как Вас. Гроссман в «Жизни и судьбе») создают литературу, хотя и по-своему значительную, но всё же архаичную, игнорирующую достижения литературной техники и стиля XX века.

Но постмодернизм, даже в самом серьёзном, по-новому освободительном смысле, — не вульгаризированном, как это произошло в России, — сам ушёл в прошлое. И, может быть, литература, на новом витке, вернётся к великим повествованиям.

Ты пишешь о том, что перемены в литературной жизни в нашем отечестве связаны не только с тотальной коммерциализацией, но и с раздробленностью литературных кружков; я отсюда тоже это чувствую. Разные группы, тусовки говорят на разных языках. То и дело я встречаю тексты и заявления, которые могу понять лишь формально, просто потому, что они написаны, правда, на ужасном, но всё же русском языке. В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань. Несчастье в том, что тот вид гужевого транспорта, который символизирует нашу с тобой работу, вовсе не находит пассажиров.

Интересной показалась мне и цитата из статьи Вяч.Вс. Иванова (надо будет найти и прочитать всю статью). Ты, может быть, удивишься, но я с ним в общем-то согласен. Я имею в виду прозу. Великий сюжет, если понимать это слово не в узко-фабульном смысле, есть — вернее, клубок сюжетов — и у Пруста. Может быть, и у Набокова, при всей чуть ли не самодовлеющей красочности деталей в его романах. В повествовательной прозе должно что-то происходить. Должен существовать двигатель внутреннего сгорания. То, что было изначально, древнейшим импульсом устного, а затем и письменного повествования — рассказывание историй, — остаётся, я думаю, аксиомой литературы. Лишённая внутренней энергии, проза останавливается, как экипаж с простреленной шиной. Говорю это потому, то есть немало более или менее известных людей, которые убеждены, что повествовательность, сюжетность изжили себя [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

30.5.08

[...] Теоретизирования о трёх метанаррациях для меня, увы, все-таки остаются умственными упражнениями. Освобождение человечества, теология духа, историзм. Какое отношение это имеет к Чехову? (Если не считать «теологией духа» поиски смысла жизни). Сюжет и мораль «Анны Карениной» однажды были спародированы в известной тебе эпиграмме. Сюжет «Смерти Ивана Ильича» можно вообще свести к двум словам: жил, умер. Какие «великие сюжеты» захочется перечитывать после мировых катаклизмов, которые предвещает Кома? Я как-то примерял к себе популярный вопрос: какую книгу вы бы взяли с собой на необитаемый остров? Может, томик Пушкина, томик Манделыштама, Экклезиаста или какую-нибудь другую главу из Библии. Впрочем, стихи можно повторять про себя наизусть, не нуждаясь в книге [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

*Июнь 2008
[получено 29.6]*

Дорогой Марк, я обретаюсь в Чикаго, но не знаю, удастся ли отправить отсюда письмо: компьютер не владеет русским языком. Собираюсь пробыть здесь до 24-го. Живу довольно однообразно. Илья и Сузанне работают, иногда бываем в плавательном клубе, ребята ездят

в школу; эта школа, называемая British School, особенная, в некоторых отношениях привилегированная, но зато и дорогостоящая. Каждый раз приходится привыкать к климату Среднего Запада, то и дело наваливается жара, правда, не вполне обычная для этого месяца: за 30 градусов (по Фаренгейту ещё выше). Я немного занимаюсь домашними делами, утром гуляю. И всякий раз, подходя к дому, удивляюсь — может быть, оттого, что вечно окутан, словно душными облаками, воспоминаниями: старость! Мне было 17 лет, когда я придумал немецкую транскрипцию своей фамилии, надписывал ею книжки, — и вот, кто бы мог подумать, на другом краю жизни, на другом берегу океана, я вижу теперь эту изобретённую мною фамилию красивыми буквами на почтовом ящике, прикреплённом к ограде: Faibussowitsch.

Странно: только что кончилась война. Всеобщая единоклюнная — до и как могло быть иначе — ненависть к Германии, ко всему немецкому. А я с этой транскрипцией. Со своими книжками, с фрактурой, то есть готическим шрифтом (не путать с медицинским значением слова fractura — перелом, см. «Севастопольские рассказы» Толстого). Но я пребывал в другом веке и в какой-то совершенно другой Германии, проще говоря, витал в облаках. Вдобавок классическая филология. Гёте, Шопенгауэр, Ницше, Эрвин Роде. Тут было нечто скверное, опасное, тут скрывлось изысканное коварство судьбы. Ни эвакуация, ни военная и послевоенная нищета ничему не научили. Я был ходячий анахронизм. И пришло возмездие. В стихах Целана надзиратель-эсэсовец — это «учитель из Германии». В нашем случае так далеко дело не зашло, и, однако, госбезопасность, эти крысы в погонах, и Внутренняя тюрьма, и Бутырки, и всё остальное — были не что иное, как курсы переподготовки для познания России. Помню, правда, что совсем уже накануне ареста я стал как-то чувствовать, что, наконец, взролею, и всё же понадобился лагерь, чтобы увидеть жизнь, увидеть страну, какой она была в действительности, «и ей взглянуть в лицо». Я довольно часто возвращаюсь к лагерю, этому феномену века, и, может быть, не без некоторой заносчивости думаю о том, что лучшей школы постижения России не было. Лагерь — это был сгусток, концентрат (не зря он и называется концентрационным), наподобие американского сгущённого молока и яичного порошка, который разводили водой и делали омлет, вся Москва кормилась этим в послевоенные годы; концентрат русской жизни и русской истории. Сейчас, конечно, никто об этом и слышать не хочет; но ведь лагерь жив в своём потустороннем бессмертии, лагерь представляет собой не только идеальную модель государственного устройства, но и, говоря высоким слогом, некую специальную форму или ипостась необъяснимого бессмертия нашего отечества.

Я тут листал и почитывал разные книжки, прочёл биографию Бруно Шульца — только что вышедший немецкий перевод известной книги Ежи Фицовского «Регионы великой ереси». Какая это страшная, горестная, с постоянным, задолго до войны и оккупации предчувствием смерти, судьба! Когда-то Петер Лилиенталь принёс мне томик прозы — всё, что осталось от Шульца, не считая двух-трёх статей и собранных Фицовским, тоже немногих писем. В те годы в Мюнхене была устроена выставка рисунков Бруно Шульца. Я был, кажется, первым, кто говорил о Шульце по-русски, по радио, то есть для очень малочисленной публики. Немного позже видел документальный фильм, снятый одним немцем, о Дрогобыче, о поисках следов Шульца и начисто исчезнувшей еврейской общины. Опять же эта скандалёзная история с выломанной и увезённой в Израиль настенной живописью Шульца... Всё одно к одному. Читал «Героя нашего времени», читал купленную в Париже биографию Бодлера, небезынтересные «Комментарии» Георгия Адамовича, ещё кое-что. Так и проходят эти три недели [...]

В последнее время я как-то ещё сильнее чувствую, что нахожусь вне метрополии, вне современного российского мира, и как писатель, и в других отношениях, — а ведь это по-прежнему, не правда ли, целый мир [...] (Ты мне тоже часто кажешься эмигрантом).

Вот мы и вернулись к литературе.

Можно говорить о двойной экспатриации: из России, но также из времени, из «эпохи». В кавычках, потому что эпохой может стать — если вообще становится — только то, что уже прошло. Литература сидит на камушке и ждёт, когда, наконец, безвременье напалит на себя величественный мундир, превратится в эпоху. Я всегда думал (и пытался верить другим), что литература, точнее, то, что заслуживает этого имени, — родственник той гегелевской птицы, которая расправляет крылья после захода солнца, что писать серьёзно можно лишь о том, что уже отзвучало и отстоялось в сознании, в этом отличие прозы от поэзии. Вампир дожидается сумерек, чтобы вылезти из гробешника. Это для меня ясно и сейчас. И всё же, всё же! Чувствуешь, сознаёшь свою порабощённость прошлым. Так бывало, впрочем, и с великими писателями. Мне кажется, живи я в России, я бы и там мало интересовался сегодняшней жизнью, как не интересуюсь футболом.

На днях я посмотрел в одной русско-американской семье российское телевидение (которое вижу примерно с такой же частотой, как телевидение острова Тасмания) и в который раз ощутил это двойное отчуждение. Смотрел как на какую-то экзотику репортаж об открытии

в Севастополе памятника Екатерине Второй (почему не Анне Иоанновне? не Марфе Посаднице?). Начальство толкало речи, и какие-то ветераны выражали свои патриотические чувства, и трёхцветные царские знамёна колыхались, и бородатые иереи размахивали кадилами, — язычество какое-то, — но ведь там это зрелище вовсе не ощущается как пародия. И кого в этой толпе оживлённых и неплохо одетых людей может, к примеру, интересовать то, что мы здесь пишем и обсуждаем? Эмигрант — это не тот, кто живёт вне отечества, а тот, для кого отечество стало чужбиной.

Мне хочется понять этих людей — их можно понять. Я слышу голос дикторши, мне кажется, что она из породы тех нахрапистых, хамоватых баб, которые были инструкторами райкомов и заведующими продуктовых магазинов. Но это обыкновенные женщины и, должно быть, полные своих забот. И дальше уже начинается привычная и безобразная карусель мыслей: что бы я делал, куда бы я делся, окажись я снова в России. Кому нужна там моя литература, и так далее.

Написал я тут довольно большую статью о Вагнере для нью-йоркского журнала «Слово/Word» и почти закончил черне рассказ или повесть, о которой писал тебе. Борхес там не ночевал, но название я всё же придумал другое. Напечатать её вряд ли удастся. Тоже какое-то рабство: когда-то я ведь совсем не думал о публикациях, и всё было прекрасно. Да и теперь пора бы уже забыть о всех этих книговыпускателях, у которых есть одно неоспоримое преимущество: они издаются, ещё не видя рукописи, чувствуют — стоп, не годится. Никто не купит. Кстати, читая книжку Адамовича, лишний раз понимаешь (об этом и ты пишешь в книге «Способ существования», в которую я заглядываю время от времени), что литературе вовсе не обязательно нужны читатели.

Отчуждение может быть идеологическим или, скорее, идеалистическим, такими видели себя эмигранты первой послереволюционной волны. Глуповатый Гуль написал мемуары «Я унёс Россию». (В жилетном кармане, что ли?) Разумеется, унёс «настоящую». Адамович рассуждает о двух Россиях. Отчуждение — только от другой; а мы, само собой, принадлежим к первой и настоящей. Ему можно было бы ответить, как Томас Манн осенью 45 года, в известном тебе докладе: нет двух Германий — злой и доброй, есть только одна Германия, превратившаяся из доброй в злую. Есть единственная Россия, и третья волна, за исключением её правого, ничему не научившегося крыла, об этом, наконец, догадалась. Это уже другое, прозаическое отчуждение [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

2.7.08

Дорогой Гена, без поясняющей приписки я могу лишь догадываться, что письмо, написанное тобой еще в Чикаго и обозначенное месяцем без даты, отправлено тобой уже из Мюнхена. Думаю, ты пребывал там не только в мире воспоминаний и литературной работы. Хотелось бы знать, о чем вы там беседовали с Ильей. Интересна ли тебе его нынешняя медицина, а ему — нынешняя литература, твоя, и не только? Тут ведь отчасти ответ на вопрос, могут ли наши писания быть интересны кому-то, кроме остатков уходящего поколения. Мой старший внук (которому сейчас 22 года) сказал, что ему понравился мой «Ловец облаков». Но вообще, добавил, меня сейчас интересует другая литература. Это естественно. Я пытаюсь понять, как устроены мозги новых детей; философствования одного из младших внуков я как-то воспроизвел во «Второй навигации». Ты пишешь: «Живи я в России, я бы и там мало интересовался сегодняшней жизнью» А в Германии? А в Америке? «Литература сидит на камушке и ждёт, когда, наконец, безвременно... превратится в эпоху». Что это за дама — литература? Не люблю я таких обобщений. Герой нашего времени был сослуживцем Лермонтова по полку, Флобер писал о близкой соседке Эмме, Набоков о современной девочке Лолите; черты эпохи проступали независимо от намерений. Эмигрировать из времени можем только мы сами, территориальное отдаление сейчас мало что значит. Дина Рубина и Михаил Шишкин пользуются успехом в стране, получили престижные премии; можно назвать десятки других имен [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

2.7.08

[...] Конечно, говоря о том, что я и в России не слишком интересовался бы текущими событиями, я не имел в виду изоляцию от реальных времени, места и социального положения: они так или иначе дадут о себе знать.

Растворил я окно, стало душно невмочь,
Опустился пред ним на колени.
И в лицо мне пахнула весенняя ночь
Ароматом цветущей сирени.

Я помню, что когда я в детстве слышал романс на эти стихи, которые я так люблю, возникало некоторое недоумение и, пожалуй, зависть. По-видимому, человек имеет возможность быть одному в отдельной комнате, это даже считается чем-то естественным, само собой разумеющимся. За окном сад или что-нибудь в этом роде. Но дело происходит не на даче, на дачу выезжают в начале июня, а тут середина мая — цветёт сирень. Человек живёт в собственном доме. Позже я понял, что стихи попросту крамольные.

Вдруг из маминой из спальни,
Кривоногий и хромой,
Выбегает умывальник
И качает головой.

Умывальник, куда наливают воду из кувшина и который можно передвигать. Из маминой спальни. А это ещё что за сон? Какая может быть спальня, когда все — родители и дети — живут в одной комнате в коммунальной квартире. И цензура пропустила такое стихотворение.

Если нас ещё будут читать лет через пятнадцать, возникнет такое же недоумение.

В этом смысле для писателя игнорировать своё время невозможно. Он сам не замечает, что сидит по уши «в сегодняшнем окаменевшем говне», как выразился поэт. Я хотел лишь сказать (имея в виду только себя) о таком отрыве от страны, когда написанное оказывается не только неактуальным, но попросту чуждым. Ссылки на Флобера и т.п. для возражения не годятся: наши литературные предки не жили под столь ощутимым гнётом сиюминутной актуальности. Но есть разница между своевременным (актуальным) и современным. Набоков был эмигрантом. Он был в высшей степени современным писателем, куда более современным, чем писатели в СССР, — и в такой же мере неактуальным для советского читателя.

Ты задал вопрос об Илюше. Хотя я теперь — единственный, с кем он говорит по-русски (с русской средой в Чикаго практически нет контакта), он не только не забыл язык, но интересуется и литературой. Интерес этот, правда, концентрируется вокруг классиков, причём гораздо больше на поэтах. С современной русской литературой он не знаком. (Булгаков, или Ахматова, или Трифонов — это для него уже не современная литература; их-то он знает неплохо.) Он спрашивал меня, не могу ли я порекомендовать ему кого-нибудь из ныне пишущих авторов, и я смог назвать всего два-три имени.

Трудность ещё и в том, что он, как принято у врачей в Америке, очень много работает. Встаёт рано и возвращается поздно. Детей надо накормить — он готовит сам — и отвезти в школу, они с Сузанной делают это по очереди. Кроме того, он довольно часто дежурит в клинике по ночам и занят бóльшую часть week-end'ов.

Говорим мы на самые разные темы, в том числе о президентских выборах в Америке, об особенностях разных регионов (он много ездил по стране), о России (его отношение более пессимистично, чем моё, он считает, что Россия стала типичной страной Третьего мира) и, конечно, о музыке и литературе.

С современной молодёжью в Германии я общаюсь весьма редко. Мои друзья — это чаще всего такие же старые пердуны и пердуньи, как я. Я встречал ребят и девушек, которых заинтересовали мои сочинения, меня даже хвалили. Не думаю, чтобы нечто подобное было так уж характерно для молодёжи, что в Германии, что в России. Студенческая молодёжь читает главным образом современных авторов, европейских и американских. Весьма ценятся экранизации. Россия сейчас вышла из моды. Мои собственные интересы, как и прежде, сосредоточены больше — если говорить о немецкой литературе, философии и музыке — на XIX веке, на времени Вильгельма II и Веймарской республики, на истории нацизма и первых послевоенных десятилетиях [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

12.7.08

Дорогой Гена, твоя бандероль дошла непривычно быстро, спасибо. Теперь я могу тебе признаться, что читал твой роман еще в Библиотеке Перенского и не вполне его воспринял. Некоторые страницы показались мне замечательными, описания великолепными, мысли глубокими. Но чем дальше, тем больше все подстраивалось под заранее заданную идею, сюжетные решения казались неорганичными, размышления слишком публицистичными. Я тогда не стал тебе писать о своем впечатлении, ты ведь и сам не хотел мне свой текст показывать.

А потом пришел журнал со средней частью романа, я начал читать — какая прекрасная проза! Точные картины быта, чувство атмосферы, времени, замечательные суждения, пунктирно обозначенный, но все-таки уже обретающий плоть главный персонаж — многое. И что для меня особенно важно: ты, кажется, впервые (после «Запаха звезд») обратился к своему лагерному опыту — эти страницы, на мой взгляд, самые лучшие.

Возникали, конечно, оговорки. Глава о «карлике» показалась вариацией общеизвестных, а потому необязательных мест, ничего для меня нового, существенного, (кроме фирменного стиля твоей эссеистики). Не очень убедительно «видение» старухи и доктора, есть другие мелочи. Но главное превосходно. Словно в компьютере я как-то не так воспринял текст. Может, чтение там не так полноценно, как на бумаге?

И вот пришла твоя книга, я сразу стал читать — увы, ожили прежние оговорки. При тех же достоинствах — опять сомнительными оказались «видения» старухи, фантастический визит Вернике. Главы об исторических лицах и событиях — опять на уровне хорошо известного (вещания Бормана о евреях и Сталине, эпизоды с Гитлером — не буду перечислять). А еще сомнительней послелагерные главы, особенно связанные с литературой, начиная с визита к Олегу Двугривенному и вплоть до посиделок у академика Курганова. Общие места, примитивная публицистика в духе «Нашего современника», в романе ей нечего делать, она вообще вне обсуждений — и почему так покорно выслушивает этот бред Писатель? Что-то вякает виновато: я это вычеркнул. Почему он вообще приходит каждый раз именно к этим людям, есть ли в этом мире другие? У него в конце концов не оказывается ни характера, ни личности, ни судьбы, невозможно понять, чем он зарабатывает на жизнь (кажется, лишь однажды назвал себя посудомоем), почему не эмигрировал, почему стал побираться, почему покончил с собой. На страницы растянуты ставшие у тебя уже фирменными, но здесь все более гипертрофированные диалоги, полные недоговоренностей, намеков, междометий. («Вы думаете?» «Ну, вы же понимаете» «Гм». «М-да». «Хе-хе».) И повествование все откровенней нанизывается на заданную, заранее сформулированную идею. Ты мне ее излагал не раз, в одном из последних писем можно прочесть: «Какое это, в сущности, упадочное произведение! Ведь он (*роман*) тоже на свой лад притязает если не на синтез существования в минувшем столетии, то всё же на некий итог — но какой плачевный итог. Герой романа — вовсе не герой, а всего лишь жертва». И т.п. В нашей жизни полно опустившихся людей, иных можно считать жертвами времени. «Что это за времена, что это за эпоха, когда какого-то Элвиса Пресли боготворят десятки, сотни миллионов?». Кончатся с собой из-за этого? Герой, правда, терпел еще шесть лет, в 1997 году его все еще почему-то печатали — в отличие от автора, который писал, как я понимаю, буквально то же самое, что и его писатель. Нет, на правдоподобный синтез это не тянет.

Больше всего мешает неизбежная переключка с судьбой и личностью автора — подлинными, несконструированными. Я вновь отметил,

что в твоей прозе остался почти не осмыслен, не артикулирован послелагерный опыт. О детстве ты прекрасно написал в «Я воскресение и жизнь» (во «Вчерашней вечности» есть с этим романом переключки), о студенческих годах и аресте — в «Антивремени» и других работах (тоже узнаются переключки, почти повторения, например, встреча со стукачом). Теперь, наконец, ты полноценно написал о лагере. А жизнь провинциального врача, обретенная любовь, семейные радости, драмы, заботы, встречи, давшие друзей, с которыми было можно хотя бы по-человечески говорить, иллюзии, неумолимо опровергаемые реальностью, но все-таки возобновлявшиеся, наконец, литература, не просто позволявшая противостоять эпохе, но наполнявшая жизнь несравненным, подлинным содержанием — почему ты годами словно умышленно обходишь этот опыт? (Мне известны у тебя лишь эпизодические попытки).

Я бы не писал тебе этого так откровенно, рискуя огорчить, если бы не знал, что твоя поразительная творческая форма позволяет тебе и сейчас довести до завершения замысел, который ты называешь «синтетическим романом». Пусть это будет не единый текст, а их совокупность. Мне представляется цикл, (в какой-то мере уже почти написанный), который позволит проследить судьбу героя от детства до жизни в Европе. (Прекрасная, впечатляющая судьба — какая тут жертва времени? Какой редуцированной, заданной, сконструированной по сравнению с ней выглядит история твоего «писателя»? Мне, кстати, все время мешало это обозначение.) Советовать же на историю лучше персонажу, чем автору.

Я пишу тебе это очень серьезно. Ты себя как будто недооцениваешь, окорачиваешь. Более или менее удачные страницы есть в любом творчестве. Но пока способен что-то переосмысливать, переоценивать, искать заново — значит, еще живой. Ты, слава Богу, именно такой.

Желаю тебе втянуться в работу, которая может действительно стать итоговой — силы для этого у тебя, право же, есть [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

14.7.08

[...] Мой роман, да... Он дался мне нелегко и всё время вызывал большие сомнения. Твоё письмо оживило их. Оно, можно сказать, коснулось самого болезненного нерва. Но даже если бы эти сомнения окончательно сломили меня, оставался бы один выход — прекратить

работу, засунуть куда-нибудь подальше; поправлять роман было бы невозможно, писать заново я не в состоянии. Что есть, то есть. Попробую тебе ответить — и одновременно самому себе.

Зная мою жизнь, ты вольно или невольно соотносил и даже отождествлял «писателя» с автором. Тем более, что многое в романе повторяет, варьирует, так или иначе обыгрывает известные тебе мотивы моих прежних сочинений. И ты совершенно прав, говоря о «переключках, почти повторениях». В сущности, я всю жизнь писал одну хаотическую книгу о самом себе. И — не о себе.

Ты пишешь: «Больше всего мешает неизбежная переключка с судьбой и личностью автора — подлинными, несконструированными». Эта помеха и есть то, чего я опасался. И дальше, как будто уже не сомневаясь в том, что это автобиография или, по крайней мере, вещь, которая пишется целиком на автобиографическом материале, ты спрашиваешь: «А жизнь провинциального врача, обретенная любовь, семейные радости, драмы, заботы, встречи...?»

В самом деле, куда всё это девалось?

С первой же страницы повествователь именуется себя «писателем» (хотя вначале ему, по-видимому, 6–7 лет), время от времени обращается к самому себе на «ты», потом снова «он». Я пытался объяснить эту несурязицу в постскриптуме к роману, но написал об этом невнятно. Возможно, следовало бы от этого послесловия вовсе отказаться.

Дело в том, что этот роман — отнюдь не автобиография (или фрагменты автобиографии). Это произведение некоего самодельного сочинителя, который является главным персонажем своего сочинения, и это сочинение — перед нами. Оно не то чтобы готовый роман, но пишется как бы на наших глазах. Мне показалось не столько интересным, сколько необходимым организовать весь роман по принципу двойного (или даже тройного) зрения: жизнь, переживаемая заново, которая тут же и описывается, и обдумывается, а заодно и обдумывается, как это надо сделать. Что, конечно, усложняет чтение. Это жизнь в высшей степени неудачная — в сущности, история жизненной катастрофы, — и катастрофа эта запрограммирована, отчего и возникает впечатление, что повествование, как ты пишешь, «все откровенней нанизывается на заданную, заранее сформулированную идею». Это верно, потому что по условиям рассказа крах — творческий и жизненный — неизбежен. Он, действительно, предвиден. Вопрос, чем и как он запрограммирован, что именно предопределило этот крах или, проще, кто виноват: «эпоха», страшная история страны или сам этот человек, слабохарактерный, слабовольный, вечно неуверенный в себе, типичный *Versager*, вообразивший себя

писателем, а на самом деле литературно несостоятельный графоман — а может быть, всё вместе, — вопрос этот остаётся открытым, я не хотел и не мог однозначно ответить на него.

В самом деле, если исходить из того, что прототипом этого сомнительного героя является сам автор, твой друг, то вся история покажется неубедительной, искусственной конструкцией, чем-то вроде плаксивой исповеди человека, которому нравится называть себя жертвой, который жаждет сочувствия, хочет, чтобы ему утёрли крокодиловые слёзы.

Описывая свою жизнь, этот персонаж не может удержаться и от того, чтобы не вообразить и не проиграть возможные (или невозможные) варианты своей судьбы, Поэтому роман уснащён явно неправдоподобными эпизодами, ты называешь их «видениями» — пожалуйста, но я бы предложил другое толкование. Всё это — и ночной приезд купца, которых хочет откупить у бывшей дворянки некогда принадлежавший ей дом, и феерическая поездка в несуществующее Дворянское собрание, и царская похоронная процессия, и далее подобные же очевидные нелепости — всё это гипотетические варианты собственной жизни или жизни окружающих.

Мальчик уезжает куда-то поздним вечером с полусумасшедшей старухой, и родители никак на это не реагируют — как это может быть? Моё толкование (может быть, одно из возможных): этот сюжетный вариант существует в мозгу писателя и для того ребёнка, каким он был когда-то. Для родителей такой ход просто не существует, у них всё происходит в нормальном обыденном мире.

То же относится к неожиданному визиту А.Я. в инвалидной коляске, которую везёт доктор. Умершая старуха, как и покончивший с собой много лет назад доктор Каценеленбоген, — не призраки и не сновидение, а некий прыжок в сторону, не осуществившийся ход (допустим, что она жива, разыскала воспитанника — что бы она сказала?).

И, наконец, то же касается истории. Повествователь постоянно думает об истории страны, не может отделить себя от истории, хоть и пытается то и дело, чуть ли не с детских лет, сбежать от истории (его «побеги»). Он чувствует, что попал под колёса. Во всяком случае, понимает, что война, победа, диктатура, лагерная система — это центральные события века, которые одновременно являются и решающими этапами его собственного существования. И возникает желание переиграть историю, как переигрывают шахматную партию, другими словами, представить себе альтернативные пути. Например: немцы заняли Москву, и майор вермахта посещает старуху Тарнкаппе. Или: Вернике пытается бежать из гибнущего Берлина, с ним рядом оказы-

ваются Мартин Борман, происходит ночной разговор, Борман знал, оказывается, о заговоре 20 июля, но националсоциалистическая идея бессмертна, будущее «за нами», ради этого Германия принесла себя в жертву и пр. Всё это, разумеется, бредятина, ничто из того, что известно о Бормане и его конце, этого никак не подтверждает. (Я читал дневник Бормана, его хотели когда-то опубликовать в «Военно-историческом журнале», был подготовлен русский перевод, текст набран, но не напечатан. Дневник сугубо деловой — такого-то числа состоялось такое-то совещание, — безличный, никаких собственных высказываний. Окончательное подтверждение, что он таки в самом деле погиб в Берлине в последние дни войны, было получено, как ты, вероятно, знаешь, в 70-х гг.). Или: Сталин околел, но на самом деле это был не Сталин, а Геловани. И так далее. Проигрываются фантастические варианты истории, как и нереальные ответвления собственной жизни, которые входят в роман на равных правах с действительностью, какой она оказалась *in ge*.

Может быть, это символический приём, попытки на свой лад осмыслить реальную действительность. И затем полумысли, полугрёзы на тему о том, насколько вообще «действительна» действительность для пишущего роман о себе и о времени.

То, что моя книга подчинена некоторой общей идее, самоочевидно, — я и не спорю. Роман упадочный — и это тоже бесспорно. Вдобавок откровенно нереалистический. Конечно, некоторую внутреннюю логику нужно было соблюсти. «Писатель» послал свою рукопись известному литературному критику-приспособленцу, — на дворе оттепель, есть ещё какие-то иллюзии насчёт качества своего изделия, смутная надежда опубликовать его, То, что он посещает компанию патриотов, сидит за столом у академика, который немного похож на старого осла Шафаревича, покорно выслушивает всю эту херню — почему бы и нет? Олег Двугривенный говорил о проекте журнала. Новый национализм — положим, он стар и заносен, а всё же это веяние времени. Надо их, по крайней мере, выслушать; а вдруг они в чём-то правы? Так думает, может быть, этот бедолага, но протестует желудок — то ли от непривычно роскошной жратвы, то ли от услышанного. Протестует лагерное прошлое — в виде очередного рецидива хронической дизентерии. Благоустроенный сортир в квартире академика напоминает лагерные нужники, а может быть, и уборную в коммунальной квартире, где принял яд доктор Каценеленбоген.

Я упомянул об общей идее. Её не могло не быть в романе такого сорта. Другое дело, что идея упадочная. Но тут уж (как говорил Стра-

винский в ответ на упрёк, что его музыка «больна») вините большую эпоху. Так как мы об этих материях не раз рассуждали в письмах, для тебя это не новость, да и вообще не новость: крушение веры в исторический разум. Вместо Божьего промысла, благой воли Творца, вместо грандиозного самоосуществления гегелевской абсолютной Идеи, вместо иудейской стрелы — истории, которая несётся сквозь тьму к Царству Божьему на земле, — абсурд. Такова на самом деле история.

Всё это в романе как бы подразумевается, сквозит; повествователь, по-видимому, приходит к чему-то похожему на эту идею. «Сетовать на историю, — пишешь ты, — лучше персонажу, чем автору». Я думал, что именно он, этот персонаж, поступает так; об этом есть и в тексте; автора же, то есть меня самого, в романе нет. Но у того, другого, который упорно называет себя писателем (хотя порой сам, предвзявля твоё замечание, тяготится этим самоназванием, см. главу XXXVI, стр. 199), осталась главная иллюзия: литература — вот он, единственный свет в окошке. Литература преодолевает абсурд, упорядочивает мою жизнь и тем самым вносит в неё смысл. Литература превращает прошлое в вечность и этим самым возвращает истории утраченный смысл. Но и это оказывается иллюзией. «Писатель» пытается покончить с собой (снова — неудачно) не оттого, что масса боготворит Элвиса Пресли, этот Пресли — просто случайно подвернувшийся пример, один из символов эпохи. И то, что повествователя избили бандюги, — всего лишь последняя капля.

Конечно, дорогой Марк, я не ответил на все твои возражения. Тем более, что они вовсе не кажутся мне абсолютно несправедливыми. Вдобавок роман может восприниматься по-разному, это даже утешает. Не в этом дело. Твоя критика — ты сам пишешь об этом — чрезвычайно серьёзна. Что совершенно очевидно, так это то, что и на этот раз «фрагменты XX столетия» на синтетический роман не тянут. Куда уж там! Некоторые эпизоды и ситуации собственной своей жизни я по разному поводу так или иначе обсасывал. Но свести их на уровень высшего обобщения, соединить, создать синтетическое видение эпохи — тут, действительно, можно говорить о писательской несостоятельности, если угодно — о крахе моей литературы, как бы ни обставлять его всякими оправданиями, ссылками на объективную невозможность, смерть «метанарраций», на то, на сё — наподобие неудавшейся, будто бы заведомо обречённой попытки построения Общей теории поля. Да и поздно уже. В общем, не знаю. В любом случае — спасибо тебе, дорогой друг, за обстоятельный, нелепый и при всей строгости благожелательный отзыв. Обнимаю тебя. Твой Г.

М. Харитонов — Б. Хазанову

15.7.08

Дорогой Гена, я бы не стал повторять кое-что сказанное, если бы не чувство, что ты отвечаешь не совсем мне. Я, конечно же, не отождествлял героя с автором, не настолько же я, в самом деле, простодушен. Ссылки на твою биографию служили для меня лишь доказательством, что мир, в котором мучается твой герой, к концу романа оказывается все более сконструированным, одномерным, одноцветным, а поведение героя не вполне достоверным. Твой писатель — отнюдь не графоман, если он написал тот самый текст, который мы читаем, ты это подтверждаешь. (Галя, кстати, начала его читать, и первые главы показались ей «волшебными».) И он отнюдь не *Versager*, если им восхищаются во Франции. Можешь ли ты объяснить мне, почему даже после зарубежного успеха такой писатель (интеллигентный москвич, не провинциал) не встретил в Москве ни одного достойного, осведомленного, понимающего собеседника, почему не захотел уезжать, почему остался даже в новых условиях не напечатанным? Твои слова о «запрограммированной катастрофе», увы, подтверждают: прежде всего потому, что ты заранее решил создать картину безнадежного, беспросветного времени, страны, закрытой от мира, не способной меняться и т.д. и т.п. — вплоть до метаисторических обобщений.

И насчет «краха» твоей литературы — ты просто мое письмо не прочел. Я высказал в нем убеждение, что «синтетический роман», о котором ты мечтал, в значительной мере уже написан. Только он имеет вид не одного отдельного текста, а цикла вроде «Человеческой комедии» Бальзака. Остается, может быть, кое-что дописать и, после некоторого отбора, сознательно объединить все волей автора, к которому завершающее понимание, как это бывает, нередко приходит после многолетней работы [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

16.7.08

[...] В прошлом письме — не знаю, стоит ли снова возвращаться к моему злополучному роману, — я отвечал, конечно, тебе, а не кому-то, — но и себе самому. Твои замечания можно, собственно, свести к простому заключению: если с первой половиной книги ещё можно ху-

до-бедно примириться, то последующие главы — послесоветское время — однозначно свидетельствуют о том, что автор не знает этого времени, с новой Россией незнаком, и оттого рисует её однобоко, предвзято и в конечном счёте неверно. «Вас здесь не стояло». Я против этого возражать не могу.

Мотивы поведения «героя», могу ли я объяснить — опять же для себя, — почему (твои слова) «даже после зарубежного успеха такой писатель (интеллигентный москвич, не провинциал) не встретил в Москве ни одного достойного, осведомленного, понимающего собеседника, почему не захотел уезжать, почему остался даже в новых условиях не напечатанным»? Пожалуй, могу. Никакого зарубежного успеха нет, просто парижское издательство, на волне интереса к переменам в СССР, решило заняться неизвестным автором, что-то такое написавшим, а что из этого получится, неизвестно. Почему писатель не встретил в Москве родственную душу, понимающего собеседника, — это, я думаю, можно понять, принимая во внимание его характер, который должен был более или менее проясниться из предыдущих частей романа, его непреодолимое одиночество, подозрительность, скрытность, неуверенность в себе, отсутствие друзей, его, если угодно, аутизм. Почему не уехал — потому же, почему не уехали многие, которым, казалось, больше нечего было делать в России. Почему не напечатался? Да потому, что это было, в особенности для неизвестного человека, совсем не так просто, как это сейчас кажется. Да и сам роман увяз в бесконечном переписывании.

И, наконец, — поверх всех возражений и попыток оправдываться, — если он в самом деле настоящий художник, его судьба не может не быть трагичной [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

17.7.08

[...] Галя сегодня дочитала роман и просила передать тебе свои поздравления. Мне она сказала, что я, видимо, не совсем внимательно прочел последние главы, где содержится ответ на многие мои вопросы. Я тотчас перечел эти главы — пожалуй, в самом деле чего-то не воспринял. Мне, например, только сейчас пришло в голову, что эпизод с француженкой, с виртуальным успехом во Франции вполне мог быть плодом воображения самого героя (он же автор). Как и многие другие. Тогда приходится взять назад некоторые утверждения. Особый вопрос, чьей волей оказалась именно так запрограм-

мирована судьба героя-автора: абсурдом истории, устройством его собственного ума или предварительной убежденностью того, чье имя стоит на обложке.

Но тут мне Галя сказала: «А твой Зимин (герой «Приближения» и «Проекта Одиночества»), что ли, другой случай?» Я начал было объяснять, что у меня все-таки немного другое — и вдруг осекся. Потому что подумал не только о Зимине, но о прозе, над которой сейчас бьюсь — и почувствовал, что, не заметив, поддался той же инерции, уже, казалось бы, отработавшему свое ходу мысли. Захотелось сразу там многое переосмыслить, переделать, я тут же записал на листках некоторые идеи.

Но к прозе пока вернуться не могу, потому что, упершись там в очередной тупик, начал пока обдумывать сразу несколько верлибров. Надо хоть что-то сначала закончить, освободить мысли.

Вот так, начав с возражений тебе, вынужден был опровергнуть себя.

Книжка верлибров, о которой ты спрашиваешь, дожидается в одном издательстве то ли гранта, то ли спонсора. В других издательствах мне тоже намекали: нашли бы деньги [...] До чего-нибудь еще, думаю, доживу. Средства на пропитание мне иногда поступают от старых переводов. Только что вышла толстенная, 1020 стр., книга Георга Форстера «Путешествие вокруг света» (с капитаном Куком). Тебе это имя, думаю, знакомо. Сейчас даже представить не могу, как я нашел в себе силы ее перевести, работая одновременно над «Сундучком» (утром писал, вечером переводил, сразу на машинке; а там были и цитаты английские, французские, латинские). Язык 18-го века, прекраснейший; профессор Тумаркин, автор научного комментария, в послесловии отмечает достоинства перевода. Между тем имя переводчика в этом, втором издании не указано, пришлось звонить в издательство: пусть укажут хоть в интернете. Знакомые порядки. Но хоть деньги уплатят.

[...] Ну, и чтобы продемонстрировать хоть какой-то результат своих творческих бдений — один из последних верлибров:

Почувствовать, понять загадку,
Ее очарование, вникать, еще не разгадав,
Пока она вибрирует, трепещет
Неуловимым переливом красок,
Возможностей, как рыба, еще в воде,
Еще не давшаяся в руки, живая,
Не потускневшая на воздухе — как стих,
Еще таинственный, не умерщвленный
Единственным, последним толкованьем.
[...]

19.7.08

Дорогой Марк, верлибр об очаровании загадки (и, может быть, загадке очарования), очаровании, которое развеивается, когда найден ответ, якобы окончательный, после которого вроде бы уже не о чем спорить, — можно истолковать, не правда ли, и как притчу о литературе. «Почувствовать, понять загадку» — значит воздержаться от категорического ответа, признать задачу нерешаемой. Последней, исчерпывающей, единственно верной интерпретации нет.

Передай мою благодарность Гале — она меня как-то ободрила.

В самом деле, при всей разнице твоей и моей прозы, приёмов конструирования сюжета (я. по-видимому, более традиционный писатель), несходстве стилистики и пр., у нас очень много общего, и, например, — что мне не приходило в голову, но Галя права, — Зимин и мой «герой» одного поля ягоды.

Чьей волей запрограммирована судьба «героя»... Судьба (одного корня со словами суждение и суд) действующих лиц предрешена — ею правит автор. Он творит суд. Так вырисовывается теологическая модель прозы. Но нужно сделать вид, что Бога нет. Другими словами, Бог должен был бы каким-то образом увязать предопределение с одной стороны со свободой воли человека, а с другой — со случайностью, игрой непредвиденных обстоятельств. Это и есть двойная дилемма, которая стоит перед художником [...]

20.7.08

[...] Я только что прочёл три эссе — как я понимаю, фрагменты из дневника, но они читаются как самостоятельные тексты. Я прочёл их с напряжённым интересом. Сколько было нами говорено, ещё в России, на эти темы!

В старании отдать себе отчёт, что, собственно, представляет собой русская интеллигенция (это был предмет моей первой статьи, опубликованной в журнале Merkur через несколько месяцев после нашего приезда в Германию), входит и сомнение в самом её существовании, и вера в то, что интеллигенция всё-таки не умерла. Помнится, мы то и дело цитировали слова Георгия Федотова о том, что интеллигенция — это некий орден.

У меня был роман, написанный уже здесь, под причудливым названием «Нагльфар в океане времён», по-немецки «Unten ist Himmel»,

на него в России никто не обратил внимания, вероятно, никто его и не читал. Но я его всё-таки люблю. Я сейчас разыскал там одно место (довольно длинное), речь идёт о компании, где философствуют о судьбах страны, проводя время не за книгами, увы, а за картами в игорном притоне, который устроила у себя на дому жиличка по прозвищу Раковая Шейка.

Кто сидел под абазуром? Не всё ли равно? Надо ли комментировать эту сцену — разве только добавить к сказанному несколько слов, чтобы не отвлекать читателя от нити нашего повествования. Итак, если можно представить себе рать без оружия, партию без устава, рыцарство без Святой земли, если предположить, что может существовать знание, свободное от принудительности науки, философия, которой неведома дисциплина мысли, теология, неспособная доказать Бога, патриотизм, настоянный на отвращении к родине, и умение чувствовать себя дома во всех эпохах, кроме той, в которой живут, — тогда придётся признать преемственность Ордена Игроков в русской истории, иначе называемого Орденом Интеллигенции: как это ни покажется удивительным, он дожил до наших дней. Традиция запрещала игрокам обсуждать исходные послышки их умозрений, подобно тому как не обсуждаются принципы построения карточной колоды; смысл иерархии королей, дам и валетов, замкнутой в себе и доступной лишь манипулированию по законам игры, значение таких терминов, как история, время, народ, таких определений, как национальный, почвенный, органический, не уточнялись, и синтетический подход к действительности — или к тому, что принимали за действительность, — решительно преобладал над аналитическим. Неизменной любовью пользовался стиль, который можно назвать расодическим. Пророческому пафосу отвечал целостный взгляд на историю.

Таинственная прелесть карточной игры состоит в том, что её события протекают вне времени. Учители Ордена сравнивали историю с композицией некоторых старинных икон, на которых всё происходит как бы одновременно. Они говорили об “иконическом мышлении”, которое останавливает течение времени и разрывает дурную бесконечность одних и тех же усилий и разочарований, вечных неудач отечественной истории. Стоны и судороги стихают, календарь теряет свою докучливую власть, история становится беззвучной и невесомой, движется и не движется, и воскрешает в памяти призрачный танец коней, на которых сидят брательники, князя Борис и Глеб... (И т.д.).

На главный вопрос, поставленный в твоём эссе, — выдержала ли интеллигенция испытание перед лицом новоиспечённого варварского капитализма, не умерла ли она тихой смертью, купившись, сдавшись на милость победителя, — ты не отвечаешь. И в самом деле, ответом может быть только вера. *Sola fides!*¹ Да ещё ссылка на немногих известных мне могокан, которые всё ещё ведут своё скорбное существование в нашем отечестве.

Упомянутый тобой кинорежиссёр и актёр (очевидно, Никита Михалков) — человек замечательно талантливый и приспособленец. Назвать его достойным представителем современной русской интеллигенции я бы не решился. Да это, кажется, и не его амплуа. Однажды я видел его, это было, когда журнал «Искусство кино» устроил конференцию на странную тему «Искусство в поисках новой идеологии». Михалков вошёл в банкетный зал гостиницы «Россия», у него был вид знаменитости и повадки лакея.

Ты пишешь:

В неспособности русской интеллигенции наладить плодотворное сотрудничество с властью видится едва ли не основная причина катастрофы, постигшей Россию в начале XX века.

Так ли это? Не думаю. Разве только одна из побочных причин. Были и посерьёзней: мировая война, общеевропейский кризис, жалкая деградация монархии, заскорузлость высших кругов, неизбежность крушения окончательно изжившего себя социального устройства и политического режима, да мало ли ещё что. Наконец, обратная неспособность власти прислушаться к голосу интеллигенции.

Но главное и актуальное всё-таки: выживет ли теперь интеллигенция? То, что встречаешь иногда в российской журналистике о ситуации русской интеллигенции, о её прошлом, все эти дешёвые инвективы, — постыдная чушь. И, однако, на вопрос о дальнейшей судьбе и выживании уже сейчас, по-моему, можно ответить отрицательно. Если мы осмелимся считать себя наследниками старой русской интеллигенции, её нынешними потомками и представителями, то мы, конечно, последние: мы — социальный реликт, остатки гнущегося слоя. Россия, хоть и с трудом, в судорогах, хоть и глотая пыль от уносящихся вперёд богатых суперцивилизированных стран, но превращается всё же мало-помалу в современное массовое общество. Философы, историки, социологи — пожалуйте. Но интеллигенции, какой она сложилась

¹ Одна лишь вера! (*лат.*)

после Чаадаева, с её дилетантизмом, ставшим своего рода профессией, неприкаянностью, непрактичностью, одержимостью главными вопросами, квази-религиозным мировоззрением, о котором ты пишешь, с её особым образом жизни и межеумочным положением — в этом обществе делать нечего.

«История без евреев», второе эссе. В разное время меня увлекала альтернативная история — домыслы о том, куда свернул бы локомотив, если бы на разветвлении рельсовых путей воображаемый стрелочник перевёл стрелку в другую сторону. Что произошло бы, если бы Пилат осудил не Христа, а Варавву? Что было бы, если бы пастушеский народ древних евреев так и остался прозябать в своей полупустыне, на краю света? Разумеется, твой маленький этюд не вызывает никаких возражений. Я только думаю о том, что сегодняшние споры и соображения о ситуации евреев и об антисемитизме (в частности, антисемитизме русской православной церкви) не могут обойтись без памяти о Голокаусте. Слишком многое перевернула Катастрофа еврейства в первой половине XX века — то есть как раз то, что почти начисто отсутствует в сознании образованных людей и новых христиан в России, не говоря уже о массе простого народа. Но это особая тема, уже приходилось, и не раз, её касаться.

И, наконец, третье эссе «Писатель и власть». Конечно, завет Пушкина («Из Пиндемонти») остаётся насущным и для нас. Но в наш век он звучал как утешение — горделивое, великолепное, аристократическое, но и с примесью горечи, если не просто смешное. Жизнь чудовищно политизирована. Некогда Томас Манн, да и не только он, предостерегал против традиционно провозглашаемого презрения к политике: аполитизм немецкого бюргерства и его духовной элиты не дал вовремя распознать угрозу нацизма, точнее, масштаб этой угрозы. В наше время, однако, в демократическом телевизионном обществе, хочется плюнуть и на политику, и на борьбу партий, и на власть. И я, например, живя в Германии, таки плюнул. И Гюнтер Грасс, лобызавший друга Герта (Герхарда Шрёдера), вызывает у меня какую-то брезгливость. Впрочем, я человек всё-таки до некоторой посторонний; опять же и возраст. Но молодые или относительно молодые немцы, в том числе немецкие писатели, отнюдь не индифферентны к политике. И когда в каком-нибудь частном доме, в гостях, вечером за столом заходит речь о политических новостях, вялое общество оживает, как когда-то оживлялось от сплетен о сексе. Да и трудно не заразиться, когда ежеутренне и ежевечерне, по радио и с домашнего экрана (я газет не читаю) тебе бубнят о событиях на Ближнем Востоке, о безумных властителях убудочных государств, о терроризме, о гнусных нацио-

нально-освободительных движениях, о необходимости посылать войска, о росте цен на бензин и мало ли ещё о чём — всё это политика, политика, политика. Власть, власть, власть.

Кстати, сегодня день покушения на Гитлера.

Власть не посягает на свободу и независимость писателя. Ей, этой свободе, угрожает другое: рынок. Вот с чем приходится жить, о чём приходится думать, сидя на обочине.

У нас прекрасная погода. Город расцвёл, как двадцатилетняя женщина. Всюду бушует зелень [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

4.8.08

[...] Как ты знаешь, умер Александр Исаевич Солженицын. Почти полвека наша жизнь была отмечена его присутствием, его влиянием, мыслями о нем, нередко внутренней полемикой с ним. По моей «Стенографии» разбросано множество записей о Солженицыне, далеко не все опубликованы, по ним можно проследить, как я годами менялся, начинал понимать что-то по-новому.

У меня особых новостей нет, долблю все ту же работу. Интересное читательское впечатление — новый роман Маканина «Асан» в 8-м номере «Знамени». Видел ли ты его? Рассказ о чеченской войне ведется от лица майора интендантской службы. Сам Маканин войну, как я понимаю, видеть не мог, пользуется чьими-то рассказами, и пользуется, по-моему, замечательно. Впечатляет взгляд на войну, как на кровавый абсурд, в котором меньше всего значат идеи, а решает иной раз даже не оружие — но в небывалой прежде степени деньги. Похоже, показав, на каких денежных отношениях было замешано это кровопролитие, Маканин коснулся нерва, о котором только догадывались даже воевавшие. Окончание романа в следующем номере, судить пока рано, и надо еще послушать мнение людей воевавших. Но ничто из читанного до сих пор об этой войне не производило на меня такого впечатления. Я, впрочем, человек впечатлительный, посмотри ты [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

5.8.08

[...] Приехала моя французская переводчица Елена Бальзамо с мужем, я гулял с ними вчера по городу почти целый день. Долго бродили по залам бывшей королевской Residenz. А рано утром это-

го же дня Бавария-4 сообщила о смерти Солженицына. Вечером немецко-французский телевизионный канал Arte посвятил ему целую программу.

Да, с ним тоже, как это бывает, окончательно завершилась некая эпоха. Как и ты, я помню все его шаги наверх, к мировой известности. Шопенгауэр сравнивал знаменитых людей со светилами: одни, как падающий звёзды, прочерчивают путь по небу и гаснут, другие медленно восходят и заходят, как планеты. И, наконец, есть звёзды, они сияют вечно. Солженицын не был ни падающей, ни неподвижной звездой, он был планетой.

Помню, как я в деревне прочёл «Ивана Денисовича» сразу после появления в журнале, и, хотя предмет не был для меня новостью, хоть и сам я уже пытался сочинять что-то на эти темы, у меня было чувство, как будто я только что вылез из лагеря. Вообще впечатление новизны было сильнее, и жизненное, и чисто литературное. У меня сохранилась запись замечательного авторского чтения. Я и сейчас думаю, что это было его лучшим, высшим достижением, единственным, может быть, из всего созданного Солженицыным, которое останется в русской литературе. Дальнейший путь был стремительное восхождение к славе — и безостановочный путь вниз.

Один раз я видел его. Это было на панихиде по Твардовскому в ЦДЛ, куда я пришёл вместе с Беном Сарновым, даже оказался на пять минут в почётном карауле, там всё время сменялись люди. Но, конечно, я был там совершенно посторонним, случайным человеком. Мы сидели в зале, довольно близко от эстрады, где стоял гроб. Вдруг послышалось какое-то движение, говорили, что приехал Солж, но его не пускают в зал. Он вошёл, поднялся на сцену и широко, театрально перекрестился, после чего поцеловал покойника в лоб, сошёл и сел в первом ряду.

Ты пишешь, что не все записи в «Стенографии» об А.И. вошли в опубликованную часть, — жаль [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

12.8.08

[...] Недавно стали с Галей перебирать, как эти события сопровождали нашу жизнь — начиная с года ее рождения, 1938-го, расстрела ее дедушки, ареста и ссылки бабушки в Норильск — а там дальше, через войну, послевоенные беды, у всех разные, лагеря, идеологические погромы... ну, перечислять долго, ты все это и сам знаешь. Достаточно пунктиром — хотя бы эпизоды с участием армии, со стрельбой и смертями: в Венгрии, Чехословакии, Афганистане, Чечне, теперь вот в Грузии.

Мы говорили об этом, попивая на знакомой тебе лоджии вино, перед нами благоухал многоцветный букет, принесенный днем из леса. Жизнь все это время происходила еще и в другом измерении. И нарастает из года в год чувство какой-то ее напряженности, полноты.

Не скучновато ли в безмятежных, благоустроенных странах?

Я, помнится, писал тебе, как четыре года назад ездил в Абхазию, бродил по полуразрушенным сухумским кварталам, где в домах с пробоинами в стенах, в сохранившихся квартирах ухитрялись жить люди, говорил с некоторыми из них, убеждаясь, что в Грузию они вернуться не хотят: недавние соседи убивали друг друга. В Осетии я побывал в 1973 году. Я тогда для заработка переводил с подстрочника сборник осетинских (точней, дигорских — там есть еще другой диалект, иронский) поговорок, пословиц, побасенок и других коротких текстов. Кроме того, мне надо было структурировать их по системе, разработанной моим знакомым Г.Л. Пермяковым (издательство-то было «Наука»). Захотелось посмотреть кое-какие реалии в натуре — переводчику, как ты знаешь, надо заглядывать не только в словарь. Полетел я за свой счет. Знаменитый в Осетии профессор Г.А. Дзагуров, собиравший этот фольклор, поселил меня во Владикавказе у своей родственницы, и я каждый день уходил на турбазу, записывался на какую-нибудь автобусную экскурсию, ездил по Осетии. Северной, конечно. Только один раз мы добрались до поселка Казбеги, это была уже Грузия, т.е. Южная Осетия. Возле автобусной остановки там высилась громадная статуя Сталина. «Иосиф Виссарионович», — пояснил нам экскурсовод с немного вызывающей усмешкой. По тем временам это была некоторая фронда, инакомыслие, в других местах изваяния Усатого были снесены. По пути я видел еще громадный красочный портрет на скале. Об этом, наверно, интересно будет когда-нибудь почитать в моей «Стенографии».

Аэропорт и железнодорожная станция там находились не в самом Владикавказе, а в ближнем городке, который назывался Беслан. Места исторических событий [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

13.8.08

Дорогой Марк, «не скучновато ли в безмятежных, благоустроенных странах?»

Не знаю; я в безмятежных странах не бывал. Существуют ли они? Впрочем, скучно, и даже очень скучно, тошно, муторно может быть и в неустроенной стране.

Как-то раз я виделся с приехавшим из Москвы гостем, приятелем моего коллеги по журналу «Химия и жизнь» Миши Гуревича, он был уже немолодой, вполне разумный, довольно культурный человек. Не помню, чем он занимался. Говорили о том, о сём, вышли из гостиницы, я провожал его. Он поглядывал вокруг и потом изрёк примерно следующее: хорошо, что сюда приезжают русские. Надо освежить кровь у немцев, они заелись, заплыли жиром.

Я спросил: а кто, по его мнению, каждый день привозит на расвете продукты во все эти магазины, кто стоит за прилавками, работает в учреждениях, на заводах, сеет и производит хлеб? По-видимому, он полагал, что, однажды достигнув известного благополучия, можно на этом остановиться и больше ничего не делать.

Солоухин, выступая в Мюнхене перед студентами университета, рассказывал о том, как русские писатели борются за сохранение памятников старины, как эти памятники уничтожали большевики. Подошёл к окну и сказал: представьте себе, что в этом красивом городе уничтожены все церкви! Между тем так оно и было, погибли не только церкви, но и вообще всё.

Он не знал, что по числу погибших в процентном отношении к общему населению страны Третий рейх занял второе место после Польши.

Ты вспоминаешь разрушенный Сухуми. Теперь телевидение демонстрирует разбитую вдребезги за несколько часов, может быть, даже за каких-нибудь полчаса столицу Южной Осетии. Сегодня стало известно, что военные действия вроде бы всё-таки прекратились. Надолго ли? Я испытываю одинаковое отвращение и к гротескным имперским амбициям, и к гнусным национально-освободительным движениям. Бесцельно спрашивать и спорить, кто прав, кто виноват. Эпохи национального романтизма, Эгмонта или карбонариев давно миновали. Всё это превратилось в кровавый абсурд [...]

А в связи с «Иосифом Виссарионовичем» я помню такой случай. В семидесятых годах я ездил по совету Бена в дом творчества Голицыно, купил путёвку, дело было поздней осенью. Там было замечательно: тепло, уютно, не надо ходить на работу, отдельная комната. При том что генералы литературы туда не ездили, дом был для них слишком скромным. За табльдотом сидел Юрий Осипович Домбровский, среди прочих — молодая женщина, очень скромная, осетинка, которая никогда не участвовала в общем разговоре. Однажды заговорили о Сталине, кто-то сказал, что Джугоев — осетинская фамилия, следовательно, и Джугашвили... Опять же у Мандельштама: «широкая грудь осетина». Эта девушка неожиданно вспыхнула и стала говорить, что всё это ложь, клевета на её народ, на самом деле Сталин — грузин, все грузины таковы [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

16.8.08

Ты спрашиваешь, дорогой Гена, что я сейчас читаю. Не так давно незнакомый человек прислал мне созданный им сайт Бродского: стихи, фотографии, интервью, статьи. Посмотри, если откроется, необычайно интересно. Для меня там немало нового. Я заглядываю изредка, работа не позволяет слишком отвлекаться.

На этой неделе по телевидению показывали три коротких документальных фильма, беседы с Бродским в Венеции, составленные из материалов, которые не вошли в основной фильм о нем. Впечатляет интенсивная работа мысли в самом простом разговоре: какой-нибудь попутный экспромт о кошках слушаешь, втягиваясь в этот поток.

Из новостей я тебе уже упоминал роман Маканина в «Знамени», тебя, видимо, это не увлекло. Впрочем, и опубликована пока лишь половина. Но мне интересно было бы твое мнение. Есть ли в этой прозе качества, которые сделают повествование о войне в Чечне интересным и литературно значительным где-то, кроме России? Вообще насколько воспринимаются в мире своеобразные (выразимся так) реалии (а прежде всего психология) нашей даже сейчас все еще не вполне европейской цивилизации. Я уже цитировал однажды того же Иосифа Бродского: он в своей Нобелевской речи заметил, что людям Запада проще понять российскую действительность до 1917 года, чем последующую; этим он, между прочим, объясняет «популярность русского психологического романа XIX века и сравнительный неуспех современной русской прозы. Общественные отношения, сложившиеся в России в XX веке, представляются читателю, видимо, не менее диковинными, чем имена персонажей, мешая ему отождествить себя с ними» [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

17.8.08

[...] Ты спрашиваешь, вызывают ли здесь интерес творения современных русских писателей (например, последний роман Маканина). Несчастье в том, что русская литература привлекает внимание лишь в связи с политическим строем и политическими событиями, чтобы не сказать — как иллюстрация этих событий. Писатели, гремевшие во времена диссидентства, а затем и перестройки, те, которых

считали крупными художниками, сравнивали с Толстым и Достоевским, угасли, как только всё кончилось, подобно тому как угасла комета в повести Бруно Шульца оттого, что вышла из моды и народ перестал ею интересоваться.

Та же участь постигла Солженицына, о котором почти забыли, и только смерть реанимировала его славу — как можно предположить, ненадолго. Тут, кстати, произошла довольно комическая история. Лет семь или восемь тому назад распространился слух о том, что писатель опасно болен, и Йенс Йессен, мой бывший лектор в DVA, ставший редактором в возобновлённой Berliner Zeitung, позвонил мне с просьбой написать статью «на всякий случай». В газетах принято заготавливать впрок некрологические тексты вроде того, как в похоронных мастерских стоят граниты и мраморы для будущих клиентов. Солженицын поправился, и я обо всём этом позабыл. Как вдруг Аннелоре Ничке сообщает мне, что статья напечатана. Они, оказывается, снова звонили, но не застали меня. Получил я от неё и газету: всё как положено, фотография, то, сё, только в конце к моему тексту добавлено, для пущей актуальности, как Солженицын подружился с Путиным, и что такого-то дня помер.

Сейчас, насколько я могу судить, интерес к современной русской литературе в значительной мере утрачен. Издатели, которые прислушиваются к славистам (а те, в свою очередь, подбирают авторов, ставших модными в России или получивших премию), удручены тем, что книги русских писателей, даже именитых, продаются плохо. Чувствуется и общее разочарование: реформы не состоялись, демократией не пахнет, зато с Востока распространяются другие запахи и доносятся речи в старинном стиле. Другое дело, что интерес может возобновиться, но это будет снова не интерес и вкус к искусству — подлинного искусства словно и не ждут, — а интерес к политическим и общественным новшествам.

Вчера я был на званом обеде у Аннелоре в Фельдафинге, знакомых тебе местах, только она живёт на другой стороне от железной дороги. Собралась небольшая киношно-литературная компания, люди, связанные профессионально или любительски с нашим отечеством, читающие по-русски. (Разговор, правда, шёл по-немецки.) Их мнение о конкретных именах, книгах и фильмах в общем-то совпадает с моим, хотя нужно принять во внимание, что я за эти десятилетия до некоторой степени усвоил западную точку зрения. Но думаю, что и ты не почувствовал бы себя чужим в этом обществе. Не знаю, можно ли считать их отзывы показательными для немецкой интеллигенции в целом: она, эта интеллигенция, разнолика. Да и не все

следят за литературой. Но, скажем так, взгляды эти более или менее характерны для либерального или либерально-консервативного большинства. Высоко ценится Леонид Цыпкин. Большим уважением пользуется Маканин (по разным причинам я до сих пор не прочёл роман, о котором ты пишешь, но обязательно посмотрю и тебе опишу. За чеченскими, а теперь и осетинскими делами следят, впрочем, весьма напряжённо). Сорокин после первого успеха всё больше вызывает брезгливость, хотя «День опричника» прочитан с интересом. Пелевин вышел из употребления. Лимонов — пожатие плечами, смешок, но некоторое любопытство сохраняется. Проханов возбуждает отвращение. Хорошо известен российский неофашизм, знакомы с мистико-патриотическими вещаниями Дугина и т.п. Словом, люди довольно хорошо осведомлены и достаточно скептичны. Литература современной России, точнее, проза, не воспринимается как литература мирового значения, это литература региональная; впрочем, такова же, по-видимому, оценка и современной немецкой литературы. (Чего нельзя сказать о немецкой мысли.) Не знаю, правда, осознаётся ли в полной мере здесь в Германии, что на всём нашем времени лежит роковая печать советского века, надолго обессилившего Россию. Литература не могла не стать выражением этого бессилия. Подкормка устарелыми идеями, заплесневелыми концепциями не помогает — наоборот.

Завтра 26 лет, как мы уехали [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

25.8.08

В своем последнем письме, дорогой Гена, я задавался вопросом, какие качества делают произведение литературно значимым? Авторы, которых называли твои знакомые русисты, (кроме Цыпкина, которого я не знаю) входят в стандартную газетную обойму. Есть еще множество тусовочных обойм. Время назад мне встретилось суждение знакомого тебе Олега Юрьева. У него вызвала «отвращение» дневниковая и мемуарная эссеистика Давида Самойлова, которого он называет «второстепенным поэтом эпохи Ривина». Я поискал в интернете, кто такой Ривин. Этот погибший в 1941 году поэт оказался автором единственного стихотворения, которое Юрьев обнаружил в немецком славистском издании и восторженно прокомментировал. А в Швейцарии я как-то слышал, как тот же Юрьев назвал «Доктора Живаго» «бездарным антисемитским романом».

Живущий во Франции Николай Боков недавно прислал мне свое интервью, где, среди прочего, называет наиболее ценных им современных русских писателей. Ни одного из них я не знаю, по большей части они, видимо, живут во Франции.

Мне, кстати, интересным показалось его рассуждение о том, что пересаженное растение не пользуется старыми корнями, в новую почву оно пускает новые корни и только ими добывает себе воду и питание. Сам он, похоже, в отличие от некоторых эмигрантов, сумел пустить новые корни, пишет иногда по-французски на французские темы.

По сравнению с тобой, я малоподвижен. За последний месяц, даже больше, лишь однажды выезжал в город на выставку, посвященную журналу «А — Я», издававшемуся когда-то во Франции. Мы много лет назад познакомились в Париже с его издателем, художником Игорем Шелковским, он нас и пригласил. Работаю, читаю, думаю, гуляю в лесу — не знаю ничего лучшего. Мысли о посмертной судьбе написанного не очень смущают. Будущее самой литературы в непонятно меняющейся цивилизации не гарантировано. Я уже писал, для меня это способ существования — так шелкопряд в процессе жизни производит свой продукт. Забота лишь о том, чтобы осуществиться на пределе возможностей, чтобы ничего потом не стыдиться. Благо, жить в ближайшее время есть на что, здоровье позволяет — чего еще желать? Ты все это и сам знаешь [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

26.8.08

[...] Ты упомянул несколько более или менее известных имён, дорогой Марк. Н. Боков писал когда-то рассказы в духе абсурдистской словесности, я читал их (пытался читать) ещё в Москве. В Париже он несколько лет был уличным бродягой. Сейчас публикуется в местной русской печати. За пределами русского Парижа, кажется, почти не известен. Я с ним не знаком. С Олегом Юрьевым и его женой, поэтом Олей Мартыновой, я знаком давно. Они живут во Франкфурте. Наши дружеские отношения не располагают к тому, чтобы бранить Юрьева, но человек он в самом деле трудный, самолюбивый, обиженный недостаточным признанием и в своих выступлениях склонный к эпатажу. Он автор высокоталантливых пьес (написанных давно), изрядный поэт (уступающий, как мне кажется, Ольге Мартыновой) и прозаик, автор весьма кудрявых, с оглядкой на авангард, вычурных и скучных романов. Его отзыв о дневниках и воспоминаниях Давида Самойлова

мне известен. Стихотворение Ривкина было опубликовано Юрьевым в одном из сборников «Камеры хранения», которые Олег выпускал совместно с небольшой питерской компанией поэтов. Что касается «Доктора Живаго», то и тут, я думаю, не обходится без бравады. Как бы ни относиться к этому роману, он, конечно, совсем не бездарный, наоборот; «антисемитский» — тоже неправда. Другое дело, что сказанное в романе о евреях звучит постыдно в устах писателя, живущего после Освенцима. Его отношение к еврейству вписано в христианскую историософию романа, которая мне глубоко чужда и, боюсь, портит самый роман. Мне приходилось дискутировать с Беном по поводу «Живаго», он о нём не лучшего мнения, чем Олег Юрьев.

Леонид Цыпкин. Я думаю, что тебе стоило бы прочесть его небольшой по объёму роман «Лето в Бадене». Роман был написан около 30 лет назад врачом-патологоанатомом, напечатать его в России, как водится, оказалось невозможным. Автор умер. Английский перевод случайно обнаружила на книжном развале Сузан Зонтаг, и, если бы не её восторженная статья, книга так и потонула бы в безвестности.

Я познакомился (увы, всего лишь познакомился) с романом Вл. Маканина «Асан». Ты спрашивал, может ли такая книга, по моему мнению, вызвать интерес в Германии и вообще в Европе. Думаю, что нет; предыдущий (точнее, предпредыдущий, был ещё «Испуг») роман «Анде(р)граунд», книга, по-моему, удивительно талантливая, её переводила Аннелоре, — здесь не имел успеха.

Сам я читать роман «Асан» не буду. Не потому, что нашёл бы его неудачным. Даже то немногое, что я прочитал, производит сильное и тяжкое впечатление. И я хорошо понимаю, что писатель едва ли сгустил краски. Я не оптимист и, как мне кажется, не такой уж чисто-плюй. Но меня отталкивает — может быть, оттого, что я вылез из лагеря, — натурализм в литературе и стремление описать гнусную и жестокую жизнь средствами (или «глазами») самой этой жизни, языком людей, у которых как будто срезана верхняя половина мозга. Почти нарочитое правдоподобие такой прозы — это как будто тебе сплющили нос, прижав лицо к оконному стеклу. Опять же на это могут ответить: какие могут быть разговоры о литературе, языке и т.п., когда вокруг такое творится?! [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

1.9.08

Дорогой Гена, я только что вернулся от Леонида Сергеевича Яновича, который хочет одновременно, как я понял, в ближайшие дни, запустить в производство твой и мой сборники эссе, возможно, поло-

жив начало новой серии. Необычайно симпатичный человек, мы славно поговорили, он обещал завтра же послать мне договор. У него между прочим, семь детей (я был у него дома). Приятно встречать людей, с которыми возможно содержательное общение; у меня это теперь бывает не часто.

Вчера у меня был день рождения, одна моя давняя знакомая, известная журналистка, сокрушалась о происходящем в стране: интеллигенция беспомощна, скоро мы опять будем вынуждены вернуться на свои кухни. Я сказал: а, право, было бы хорошо встречаться на кухнях, как прежде [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

15.9.08

[...] Я возился, как уже писал тебе, со старыми сочинениями,правлял или переписывал, попутно сотворил короткий рассказец мистического содержания, и сейчас у меня чувство, как будто поезд остановился перед насыпью и шлагбаумом. Это бывало и прежде время от времени, но вычерпанный колодец не наполняется водой, как бывало [...]

«Знамя» поместило большую поэму Елены Фанайловой под названием «Балтийский дневник», изделие настолько беспомощное, что его даже нельзя назвать бездарным, — попросту нелитература. Автор, по слухам, — этаблированный поэт и влиятельная редакторша радио. Как бы то ни было, престижный литературный журнал унизился до печатания этой дребедени, где вдобавок отсутствие творческих способностей восполняется тривиальной матерщиной. Опубликовано и другое произведение Фанайловой, о некоей продавщице Лене, в том же роде, и серьёзные люди обсуждают на страницах журнала «НЛО» высказывания псевдопоэтессы. Чем это объяснить? [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

17.9.08

Я уже соскучился, дорогой Гена, без твоих писем. Что было интересного на ваших пеновских посиделках? Я на своих не был уже года три. Собираются десятка два старичков, верных не совсем понятному давнему долгу, говорить особенно не о чем. На собраниях Союза писателей я вообще никогда не был.

Ты хотя бы попутешествовал. Мы с Галей с 23.9 по 14.10 собираемся в черногорское имение нашей дочки. Была мысль взять с собой

ноутбук, который в прошлом году у меня появился, но моя работа сейчас на таком этапе, когда сподручней водить перышком по бумаге — а кроме того, чувствуется уже потребность в отдыхе.

Неожиданно стимулирующее воздействие оказывает на меня роман Александра Гольдштейна «Помни о Фамагусте». Это имя я тебе уже однажды упоминал. Роман я купил в издательстве НЛО и вначале не мог вчитаться. Но сейчас читаю по страничке, по две, очень медленно. Это автор не для читателей — для таких, как я. Густые до вязкости фразы приходится мысленно развертывать, а то и расшифровывать, не сразу усваивая — и как же оказывается питателен этот — не поток мысли — ток напряженной энергии! Рекомендовать это чтение я никому бы не стал, ни на какой язык этого, думаю, не перевести, популярным автор вряд ли станет — но вот, напечатали, и до кого-то доходит. Я не читал у Гольдштейна еще двух книг, больше он уже не напишет. Последнюю он писал, уже смертельно больной (рак легких), сознательно отказываясь от морфия, чтобы сохранять ясность мысли, документировал свое умирание, и последнюю точку, говорят, поставил в последние минуты жизни. Он нем есть весьма интересный обмен мнениями в 9-м номере «Лехаима» [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

CharM376

Я немного знаком с замечательной эссеистикой покойного Александра Гольдштейна, теперь узнал от тебя о его романах. Правда, меня немного насторожили в обсуждении, устроенном редакцией «Лехаим», две вещи. Гольдштейна постоянно ставят рядом с Сашей Соколовым, который после ордена, выданного ему Набоковым за первый роман, медленно и неуклонно двигался по нисходящей. К обмену мнениями почему-то привлекли злополучную Елену Фанайлову (после того, как я познакомился с её творчеством). Пишет она невразумительно, но плохо то, что хвалит Гольдштейна. С другой стороны, я нахожу естественным — и в пользу Гольдштейна, — что этаблированные критики российских толстых журналов не удостоили его вниманием.

Впрочем, я «Фамагусту» не читал и не могу судить [...]

Ты спросил о ПЕН-клубе. Он представляет собой филиал Интернационального ПЕН и называется «Exil-PEN, секция писателей — эмигрантов в немецкоязычных странах», что-то в этом роде. Я там состою давно и ездил на собрания ради интересных экскурсий, докладов специально приглашаемых гостей, ради встреч со знакомыми и друзь-

ями. Общих дискуссий по литературным вопросам почти не бывало, зато происходили разговоры «в кулуарах» или за трапезой. Изредка устраивались чтения или присуждение премий. Последний раз, несколько лет назад, новый президент даже организовал мой вечер для посторонней публики, было это тоже в Дрездене. Но становится всё скучнее. С тех пор, как нашу компанию покинул Фонд Аденауэра (есть такой, и я однажды, в качестве награды, провёл неделю на вилле Аденауэра в Северной Италии, над озером Комо), наша компания обнищала. Те, кто сейчас её финансируют, требуют, чтобы доклады были только на политические темы, литература их не интересует, да и мало кого она вообще по-настоящему интересует. И в этот раз было совсем скучно.

Дрезден более или менее восстановлен, в частности, с большими усилиями заново отстроена знаменитая, огромная Frauenkirche. И когда бродишь по центру, вокруг музеев и дворцов, мимо, Semper-Орег, по просторным набережным, когда стоишь на одном из мостов, глядя на широкую спокойную Эльбу, догадываешься, какой была когда-то столица Августа Сильного, один из красивейших городов Европы [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

16.10.08

Дорогой Гена! Ну, вот и вернулись из Черногории. Местечко наше называлось Утеха, по-русски Утешение. Несколько первых непогожих дней отпугнули обычных отдыхающих, так все три недели здесь и оставалось безлюдно, окна в окрестных дачах темные. Мы целыми днями не встречали буквально ни одного человека, кроме продавцов в ближнем магазинчике, на небольшой пляж внизу тоже спускались в одиночестве. Вода все время была теплая, плавали каждый день. И прекрасно работалось. Галя рисовала, я выстроил до конца сюжет — могу, думается, назвать теперь эту прозу романом. Последняя неделя выдалась совсем солнечная, я спохватился, что надо бы все-таки и отдохнуть, зарядиться энергией на предстоящую зиму, для того и приехали. Медленно, со вкусом перечитывал роман Гольдштейна — со второго чтения он стал совсем прозрачным, и до чего же кстати оказалась для меня эта книга! То и дело по ходу чтения возникали новые идеи, я их записывал на листках, и этот, казалось бы, ленивый, рассеянный этап оказался для работы, пожалуй, плодотворнее предыдущего. Мне захотелось написать о Гольдштейне — в благодарность за стимул, за радость открытия.

А еще мы взяли с собой книгу Быкова о Пастернаке, я тоже перечитал ее второй раз. Что-то в понимании его поэзии углубилось, но больше стало и оговорок. Я никак не могу считать, что «Сестра моя жизнь», (безусловная вершина Пастернака) — книга о революции. Даже если сам поэт в этом уверял, (думается, чтобы кинуть кость литературному начальству в ответ на упреки, что, мол, не пишет о революции). И роман «Доктор Живаго» не могу считать символическим (Лара символизирует Россию, за которую борются революционер Антипов, делец Комаровский и поэт Живаго; Россия хотела бы принадлежать поэту, но он не может ее удержать и т.п.). В книге обильно цитируются стихи, читать их — чистое удовольствие; в то же время какие-то строки впервые стали цеплять. Сколько раз, например, не особенно вдумываясь, читал и повторял наизусть: «Предвестьем льгот приходит гений / И гнетом мстит за свой уход». Вдруг перепроверил смысл слов. Предвестьем? Льгот? Если имеются в виду надежды, связанные с революцией, эти слова не подходят. Гений — тот, кто обещал что-то? И мстит? Кому, за что? Гнетом? (Вспомнилось, как знакомый чтец на сцене выразительно иллюстрировал это слово, движением левой руки с замедленным усилием прижимая что-то к полу). Но может, подумалось вдруг, Пастернак употребил слово «гений» в изначальном, античном смысле: гений — дух? Дух революции. Соблазнил, повел за собой, не получилось, пришлось уйти — мстит. Нет, в контексте подразумевается конкретно Ленин. Гнетом мстит.

Таких недоумений по ходу чтения возникало немало, кое-что в представлении о Пастернаке уточнилось. Вспомнилось, как покойный Сима Маркиш звонил мне из Женевы в Шато де Лавиньи, минут сорок выяснял мое мнение: согласен ли я, что «Доктор Живаго» — насквозь фальшивый роман, и разное другое.

В Москве я понемногу вхожу в курс дел (я в Утехе даже от новостей был оторван, а в мире между тем свирепствовал кризис) [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

16.10.08

[...] Строки Пастернака «Предвестьем льгот приходит гений...», скользкие, двусмысленные, прекрасно звучащие, я тоже толком не мог понять. Возможно, это наследие «аутистически-недисциплинированного

мышления» (медицинский термин), этой глубокомысленной невнятицы, причудливого словоупотребления, от которых он избавился в литературе, кажется, только в «Докторе Живаго».

Книгу Быкова я тоже перечитывал кусками совсем недавно. Это, бесспорно, блестящее сочинение, в котором, однако, немало спорного. Меня коробит явная избыточность религиозных отсылок — во что бы то ни стало нужно представить великих поэтов России благочестивыми христианами. Между тем Пастернак для этого ампула годится не больше, чем Цветаева или Мандельштам. Его православие, расцветшее в поздние годы, по меньшей мере внецерковно. Кстати (это уже не Быков, а сам поэт), христианская или христологическая историософия Пастернака — сперва она как будто приписывается дяде Юрия Живаго, но потом становится ясно, что устами дядюшки вещает сам автор — мне глубоко чужда и, по моему, не выдерживает критики. Хотя, собственно говоря, с таким расподлическим философствованием спорить негоже.

Ты возражаешь против того, чтобы называть роман символическим, — я с тобой совершенно согласен. У Гончарова в «Обрыве», в конце романа бабушка прямо сопоставляется с Россией, «другой великой бабушкой». Ну и что? Тем более, что видеть в Ларе Антиповой символ России... не знаю. Не получается.

Исторический оптимизм Пастернака, так резко отгораживающий его от Ахматовой, даже от Мандельштама. Я вспомнил, что когда-то писал об этом; вот цитата:

«Христианский (или якобы христианский) взгляд на историю приводит его к какому-то оптимистическому фатализму, отсюда почти абсурдный замысел “Доктора Живаго”, как он изложен в письме Спендеру 1959 года: “В романе делается попытка представить весь ход событий, фактов и происшествий как движущееся целое, как развивающееся, проходящее, проносящееся вдохновение, как если бы действительность сама обладала свободой и выбором и сочиняла самоё себя, отбирая от бесчисленных вариантов и версий”. Поразительные слова. Это написано после Освенцима, после советских концлагерей, после двух мировых войн, бессмысленных разрушений и бессмысленной гибели многих миллионов людей. Вот чем вдохновилась действительность. Вот что она сочинила».

Нехорошо, конечно, было бы связывать это вселенское благодушие с дачным характером поэзии Пастернака и дачным образом жизни [...]

22.10.08

Я в Утехе, среди прочего, работал над несколькими верлибрами, в Москве, наконец, оформил небольшой цикл. Первый стишок ты уже знаешь, но пошлю тебе все. Название цикла «Вино поздних лет» хочу сделать заглавием всей книги, которая все еще ждет издателя. Как всегда, интересно будет твое мнение.

Обнимаю. Твой М.

Вино поздних лет

Выдержанное вино, зрелый букет, настоящий на годах,
Проявляется, оживает на нёбе, в глубине языка,
Все богаче, все полноценней. Задерживаешь, смакуешь.
Сколько еще на дне? Сосуд непрозрачен.
Чем меньше, тем драгоценней остаток. Когда каждый глоток
Может оказаться последним — все обостренней, ярче
Накаляется чувство жизни, все напряженной душа,
Все насыщенной аромат.
Драгоценней блаженство сна, бессонница перед рассветом —
Время странствий по памяти, вдохновенных открытий.
Не дотлел потревоженный уголек — всколыхнется легкое пламя.
Светится предрассветное тело, сияет лицо любимой.
Разве раньше ты знал, что можно всю жизнь влюбляться,
Не насыщаясь, сходить с ума? Разве старится время?
Все благоуханней настой, все сладостней поздний хмель,
Как бывает только впервые.
Терпкий, выдержанный букет, растворивший в себе, вобравший
Соки земли, где жил, свежесть дождей и гроз,
Растекается с языка по телу, заполняет каждую клетку.
Спадает жар воспаленного солнца, запахи загустевают.
Травы колючи, сухи, но все нежнее цветы.
Удлиняются тени ресниц — солнце заходит за ели.
Вечерние игры детей, их возгласы, лепет вянты, как никогда.
Обновляешься вместе с ними.
Вино в непрозрачном сосуде. Дрожь зябкой осенней лужи,
Благословенье пережитой боли, возвращение из провала,
Лихорадка выздоровления, счастье дышать свободно.
Небывалость небывалого дня, каждого часа, мгновения.
Смакуешь, не торопясь, предвкушаешь с трепетом, но без страха
Еще не испробованное до конца, остаток на дне, вершину,
Поднимая, как тост благодарности за дарованное тебе,
Чашу пока еще недопитой жизни.

Дорогой Марк! Я прочёл только что цикл «Вино поздних лет». Почти все стихотворения понравились мне безоговорочно.

Под каждым стоит одна и та же дата: 2008. В таком случае было бы, мне кажется, разумней проставить дату один раз, например, в скобках после заголовка, или в виде подзаголовка, или под последним стихотворением.

«Вино поздних лет» — красивый и отвечающий настроению всего цикла заголовок. Антитеза старому роману Бёлля «Хлеб ранних лет», *Das Brot der frühen Jahre*.

Но я бы, может быть, предпочёл, в качестве общего заголовка, «Диалог с Иовом».

Трудно выделить какое-нибудь одно стихотворение. Например, прелестная «Весенняя эротика», лирика с чуточку гривуазной иронией. Я впервые отведал березового соку в лагере.

В стихотворении «Безнадёжно заело иголку...» есть, по-моему, некоторая несуразность, неточность центральной метафоры. Иголка (в граммофоне или патефоне), собственно говоря, не застревает, то есть пластинка не останавливается. Иначе не было бы этого *падаетсдеревападаетсдерева*. Не было бы кружения или топтания на месте, музыка жизни просто остановилась бы — наступила бы смерть. Под иглой прокручивается испорченная борозда, одна и той же. Об этом говорится в последней строфе, вопреки начальной строфе.

«Жизнь на свалке» — лучше, чем в этом стихотворении, о русском литературном интернете не скажешь.

В превосходном «Диалоге с Иовом» мне показалась неточной строка «Прозябал бы бездумно, как блаженный тростник на ветру». Уподобление человека тростнику, тут уж никуда не денешься, прочно связано с Паскалем: символ хрупкости, незащитности. «Но этот тростник мыслит». (*L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature; mais c'est un roseau pensant*)¹. У тебя же участь человека-тростника противопоставлена, как некое уютное бездумное существование, трагической жизни в бурях эпохи. Если так, то почему же «на ветру» [...]

Рассказик «Лев и звёзды» я, уже после альманаха, переделал. Когда-то я занимался Парацельсом, написал статейку о нём и детский рассказ, который я включил в книжку о профессии врача «Необыкновен-

¹ Человек не более чем тростник, самое слабое из существ в природе; но этот тростник мыслит (*фр.*)

ный консилиум». Это было сто лет назад. Теперь написал заново. Есть известие (вычитал где-то), что Парацельс вылечил баденского маркграфа от кровавого поноса тайным снадобьем (arsanum). По-видимому, это была дизентерия, а лекарство — опиный порошок, опиий блокирует кишечную перистальтику. Я перенёс действие во Франконию, у больного крупозная пневмония. Старые врачи — я ещё это застал — знали, что кризис наступает в нечётный день. Я вложил в этот рассказец некую философию, отчего он и попал во «Вторую навигацию» [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

23.10.08

Превосходное эссе, дорогой Гена. Конечно, есть переключка с моим «Диалогом». Начиная его в Москве, я перечитывал «Книгу Иова», но в Черногории читал биографию Пастернака — уточнились доводы оппонентов. И отголоски твоих суждений здесь без труда можно обнаружить — совпадения не случайны.

За замечания спасибо, их надо еще обдумать. «Иголку заело», «опять застряла» — привычные бытовые выражения, на буквальном смысле обычно не задерживались. А насчет тростника — ничего пока не приходит в голову. Может, подскажешь, чем заменить?

Сам я уточнил строку в «Жизни на свалке», во второй строфе: «Игр, забав, конференций, *безопасного секса*» [...]

29.10.08

Дольше обычного нет от тебя вестей, дорогой Гена. (Я писал тебе 23.10.) Надеюсь у тебя все в порядке [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

13.11.08

Дорогой Марк, я вернулся сегодня из больницы. Отпишу подробнее немного позже [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

14.11.08

Счастлив получить, наконец, весть от тебя. Твой М.
[Приложение: Эссе о Гольдштейне]

Б. Хазанов — М. Харитонову

17.11.08

Дорогой Марк, вот я и дома. Проторчал в больнице целых три недели с разными приключениями, меня вытащили на свет Божий, — а ведь казалось, что Лора зовёт к себе, — теперь чувствую себя сносно, надеюсь, что оклемаюсь мало-помалу.

Литература моя совершенно замёрзла, пролежав столько времени в холодильнике, и теперь надо её размораживать. Новых проектов, к сожалению, нет, но надо дополнить и переделать одну вещь, которая выглядела законченной, а на самом деле вроде бы требует продолжения. (Некое повествование или психологический этюд о женщине, которая отомстила человеку, недостаточно её оценившему, разрушив его семью.)

В палате я почитывал тот самый сборник Александра Гольдштейна «Аспекты духовного брака», о котором ты мне писал. Замечателен — но осуществим ли? — призыв вернуться к литературному идеализму, к «пафосу». Странная переключка с Гришей, которому я когда-то пытался внушить, что литература избегает прямой речи. Тут можно было бы, продолжая, о многом порассуждать. Прочёл я и «О литературной эмиграции». Эссе почти восхитило меня и оттого, что блестяще написано, и потому, что созвучно моим мыслям. Когда я вещал в кружке, мне то и дело хотелось сказать: не чувствуйте себя пасынками или придатком «метрополии», будьте сами с усами. Литература может быть независимой, даже если она представлена одним человеком. Собственно, литературу всегда репрезентируют одиночки, но мы тут в несколько особом положении, так как пропитаны опытом жизни в другом мире, и это положение, на первый взгляд межеумочное, сохраняется, невзирая на открывшуюся границу, на то, что россияне разъезжают по европам, писатели публикуются там и здесь [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

26.11.08

[...] Нашу переписку я послал в НЛО на имя знакомого редактора, позавчера он мне написал, что находится на конференции в США, вернется 28-го, тогда ответит. Как ты помнишь, этот текст вначале пред-

назначался «Зарубежным запискам», но там нынешний год оказался занят твоим романом. Если ты ничего не планируешь у них в следующем году, можно будет вернуться туда. Ну, и «Волга» остается запасным вариантом. У меня к русским гонораром другое отношение, чем у тебя. Ты можешь жить на пенсию, пусть небольшую, с разными добавками, я нет. Почти 40 лет ухитрюсь кормиться только литературным заработком, нигде не служа и не будучи при этом в свое время членом СП. До сих пор считаю вершиной своей карьеры день 28 октября 1969 года, когда родилась моя средняя дочка, я в этот день ушел из редакции, где работал, и больше в нее не вернулся. Приписался к Профкому литераторов ради справок для милиции, пробавлялся литературной поденщиной, клевал по зернышку и счастлив был возможностью свободно распоряжаться своим временем. Вот, только что привез из поэтического журнала «Арион» 348 руб. за напечатанную там «Долгую жизнь поденки», 10 евро, хватит на две-три бутылки неплохого вина, зачем отказываться? До последнего времени я еще и детям помогал, грех жаловаться.

У меня сейчас этап усердной работы, пишу, пока пишется. В интернетовском «Журнальном зале» с восхищением начал читать прозу Ирины Гольдштейн, вдовы Александра. Чувствуется, что она много у него переняла, заряжена тем же импульсом, но при этом достаточно самостоятельна — и какая сосредоточенность взгляда, насыщенность и энергия языка! Сколько остается повсюду не замеченного, и не только нами! Напечатается в той же «Волге», и кто прочтет? Хоть бы на бутылку-другую заработать.

Я написал Ирине о своем восхищении, послал на адрес редакции.

Надеюсь, ты уже немного оправился, выходишь на улицу. У нас слегка припорошило, но снег, думаю, еще растает [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

CharM383

27.11.08

Дорогой Марк, вот уже и эта нумерация приближается к четырёмстам. Сейчас утро, на дворе слабый мороз, яркое солнце; я открыл почту и увидел твоё письмецо. Надо бы заняться делом (каким?), но хочется поговорить. Я обратил внимание на твою фразу: «Напечатается в той же “Волге” — и кто прочтёт?..» Кто? Никто. Теперь и твой подразумеваемый ответ совпадает с тем, какой я мысленно давал себе всегда. Гробовое дело, а мы по-прежнему им занимаемся.

Всё-таки удивительно, что тебе, хоть и скудно, хоть и с великими усилиями, столько лет удавалось существовать на литературные заработки. Я давно уже привык к тому, что, по крайней мере за вещи, публикуемые по-русски, никто никогда ничего не платит. Исключением могли быть разве дишь гонорары в «Зарубежных записках», но и они ничтожны. Я возражал против печатания моего романа в журнале, который выходит раз в квартал, вдобавок относительно небольшим объёмом. Но здесь нашлись люди, которые расхваливают этот роман. Почти одновременно он вышел отдельной книгой, на которую в России никто не откликнулся; сомнительно, чтобы её вообще читали. Но я проникся фатализмом. Я всегда говорил себе: так и должно быть. Это было похоже на «зелен виноград», на смирение паче гордости, старание сочинителя утолить уязвлённое самолюбие и т.п., но ведь так оно и есть на самом деле: было бы в высшей степени подозрительно, если бы подобное сочинение пробудило в литературном сообществе, каким оно сложилось ныне в нашем отечестве, сколько-нибудь внятное эхо. Было бы странно и опять же подозрительно, если бы наши изделия приносили доход. В моём же случае жадность издателей, инстинкт жуликов, который говорит им, что от этого автора ждать чего-либо путного — как от козла молока, дополняется особым отношением к эмиграции: это люди, отвернувшиеся от России ради богатой жизни за границей, а мы тут...

За твою статью в «Арионе» тебе заплатили 10 евро. И на том спасибо. (Кстати, на «две-три бутылки неплохого вина» этих денег здесь не хватит. Приличные вина начинаются с 18–20 € за бутылку). За публикацию переписки в НЛО — если напечатают, — вовсе получишь шиш. Гордись! Это знак качества. Избранности, если угодно. Короче говоря, всё так и должно быть.

Я тоже для себя отметил «Книгу дыхания» Ирины Гольдштейн. Ещё одно произведение, в совсем другом роде, по-моему, заслуживает внимания: «Бренд» 25-летнего дебютанта Олега Сивуна в «Новом мире» № 10, с подзаголовком «Поп-арт роман». Но это вовсе не роман, это и не публицистика, больше подошёл бы, вероятно, «физиологический очерк», как понимали этот жанр в XIX веке. Но опять же с многими оговорками. Вещь бессюжетная, но своеобразно структурированная, каждая глава — об отдельном «бренде»; это может быть всё что угодно: чрезвычайно модный, у всех на устах, полусумасшедший — а может, и себе на уме — художник, кукла Барби, покорившая весь мир, вообще любой модный «имидж», самая известная авиакомпания, самый тиражный иллюстрированный журнал и т.д., — «роман» можно было бы продолжать до бесконечности. Подобие гигантской

зеркальной витрины, в которой мелькает отражение внутреннего героя, почти неотличимого от автора. Это человек без прошлого и без будущего; прошлое неинтересно и забыто, о будущем незначим, а главное, некогда гадать; он целиком поглощён, точнее, поработён сегодняшним днём. Он вертится, как на карусели, в суперцивилизованном мире самоновейших потребительских товаров, дизайна, заменившего искусство, слепящей рекламы, оглушительной музыки, стандартного комфорта и соблазнительных услуг. Человек, каким его понимает и принимает художественная литература, человек с его внутренней жизнью и реальными заботами — в этом мире и, следовательно, в этом произведении отсутствует, его место занял плоскостный массовый человек, вместо подлинной жизни — сверкающая поверхность, за которой, собственно, ничего нет.

Почитай, если будет время. Вещь, проникнутая чрезвычайно живым, молодым, непосредственным чувством сегодняшнего одноментного дня, и по-своему очень талантливая

Миша Блюменкранц просит тебя что-нибудь дать для альманаха — хотя бы ту же нашу переписку. Если её поместить во «Второй навигации» (конец весны или начало лета), публикация ничему другому не помешает [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

7.12.08

Дорогой Гена, у нас третий декабрь подряд бесснежный, теплый, да и по всей Европе такой. Жаль, что нельзя ходить на лыжах. Работа сейчас полумеханическая: переносу в компьютер заготовки с листов, новых идей мало.

Насчет «литературного процесса» — я, признаться, плохо представляю, что это такое. Никогда не чувствовал себя в него «включенным». Наслаждался возможностью писать, как могу, о чем хочу, и даже кормиться этим несравненным, счастливым занятием. Можно ли было думать когда-то, что практически все написанное окажется опубликовано, да еще на разных языках? (Кроме книжки стихов, но многие напечатаны в журналах). Разные люди прочли, были какие-то отзывы. Вспомни, какие слова о тебе были сказаны совсем недавно — с поправкой на юбилейный жанр, грех жаловаться. Что значит «выключен из процесса»? Вспомни, кто представлял этот самый процесс лет двадцать назад — много ли имен осталось? А твой «Час короля» остался надолго, это многого стоит [...]

7.12.08

Только что получил письмо от тебя, дорогой Марк, и, как видишь, тотчас «вдохновляюсь порывно и берусь за перо», как говаривал незабвенный Игорь Северянин. Я всегда жду твоих писем, они давно стали частью моей жизни.

День сырой, тусклый, тоскливый — вчера и сегодня погода не лучше, чем в Москве. Через одиннадцать дней годовщина смерти Лоры. Сегодня воскресенье, второй Адвент. Кругом затишье [...]

Литературный процесс... Мне всегда казалось, что это понятие, искусственная конструкция, создаваемая критиками, однажды возникнув, парадоксальным образом превращается в нечто существующее на самом деле. Другой вопрос, как его сформулировать, определить его содержание применительно к нынешнему дню литературы. Я мало читаю, но всё-таки слежу за именами и книгами. И у меня складывается довольно отчётливое представление о некотором процессе, об этом колышавшемся, куда-то влачащемся сообществе, о вовлечённости самых разных писателей в этот общий поток. И когда я писал, что не чувствую себя «включённым», это не было ни смирением паче гордости — самоуничижительной похвальбой, ни жалобой. Это просто факт, который и нужно принять как факт. Вообще же говоря, индивидуализм и даже сугубый индивидуализм — естественное свойство писателя: на то он и писатель. Говорю не только обо мне, но и о тебе.

На днях я смотрел (не слишком частое приключение для меня) московское телевидение, кажется, РТЛ-Планета, последние известия, почти целиком отведённые скорбному событию — кончине патриарха. Дырвая биография, заставляющая даже тех, кто ничего не знает и ни о чём не слышал, догадываться о небезупречном прошлом предстоятеля Русской церкви. Лживое, лицемерное, слащавое, до невозможности ханжеское, с бесконечными поминаниями Господа, выступление Никиты Михалкова, который вполне и окончательно обрёл себя в амплу народно-государственной бляди [...]

10.12.08

[...] Сегодня тёмный бесснежный день, в четыре часа уже почти вечер. Даниэль Баренбойм играет двухчастную сонату опус 90 Бетховена, ту самую, волшебную вещь, о которой Шиндлер пишет:

«Als Graf Lichnowsky jene Sonate mit der Dedikation an ihn zu Händen bekam, wollte es ihn bald bedünken, als habe sein Freund Beethoven in den beiden Sätzen (...) eine bestimmte Idee aussprechen wollen. Er säumte nicht, Beethoven darüber zu befragen (...). Er (Бетх.) äußerte sich sofort unter schallendem Gelächter zu dem Grafen, er habe ihm die Liebesgeschichte mit seiner Frau (Лихновский перед этим женился против воли своей родни на актрисе) in Musik setzen wollen, und bemerkte dabei, wenn er eine Überschrift wolle, so möge er über den ersten Satz schreiben: “Kampf zwischen Kopf und Herz” und über den zweiten: “Konversation mit der Geliebten”¹.

Я когда-то написал новеллу, которая называлась «Клавирсонате оп. 90», ни одна душа на неё не обратила внимания, и мне было обидно за Бетховена.

Это так, необязательное предисловие.

Ты писал мне, что надо приостановить печатание нашей переписки в саратовской «Волге», я так и сделал. Но не хотел терять связь с журналом [...]

Там теперь существуют два журнала: «Волга» и учреждённая начальственной администрацией «Волга-XXI век». Я открыл приложение и, кроме того, нашёл этот XXI век в интернете. Действительно, наша с тобой переписка напечатана в номере, указанном Анной Сафроновой. Они её добыли из каких-то закровов. Но я думаю, что эта публикация тебе не помешает, журнал отсутствует в Журнальном зале и вообще никому не известен [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

11.12.08

[...] Действительно, занудливая история. Я думаю, эта публикация не помешает нам обоим предложить тот же текст кому-нибудь еще. Разве что они нам все же уплатят. Как ты знаешь, меня интересуют только деньги [...]

¹ Когда графу Лихновскому вручили эту сонату с посвящением ему, графу тотчас подумалось, что Бетховен хотел выразить в обеих частях... определённую идею. Он не замедлил спросить об этом Бетховена... Бетх. расхохотался и заявил графу, что он имел в виду любовную историю графа с его женой [далее русский текст], и при этом заметил, что ежели графу нужен заголовок то пусть он напишет над первой частью: «Борьба ума с сердцем», а над второй «Беседа с возлюбленной» (нем.)

Дорогой Марк, если я буду такими темпами тебе писать, то, чего доброго, доберусь к Новому году до четвёртой сотни.

Сегодня проснулся (как всегда, очень рано), — всё бело, деревья в белом уборе, всё очень красиво и напоминает детство, когда первый снег был радостным событием [...]

Одна приятельница, журналистка, побывавшая недавно в Москве после очень долгого отсутствия, поделилась своим двойственным впечатлением: неожиданная чистота улиц, красота восстановленных или отремонтированных зданий, необыкновенно вкусная еда в не слишком даже дорогих ресторанах, а вместе с тем — грубость и дикость уличной толпы, обилие вульгарных, топорных физиономий, базарные голоса, ужасный язык, какое-то всеобщее охамовление. Поэт, старый товарищ, после своей поездки в Питер — город, с которым он связан всем своим существом, — отзывается о нём, а заодно и обо всей стране, так, что больно слушать. Оба вернулись полубольными.

Я думаю что тебе, при всех тяготах повседневной борьбы за существование, всё-таки повезло: ты живёшь обособленно, пишешь, не сообразуясь ни с кем и ни с чем, не толкаешься в пошловатых тусовках, живёшь в местах, близких к природе

Приходят вести о том, что финансовый кризис уже успел больно ударить по нашему отечеству — государству с весьма шаткой экономикой, относительная стабильность которой поддерживается лишь торговлей сырьём и устарелым вооружением. При этом ассигнования на военные нужды выросли чуть ли не на одну треть. Боюсь, что кризис не прошёл мимо нашего друга Яновича; ясно, по крайней мере, что он не сможет выпустить книги не только в ближайшие месяцы, но, пожалуй, и позже. Но звонить ему, напоминать о себе я как-то стесняюсь.

Моё отношение к литературе, а следовательно, и к литературному процессу, некоторым образом платоновское. Я представляю себе литературу как некое сверхбытие или даже сверхсущество, оно живёт над нами и диктует нам свою волю, хотим мы этого или нет, оно существовало до нас и переживёт всех нас. И то незаметное и непреклонное, что конструируется литературными критиками, что-

бы затем превратиться в объективный факт, представляет собой в каком-то ином измерении не что иное как жизнедеятельность сверхсущества — литературы, — можешь смеяться над этими умствованиями. Букеровская премия, какой-то там Елизаров... Да, и это — малая струйка литературного процесса. «Вопрос (пишешь ты), насколько ты совпадаешь со временем, а значит, оказываешься воспринят». Но литература — сама себе время, литература (это замечается не сразу) сама создаёт это пресловутое «время». А то, что называлось временем, отсыхает прежде, чем опадут, как листья деревьев, листки календаря [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

16.12.08

Дорогой Гена, представь себе, пришло из «Волги» письмо, спрашивают, по какому адресу прислать экземпляры и гонорар; я дал свои координаты. Между прочим, пишут, что пытались с тобой связаться еще до публикации, видимо, не сработала электронная почта.

В другой «Волге» с энтузиазмом приняли твой рассказ — это хорошо; кто тебя не читал, наконец, почитает. Мне рассказ показался вариацией давно известного, ты и сам об этом предупреждал. Университет, влюбленность, беседы на темы античности, пассажи о времени и стране, арест, возвращение, встреча. Новым оказался разве что университетский доцент, который по совместительству работает майором-следователем на Лубянке — не берусь судить, насколько это правдоподобно. Да литературное озорство — персонаж по имени Борис Хазанов.

В последней «Иностранной литературе» меня заинтересовали три отклика на роман Джонатана Литтелла «Благоволительницы». Еще в прошлом году Жорж Нива прислал мне свой французский текст о нем «Les Erinyes de Littell». Американец еврейских кровей, живущий в Испании, написал по-французски 900-страничный роман от лица немецкого эсэсовца. Заглавие подразумевает греческих Эринний, которых называют также Эвменидами, то есть Благоволительницами. Мне кажется, тебе это тоже может быть интересно, посмотри в интернете. Роман мне, увы, недоступен, русского перевода не предвидится, но немецкий, как я понял, есть.

Приближается годовщина ухода Лоры. Мне тут можно только помолчать [...]

Вот уж, действительно, странность, дорогой Марк: они откликнулись. Так почти никогда не бывает. Если же пришлют гонорар, оставь его себе, не надо делиться.

Отклики на роман Дж. Литтелла — я тоже обратил на них внимание. Хотелось бы, конечно, если не прочесть роман целиком, то хотя бы полистать. Кстати, Клаус Гарпрехт (Harprecht), автор одного из двух других откликов, не в «Иностр. литературе», а на странице Литтелла в интернете (где Гарпрехт перечисляет тех, кого считает литературными образцами или предшественниками Литтелла: «божественный маркиз» де Сад, «парадный педераст» Жан Жене, Жорж Батай, Луи Селин, чуть ниже упомянут и Эрнст Юнгер), выпустил несколько лет тому назад гигантскую, сверхподробную биографию Томаса Манна. Я о ней писал, она стоит у меня на полке. Посмотри его отклик.

Я вспоминаю две вещи, тоже написанные от имени палача из рядов СС: некогда нашумевший роман Робера Мерля «Смерть — моё ремесло» (я читал его в деревне, году в 62-м) и замечательную новеллу Борхеса «Deutsches Requiem»).

Твоё письмо с замечаниями о рассказе (или, пожалуй, повести) «Плюсквамперфект...» заставило меня снова задуматься. Конечно, первая мысль, когда рассказа ещё не существовало, была: я повторяюсь. Буксую, жую одно и то же. Патогномоничный симптом старости — невозможность избавиться от призрачного, преследующего, как тень Банко, прошлого, и даже не столько реального, бывшего «на самом деле», «автобиографического» прошлого, сколько полупридуманного, литературного, однажды уже сконструированного. Собственно, об этом — о том, что это уже было написано, — говорится в самой повести (в начале 3-й главы).

Но у меня были и оправдания — если угодно, контраргументы, о которых я могу сказать несколько слов, если это интересно. Нетрудно было заметить, что я вообще вращаюсь в одном круге — время от времени возвращаюсь к одним и тем же темам и ситуациям; для меня было важно подсвечивать их с разных точек. В этом прошлом скрывалось то, что можно было высветлить лишь по частям, подступаясь к нему каждый раз заново. Так роют сеть туннелей, копая с разных сторон. И мне казалось, то я каждый раз открываю нетронутые пласты.

Что касается «Плюсквамперфекта», то мне сейчас представляется, что там есть своя особая мелодия, существенная не только для той,

ныне так стремительно забывающейся эпохи. Я понимаю: её выщелушивание огрубляет замысел. С другой стороны, она остаётся более или менее затушёванной, так что о ней стоит сказать отдельно. Эта музыкальная тема — присутствие дьявола. Не то чтобы доцент и, по видимому, полунемец Гартман — сам дьявол, но его можно понять как частную, приспособленную к условиям места и времени репрезентацию дьявольского, inferнального начала. Всё, о чём он вещает, красуясь перед девицами и в конце концов влюбляясь в одну из них, с тем чтобы её в конце концов похитить, все эти софизмы вплоть до центрального тезиса о том, что существует только то, что можно описать человеческим языком, Бога описать невозможно, следовательно, его нет, а вот князя тьмы описать можно, и так далее, и тому подобное, — всё это — словоизвержения дьявола. Это его аргументация.

Нечего и говорить о том, что это амплуа допускает и такие, в реальной действительности совершенно неправдоподобные (ты прав) повороты, как то, что он неожиданно появляется в мундире майора госбезопасности — не следователя: бери выше — и разыгрывает перед арестантом странную игру, говоря, что смысл всего происходящего с молодым человеком — единственно в том, чтобы впоследствии, через много лет, описать всё это.

Другая тема, тоже музыкальной природы (и из тех, которые меня всегда занимали), — юношеская, почти инфантильная любовь, противостоящая дьявольскому времени и его репрезентатору, обречённая краху и развенчанию.

Должен сказать, что такие домыслы и толкования вовсе не приходили мне в голову, когда я принимался за сочинение этой повести, но стали вырисовываться сами собой по мере того, как я продвигался вперёд, возвращался к старому, снова пытался двигаться; и, может быть, они вовсе не обязательны. Вполне отдаю себе отчёт в том, что они покажутся слишком сложными для читателя (если вообще найдутся читатели). Но что делать? [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

24.12.08

С Рождеством, дорогой Гена, и с наступающим Новым годом! У вас сегодня Heiliger Abend. А мы с Галей третий день празднуем Хануку, зажигаем свечи и выпиваем за наших друзей. Свечи вместе с упрощенной менорой нам подарили в Кремлевском дворце на еврейском мероприятии Человек года. Был хороший джаз, объявленную месяц

назад большую программу, как выразились бы финансисты, «секвестировали» — кризис, не хватило денег на американских знаменитостей. О самом мероприятии рассказывать нечего.

Вчера наконец-то выпал снежок, за окном бело — отрада глазу. Морозец 5–6° при снеге приятен, легок, дети гоняют на санках, щеки румяные. Черная земля при морозе действует угнетающе, мерзнешь.

Под Новый год надеемся собраться с детьми и внуками (трое детей, пять внуков), Галя хлопочет о подарках. А я, как всегда, работаю. Новостей особых нет.

Здоровья тебе и всяческого процветания в Новом году!

Твой М.

Б. Хазанов — М. Харитонову

24.12.08

Дорогой Марк, сейчас утро, я давно уже встал, пора приняться за «работу». Но я всё не могу раскататься. Да и какая работа?.. Пытаюсь написать нечто неопределённое, безразмерное, с нарочитой отсылкой к Гейне, *Das Buch Le Grand*¹, — «мадам, я обманул вас, я не граф Гангский», — вещь, которую я с восторгом читал в Москве, в последний год войны, когда мне было 16–17 лет, и о которой узнал ещё в эвакуации от Писарева. Раскрывает ли кто-нибудь сейчас Гейне в России? — не говоря уже о Писареве.

Погода пасмурная, смутная — как и настроение. Год без Лоры. До сих пор, не странно ли, удавалось что-то сочинять, удастся ли дальше? Я составил огромный сборник прозы, близко к шестистам страницам, из старых и относительно новых вещей. Кое-что доделывал, переделывал, — чем бы дитя не занялось.

Мне нанесли кучу книг из России: биография Чуковского, жизнеописание Алексея Толстого, очередной роман Дм. Быкова, который я не могу читать — скучно, ещё Быков — «Был ли Горький?», дурацкие книжки «Ахматова без глянца», «Цветаева без глянца», ещё что-то; книжный рынок цветёт, а между тем вести из отечества невесёлые, кризис, издательства трещат, новые меры по укреплению государственной безопасности, опасения перемен, «не раскачивайте лодку». Или это всё так кажется, глядя из прекрасного далёка?

Сегодня в Германии *Heiliger Abend*, по-русски сочельник, семейный и детский праздник, главный в году, по сравнению с которым Сильвестр, то есть Новый Год, отмечается весьма скромно. Где вы встречаете Новый Год? Обнимаю, жму руку. Твой Г.

¹ Книга Ле Гран.

Дорогой Марк — что-то парапсихологическое: только было я дописал это письмо, хотел отправить — вижу письмецо от тебя. Рад, что ты в добром расположении духа. Поздравляю вас обоих со всеми праздниками — Ханукой, Рождеством, Новым годом. Будьте счастливы! Г.

М. Харитонов — Б. Хазанову

28.12.08

Дорогой Гена, в «Волге-21», я видел, появилась твоя повесть, поздравляю.

Меня в твоём последнем письме заинтересовало упоминание о сборнике прозы, который ты составляешь. По какому принципу отобраны для него работы, по каким разделам? В свое время «Час короля» положил начало, я бы сказал, фантазиям на общеевропейские темы, разных времен, к тому же разряду можно присоединить повествования о современной европейской действительности. «Русские» тексты, начиная с «Запах звезд» — раздел, мне кажется, совершенно особый. (Или ты располагаешь тексты просто хронологически, по времени написания?) 600 страниц — это компьютерных или машинописных, какого размера шрифт, через сколько интервалов? Нас в свое время приучали мерить печатными листами: 40 000 знаков, с пробелами.

А пробовал ли ты уже обозначить корпус своего собрания сочинений? (Не академического, это дело потомков, а, как писали в старину, «тексты, включенные самим автором»?). Там несколько томов, думаю, должна занимать эссеистика, публицистика, рецензии, статьи, тоже разные книги. Письма у тебя полноценный эссеистический жанр, ты вправе отобрать и тут по меньшей мере том. А есть еще, я знаю, верлибры.

Наверно, ты этим уже занимался. Если же, паче чаяния, нет — думаю, стоит. Заодно любопытно будет подсчитать (в печатных листах) общее количество сотворенного.

У нас в субботу собиралась вся разросшаяся семья, дети с мужьями и женами, старший внук уже со своей девушкой. Дарили друг другу подарки, я по традиции исполнял роль Деда Мороза.

Новый год продолжает неумолимо приближаться, я еще раз тебя поздравляю. Будь здоров.

Твой М.

28.12.08

Дорогой Марк, почтенный Дед Мороз!

Я тут немного прошёлся — сухо, солнечно, морозно — и думал, вернувшись, тебе написать, просто так, без особого повода. Пришёл — пришло твоё письмо.

Новый год в самом деле надвигается неумолимо, а ведь еле-еле успели привыкнуть к цифре 2008. И, глядишь, мне вот-вот стукнет 81 год, мафусаилов возраст. Лора совсем немного не дожидка до моего 80-летия. Когда мы познакомились, ей было 18 лет, мне 28, и получилось, что всё, что этому предшествовало, — и полубезумная идея поступить в медицинский институт, и то, что я не имел права жить в Москве, отчего подался в Калинин, тоже не зная, разрешат ли, и вступительные экзамены, к которым я готовился, уверенный, что мне будут чинить препятствия, и то, что мои документы никто не читал, так что лишь после экзаменов, на так называемом собеседовании с зачисленными на первый курс выяснилось, кто я такой, и доцент Малиновский сказал декану Павлу Игнатьевичу Тофилу: «надо бы проверить у него документы», на что Павел Игнатьевич, святая душа, возразил: «Но ведь у него есть паспорт, значит, уже проверяли», и славная кампания освоения целины, куда студентов везли в Казахстан в товарных вагонах, и вечер «целинников» в калининском городском театре, где я оказался на верхотуре, а рядом — незнакомая девушка, — всё это имело только один единственный смысл, одну цель: чтобы мы встретились. Дивные дела.

Ты спрашиваешь о сборнике прозы. Я его сколотил. Получилось 573 компьютерных страницы обыкновенного формата, с полуторным (1,5) интервалом, шрифт Times New Roman, 12-й кегль. Я ссыпал туда, как в мешок, вещи — рассказы, повести, один небольшой роман, — либо не публиковавшиеся, либо (некоторые) напечатанные давно, мизерными тиражами, в практически недоступных изданиях. Собрал не в хронологическом порядке, а скорее по темам или характеру содержания, правда, очень условно.

Всё это я разделил на четыре раздела: «Откуда ты, прелестное дитя», «Русский путь», «Запах звёзд», «Коллекция» (по названиям отдельных вещей. Кроме того, имеется предисловие, а в заключение — маленький и не шибко удачный роман под титулом «Аквариум». Всё вместе, то есть весь сборник, называется «Истинная история

минувших времён». Это выражение — мнимый источник выдуманного мною латинского эпиграфа к повести, тебе знакомой, «Плюск-вамперфект...».

Между прочим, предисловие (которое я тебе, кажется, не присылал, но в нём всё тебе знакомое) я дней десять тому назад послал, в виде отдельной статейки, в «Знамя», aufs Geratewohl¹, в полной уверенности, что получу отказ. Но позавчера вдруг пришёл ответ от К. Степаняна, что начальство прочитало, напечатают. Тоже удивительно. Посылаю на всякий случай тебе эту статью-предисловие, а также оглавление сборника.

Проект собрания сочинений я не составлял, но выписывал на отдельном листе названия сочинений, какие вспомнил. Составляли ли ты что-нибудь такое?

А вот у меня есть такое конструктивное предложение. Давай с тобой создадим — это несложно и недорого — нашу общую компьютерную страницу (сайт) и поместим там всю нашу переписку. Это будет, а ты — всё что есть у тебя. Можно всё это расположить в хронологической последовательности. Работа, конечно, большая, но мы составим план и поделим её. А?

С Новым годом!

Твой Г.

2009

М. Харитонов — Б. Хазанову

1.1.2009

Вот мы с тобой и в 2009-м, дорогой Гена. Поздравим друг друга. Глядишь, проживем еще.

Свой «Реквием» ты мне уже посылаешь, но тот вариант, помнится, был покороче. Перечитывая, я вспомнил, что и у меня было эссе «Мой век» (в «Способе существования»). Оно писалось в 1992 году, век еще не кончился, неясны были перспективы. Они и сейчас неясны, может, даже больше, чем прежде. Но я оглядываюсь на минувшее не только с ужасом. Дело не в разном жизненном опыте и не в разном личном темпераменте (соотношение в организме желчи, крови — чего там еще?). Стоит перечитать библейских пророков, чтобы не считать наше время самым страшным. Войны, казни, наси-

¹ наугад, наудачу (нем.)

лие, угнетение, плен, мор — крик и вопль. Разница в масштабах, цифрах. Но для живущего не так важно, в числе миллионов он мучается и ждет смерти или среди тысяч. Разрушение Иерусалимского храма примитивными медленными орудиями было для современников катастрофой не меньшей, чем высокотехнологичное разрушение Дрездена. Угроза глобальной катастрофы — вот это действительно что-то новое, почище Всемирного потопа. Но все равно приходится жить, и как эта жизнь порой восхищает! У нас, наконец, выпал снег, я катал на санках внучку, сам съезжал вместе с ней с горки, десятки машин свезли к нашему акведуку детей кататься, они гоняли на санках, ледянках, надувных «ватрушках», румяные, веселые, и мы среди них, перемигивались огни на сооружении, называемом ёлкой. Что ж, вернувшись домой, убеждать их, что история ужасна? И ужасов хватает, все вместе. Сейчас вот Израиль бомбит Газу, повсюду в мире взрывается. Опровергать теоретизирования о смысле истории или ее конце — пустое дело [...]

Будем надеяться, пока живы. Забыл, как это по-латыни.
Твой М.

Б. Хазанов — М. Харитонову

1.1.09

Дорогой Марк, вот прекрасный подарок: утром встаю — и от тебя письмо.

После ночи с хлопучками, с треском, шипением и раскатами пиротехники тишина, ни души на улицах, всё покрыто полуснегом, полулинеем.

К библейским пророкам можно добавить индийскую «Дхаммападу» (книжка каким-то почти чудом сохранилась у меня): «Что за смех, что за радость, когда мир постоянно горит. Покрытые тьмой, почему вы не ищете света?» (сутра 146).

Достал с полки «Способ существования», который, кстати, перечитываю время от времени; перечитал и сейчас. То, о чём ты с уверенностью пишешь сейчас (опровергать теоретизирования о смысле истории — пустое дело), там, в статье «Мой век», лишь осторожно ставится под вопрос. Но в том-то и дело, что освободиться от иллюзии, называемой смыслом, или историческим разумом, не так просто. Целые поколения на наших глазах пожертвовали собой ради этого мнимого смысла.

Если же вернуться к моему тексту, то это — просто крик души. Стоит, однако, заметить, что количество переходит в качество: хотя пожар Второго храма переживался современниками не менее болезненно, чем в наше время гибель Дрездена, разница очевидна. То, что происходило в XX веке, может быть приблизительно сопоставлено с катастрофами далёкого прошлого, но и только [...]

С Новым годом ещё раз! Будем надеяться и т.д. — буквальный перевод, если угодно: speremus donec vivimus.

Надеяться, конечно, никому не возбраняется, но...

Si vales bene est, ego valeo («коли здравствуешь, хорошо; я здоров»). Обычная приписка в римских письмах).

Твой Г.

М. Харитонов — Б. Хазанову

6.1.09

Дорогой Гена, пришла «Волга-21» с нашей перепиской. Без заголовка, без сведений об авторах, я обращаюсь к Б. Хазанову «Гена». Тираж 1021 экз.

В первом номере «Знамени» за этот год в обзоре «сетевой» прессы упоминается другая «Волга», где ты публиковался. «Последний на момент написания этих строк номер “Волги”, журнала с нелегкой судьбой, был отпечатан чуть ли не на ризографе, уж не знаю, в каком количестве экземпляров, но на страницах “Журнального зала” он ничем не отличается от всех предыдущих номеров... И если та же “Волга” будет продолжать выходить, тиражом, допустим, в сто экземпляров, распечатанных и сброшюрованных “на коленке”, и рассылаться по крупнейшим библиотекам страны и зарубежья, то, при условии размещения электронной версии на крупном литературном ресурсе, само *качество текстов* сделает ее реальной для литературного пространства. А какой-нибудь журнал на белейшей бумаге, издаваемый солидным тиражом при помощи всех административных ресурсов области, вполне может оказаться фикцией». И там же: «Пора осознать — сейчас для легитимизации печатного издания достаточно даже не 300 — 30 печатных копий».

Вопрос лишь, как при этом зарабатывать на жизнь литераторам.

Впрочем, наша переписка может попасть в интернет через «Вторую навигацию». Да и для этой «Волги-21» существует, наверно, какой-нибудь «электронный ресурс», тот же, где «Наш современник» и пр. Мы там выльдим случайно приземлившимися инопланетянами.

Вот тебе образчик тамошней публикации. Автор, «врач-эксперт», 1923 г.р., пишет: «Русский язык — самый древний на земле. Председатель комиссии (*опущу титулы*)... профессор Чудинов, на протяжении многих лет занимаясь дешифровкой надписей, сделанных на стенах (*sic!*) пещер и скал, пришел к ошеломляющему выводу: надписи, которым не менее двухсот тысяч лет, были начертаны на русском языке «кириллическими» буквами». И дальше о древнейшей на земле расе «славянорусов», которая известна также под именами антов, венетов, руссов, этрусков...

Не знаю, повеселит ли это тебя. Даже не забавно. Могу, если хочешь, прислать журнал, но потом все равно придется его выбросить в макулатуру, предварительно вырвав наши странички. Они читаются вполне достойно [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

Дорогой Марк! Помнишь ли ты стихи Гейне:

Die heiligen drei Könige aus Morgenland,
Sie frugen in jedem Städtchen:
Wo geht der Weg nach Bethlehem,
Ihr lieben Buben, ihr Mädchen?
Die Jungen und Alten, sie wußten es nicht,
Die Könige zogen weiter;
Sie folgten einem goldenen Stern,
Der leuchtete lieblich und heiter.
Der Stern blieb stehn über Josephs Haus,
Da sind sie hineingegangen;
Das Öchslein brüllte, das Kindlein schrie,
Die heiligen drei Könige sangen¹.

Сегодня Три Волхва (Dreikönig, по-народному), последний день праздников. Я их провёл, сидя дома [...]

Я тут стал просматривать в компьютере разные письма к другим адресатам, сделал несколько подборок и послал в Бремен, там находится русский архив, весьма богатый и приведённый в образцовый порядок благодаря Гарику Суперфину. Кажется, я тебе о нём писал; он охотно принял бы и от тебя любые печатные и рукописные материалы. Хотя понимаю, что посылать по почте бумажный корпус такого объёма дорого.

¹ Три волхва с Востока / Спрашивали в каждом городке: / Милые мальчики и девочки, / Как пройти к Вифлеему? / И стар и млад, никто не знал / Волхвы брели дальше; / Они шли за золотой звездой, / Что сияла им любовно и весело. / Звезда стала над домом Иосифа, / Они вошли; / Бычок мычал, плакало дитя, / Волхвы пели (*нем.*)

В России бумага была самым ненадёжным материалом: в любой момент крысы из КГБ могли нагрязнуть, найти и отнять. Здесь, напротив, рукописи надёжней [...]

Какое-то суеверие: кажется, что так можно оставить частицу своей души. Между тем престиж литературы, интерес к литературе, как и внимание к существованию писателей, неуклонно снижаются.

Ты пишешь о «Волге», но я справился в интернете и почему-то не нашёл обзора сетевой прессы в «Знамени». А вот насчёт идеи, будто для журнала хватило бы и ста экземпляров, лишь бы он существовал в Сети, к примеру, в Журнальном зале, — меня это как-то не очень увлекает. Это как еда, предназначенная для приёма в горячем виде, — из холодильника.

О том, что этруски — это «древние русские» и что прародина «ариев» — не то Кострома, не то в Тьмутаракань, мы знаем уже давно. Когда-то, например, упражнялся на эти темы некто Дмитрий Жуков. М. Каганская написала диссертацию о протонацизме (так это у неё называлось) в советской псевдоисторической беллетристике, я печатал фрагменты этой диссертации в нашем бывшем журнале «Страна и мир». См. также сочинения Александра Дугина [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

12.1.09

Я решил не тянуть резину и осуществил твоё заветное желание: свел в единый сайт нашу переписку за 2004–08 гг. Более ранних в моём компьютере нет. Посмотри, сверь со своими запасами, добавь, что пропущено, что надо сократить, почисти, выправь. В 2004 г. у меня, если ты помнишь, забарахлил компьютер, ты помогал мне восполнить потери (об этом письма 18.12.04, 20.12.04), не все тогда удалось найти, некоторые даты оказались утрачены. Посмотри. С датами было ещё одно недоразумение: ты их ставил с помощью компьютера, нажатием клавиши. А в компьютере эти автоматические даты стали по ходу времени сами собой видоизменяться. Я это заметил не сразу, стал дублировать цифры сам, от руки. Кое-где остались эти двойные даты (см. 2.5.05, 5.8.05, 9.9.05, которые компьютер превратил все в 30.11.05, но кое-где остались компьютерные). Иногда компьютерные даты я убирал, иногда оставлял двойные, из любопытства: будут ли меняться? Посмотри, унифицируй, убери лишнее сам [...]

Я попутно пробежал тексты глазами: тут есть что почитать, когда будет время. Что говорить, эта переписка стала частью моей жизни, другого такого корреспондента у меня нет [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

13 янв. 09

[...] Не устаю удивляться обилию писем. За всю свою жизнь в России я не написал (и не получал) такого количества. По правде сказать, я не знаю, кого может заинтересовать в нынешней ситуации литературного одичания наш эпистолярный; а с другой стороны, было бы жаль дать этим письмам пропасть.

В моём томе писем Флобера (серия Folio classique, 1998) всего 297 текстов; вместе с предисловием и краткими комментариями около 850 страниц; правда, это только избранные письма.

Когда-то я поместил в «Октябре» статью под названием «Дневник сочинителя» — о дневниковых записях писателей, — где среди прочего шла речь о том, как подчас дневник литератора невольно или сознательно преобразуется в литературный жанр. (В русской литературе, не говоря уже о советской, это, впрочем, нечастый случай.) Но я заметил, что почти то же довольно часто происходило с нашими письмами, чему, конечно, способствует электронная техника. Отсюда недалеко до романа в письмах, жанра почти вымершего. Означает ли это, что и на наши письма незаметно ложится патина (если не плесень) архаизма? Любопытный парадокс: самоновейшая техника реанимирует стародавнюю традицию [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

23.1.09

Дорогой Гена, не писал тебе, потому что не о чем было. На такие слова ты мне однажды ответил: плохи дела, если не о чем писать. Можно выразиться иначе: не было внешних событий, о которых стоило бы рассказать. О работе, которой занят каждый день, писать трудно, она внутренне разрастается, переливается смыслами. Разговор о замысле сведется к общим словам, новым может быть литературное вещество, плоть. Читаю преимущественно то, что нужно для нее, на постороннее чтение отвлекаюсь, просматривая интернет, но ничего особенно вдохновляющего пока там не обнаружил. Ходил, впрочем, в театр Фоменко (там сейчас в администраторах мой внук, представь себе) на прогон спектакля по «Улиссу» Джойса. Он длился с двумя антрактами почти шесть часов и произвел на меня впечатление. Встретился там со своим давним знакомым Сергеем Хоружим, блистатель-

ным переводчиком «Улисса» и замечательным его комментатором. Он, кроме того, математик и философ, руководит институтом некой синергетической антропологии. Я в интернете поискал, что это такое, не особенно понял. Но говорить с ним интересно. Подарил мне книжку со своим переводом неизвестных прежде текстов Джойса.

А вчера вечером позвонил Янович, подтвердил, что готовит к изданию в феврале обе наших книжки. У него дела, похоже, налаживаются [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

23 янв. 09

[...] Я тоже вылезая из своей берлоги от времени до времени. Вчера был в Гастайге (в сотый, если не, в сто пятидесятый раз), огромный современный зал Карла Орфа был заполнен доотказа. Так называемый Интернациональный оркестр под управлением весьма популярного Юстуса Франца и большой, красиво одетый хор, прилетевший из Южной Кореи, выдали Бетховена — мою любимую Фантазию для ф/п, хора и оркестра и IX симфонию. Странное дело, эта музыка всегда напоминает мне Россию. И всякий раз спрашиваешь себя, отчего искусство грандиозных упований, веры в человечество, эллинского трагизма, иудейской эсхатологии, германской непреклонной воли, прозрений ослепительного будущего — больше невозможно, непозволительно, отчего шиллеровское *Seid umschlungen, Millionen* звучит горькой насмешкой. Левекюн замыслил отменить Девятую, и он был по своему жестоко прав.

Между делом я занимался нашим эпистолярием, присоединил к твоей подборке значительную часть писем предыдущих лет, хотя всё ещё далеко не всё. Послал Гарику Суперфину в Бремен, а что ещё можно с ними сделать, кому предложить — хотя бы малую часть — для возможной публикации, ума не приложу. Гляжу на всю эту застывшую лавину, и меня охватывает уныние [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

30.1.09

Дорогой Гена, только что увидел в февральском «Знамени» прекрасную рецензию Льва Оборина на твою «Вчерашнюю вечность». Она не только хвалебная, но содержательная, глубокая, можно тебя поздравить. Знаешь ли ты, кто такой Оборин?

А вчера я был у Яновича, подписал договор на свою книжку. Издательство ютится в одной небольшой комнате, сотрудники работают у компьютеров дома, по совместительству, сам издатель бывает в своем офисе хорошо если раз в неделю. Вспомнилось что-то подобное у Булгакова, в «Театральном романе», эфемерное издательство в комнатухе. Подумал тогда: у нас бы так, мне это симпатично. Тираж урезан до тысячи экз. (возможна допечатка — в маловероятном случае успеха), обложка мягкая — кризис. Гонорар, 10%, я получу в виде экземпляров. Когда-то я довольно быстро продал бы сотню книжек на своих вечерах и на Галиных выставках, сейчас мне, похоже, это не светит. Но издательство распродаст еще медленней, а рубль падает. Услышал по радио, что в Петербурге один за другим закрываются книжные магазины. Везет же нам на исторические времена: ни у кого еще на памяти не было всемирного кризиса.

И все-таки хорошо, если книжка выйдет; в бумажном виде — это уже литературный факт, электронная публикация мне все еще кажется эфемерной [...]

В любом случае непонятно уныние, с каким ты глядишь на эту «застывшую лавину». Эта лавина — запечатленная в письмах часть нашей жизни, фрагмент летописи, мысли друзей-современников. Если она сохранится — чего желать больше? Чего она стоит, будут рещать потомки [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

1 февр. 2009

[...] Сегодня воскресенье и, как все эти дни, тишина, погода — несколько градусов ниже нуля, за окном на нашей лужайке трава еле присыпана снегом. Солнца нет, небо затянуто белыми облаками. Живу всё так же. На рассвете поднимаюсь полуживой; холодный, так что руки мёрзнут, душ, Гайдн и жалкое подобие гимнастики (гантели уже давно пришлось оставить) возвращают в земную юдолю; после завтрака сажусь за компьютер, гляжу на экран, как сказал поэт, глазами старого барана на новые ворота. Катаешься ли ты на лыжах? [...]

Рецензию в «Знамени» я прочёл, получил большое удовольствие, это редкий пример вдумчивого и доброжелательного отклика. Да и вообще я не привык, чтобы кто-нибудь в России каким-либо образом реагировал на мои сочинения. Кто такой Лев Оборин, я не знаю [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

7.2.09

[...] Газетно-журнальное чтение последнего времени возвращает к мыслям на темы Шпенглера, «Der Untergang des Abendlandes¹». Расслабленная западная цивилизация как будто не имеет ни желания, ни воли сопротивляться чужеродной инфильтрации (медицинский термин кажется более подходящим, чем «проникновение»). Россия разлагается, угасает по-своему, власти стараются отгородить страну от Европы, а с востока ее уже ненавязчиво обволакивает Китай. Совершится все не при нашей жизни, на детей еще хватит, глядишь, и на внуков. Хотя исторический процесс сейчас ускоряется небывало, это цветущая латино-римская цивилизация перерождалась в христианско-варварскую веками. Что ж, стала средневековой. Может, будет не хуже, не лучше — что-то другое (если не опрокинут все глобальные катастрофы). А пока интеллектуалы-гуманитарии грустно силятся что-то хотя бы сохранить, поддержать [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

7 февр. 2009

[...] Шпенглер, Der Untergang des Abendlandes. Похоронный марш западной цивилизации... Утешает то, что это старая песня. Европу хоронили так же часто, как хоронили роман. Но ты имеешь в виду новейшую ситуацию, последние десятилетия, когда натиск новых варваров (не обязательно, впрочем, варваров) резко усилился. Когда-то старик Мундт, человек известный, с которым я часто встречался, у которого дома на стене висело в рамке письмо Томаса Манна, да и жил он в Herzogpark'e, в двух шагах от того места, где жил Манн, — когда-то Мундт говорил: Европа — это осаждённая крепость, которая падёт, что бы мы ни предпринимали.

Но «расслабленная западная цивилизация» (твои слова) диктует свои обычаи, навязывает условия всему остальному миру, и не видно, чтобы эта стратегия себя изжила. Другое дело, что роль лидера переняла от европейцев Америка. Это первенство, прежде всего экономическое и военное, будет продолжаться и дальше. Цивилизация, вопреки Шпенглеру, утратила локальный характер, она распро-

¹ Закат Запада (нем.)

странилась по всему миру, стала глобальной. Террористическое противостояние мусульманского (арабского прежде всего) мира — это ярость опоздавших, которые чувствуют, что западная техника, западное благосостояние, английский язык, мировая экономика — засасывают их. Сами они ничего создавать не могут. Производственные технологии, нефтяные промыслы, автомобиль, самолёт, компьютер, новейшие виды вооружения — всё это создано западными инженерами, изобретено европейцами и американцами. Кровавый старик Хомейни прибыл из эмиграции в Тегеран рейсовым самолётом западной авиакомпании. Бин Ладен, если он ещё жив, вещает по телевидению. Угнаться за научным и техническим прогрессом развитых стран, соревноваться с ними невозможно. Этот прогресс поработает всех. Равно как и комфорт (какой-нибудь Дубай — бомба замедленного действия в восточном мире). Случись катастрофа — ублюдочные государства Ближнего и Среднего Востока, со своей архаической религией и средневековой моралью, с дикими представлениями о современном мире, окажутся беспомощными и рухнут вместе с передовыми странами, чьей гибели они так жаждут. Что касается Африки, ничего не выигравшей от крушения колониализма, то она давно уже стала иждивенцем богатой Европы и Америки. Прекратятся поставки продовольствия — и чуть ли не половина несчастного населения помрёт с голоду.

А вот с Россией... не знаю. Ясно, по крайней мере, что неумная внешняя политика изжила себя. И с лозунгами православно-имперского величия далеко не уедешь.

Ты спросил, чем я занят. Я думал, что исписался, должно же это, в конце концов, когда-нибудь наступить. Я привык заниматься литературой изо дня в день, а тут почувствовал себя безработным. Но тут пришли в голову кое-какие идеи — не Бог весть что, но всё-таки. Я начал одну работу, потом её отгеснила другая. Конечно (и ты это, очевидно, не раз замечал) я толкусь вокруг одних и тех тем, переигрываю заново уже отзвучавшие, казалось бы, музыкальные темы. В данном случае речь идёт о бегстве. Это русская тема («мечта о прекращении истории», как говорит Мандельштам), мотив, который подспудно звучит рядом с историческим процессом, всё больше принимающим облик абсурда, и поддержанный российской воронкообразной географией. Уйти с концами, скрыться на дне воронки, бежать из отечества вглубь отечества — сколько в этом соблазна. Я и сам когда-то (если спуститься с историсофских высот в реальный быт, в обыденную судьбу) мечтал поселиться с какой-нибудь бабой в тёплой избе и забыть обо всём.

В данном случае речь идёт о повести (скажем так), где происходит что-то похожее, но с отчасти уголовным, отчасти мифологическим привкусом. Впрочем, не стану загадывать, и вообще не знаю, получится ли что-нибудь путное.

Мои литературные или, скорее, окололитературные вещания в небольшом кружке возобновились после долгого перерыва, «идя навстречу пожеланиям трудящихся», в этот раз я рассуждал о субъективной и объективной словесности. Тоже, в сущности, далеко не новый сюжет [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

22.2.09

Дорогой Гена, я не писал тебе, зная, что у тебя целая неделя была занята гостями, встречами, поездками — не до меня. Расскажи, что видел, с кем общался, о чем были разговоры. У меня общение все более угасает — обычное для возраста дело. Недавно я обнаружил, что среди моих многолетних друзей и знакомых преобладали люди старше меня, иногда существенно. Не только мне с ними — им со мной было почему-то интересно, приезжали друг к другу, выпивали, говорили обо всем на свете. Иных уж нет, а те далече. С кем-то самого не тянет общаться, даже по телефону, кто-то не откликается. Причина, может, во мне. Должен признаться, что меня самого такая уединенная жизнь, в общем, устраивает. Есть время работать, думать, хожу на лыжах. К концу зимы наконец-то напал снег, за окном бело, сейчас яркое солнце. Вечером поедem к сыну, у него сегодня день рождения. Работа движется от тупика к тупику; пробившись из очередного, обнаруживаю, что замысел все больше расширяется — хватит ли сил, а главное, времени, чтобы его одолеть? Но что может быть лучше этого ищущего, напряженного состояния? Ты знаешь лучше меня [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

CharM397
25 февр. 2009

Дорогой Марк! Новая нумерация теперь уже тоже далеко не новая: приближаемся к четырёхсотому номеру, каково? Кстати, получил ли ты переписку, которую я посылал прошлый раз?

Я вернулся из Турина, вся братия была расселена в хорошей гостинице на высоком холме, откуда виден весь город. Впрочем, итальян-

янцев было больше, чем гостей. Россиян меньше, чем ожидалось [...] Конференция была скучной, так что я немного пожалел, что потащился туда. Но город прекрасен, классически строен, над всем, над великолепными дворцами, памятниками, площадями и проспектами — вечноголубое небо, и, как всегда, когда попадаешь в большой европейский город, кажется, что жизнь здесь — сплошной праздник.

На аэродроме в Мюнхене меня встречал Илюша, мы поехали ко мне, и назавтра он провёл у меня целый день. Какое счастье, что у меня есть сын.

Между тем у нас здесь навалило столько снега, что не успевают убирать. В горах снежные завалы и лавины. Сегодня, правда, с некоторой опаской светит солнышко. На лыжах я уже не хожу. Прошли времена, когда мы каждый год ездили кататься на лыжах в Южный Тироль, в Доломиты.

К своей работе я ещё не вернулся. Как обычно, нужен разбег, а главное, энтузиазм, обновление вечной иллюзии, сопротивление заезженным, как старая пластинка, мыслям о беспечности этих занятий.

По возвращении меня ожидала некоторая неожиданность. Пришло письмо из Москвы от «оргкомитета конкурса Русская премия» следующего содержания:

«Уважаемый г-н Хазанов, подскажите, пожалуйста, есть ли у Вас российская виза, которая позволит Вам приехать в марте в Москву? Мы опрашиваем соискателей «Русской Премии» (Вы номинированы издательством «Зарубежные записки»), чтобы оказать при необходимости визовую поддержку тем, у кого нет российской визы. Если визы у Вас нет, просим сообщить нам в ближайшее время паспортные данные...».

Я знал, что Лариса Шиголь собиралась предложить меня с романом «Вчерашняя вечность» в кандидаты, но говорил ей, что это бесполезная затея. А теперь — что сей сон значит? [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

26.2.09

Дорогой Гена, твое письмо не удовлетворило моего любопытства. О чем все-таки говорили в Турине [...] В прежние времена после заседаний задерживались, бывало, за рюмкой вина, обсуждали разные темы.

У меня сейчас этого нет. Погряз в своей работе, мерещится выход на какой-то высокий уровень, но как нарастить мускулы? Журнальная проза не вдохновляет, телевизор смотреть не могу, только читаю ново-

сти в интернете. По поводу смертоубийственных криминальных разборок время от времени слышу: ну что ж, так и в Америке начиналось, такой этап. Сравнение с Америкой, боюсь, хромает, нам светит скорей будущее босоногих сомалийских пиратов: заполучили свои миллионы, а что со страной дальше?

Прекрасная новость — «Русская премия», впервые о ней слышу. Значит, вполне возможно, что ты приедешь в Москву? Когда предполагается вручение? [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

27 февр. 2009

Дорогой Марк, ты спросил, о чём говорили на конференции в Турине. Приятно, конечно, было узнать (меня пригласили ещё летом), что в Италии так увлечённо занимаются Гроссманом — больше, может быть, чем в России, — но, к сожалению, синхронный перевод с итальянского был очень непрофессионален, а я и письменный итальянский язык (которым когда-то немного занимался) разбираю с трудом. Главное же то, что доклады были по большей части скучные. То и дело натыкаешься на одно то же — о чём почти полвека назад писала Сузн Зонтаг: с засильем интерпретаций и забвением искусства. Литературная критика оказывается чем-то таким, что пролетает мимо литературы. То, что «Жизнь и судьба» — это роман и написал его писатель, художник, привычно выносится за скобки, неинтересно, а интересно поговорить о моральной философии Гроссмана, об общественной позиции и т.п. [...]

Я вечером не могу ни есть, ни пить, вообще никогда не ужинаю, поэтому сидел для виду за стаканом минеральной воды. Разговаривал с двумя француженками о Романе Гари и расспрашивал Витторио Страда об итальянском Юге, сицилианской и кампанийской мафии, об островке Лампедуза, где скопилась огромная масса приплывающих из-за моря африканцев, которые недавно устроили какой-то колоссальный дебош, протестуя против того, что им не дают возможности перебраться в Италию, а оттуда в другие страны европейского Запада. Клубок несчастий, нужды, зависти и безответственности. Всё это тебе, вероятно, известно [...]

Сопоставление нынешней России с североамериканским прошлым, — дескать, там тоже так начинали, — очевидная нелепость, да и не красит наше отечество. С уверенностью можно сказать, что будущее России — это не нынешние Соединённые Штаты. Что каса-

ется меня, то я и прежде не верил в это будущее. Легче поверить в исторический рок. Или в Русского Бога, который спохватывается в последнюю минуту, когда уже в самом деле гигантский обветшалый дредноут начинает зачерпывать воду. Такая великая страна не может просто так, *mir nichts, dir nichts*¹, пойти ко дну. Что и доказывает её история. Но выбраться на дорогу «широкую, ясную», как пел в самозабвении нежно любимый мною Некрасов... Больно об этом говорить.

Дальнейший распад Федерации? Недавно в Париже у Ренэ Герра (он на днях приезжал ко мне с молодой женой) я познакомился с одним русским поэтом и писателем — забыл, как его звать, — оригинальным и забавным человеком, который провёл сколько-то времени в Сибири, в разных местах. Он толковал о том, что там складывается особый этнос. Мужики спиваются, никто не хочет, да и не умеет работать, и женщины предпочитают выходить замуж за китайцев, людей трудолюбивых, предприимчивых и непьющих, — и это-де неплохой выход [...]

Кажется, я писал тебе, что затеял наскрести сборник прозы из неопубликованных или провалившихся в небытие вещей. Связался со здешним представителем издательства «Алетейя» (ἀληθεια, «истина», с ударением на втором слоге, — кто их надоумил выбрать такое название, отуда они его вычитали, не постигаю). Теперь мне, представь себе, прислали вёрстку. Но, как и следовало ожидать, за эту честь платается. Такая это страна. Когда-то в России я кропал свою прозу, вовсе не помышляя о публикации, да и не совался никуда, твёрдо зная, что мои изделия никто никогда не напечатает. И это было лучшее время для занятий литературой как истинной вещью в себе и для себя. Однако честолюбие, этот злейший враг сочинителя, пробудилось, Воронель, уезжая, захватил с собой мои рассказы, в Израиле на чьи-то средства, микроскопическим тиражом была выпущена книжка, кто-то прислал мне тайно один экземпляр, его с торжеством нашли при обыске и вызвали меня для на допрос, зная доподлинно, кто её автор, что я, однако, имея некоторый опыт, отважно отрицал. Таково было заслуженное наказание за идею печататься. Времена изменились, злое отечество за кордоном, но и здесь честолюбивое желание выйти на публику наказуемо, плати штраф.

О «Русской премии» я не имею никакого представления, услышал о ней впервые. Когда происходит вручение (если мне её в самом деле присудят), не знаю [...]

¹ ни того ни с сего (нем.)

М. Харитонов — Б. Хазанову

28.2.09

Дорогой Гена, я посмотрел в интернете, что такое «Русская премия». «Международный литературный конкурс «Русская Премия» учрежден в 2005 году. Его целью является сохранение и развитие русского языка как уникального явления мировой культуры. «Русская Премия» традиционно присуждается в трех номинациях: «крупная проза» (повести и романы), «малая проза» (повести и сборники рассказов) и поэзия. «Русская Премия» является единственной российской премией для русскоязычных писателей зарубежных стран. В отличие от предыдущих лет «Русская Премия» по итогам 2008 года будет присуждена авторам литературных произведений на русском языке, проживающим в любой стране мира за пределами России». «Длинный список» премии (30 имен) будет объявлен уже 4 марта. Судя по тому, что тебя спрашивали о визе, есть все шансы, что ты в марте сможешь приехать в Москву. Вот было бы прекрасно!

Меня, среди прочего, радует, что «Зарубежные записки» уже стали достаточно авторитетным изданием, скажи это Ларисе. У меня там на очереди две публикации — если, конечно, кризис не вмешается. У нас все новые издания закрываются, перестал, например, выходить «Огонек».

Издать книгу за свой счет у нас, конечно, давно можно, мне в трех издательствах намекали по поводу предложенного им сборника верлибров: книжка нам нравится, но если бы вы нашли спонсора! Дело не в том, что у меня нет денег, можно бы наскрести, но как-то не хочется. Когда-то и Пастернак, и Мандельштам издали свои первые книжки за свой счет, и они были замечены, сейчас на это трудно надеяться, и хоть как-то зарабатывать на жизнь надо. Можно пока печататься в журналах, (вот и Ларисе мои новые стихи понравились). Но чтобы сначала сделали верстку, потом требовали денег (сколько?) — про такое я слышу впервые. Как ты решил? [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

6 марта 2009

[...] Весна было началась, и уже птицы во-всю распевают перед рассветом, но снова пасмурно и холодновато. Так бывает, впрочем, каждый год. Но я не часто вылезая в город, ещё реже — «в свет» [...]

Я пытаюсь продолжать начатое, влез в немыслимые дебри в прямом и переносном смысле слова: леса русского Севера, отшельники таёжных обитателей, разбойники, — и уж не знаю, в каком веке я очутился. Тема всё та же, равно касающаяся пустынножителей, заключённых, да и мало ли кого ещё на Руси, для меня, во всяком случае, не новая: побег из истории, из страны вглубь страны. И сам я словно продираюсь сквозь колючий подлесок. Кому всё это может быть интересным? Но надо что-то делать [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

12.3.09

Дорогой Гена, ты, думаю, знаешь, что «Вчерашняя вечность» вошла в «длинный лист» Русской премии. Есть все шансы, что она попадет в короткий, а значит, где-то в апреле ты можешь оказаться в Москве.

Возможно, как раз к тому времени уже выйдут наши с тобой книги, Янович планирует их теперь на апрель. Махнемся экземплярами. (Впрочем, я имею право на авторский — за вступительную статью.)

Что у меня? К юбилею Гоголя мне заказали статейку для «Знамени», а вчера я по этому же поводу выступал на «круглом столе», это было на очередной книжной ярмарке. Статью тебе посылаю.

Возвращаюсь к своей работе. За окном сейчас тает, но, может, после обеда рискну сходить все же на лыжах. Несколько дней не ходил [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

17.3.09

Дорогой Марк, мне прислали сообщение, что мой роман вышел в финал Русской премии, и приглашают меня приехать в Москву 31 марта. Оплачивается билет и гостиница на две ночи. Церемоний должна состояться 1 апреля (замечательный день), на следующий день я должен буду уехать. Конечно, очень хотелось бы с тобой повидаться. Я пока ещё не знаю, где всё это состоится. Не мог бы ты, с Галей или один, посетить эту церемонию? Обнимаю, твой Г.

М. Харитонов — Б. Хазанову

17.3.09

Поздравляю, Гена, рад за тебя. Конечно, придем с Галей [...]

8 апр. 09

Дорогой Марк, вот я и в Мюнхене. Опять я в деревне, хожу на охоту... Проснулся, в широкие щели сарая глядятся весёлого солнца лучи... Должно быть, хозяин был полунищим, иначе его сарай не был бы в таком состоянии. Но сколько прелести в этих стихах.

Жизнь моя в Москве была суматошной, что же касается присуждения премий, то церемония прошла с большой помпой. Было много народу, произносились речи, всё это передавалось по радио и так далее. Актёр Театра юного зрителя читал отрывки из произведений лауреатов. Я тоже произнёс, как положено, небольшую ответную речь, которую прилагаю.

К сожалению, я недостаточно чувствителен к подобным событиям (для меня всё это было приятной неожиданностью), а со смертью Лоры купание в лучах славы вовсе потеряло смысл. Но деньги, конечно, мне могут очень пригодиться [...]

Обратный путь к аэродрому Домодедово я тоже проделал вместе с моим братом Толей в такси, которое прислал Оргкомитет (вообще всё было организовано очень хорошо). Водитель оказался интеллигентным человеком, бывшим врачом. По дороге разговаривали, сперва о машинах и разных пустяках, потом серьёзней. Он оказался почитателем Фоменко и православным христианином. Под конец Толя не удержался и спросил: «А как вы относитесь к евреям?» Шофёр ответил: евреи необыкновенно талантливая нация, но их нужно ограничивать. Он употребил оба эти слова: «нация» и «ограничивать». Расстались дружески.

Как весело было встретиться, и как жаль, что так мало повидались! [...]

Приложение

Приезжая в Москву, я слышу вокруг себя русскую речь, и она вызывает у меня двойственное чувство.

Это родной, материнский язык и в то же время не совсем родной.

Он кажется мне испорченным, но это живой, современный русский язык, и я должен признаться, что я на нём уже не говорю.

Никто, может быть, не относится к родному языку так ревниво, как писатель, ушедший в изгнание. Язык не портится, когда его хранят в холодильнике; эмиграция — это холодильник.

Проблема, однако, достаточно сложна: что значит сберечь язык, отстаивать его чистоту и неприкосновенность? Идея, не чуждая нам, как и нашим предшественникам, русским политическим эмигрантам 20-х и 30-х годов прошлого века. Их, как и нас, порой ужасал жаргон метрополиси. Но язык, всякий язык, постоянно меняется, язык не может не меняться, — деградируя, одновременно развивается и на ходу меняет оттенки и знаки: то, что культурным людям сегодня кажется вульгарным, спустя одно-два поколения становится нормой. Борхес любил повторять: «Мы говорим на диалекте латинского языка». Грязный жаргон римского простонародья, язык гостей Трималххиона, ломаная латынь провинций — предок современных высококультурных романских языков, а отнюдь не золотая латынь Цезаря и Цицерона.

И всё же, всё же... Мы не можем пересоздавать язык, который течёт мимо нас, как вечная и никому не подвластная река, между тем как мы сидим на берегу, удим рыбку или зачерпываем горстями, чтобы совершить омовение. Но ведь и твёрдый берег был когда-то текущей стихией; мы сидим на этой окаменелости языка, голыми ступнями болтая в воде. Мы не можем по своей прихоти пересоздавать язык. Но портить язык, плевать в этот поток мы можем, что и происходит каждодневно в эпоху газет и телевидения, в царстве журнализма. Остаётся лишь верить в постепенное, со временем, самоочищение языка, наподобие процесса самоочищения рек.

Награда, которой я удостоен, присуждается писателям, чьё призвание и утешение — беречь и пестовать русский язык как неотъемлемое достояние мировой культуры, и я горжусь тем, что причислен к ним. Я благодарю Оржекомитет, жюри во главе с Сергеем Ивановичем Чуприниным и всех присутствующих за эту высокую честь.

М. Харитонов — Б. Хазанову

9.4.09

С благополучным возвращением, дорогой Гена! Рад, что твое пребывание в Москве оказалось плодотворным. Немного забавно, что ты описываешь мне церемонию, на которой я присутствовал. «Актёр Театра юного зрителя читал отрывки... Я тоже произнёс...» Мне интересно бы узнать о твоих встречах, о разговорах, наверняка долгих и содержательных. Как интересен был попутный разговор с таксистом.

Я обещал прислать тебе цитату из книги Померанца, где упомянуто твое имя. Это фрагмент интервью. Гришу спрашивают о

кризисе на Западе и в России. Он отвечает: «Запад болеет с хорошими врачами, с хорошим подбором лекарств. Мы это обсуждали с Борисом Хазановым. Это мой приятель, с которым мы подружились в начале 80-х годов, он тогда же и уехал. Мы стали с ним переписываться, причем все время бранились, но продолжали переписываться. Он мне доказывал, что на Западе все нормально. И впервые высказал мысль, что кризис — это нормальное состояние цивилизации. Я сперва фыркнул, потому что хотел подчеркнуть, что это все-таки кризис. А потом понял, что в известной степени это верно, что действительно выйти из этого кризиса пока невозможно. Но Запад, не пытаясь делать невозможное, все время подлечивается и как-то так существует. А мы сейчас боеем, как у нас болеют пенсионеры, у которых нет дорогих лекарств, потому что денег нет, а дешевые не помогают».

Дальше еще ссылка на Сороса. Меня удивило, как книга, вышедшая в 2008 году, успела так оперативно откликнуться на нынешние события. Посмотрел дату: интервью бралось в 2000 году. Как-то мы успеваем забыть, что повторяем все те же разговоры [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

9 апр. 09

Дорогой Марк, — в самом деле комическая история: ты был на церемонии, а я тебе начинаю рассказывать, как всё происходило, посылаю свою речугу и т.д. [...]

Было лестно узнать о том, что Гриша помянул меня в своём интервью. Мы, однако, познакомились не в 80-х, а в 70-х, на одном из воскресных симпозиумов, которые устраивал у себя на квартире Виктор Браиловский. Гриша читал там доклад о Достоевском. Потом встреча с тобой у Померанцев, в их доме я с тех пор бывал довольно часто.

«Кризис Запада» был любимой темой Гриши; он, конечно, понимал под этим словом нечто иное, нежели то, что оно сейчас конкретно означает. Может показаться странным, но его рассуждения о кризисе западной цивилизации напоминают не только вещания старых русских славянофилов о крушении Запада (неумирающая традиция русской историософии), но и любимый тезис преподавателей марксизма-ленинизма о том, что капиталистический мир, прежде периодически сотрясаемый кризисами перепроизводства, теперь угодил в трясиину общего кризиса капитализма.

Как бы то ни было, ни я, ни Гриша, конечно, не знали толком, что реально представляют собой современные западноевропейские государства, вдобавок очень разные [...]

[...] Я снова в Мюнхене, вернулся вчера. Собственно, это письмо писал ещё в Чикаго, но компьютер не в ладах с русским языком. Я провёл там тихие дни, иногда кое-куда ездили: в спортивный клуб, в Institute of Art, где была большая выставка Мунка. Немного гулял, если позволяла весьма переменчивая погода, и занимался двумя текстами, закончил один рассказ — или небольшую повесть, которую кропал последние два месяца, — но что значит закончил? Конец скомкан, и вообще осталось многое, что ещё придётся спасать, если удастся.

Теперь надо приниматься снова.

Тема, «концепция»? Мне всегда кажется, что я чего-то не договорил в прежних сочинениях, и получается, что я то и дело повторяюсь, кружусь вокруг одного и того же, откуда выскочить так же трудно, как планете переменить орбиту. Между тем настоящая вещь, не правда ли, возникает, когда она вторгается в этот хор, «как беззаконная комета в кругу расчисленных светил».

Тема — побег, бегство. В рассказе это исчезновение из столыпинского вагона, вещь невозможная. Когда-то я слышал рассказы о побегах — традиционный сюжет лагерного фольклора. Иные из этих сказаний были основаны на реальных происшествиях; притом обязательно со счастливым исходом. «Ушёл с концами». О том, что беглецов возвращали — жестоко избитых, израненных, искусанных собаками, с простреленными ногами, разумеется, все знали, но такой конец не входил в рапсодический канон.

Впрочем, побег из неволи — это ведь давняя, традиционная тема русского полународного творчества, и лишь политическими аналогиями можно объяснить то, что советская фольклористика ею не занималась. В воспоминаниях Лакшина, если помнишь, рассказывается, как Твардовский любил песню «Славное море, священный Байкал», в самом деле замечательную. Бегство из столыпина — дело практически неосуществимое, но у меня там вообще много выдумки, главное же то, что побег из лагеря (или по пути в лагерь) — это только тема в первом приближении, дело идёт о чём-то большем. Бежать, скрыться, вырваться из тусклой обрыдлой жизни, бежать из страны вглубь страны, туда, где тебя никто не узнает, — вековая мечта, которая возрождается в каждом столетии, при любом режиме. Бежать, гонимому той самой тоской в арии Досифея из III или, кажется, IV акта «Хованщины», величайшей из русских опер. Поистине это какая-то устойчивая черта русской психологии, прирождённая, хоть и поддержанная размерами страны; и, должен сознаться, в былые времена не чуждая и мне. При

этом черта естественно-мужская, перпендикулярная, подобно геометрическому перпендикуляру, к женской горизонтальности, распластанности, к конструктивной усидчивости женщин, на которой, собственно, и держится русская жизнь. Иначе невозможно было бы объяснить, каким образом огромная, анархически-безалаберная страна, этот самоистребительный образ жизни с его вечным припевом: «а на х...я мне! ..» — каким образом всё это не провалилось в тартарары, смогло просуществовать целое тысячелетие.

Это, однако, повесть о побеге, откуда, в отличие от походов Одиссея или бегстве какого-нибудь Пер Гюнта, не возвращаются. Если угодно, повесть о Вечном Беглеце. Тяжёлый восьмиколёсный локомотив «Феликс Дзержинский», в просторечии Федя, какие ходили по железным дорогам ещё до недавнего времени, пыхтит в неизвестном направлении, таща за собой эшелон тюремных вагонов; ночью, на глухом полустанке находят спящего забулдыгу и, недолго думая, втаскивают в вагон на место исчезнувшего пассажира, — доедем, сдадим по счёту, а там пуцай разбираются! — тем временем странник пробирается по тайге (сколько я видел таких заснеженных чащоб!) и в конце концов оказывается в местах, где основал свой монастырь отрок Варфоломей, где Стефан Пермский проповедовал зырянам, где скрывались отшельники XIV века, словом, в той средневековой Северной Руси тайных обителей-пустынь, о которых писал Федотов. Беглеца приютит у себя один такой анахорет, и дальше начинаются разные приключения.

Ты скажешь: как всё это далеко от сегодняшней жизни, от современной России. Ещё бы. И всё же вечный мотив, — или? [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

30.4.09

Рад, что вернулся, дорогой Гена, я уже соскучился по твоим письмам. У нас было несколько дней теплой погоды, больше 20°, начало зеленеть. Пером я бы писал на лоджии, но мой ноутбук не вынесешь, подсоединен к интернету [...] Между тем работаю довольно плотно, текст разрастается, за год вряд ли закончу. В моем возрасте остается просить «Того, который стоит надо мной» (Мандельштам), чтобы дал достаточно времени. Ни на что другое отвлекаться не способен, ни на стихи, ни на рассказы. Только вот по заказу высказался о Гоголе, вроде бы получилось. Да еще веду свою Стенографию, в ней иногда что-то возникает. Ты умеешь вести сразу два, а то и больше текстов, завидую.

Мне понятно твое опасение повториться, сам то и дело себя ловлю на том же. Недавно решил отправить в Библиотеку Никитина-Перенского свою давнюю повесть «Приближение». Я тебе уже когда-то писал, что существенно переработал ее для книги «Времена жизни», которая вышла в издательстве «НЛЮ», но вся моя правка по непонятным техническим причинам оказалась в книге не учтена. Захотелось как-то зафиксировать, предъявить читателю окончательную, авторскую версию. Попутно стал кое-что сам перечитывать — и обнаружил, как много успел, оказывается, забыть, в нынешней работе повторяю чуть ли не буквально. Со мной такое не в первый раз, я не люблю себя перечитывать, разве что вот так, по надобности.

С другой стороны, ты прав, мы всю жизнь осмысливаем какие-то сквозные, существенные для себя темы, лейтмотивы, вертимся вокруг них. Важно, чтобы вариации возникали каждый раз на новом, все более высоком уровне. Меня заинтересовала изложенная тобой «концепция» повести, упомянутые подробности (простреленные ноги, восьмиколесный локомотив, прихваченный врасплох забуддыга) выглядят обещанием. Дело за наполнением, плотью, тут не надо спешить, да и незачем. Интересно ли читателям, более младшим, чем мы, повествование о жизни, достаточно далекой от нынешней? Томас Манн описал в «Избраннике» мир, совсем уж далекий от всех нас, почему-то он нам интересен. Приходится задавать себе вопрос, чем это может быть интересно — и почему у многих, независимо от темы, от времени, бывает неинтересно?

Вчера мы с Галей на ночь слушали подаренную тобой «Форель» Шуберта — божественная музыка! Из сопроводительного английского текста впервые узнал, что причиной его смерти была венерическая болезнь, а не брюшной тиф, как писали у нас обычно. Как недолго жили гении в начале позапрошлого века — и успевали выложиться так, как сейчас не удастся долгожителям. Как будто что-то разбавилось, выдохлось [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

CharM405

[...] Сопроводительный текст (я говорю о Шуберте) вводит в заблуждение. Известно, что Шуберт в 1823 году, двадцати шести лет, находился в венской Общей больнице для бедняков. У него выпали волосы, что, вероятно, было следствием ртутного лечения. Хотя в то время не различали сифилис и гонорею, всё говорит за то, что это был

сифилис, тогда весьма распространённое заболевание. Шуберт носил парик. Довольно скоро волосы (курчавые на всех портретах) отросли, он поправился, но организм был ослаблен. Как бы то ни было, умер он не от сифилиса, а от «нервной лихорадки», острой кишечной инфекции, более всего напоминающей брюшной тиф. Жил в это время у брата, собственного жилья никогда не было. В последние дни перед смертью бредил, громко пел. Дело происходило в ноябре 1828 г.

А вот насчёт того, что он успел, как ты пишешь, выложиться... Нет, не успел. Незадолго до конца он был полон планов, говорил о том, что вступает на новый путь, последний год жизни был неслыханно плодотворным. Шуберт ушёл не на склоне творческого пути, а на вершине, перед тем, как взять новую высоту [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

14.5.09

[...] В «Новой газете» опубликованы потрясающие письма Виктора Астафьева, если не читал, посмотри. «Все мы, все наши гены, косточки, кровь, даже говно наше пропитано было временем и воздухом, сотворенным Сталиным. Мы и сейчас еще во многом его дети, хотя и стыдно даже себе в этом признаться. Слава Богу, что уже не боимся, а лишь стыдимся».

У нас прекрасная майская погода сменилась дождями, доцветают вишни и яблоки, черемуху на лоджии надо бы обновить, но сыро, по траве не пойдешь [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

17. Mai 09

Сегодня воскресенье, солнечный, очень тёплый и по-воскресному тихий малолюдный день. Крутом пышная зелень, луга в жёлтых одуванчиках, каштаны покрылись свечами. Вот сейчас пообедаю чем Бог послал и пойду прогуляться. Но гулять скучно. Да и вообще скучно, мягко выражаясь. Я закончил свою повесть о беглеце. Она мне надоела. Занялся другой работой, тоже начатой и брошенной несколько месяцев назад. Я тоже отношусь к тем, кто двигается последовательно, — но каждый раз начинаю сначала. Так лошадь раскачивает тяжёлый воз, прежде чем, дёрнув, сдвинуться с места и потащить его дальше. Вообще писание напоминает езду с возом по плохой дороге, под крики

и брань возчика. — Это рассказ не рассказ, что-то такое; тема — судьба, оправдание абсурдных событий, которое состоит в том, что они привели к встрече двух людей; по форме — некоторым образом переключка с «Книгой Легран», которую я с упоением читал в юности.

Позавчера в Michaelskirche вблизи Карловых ворот — может быть, помнишь эти места, вот если бы ты снова приехал! — состоялось почти трёхчасовое исполнение грандиозной, редко исполняемой оратории Мендельсона «Elias». Многоголовый хор, орган, оркестр и целая шеренга солистов. В огромной помпезной церкви на скамьях не было ни одного свободного места. Я слушал эту вещь впервые.

Письма Виктора Астафьева, о которых ты упомянул, я ещё не прочёл. Я помню, однажды в поезде прочёл в тогдашней «Литературной газете» (дело было в самом начале перестройки) большое интервью Астафьева, где он говорил о войне, о том, что Жуков погубил огромное множество молодых солдат в боях за Берлин ради того, чтобы доложить сидевшему в Кунцеве величайшему полководцу о взятии города к Первому мая. В том же интервью, когда ему напомнили о нашумевшем тогда обмене открытыми письмами с Натаной Эйдельманом, Астафьев сокрушённо сказал о себе: «Ну да... ну что вы хотите: детдомовщина». Он был инвалид военных лет, тяжело огорчённый на всю жизнь, благородный человек [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

23.5.09

Дорогой Гена!

Вслед за тобой, начну с описания. У нас дивная пора, одновременно, бурно, обильно, как никогда, цветут вишни, яблони, сирень, мощные каштаны — никогда еще не замечал их так много в наших окрестностях. Может, раньше они так и не цвели, климат в Москве потеплел, все-таки южные деревья. Цветут совсем не известные мне, какие-то экзотические кустарники и деревья, высаженные несколько лет назад, ярко зеленеют стриженные газоны. Москва за последние годы стала ухоженной — появились деньги. В лесу убран зимний мусор, поваленные стволы прикрыты зеленью. Мы с Галей принесли из леса несколько папоротников, посадили под окнами и перед лоджией. Утром по пути из бассейна у Яузы прямо над моей головой запел соловей, я стал искать его взглядом, но зелень на дереве была плотная. Соловей, видно, был еще молодой, репертуар небогатый, но как все-таки хорошо! Май.

Стоит ли грустить, что в работе моей не просматривается конца, даже просвета, временами она кажется вообще безнадежной? Обычное дело. Недавно мне понадобилось заглянуть в Томаса Манна. «Роман одного романа» напомнил мне, что «Доктор Фаустус» писался почти четыре года, с мая 1943 по февраль 1947, Манну в этом году исполнилось 72 года — мой возраст. Сопоставление прибодряет. Твоей продуктивностью могу только восхищаться завистливо. Не хочешь ли прислать мне свою завершённую повесть? Предложил ли ты ее уже кому-нибудь?

Писатель Борис Васильев, которому на днях исполнилось 85 лет, в интервью объяснил, почему последние годы перешел на историческую прозу: я пишу для поколения своих правнуков, плохо представляю их жизнь, поэтому ушел в историю. В первый момент я оглянулся на себя: тоже ведь пишу не совсем о своей жизни. Потом подумал: а как он представляет себе жизнь своих исторических персонажей? По источникам, по литературе. Мы и современную жизнь представляем не только по личным впечатлениям. Вспомнилось, как покойный Карабчиевский не принял моих «Двух Иванов»: писать можно только о жизни, которую сам знаешь. Вспомнил, как врач удивился Гоголю: откуда он мог так изнутри проникнуть в мир сумасшедшего? (Я об этом недавно писал). Может ли писатель ограничиваться лишь собственным, близким опытом? [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

26. Mai 09

Вот уж не знал, дорогой Марк, что в Москве произрастают каштаны. Я никогда их не видел. У нас здесь длится жара, дошедшая вчера до 30 градусов. Но сегодня ожидается Gewitter. Это должно произойти под вечер, когда мне предстоит вещать в кружке, о котором я тебе писал; тема — литература и философия. Об этих предметах можно говорить бесконечно, а можно и промолчать, как сделал один пианист: вышел на эстраду, выслушал приветственные аплодисменты, уселся за рояль, посидел, подумал, встал, поклонился и ушёл. А где же музыка? Она существует в некотором метафизическом пространстве, исполнять её нет надобности.

Интересно, что и меня «Роман одного романа», когда — ещё в Москве — я его читал и перечитывал, всякий раз как-то подбадривал. Он даже вдохновил меня потом на сочинение литературной автобиографии. У меня стоит на полке книжка, вышедшая семь лет назад,

«Th. W. Adorno, Thomas Mann. Briefwechsel 1943—1955», которую я рецензировал в «Знамени». Манна слегка укоряли за то, что он слишком мало и бегло написал о роли Адорно в создании «Фаустуса».

В этой же переписке приведён переписанный «Тедди», с его пометками, по просьбе Манна («Ich brauche musikalische Intimität und charakteristisches Detail...»¹), фрагмент второй части бетховенской сонаты опус 111, той, которую толкует Вендель Кречмар, и отдельно — тема ариетты, зашифрованная, как ты помнишь, в «Докторе Фаустусе». Эту сонату Адорно играл однажды на вилле Кати и Томаса в Pacific Palisades, в Калифорнии, о чём есть запись в дневнике Манна.

Там же приложен план — где расселились эмигранты, вблизи Лос-Анджелеса; волшебный край.

Писать для поколения правнуков, хм... Фантастическая идея — подобно той фантастической невообразимой жизни, которую они будут вести.

Посылаю тебе, как ты просишь, повесть. Я никому её не предлагал. Она не успела остыть, а я знаю по опыту, что, если взгляну на неё несколько времени спустя, придётся править и переделывать. Но пока что — какая есть. Вопреки тезису Карабчиевского, она частично о жизни, которую я совсем не знаю. Там вообще много придуманного [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

27.5.09

Начну с добрых новостей, дорогой Гена. Вчера позвонил Янович: наши книги отправлены в типографию, через неделю-другую можно их ждать.

Вторую новость ты, наверно, сам знаешь: твоя «Вчерашняя вечность» вошла в шорт-лист премии «Большая книга». Не исключено, что ты опять получишь приглашение в Москву.

Позавчера я был на вручении еще одной премии, «Поэт», Инне Лиснянской. Мы с ней много лет дружны, ей, как и тебе, в этом году 81. В России надо жить долго.

Теперь о твоём «Гамаконе». Очень хорошо все начало, введение в замысел. Я его уже знал из твоих писем, ощущение чудовищной тесноты наших бескрайних повторов возникало в твоей прозе и эссеистике не раз. Описания производят впечатление безусловно достоверных.

¹Мне нужна интимная посвящённость в музыкальную проблематику и характерная деталь (нем.)

О подобных случаях я слышал, у меня хранятся газетные вырезки, истории о людях, годами скрывавшихся под чужим именем, в лесных убежищах, решивших выйти, когда показалось безопасно.

Дальше судить не берусь. Описания отшельнического, даже не деревенского, избяного быта, с печью, самогонкой, непонятно как добываемого пропитания у тебя уже встречались, последний раз во «Вчерашней вечности», очевидно, с этим связаны какие-то твои впечатления. Но что такое «мужепес», поглаживающий под столом свой звериный стыд и при этом осеняющий себя крестным знамением, не совсем представляю. Советская действительность у тебя исподволь прорастает реалиями давних времен, голова посажена на кол, вохра оказывается стрельцами — очень хорошо, но убедительно ли решать это в стилистике прямого повествования, с твоими «фирменными», подробными, стилизованными диалогами и т.п.? Тогда надо историю распространить, пунктира недостаточно. Мне представился тот же сюжет, рассказанный автору кем-то (как у Лескова): за что купил, за то продаю, его фантастичность дает простор для попутных комментариев. Или обнаженный прием: автор обсуждает возможные повороты судьбы беглеца, вневременная фантастичность оказывается больше всего созвучна реальности. Эссеистический элемент — твоя самая сильная сторона, можно дать ему больше места. Подумать есть над чем [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

30. Mai 09

[...] Твои замечания о «Гамаюне» заставили меня снова увериться, что вещь нужно переписывать. Сейчас я этим заниматься не могу, требуется некоторое отчуждение. В этой повести я пытался соединить разные стилистики, подобно тому как в ней сливаются, а не просто соседствуют разные эпохи. В конце концов они оказываются единым стоячим временем — какая-то навязчивая идея, которая меня настигает то и дело. У меня всегда было чувство, что мы в России живём как будто в единой, неподвижно-длящейся, бегущей на одном месте (как бежит световая надпись на крыше) эпохе, — живём и в XX столетии, и в девятнадцатом, и Бог знает когда — в Древней Руси. Конечно, мои представления о пустынножителях русского таёжного Севера подсказаны всего лишь прочитанным, отчасти увиденным (полотна Нестерова и пр.; сюда же иконопись). Но впечатления русской деревни разных мест и в разные годы поддерживали это чувство. Унжлаг располагался, медленно двигаясь на северо-восток, в сторону Коми АССР, в таёж-

ных заболоченных лесах Костромской области, где некогда скрывались раскольничьи скиты. Лагпункт в лесоповальном лагере был изобретением страны социализма, вполне созвучным ей, был точным миниатюрным подобием нашего, теперь уже бывшего, государства и общества, — а между тем напоминал какую-нибудь деревянную сибирскую крепость XVII века и ещё шире — средневековую Россию. И там, и на воле я встречал бесчисленное множество людей, в сознании которых присутствовало и задавало тон это неистребимое средневековье.

И, что самое главное, — я как-то чувствовал эту всевременность изнутри, чувствовал себя приобщённым к ней. То же относится и к мифологии бегства. Хорошо помню, как, вернувшись из лагеря, вроде бы и намереваясь начать новую жизнь, я вместе с тем мечтал о том, что спрятаться, скрыться куда-нибудь — поселиться где-нибудь в деревне, в тёплой, тёмной избе.

Хотя случаи удачного побега из мест заключения, многолетнего неразоблачённого проживания в глубинке известны, бегство из столыпинского вагона невозможно, неправдоподобно; я, однако, решил его описать, потому что это — бегство в другое время. Далее следует то (диалоги и пр.), что ты назвал стилистикой прямого повествования, попросту говоря, довольно-таки рутинный, бытовой реализм. Я надеялся, что он узаконит квази-действительность, всамделишность того, что случилось с бывшим пассажиром, куда он попал и что увидел. Но он оказался в хижине пустытника, а затем и в бывшем лесном монастыре, откуда банда пишей изгнала монахов, в том числе анахорета, который приходится родным отцом мужепёсу-главарю бандитов. Тут должна была вступить в права житейная стилистика и лексика. Но побег есть нечто длящееся всю жизнь (такой мне кажется иногда и моя собственная жизнь), это — если воспользоваться твоей формулой — способ существования, и жизнь в монастыре, и женитьба на девушке из деревни, которая платит оброк бандитам, — всё оказывается лишь временной остановкой.

Это я не ради оправдания, а потому, что хочу отдать предварительный отчёт о повести самому себе.

Собственно, следовало бы взяться ещё за одну работу — что-то брезжит в мозгу. Но вместо этого я занялся совсем неблагодарным делом — начал переписывать одну лагерную, сорокалетней давности повесть, когда-то напечатанную в Израиле, под названием «Глухой неведомой тайгою». Её слог, тональность фраз и целых периодов явно несамостоятельны, напоминают то интонации Льва Толстого, то стилистику тогдашней правдоискательской прозы «Нового мира», но как-то вдруг заставили вспомнить и пору моих писательских упражне-

ний, и вообще всё то время. А главное, как живой, вспомнился лагерь. Старость, ничего не поделаешь: кружусь то и дело по одним и тем же кругам, жую одно и то же [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

9.6.09

Дорогой Гена, все ждал приятной возможности сообщить тебе о выходе наших книжек, не дождался. Зато позавчера услышал, как, наверно, и ты (с подачи М.Б.), передачу неизвестного мне прежде «Литературного радио» о «Второй навигации», почти восторженную. Неожиданно прозвучали фрагменты из нашей переписки, в основном твои. Составляя в свое время эту подборку, я сам давал больше места тебе, твои тексты и были обширнее. Ты писал мне когда-то, что письма отчасти заменяют тебе дневник, я больше высказываюсь в «Стенографии». К тому же твои размышления об «ужасе истории» были особенно созвучны культурологической тематике альманаха. (В передаче, кстати, приводились мнения других авторов о желании уйти из истории, покончить с историей как о характерной русско-советской утопии; как соотносятся с этой утопией твои проклятия истории, женщина-автор вникать не стала.) Я отвечал тебе суждением о «противоречивой, неисчерпаемой полноте жизни, которая была твоей жизнью — и тут же, почти мгновенно становится общей историей».

Близкие мысли вызвала у меня публикация трех твоих рассказов в «Крещатике». Два из них я уже знал, славные рассказы, вся книга, думаю, будет хорошая. Объединяет их, среди прочего, тональность, которую я бы назвал возрастной. Автор вместе с героями возвращается в давнее прошлое, и возвращение это наполняет его меланхолией. В моем «Сеансе», о котором ты так прекрасно писал, герой тоже попадает в свое прошлое, сам уже как бы за пределами жизни, уже готовый простаться с ней — и прощание это скорей светлое, благодарное. Та же благодарная восхищенность жизнью, ее полнотой в других рассказах сборника «Ловец облаков» (ты, кстати, так и не ответил на вопрос моего последнего письма, полистал ли ты всю книжку), хотя истории там по содержанию отнюдь не всегда радостные. В моем (нашем с тобой) возрасте подобное мироощущение можно счесть легкомысленным. Впору, наверно, говорить не просто о разном умонастроении, даже не о разном жизненном опыте, скорей о преобладании в телесном составе одного из четырех гиппократовых элементов.

Меня поддерживает в этом мироощущении пример Осипа Мандельштама. Надежда Яковлевна не раз писала о радостном отношении к жизни этого не обойденного страданиями человека. Да и сам он о том же, едва ли не в каждой строчке:

И под временным небом чистилища
Забываем мы часто о том,
Что счастливое небохранилище —
Раздвижной и прижизненный дом.

1937-й год, между прочим. А перед этой строфой:

Достигается потом и опытом
Безотчетного неба игра.

«И я сопровождал восторг вселенной» (тоже 1937). Или вот Бродский, который по общей тональности, пожалуй, близок тебе.

Только с горем я чувствую солидарность.
Но пока мне рот не забили глиной,
Из него раздаваться будет лишь благодарность.

С чего это я вдруг расписался? Считаю, вдохновило воспоминание о нашем диалоге на тему об истории и жизни, которая мгновенно становится историей. Вот ведь и наши письма — уже ее документ. «Читайте переписку Хазанова и Харитонов!» — так прямо и призвала Светлана Бунина, автор передачи. Получилось у нее, по-моему, содержательно. Блюменкранца я уже поздравил с рекламой [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

12. Juni 09

Дорогой Марк, о «Литературном радио» я узнал только от тебя, нашёл в интернете и прослушал передачу о «Второй навигации» и наших письмах, на удивление длинную и весьма лестную. Не думаю, правда, что призыв «Читайте переписку Х. и Х.!» — ха-ха, — найдёт живой отклик в сердцах. Тем более, что и писаны были эти послания исключительно для приватного употребления. Но всё-таки [...]

Что касается истории минувшего века или Истории вообще, то едва ли можно найти время, которое не казалось бы современникам ужаснейшим и мрачнейшим. Я могу указать на обстоятельства, кото-

рые лично меня, как видно, настроили на пессимистический лад. В-первых, увлечение Шопенгауэром в юности. Помню, что я сам тогда, не без некоторого самодовольства или даже с каким-то злорадством, формулировал это так: философия отчаяния сделалась философией здравого смысла. Во-вторых, жизнь в России и житейские передраги, избавившие от многих иллюзий. И в-третьих, конечно, то, что ты диагностировал à la Гиппократ, — нечто эндогенное.

Чтение, точнее, перечитывание, сборника «Ловец облаков» я начал с последнего одноимённого рассказа, который тоже был уже знаком. Думаю, что «Ловца» лучше считать повестью, так как это история целой жизни и содержит слишком разветвлённую, слишком неоднозначную мысль. Вычленив эту мысль из сложного (хотя сюжет прост), причудливо построенного повествования, не рискуя при этом впасть в чересчур прямолинейную интерпретацию, не так просто.

В моём понимании это история художника-визионера, — если угодно, притча о художнике, — для которого мир его искусства не то чтобы преобразует или пересоздаёт, но отменяет реальный мир. Тут можно употребить термин Блэйлера, классика психиатрии, который ввёл понятие об аутизме; термин этот — «аутистически-недисциплинированное мышление». Иннокентий не управляет своим даром, он скорее медиум, и... начинаешь спрашивать себя: а не болен ли он? Действительно ли это гениальный художник. В тексте есть мельком брошенная фраза о том, что гениальность сама по себе есть род болезни. (Несколько отвлёкшись, скажу: конечно, нет. Художник или писатель, или композитор, если он гений, то — вопреки болезни, несмотря на болезнь.)

Я не зря упомянул недисциплинированное мышление. Искусство — это дисциплина, это упорядочивание хаоса. Утратив умение владеть своим воображением (пером, кистью), художник перестаёт быть им. Наступает царство безбрежной субъективности, беспредельное пространство оборачивается тупиком. Этот раздрызг может поразить целую эпоху, что мы и видим в современном изобразительном искусстве, охотно заявляющем: «всё — искусство»: развешанное на верёвках тряпье, разбросанные по полу камни, всевозможные хэппенинги и т.п.

В твоей повести символ или сквозной образ этого хаотически-бесконтрольного плаванья в собственной субъективности — облака. Вопрос о достоинстве такого искусства остаётся открытым.

Самое замечательное, на мой взгляд, в этой повести, которая поначалу медленно раскачивается, как будто сама то и дело заволакивается облаками, — столкновение художника, буквально витающего в облаках, с жизнью, воплощением которой предстаёт женщина. Сцена в бане, качели, жизнь вдвоём, крах любви, разочарование, упадок таланта, запус-

тение быта — всё это превосходно написано. Тут ещё много побочных мотивов, обо всём не скажешь. Вообще это только беглые мысли. Но ещё два слова о стиле, *last but not least*. Как почти всегда у тебя, этот текучий, переливчатый, барочный стиль зачаровывает, вместе с главным героем погружает в какую-то зыбкую студенистую стихию, — но подчас и утомляет своим многословием, чрезмерными подробностями.

Обнимаю тебя, дорогой Марк. Твой Г.

14. Juni 2009

Дорогой Марк! Вчера была замечательная, умеренно летняя погода, я начертил тебе довольно обширное, солидное послание. Сегодня утром диктор говорил о нашествии субтропического воздуха, и точно: душная жара. Температура во второй половине дня, пожалуй, выше 30 градусов.

Сегодня я был в домашнем концерте у одной приятельницы, собралось добрых три десятка слушателей. После музыки закуска и болтовня.

Играл и комментировал музыку Руди Шпринг, пианист и композитор, которого я уже слышал раньше. Играл Шуберта, Гайдна и Сибелиуса. И вот, когда я слушал фортепьянную пьесу D 946, знакомую мне вещь, написанную в год смерти и оставшуюся среди огромного вороха бумаг Шуберта, причём вторая часть была им зачёркнута (Шпринг показывал фотокопию автографа), — когда я слушал эту вещь, в которой затаённая тоска скрыта за бодрим ритмом *Allegro*, мне захотелось написать *нечто ни о чём*, нечто такое, что держалось бы «одной внутренней силой стиля» (как пишет в одном письме Флобер). Иногда чувствуешь усталость от прозы, — кто её, впрочем, не испытывал? Вопрос только в том, от какой прозы: собственной или от прозы вообще?

Усталость, чувство истощенности беллетристики с её жёсткой повествовательной структурой, сюжетным костяком, логикой, в сущности навязанной извне. Прошлый раз я писал тебе о дисциплинированной прозе. Трудность того антижанра, о котором я сейчас говорю, как раз и состоит в том, чтобы удержаться на краю хаоса, куда, как с обрыва, тянет броситься, и-и-и воспарить. В прозе тебя держат железные руки сюжетной повествовательности, необходимость рассказывать историю. А тут — полная свобода, опаснейшая близость отвратительно бесконтрольной и безбрежной субъективности: чего захочет моя левая нога, то и пишу.

Что скажешь по этому поводу? Чем занят ты в данный момент? [...]

Дорогой Гена, меня, признаться, озадачил диагноз, который ты поставил моему герою: «аутистически-недисциплинированное мышление»; он «не преобразует, но отменяет реальность». Вот-те на! Я-то думал, это история о волшебстве художественного воображения, которое стремится к фантастическому пределу: уловить, воссоздать богатство и полноту переменчивой жизни, воплотить ее в образах, подсказанных облаками, противопоставленных гипсовой омертвелости обломка с затверделыми варикозными венами. Значит, все мои попытки описать словами картины художника оказались напрасны. А ведь были запечатленные картины, на бумаге и на деревянных кухонных досках. Я открыл книгу, стал листать, перечитывать. «Под облачными парусами плыли над крышами, над ярмарочными качелями и шарами корзины, полные ягод, плодов и цветов... На мягкой сугробистой скатерти неровно расставлены были тарелки с варениками, сквозь тонкое тесто просвечивал где комковатый творог, где бледно-лиловые вишни... На веревках между столбов, как праздничные флаги, плескались наволочки и простыни, штаны и рубашки.... Перистыми облаками расцветали на высоких небесных стеклах разводы зимних узоров, рыхлая снежная баба таяла среди них, вместе с ними». Галя уже нарисовала несколько работ по мотивам этой прозы. А портрет обнаженной возлюбленной! «Она лежала не на раскрытой постели — на мохнатой облачной шкуре, вывернутая рогатая голова смотрела на нее влюбленными, синими, еще живыми глазами, а она, отвернувшись, улыбалась восхитительной, лукавой и опять же какой-то новой улыбкой. Небесные вены просвечивали сквозь облачно-нежную кожу, волосы золотисто светились, разбросанные среди белизны, небольшие груди были снежными холмиками».

Гениальны ли были эти картины, судить не автору, который лишь пытался живописать их словами. Могу только сослаться на мнение провинциального литератора, который попутно цитируется на тех же страницах: «Надо лишь сравняться с тем, кто осчастливлен был даром видеть, чтобы благодаря ему причаститься к этой способности. Так причащаешься к гениальности в мгновения любви, писал автор (не без высокопарности, увы, присущей провинциалам), так гениальны бывают сны. Жизнь стала бы невыносимой без этой равносильной чуду возможности».

Что до отношений между гениальностью и болезнью, тут ты поспорь не с этим провинциалом, а с оппонентом посерьезней — тем, кто толковывал когда-то манновскому Леверкюну: «Неужели ты веришь в такую чепуху, как в *ingenium*, ничего общего не имеющий с адом? *Non datur*. Художник — брат преступника и сумасшедшего». Ну, и дальше хорошо известные тебе страницы медицинского комментария: менингеальный процесс и т.п.. Ты вправе, конечно, утверждать, что это квазинаучная чертовщина, что если человек «гений, то — *вопреки* болезни», ты в этих делах разбираешься, я нет. «Где здоровье и где болезнь, об этом, мальчик мой, судить не деревенщине».

В моем живописании облаков ты увидел «образ хаотически-бесконтрольного плавания в собственной субъективности». Только я стал думать, как тебе на это ответить — пришло твое второе письмо, где ты пишешь о собственном желании «написать *нечто*» в жанре «безбрежной субъективности». Напиши, почему бы нет? Не помню, как это по-немецки у Гете: «Изображай, художник, слов не трать». (Хотя литератору — как изображать без слов? Вот, я попробовал — читатель моих картин не увидел. Бывает.)

Только что Галя принесла из магазина книгу воспоминаний С. И. Липкина и воспоминаний о нем, там моя подборка из «Стенографии». На прошлой неделе я был на презентации, авторского экземпляра мне не досталось. Издательство РГГУ, тираж 500 экз. Нечаянно открыл на странице, где молодой журналист рассказывает: «Семен Израилевич спросил меня: “Почему Вы никогда не напишете и не говорите о нас с Инной? Вот мы с Вами часто видимся, гуляем вместе, вы, кажется, читали наши стихи. Может быть, Вам не нравится?”» Для меня это оказалось неожиданно, я бы ни к кому с такой просьбой не обратился. Впрочем, в преддверии своего уже минувшего 70-летия я, помнится, предложил знакомому литератору, лучше других знавшему мои книги, побеседовать со мной под микрофон для близкого мне «Лехаима», они бы напечатали и уплатили. Он, извинившись, сказал, что ему это трудно.

Я пока все еще жду известия о наших книгах. Действительно наших: в твоей книге первое же эссе подписано моим именем, я вправе претендовать на авторский экземпляр [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

14. Juni 2009

Дорогой Марк. Видишь, как могут отличаться впечатления читателя от намерений писателя. Книга обособляется, живёт собственной жизнью. Для меня твоё пояснение оказывается одной из интерпрета-

ций. Но я не думаю, чтобы твоё понимание «Ловца облаков», отнюдь не случайное, выношенное в ходе трудной работы, так уж далеко было от моего, только что возникшего, высказанного второях и, быть может, мимолётного. Психология и психика художника, особенно современного, слишком часто подходит под старинную формулу Блэйлера. Слишком часто аутизм бывает в той или иной мере свойствен писателю или живописцу, порой культивируется самим мастером, становится высокой эстетической игрой, — а порой доходит до полной духовной изоляции. До трагедии художника. Примеров сколько угодно. И не то же ли происходит с Иннокентием? Естественно, я не считаю — когда речь идёт о художественной прозе, — что такая характеристика должна носить непременно pejоративный, разоблачительно-диагностический характер. Прошли времена, когда критики хором объявляли великих художников сумасшедшими. (Я ещё помню времена первых советских статей о Кафке, где уверенно говорилось о психическом заболевании.)

Приведённые тобой цитаты, спору нет, очень ярко рисуют восприятие художника, праздничное, волшебно преобразующее весьма прозаическую действительность. (Они и сами по себе — образец изумительной прозы.) Другие страницы, мне кажется, говорят о том, что герой пошёл дальше: уходит полнокровие, образность обеднела. Творческое преображение мира сменилось отторжением. И это тоже очень характерно для искусства двадцатого века. Я бы даже сказал, что твоя повесть — это притча об искусстве нашей эпохи.

А вот насчёт психиатрии в собственном, медицинском смысле слова... В юности я читал книгу Чезаре Ломброзо «Гениальность и помешательство», некогда прогремевшую, в моё время уже вышедшую из моды. Ты, наверное, её помнишь. Уже тогда трактат, который как будто подводил к мысли о том, что гениальность — это патология, болезнь, показалась мне не вполне убедительной. Сейчас эта книжка — антиквариат. Но надо иметь в виду, что существует ряд градаций (для них придуманы специальные термины), отделяющих клиническую душевную болезнь от того что можно называть душевным здоровьем. Были ли некоторые известные черты характера Кафки симптомами психического недуга? Конечно, нет. Можно ли их назвать принадлежностью вполне здоровой психики? Тоже нет.

Ты вспомнил «Доктора Фаустуса». Тут — хитроумная, рафинированная игра, и не мне рассказывать тебе об этом. Я давно не занимался психиатрией, да и не был никогда врачом-психиатром. Но известно, что любая медицинская тонкость у Томаса Манна — результат штудирования медицинской литературы, консультаций специалиста и т.п. О

том, что прогрессивный паралич — позднее следствие нелеченного или недолеченного сифилиса, знали задолго до открытия бледной спирохеты. Жизнь Леверкюна, описанная другом, — время, когда уже появилась «волшебная пуля» Эрлиха — сальварсан, но ещё не изобретён пенициллин, поражающий возбудителя на всех этапах заболевания. «Классический» РР, *paralysis progressiva*, действительно, сопровождается иногда эйфорическим вдохновением, подъёмом психической активности (правда, не длящимся так долго, как у Леверкюна). Однако — однако! Знакомство с больной девушкой, заражение, неудачи с врачами и так далее — это только одна рельса, по которой катится гениальный роман. Другая — метафизическая, inferнальная. И монолог «серьёзного оппонента», на которого ты сослался, — тоже часть игры. Он хитёр, как бес, потому что он сам — бес. С ним надо постоянно держать ухо востро. То, что он говорит, одновременно правда и неправда [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

17.6.09

Дорогой Гена, твое последнее письмо позволяет согласиться: наши интерпретации повести не так уж расходятся. К первому, счастливому периоду творчества изображенного здесь художника диагноз «аутистически-недисциплинированное мышление» во всяком случае не относится: ему оказалась дарована волшебная способность празднично преобразовать на своих листах и досках серую для обычного взгляда реальность. О чем большем можно мечтать? Дальше — болезненный слом, порожденный любовной драмой, вторжением чужеродной, денежной, фальшивой силы. Об этом периоде автор предлагает судить лишь по чужим свидетельствам. «Те немногие, кто успел эти работы увидеть, с трудом находили потом слова для рассказа о нежных, едва проявленных очертаниях, которые необъяснимо сгустились из полупрозрачных переливов. Увы, после некачественного, как это теперь обычно бывает, ремонта краска скоро стала со стен облезать, осыпаться вместе со штукатуркой. На стенах вместо прежних образов сами собой начали возникать картины распада, разрушения, о которых художник не помышлял, и картины эти производили, по свидетельствам некоторых, впечатление ошеломляющее. На них невозможно было просто смотреть долгое время... Зритель поневоле втягивался в них и оказывался внутри пугающего мира, где никого, кроме него, не было, где части не связывались друг с другом, где терялось представление о верхе и низе». Я здесь, кстати, использовал, слегка изменив, цитаты из статьи о реальном современном художнике, которого тоже

сам не видел. Можно ли сказать, что тут «притча об искусстве нашей эпохи»? Мне показалось что «попутные теоретизирования провинциального литератора о современной «эстетике разложения», о трагизме гения, для которого лабиринты душевного ада отождествляются с драмой времени, к Иннокентию... отношения не имели». Не Леверкюн все-таки, не тот масштаб. И диагноз тут не мне ставить.

Цитирую все это не без удовольствия: сам, побужденный тобой, впервые формулирую для себя что-то, о чем, начиная работу, отчетливо не думал. Хоть статью пиши [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

22.Juni 2009

Дорогой Марк, с ночи непрерывно идёт дождь, радио предсказывает потопаы и наводнения в Нижней Баварии, а между тем сегодня самый длинный день в году и, кстати, годовщина начала войны. Что ж, можно весь день просидеть дома, а потом и бесконечный вечер. В Москве погода тоже, кажется, дрянь.

Я это воскресенье двадцать второго июня 41 года хорошо помню, мы собирались ехать на дачу, и уже были упакованы вещи. Машина запаздывала. И никто не знал о том, что на исходе ночи последний поезд с поставками продовольствия и горючего для Германии пересёк границу, после чего войска выскочили из окопов, а бомбардировщики поднялись с аэродромов. В 12 часов выступил Молотов. На улицах гремела музыка из репродукторов, и я выбежал во двор, для меня это был праздничный день, я был немало удивлён тому, что соседка плакала на кухне. Поблизости от нас, на Чистых прудах лежали на газонах аэростаты воздушного заграждения; кажется, они так и не поднимались в воздух. Но дела шли замечательно, уже на вторую неделю разнёсся слух о том, что наши войска взяли Варшаву, Будапешт и Бухарест. Наконец, Ус пришёл в себя и тоже заговорил по радио своим сдавленным голосом чревоушателя. Недавно я перечитывал эту постыдную, лживую речь [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

9.7.09

[...] Пришли, наконец, книги, моя и твоя; до тебя они дойдут не скоро, поделюсь впечатлениями. Мне понравилось оформление. Твоя книга оказалась на полсотни страниц толще моей (и продаваться бу-

дет дороже), хотя в ней 10,3 п.л., а в моей 15: шрифт у тебя более крупный. Это неправильно, потому что обе начинают серию «Эссеистика нового века» и выглядеть должны одинаково. Марка серии на обложке не читается даже с лупой: микроскопический шрифт. Но это все мелочи. Огорчило меня, что моя вступительная статья оказалась урезана на две трети, со мной это даже не согласовали. Тебе посылали корректуру: было ли в ней сокращение? Очень жаль, потому что там, среди прочего, были слова о тебе как об эссеисте европейского уровня. Я начал перечитывать: это действительно европейская эссеистика, и авторы обсуждаются, в основном, европейские, из русских разве что Достоевский, да, может, Чехов, другие упоминаются больше мимоходом. Мне кажется, это самая представительная из твоих эссеистических книг. Немного преждевременными выглядят сегодня твои финальные сетования: «Я пишу без всякой надежды на то, что кто-нибудь меня прочтет» и т.п. После одной премии ты уже в списках еще двух, и книга выходит за книгой.

Я убедился, что прекрасно все помню, многие фрагменты читал неоднократно, они воспроизводились и в письмах, и в прозе, и в других статьях, едва ли не все мы с тобой обсуждали. Если бы не мое предисловие, я написал бы на эту книжку рецензию.

Ты и у меня все, наверно, читал; твое имя на моих страницах возникает неоднократно (в разделе «Стенография начала века»), и цитирую я тебя в изобилии. Увидишь. В первой половине книги воспроизводятся тексты из «Способа существования», все вместе — эссеистика больше чем за тридцать лет.

Что ж, поздравим друг друга и продолжим.

Обнимаю тебя. Твой М.

17.7.09

Дорогой Гена, Галя, дочитав «Родники и камни», попросила переслать тебе ее письмо. Я тоже время от времени открываю эту книгу на уже знакомых страницах, отмечаю новое для себя. Сегодня, например, я впервые обратил внимание на дату «Немецкого эпилога»: 1985. Изменилось ли за почти четверть века твое восприятие Германии? Ты общаешься с немцами интеллигентными, преимущественно гуманитариями, их можно считать, как и нас с тобой, отчасти старомодными. Люди сравнительно молодые, которых я встречал в разных странах, похожи больше на американцев, чем на потомков Гофмана или Новалиса. Не говоря о иноземной инфильтрации, которую ты отмечал во Франции.

В последнем письме ты размышлял о памяти и воспоминании — это одна из твоих повторяющихся тем, я, кажется, тебе об этом уже писал. Трудно не повторяться, крутимся вокруг своего [...]

А теперь Галино письмо:

Дорогой Геня! Несколько дней я провела у Родников, среди Камней, потрясенная, покоренная... Заведомо зная, что любые мои убогие слова не могут передать то, что я испытала, читая эти блистательные, многозначные, глубинные тексты, я просто низко тебе кланяюсь.

Галя Эдельман [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

Дорогой Марк, дорогая Галя!

Спасибо тебе, Галя, спасибо, не знаю, как ответить на твою похвалу. Ты знаешь, что я всегда отношусь к моим писаниям с изрядной долей сомнения. Но — «нам не дано предугадать...», а на этот раз такая чудная неожиданность!

По поводу этих «Камней», составленных из разных текстов, старых, как Немецкий эпилог, или переписанных, отчасти и недописанных, ты спрашиваешь, Марк, изменилось ли моё отношение к Германии за эти, теперь уже почти 27 лет. На такие вопросы невозможно ответить однозначно. Jaïn — как любят здесь говорить, то есть и да, и нет. Мы приехали в Германию, которая была для меня почти мифологической страной, где, мне казалось, я неплохо ориентируюсь, и понадобилось время, чтобы преодолеть это, осознать, что я нахожусь в реальной стране. Конечно, нашим практическим преимуществом было то, что я говорил по-немецки и это чрезвычайно облегчило нашу участь, но и язык мой был старинным, книжным и во всяком случае весьма недостаточным. Проще говоря, перемены в моём отношении к стране и людям за эти четверть с лишним века состоят в том, что я ко многому привык. Незаметно для себя мы усвоили обычаи, формы общения, бытовые привычки, этикетки и стереотипы, которые стали чем-то само собой разумеющимся и осознаются только тогда, когда приезжаешь в другую страну, например, в Америку и особенно — в Россию. Когда же возвращаешься в Германию, то, осмелюсь утверждать, чувство такое, что вернулся домой. Конечно, мой дом опустел во всех смыслах после смерти Лоры, смерти, которую я не могу переварить, — но другого дома у меня нет. В России я чувствую себя чужим — во всяком случае, много больше чужим, чем здесь. Сказать, что я вполне «асси-

милирован», конечно, невозможно. Я сижу на двух стульях, это порой означает — между стульями. Думаю, что у меня нет никаких иллюзий касательно здешнего общества, и это тоже одно из очевидных результатов вживания, но я воспринимаю это общество как нечто естественное, наподобие природы. Мне кажется, что за минувшие годы я художественно научился понимать людей. (Лоре это удавалось гораздо лучше и быстрее; она вообще была намного умнее, проницательней, реалистичней, чем я.) Видя на улице незнакомого человека, я могу себе более или менее конкретно представить, к какому социальному и культурному слою он принадлежит, догадаться, что это за птица. Правда, моя социальная осведомлённость в большой мере ограничена тем, что большинство моих немецких друзей и знакомых (иных уж нет!) — интеллигенты, с ними понимаешь друг друга с полуслова. А теперь это еще и alte Knacker — старые пердуны, ветхозаветная публика, как ты совершенно точно написал. Молодёжь — другая. Российское стереотипное представление о немцах не годится, оно безнадежно устарело, как устарели мы сами. Принято говорить об американизации общества; действительно, Германия стала в годы после экономического чуда одной из самых американизованных стран Западной Европы — была ею, потому что теперь уже надо говорить не столько о засилии американских стандартов, сколько об общем «тренде» западной цивилизации, едином для передовых стран. И если говорить об образе жизни, одежде людей и облике больших городов, это в особенности отражается на нестарых людях. Вообще историософия Шпенглера, представление об изолированных культурах — теперь уже дело далёкого прошлого. Вместе с тем Германия до сих пор остаётся страной маленьких уютных провинциальных городков, региональных диалектов, волшебных ландшафтов, настраивающих на мечтательный лад, и, конечно, страной музыки.

Насчёт моих литературных упражнений... — увы, это правда: я повторяюсь, временами кажется, что попросту исписался. Конечно, все эти мысли, соображения, а лучше сказать, умствования на тему о Памяти, занимали меня, применительно к литературе, много лет; к этой теме приходится возвращаться то и дело, вновь и вновь убеждаться, что грубыми своими лапами касаешься потаённого, хрупкого ядра литературы.

Я сознательно употребляю (как я уже тебе писал) слово «память», а не «воспоминание». Под воспоминанием обычно подразумевается нечто двоякое: либо это процесс припоминания чего-нибудь, либо результат этого процесса. Нужно распутать путаницу понятий. Воспоминание я назвал бы олитературенной памятью. В той небольшой рабо-

те, которой я занялся, если угодно, квази-повести (собственно, почти уже закончил её), меня как раз и занимало преодоление воспоминания как литературной рутины.

Речь идёт, конечно, о чём-то едва ли возможном, потому что мы тут опираемся в грамматику, «преодолеть» которую означает разрушение языка. О попытке приблизиться к краю бездны. Так мы в детстве, лазая по крыше нашего московского дома в Большом Козловском переулке у Красных Ворот, подходили к краю каменной стены, одной из четырёх стен двора, и с замиранием сердца заглядывали вниз.

Опять же тут не совсем то, что называется произвольной памятью, *mémoire involontaire* Пруста, потому что у него цепь воспоминаний, пробудившихся от вкуса размоченных в молоке бисквитов, тотчас превращается в хронологически упорядоченное повествование, в «литературу»; с другой стороны, это и не пресловутый поток сознания; нет, в том весьма робком эксперименте, который я хотел бы произвести с прозой, речь идёт о разрушении кантовского барьера — назовём это так, — который ограждает нас от непроницаемой действительности. Память, которая свободно и прихотливо переносится, как насекомое с цветка на цветок, от прошлого к настоящему и назад, стирая грань времени, и от места к месту, игнорируя пространство, так что разница между «тогда» и «теперь», между «там» и «здесь» исчезает и всё, что слипается в комок образов и чувств, происходит как бы вне времени и вне пространства, — память эта ломает декретированные Кантом формы восприятия. Но ведь они, эти формы, позволяют нам существовать в мире. Оказавшись в ледяном мире вещей в себе, мы потеряли бы всякую возможность ориентироваться в мире и общаться друг с другом.

Тут, пожалуй, было бы уместней сослаться на Борхеса, на его «Историю вечности», у тебя, наверное, есть этот этюд. Память возвращает минувшее с такой убедительностью, что «тогда» и «теперь» оказываются тождественны, время снесено прочь. Такова его «бедная вечность».

Понятно, что проза, где был бы осуществлён такой проект — окончательное преодоление времени и пространства, — невозможна. Или она окажется бессмыслицей, набором слов. Но, по крайней мере, попытка художественного воспроизведения памяти неолитературной, то есть ещё не превратившейся в воспоминание, иначе говоря, в регулярную прозу, — нас в какой-то мере к этому приближает. Другое дело, что, как только оказываешься внутри литературы, вступают в действие её собственные, игровые правила, начинаешь доду-

мывать и выдумывать, какая-то тень сюжета навязывается, и... и снова оскомина рутины. Словом, не знаю, может ли из этого вообще выйти что-нибудь путное [...]

Ну вот, я накатал целый трактат. До отъезда в Швецию остаётся неделя. Очень надеюсь, что ты ещё успеешь мне написать. Сердечно обнимаю Вас обоих.

Твой Г.

М. Харитонов — Б. Хазанову

20.7.09

[...] Если я верно понял твои размышления о памяти и воспоминании — что-то похожее, не кажется ли тебе, я пробовал осуществить в своем «Сеансе»? Там некий экспериментатор разными способами пытается оживить для начала чувственные ощущения, пробудить ассоциации, разрозненные воспоминания, а с ними восстановить чувство жизни (память?), дальше начинает соединяться одно с другим. Ты, помнится, заметил, что этот экспериментатор чем-то родствен литератору. Беда, время сеанса ограничено, всего не вспомнишь, не возродишь, не вернешь [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

12.August 2009

Дорогой Марк, вот я и вернулся. Заведующий встречал меня в аэропорту и весьма любезно доставил в то, что называется *Guest rooms for writers and translators from abroad*¹. Это род благоустроенной коммунальной квартиры с кухней, душевой и пр., где я занимал одну из трёх комнат. Почти всё время я жил в этой квартире один. Я ничего себе не готовил, утром спускался вниз и завтракал в одном из многочисленных кафе тут же поблизости, потом занимался своей литературой в номере часов до двенадцати, остальное время бродил и ездил, шатался по музеям, смотрел на людей. Это изумительный город, весь изрезанный фьордами, весь на островах, соединённых мостами, город великолепных дворцов, проспектов, памятников, церквей с высокими шпилями, бесчисленных парков, белых катеров и теплоходов, большого королевского замка со стражей и шведским знаменем на кровле.

¹ гостевые комнаты для иностранных писателей и переводчиков (англ.)

Пока я там был, пришла посылка с десятью экземплярами книги «Родники и камни». Твоё предисловие — я сразу заметил — обрублено. Но посторонний читатель это, надеюсь, не заметит; а предисловие замечательное. Вообще же книжка, по-моему, выглядит прилично, хотя и напечатана местами довольно причудливо. Впрочем, и сама книга, как ты мог заметить, весьма хаотичная, род сборной солянки [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

13.8.09

[...] Еще не совсем ушел в прошлое жанр «Письма путешественника». Правда, теперь путешественники берут с собой видеокамеры. Мой сын недавно побывал с группой фотографов в Исландии, показывал впечатляющие пейзажи. А мы только что вернулись из двухдневной поездки с друзьями по Рязанщине: сама Рязань, Рязанское городище, окрестные городки, Мещерские леса. Надышался сосновым воздухом, голова немного отдохнула от умственной работы. Теперь опять погружаюсь в свою прозу, ни на что другое не способен, верлибры как отрезало. Впрочем, продолжается «Стенография» — как природное выделение шелкопряда, испускающего из себя нить. На досуге оформил для возможной публикации очередную подборку, посмотри. Составишь представление, чем я последнее время занимаюсь, что читаю, о чем думаю.

Галя под впечатлением «Родников» стала перечитывать твои книги, и я вместе с ней перечел «Запах звезд», «Я воскресение и жизнь». До сих пор считаю эту повесть одним из высших твоих достижений, Галя со мной согласна [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

19.August 2009

[...] Я сразу проглотил новую порцию «Стенографии начала века», — ты знаешь, что я люблю твои записи, то и дело возвращаюсь к ним, — и был разочарован тем, что так мало. Хотя, как ты пишешь, это очередная порция для возможной публикации, но и для публикации в журнальном номере, допустим, в «Зарубежных Записках», этого объёма, я думаю, маловато.

Ты решил изменить порядок и расположение записей, отказался от документально-дневниковой формы. Отсутствуют даты. Не знаю, правильно ли это. Я всё-таки привык к дневнику, пусть попеременно с тематическими блоками [...]

Возвращаюсь к «Стенографии». О маршале Жукове. Не помню, писал ли я тебе о большом интервью Астафьева, которое я прочёл когда-то в Литературной газете, в те времена, когда она ещё была приличной газетой. Уже тогда Астафьев, ветеран и инвалид войны, очень резко отзывался о Жукове, говорил о том, что в самые последние дни, в Берлине, командующий погубил несчётное число молодых солдат ради того, чтобы рапортовать вождю о взятии столицы к 1 Мая. Между тем город, лишённый подвоза, весь в развалинах, задыхающийся в дыму, был обречён, капитуляция произошла бы в короткий срок без ненужных жертв.

(От себя могу добавить, что в немецкой печати — например, в известной книге Йоахима Феста «Der Untergang»¹, — выражалось недоумение, почему советское командование и пропаганда придавали такое важное значение взятию рейхстага, ведь подлинным сердцем нацистского режима, настоящим логовом зверя была Имперская канцелярия с бункером под садом канцелярии).

В том же интервью Астафьев выражал сожаление о своём ответе Эйдельману. (Мы, кстати, в нашем журнале первыми опубликовали злополучную переписку.)

Это было интервью глубоко огорчённого, благородного человека.

В монументе Жукова перед Историческим музеем — не знаю, заметил ли ты, — допущена ошибка. Всадник осадил коня, а хвост у лошади всё ещё развевается на ветру. Так не бывает, Лошадь, как только останавливается, опускает хвост.

А о том, что «страна-победительница самоуничтожилась», стоит снова и снова поразмышлять.

Много есть и другого любопытного в этой новой порции «Стенографии». Рассуждение о «плебейском равнодушии к вещам». Оно, это равнодушие к вещам, конечно, и мне всегда было свойственно. Можно было бы даже сказать, что это отголосок, часть великого наследия революции, чьим главным завоеванием было осознание того, что без многого можно обойтись. Я на эту тему даже философствовал в романе. Но вот такой эпизод: может быть, ты помнишь, как во время одной из прогулок по лесу, у тебя там, повстречалась нам компания кавалькада молодых людей, одетых по-простому, не так, как полагается экипировать-

¹ «Закат» (нем.)

ся всадникам. Я тогда сказал об этом, а ты удивился моему удивлению: так ли уж это важно. Между тем здесь вопрос об эстетике быта, о присутствии красоты в повседневной жизни, то, что в России так часто игнорируется, вовсе не приходит в голову — и в большом городе, и в провинциальном захолустье, и в деревне, куда ни приедешь. Кажется, что презрение к красоте, изяществу, благоустройству — в конечном счёте к человеческому образу жизни — чуть ли не общенациональная черта [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

25.8.09

[...] Недавно в интернете поместили очередную статью о том, какая литература издается, какая пользуется спросом, что читают в метро. «Культурная ценность этой макулатуры не просто нулевая, бывает и отрицательная. Характерный признак такой «отрицательной» книги — с человеком, недавно ее прочитавшим и наполненным ее содержанием, противно говорить. У него метафизическая вонь изо рта». Не ново, но сказано неплохо.

Сам я недавно посмотрел в том же интернете «Дневники» о. Александра Шмемана, его несколько раз упоминали разные авторы. Это толстенная книга, страниц шестьсот, основную ее часть составляют размышления о религии, церкви, литургии и т.п., это я пропускал. Интересны размышления об эмиграции, старой и новой, о литературе, особенно Солженицыне, впечатления о встречах с ним, о Платонове, Набокове и др. Я пролистывал бегло, это мне сейчас не по теме.

Еще заглядывал в «Псалом» Горенштейна, там есть мощные страницы, но одержимость всех персонажей темой антисемитизма (не еврейской), на уровне трамвайного словоблудия, в местах, где едва ли не единственный еврей — Антихрист Дан, звучит навязчиво [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

26.August 2009

Дорогой Марк, я и прежде замечал или догадывался, что мои книжки почти нигде не продаются, а вот о «фестивале малых издательств» никогда не слышал. Ситуация не новая (с социологической точки зрения многократно анализированная Б. Дубиным и Л. Гудковым), но я тут, в Стокгольме и после приезда, опять разразился статьёй, написанной скорей под настроение, чем по необходимости. В

интернет-»проекте» Folio verso А. Г. Машевский поместил Открытое письмо читателям об интернете и литературе. Моя статья — в некотором роде ответ. Она, разумеется, весьма уязвима, не говоря уже о том, что многое хорошо известно, жевалось не раз. Всё же посылаю тебе — может быть, найдёшь время взглянуть, отдохнуть от трудов.

В нашем доме изнурительный капитальный ремонт. Спасаясь от нескончаемого грома и треска (и от жары, которая стоит уже несколько недель), я вчера совершил небольшое путешествие в городок Seeshaupt в Верхней Баварии, куда недавно переехала Аннелоре Ничке и пригласила меня поглядеть на её жильё. Чудный край маленьких озёр, лугов и перелесков, тихая речка с берегами, заросшими тростником, туманные Альпы на горизонте, простор, восхитительная тишина, безлюдье.

Мне прислали (вторично) приглашение на церемонию присуждения награды «Большая книга». Это не означает, что я получу премию, так как в коротком списке кандидатов числится ни много ни мало четырнадцать рыл. Всё же мне предлагают бесплатный проезд и гостиницу. Так что я решил, если доживу, поехать. Авось повидаемся снова. Всё это должно происходить в конце ноября, но точную дату пока не сообщили [...]

2.Sept 2009

Дорогой Марк, ты куда-то запропастился, или мне так кажется, а скорее всего, погружён с головой в работу. У меня особых перемен нет. Ремонт в доме продолжается, конца не видно, но жара как будто начинает спадать. Временами налетают короткие буйные дожди. По-прежнему всё зелено, признаков надвигающейся осени не видно, а между тем полудикие, высаженные и выросшие на наших глазах груши и яблони вдоль аллеи, называемой Salzsenderweg, потому что пятьсот лет назад здесь проходила дорога, по которой в Баварию везли соль из южных соляных копей, — увешаны плодами, которых никто не будет собирать. Я работал, как ты знаешь, в деревне, много ездил, и студентом, и врачом, по бывшей калининской области, и нигде не видел ни фруктовых садов, ни пасек. Куда всё это делось?

Занимался я это время тем, что переписывал старые вещи и сочинял новые. Придумал написать маленький триптих: первая часть готова, за третью ещё вовсе не принимался. О второй я, кажется, немного тебе уже писал, это нечто покусившееся на непреложность времени и места, основанное на понимании того, что *память* и *воспоминание* — не только разные вещи, но прямые враги. Память не подчинена диктату времени, игнорирует хронологию и не связывает

себя никакой фиксации в определённом пространстве, на определённом месте. Память — это модель вечности, где всё совершается одновременно.

Я знаю, что ты недолюбливаешь эти умствования, предпочитаешь им «жизнь»; но всё же.

Воспоминание стремится осадить память, этот неуправляемый поток ассоциаций, воспоминание — род упряжи и оглобель, и оно порождает регулярную, вышколенную, «литературную» прозу; я же хочу свою прозу высвободить из оков. Поэтому то, что я сейчас пытаюсь облечь в слова и фразы, покажется хаосом, утомительным многоглаголаньем, бредятиной, короче — это будет полная противоположность тому, в чём я так долго убеждал себя: что будто бы завет литературы — упорядочить хаотический мир.

Тут, конечно, сразу встаёт из гробницы тень Марселя Пруста. Но что получается? Знаменитая произвольная память, *mémoire involontaire*, тоже оказывается упорядоченной литературой. Озябший и усталый повествователь пришёл домой, сел к столу выпить горячего чаю и внезапно, ощутив вкус печенья, размоченного в чаю, почувствовал себя как бы в преддверии ушедшего времени, увидел себя ребёнком снова в Комбре, и как его тётя Леони потчует липовым чаем, в котором размочен сладкий бисквит, снова увидел дом и улицу, куда выходили окна тётиной комнаты, а там и весь городок, и... и лента воспоминаний разворачивается всё дальше и превращается в роман. Это уже не память, это огромное распахнувшееся воспоминание.

Другое имя — Джойс, и растянутый на десятки страниц внутренний монолог одной разбитной бабёнки, якобы точный сколок даже не столько мыслей, сколько игры сознания; на самом деле, конечно, всё та же литература. Но то, о чём я думаю, вовсе не поток сознания, но мир, каков он есть, освобождённый от кантовских категорий ума. Собственно, утопия прозы.

Ещё я пытался собрать письма для Яновича. Пока что просто соединил всё, что нашлось в компьютере. Но огромная масса была и в прежнем компьютере и теперь существует, если вообще сохранилась, в отпечатанном виде. И, конечно, и там, здесь надо отбирать. Как совладать с этой сизифовой работой, не постигаю [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

3.9.09

Хорошая статья, дорогой Гена. Мне ее основные положения, конечно, давно знакомы, мы это не раз обсуждали, я узнавал целые цитаты из твоих писем и прежних эссе. Но здесь они сведены воедино, выстроены

вокруг сравнительно еще нового явления — интернетовской литературы, новый читатель найдет здесь немало для себя существенного. Я как-то с твоей подачи заглядывал на сайт Машевского, не вдохновился. Ты его продолжаешь посещать, хотя, похоже, открытий там для себя не обнаружил. Немного странно, что свои надежды теперь ты возлагаешь на толстые литературные журналы. Там-то какие шедевры тебе в последние годы открылись? Печататься в них давно не престижно, разве что стихи, публицистику, критику, малую прозу, рассказы больше нигде публиковать, пока не набралось на книгу. «Этих журналов, — пишешь ты, — до смешного мало в многомиллионной стране». Но в Германии, вообще на Западе их еще меньше, это скорей российское явление.

В век телевидения, еще только начинающейся электронной цивилизации положение литературы приходится все же осмыслять заново (как и положение живописи наряду с фотографией etc.).

Но мне вспоминается недоумение какого-то писателя: как вообще можно жить, не занимаясь литературой? [...]

Мы 15.9 собираемся улететь в Черногорию, возвратиться надеемся 13.10. [...]

7.9.09

Я более внимательно перечитал твои соображения о памяти и воспоминании, вспомнив, что моя нынешняя работа отчасти тоже соприкасается с этой темой. Есть ведь еще генетическая, архетипическая, историческая, бессознательная и прочая память, это не просто хаотически загруженная кладовая, способная породить лишь беспорядочный поток ассоциаций; так называемый «поток сознания» — продукт как раз тщательной литературной организации и т.п. Я заглянул в интернет на соответствующую страничку — там тонны концепций и рассуждений о памяти и воспоминании. Возможно, еще одна концепция будет благосклонней воспринята, если ее выскажет в романе один из персонажей, а не автор от своего имени, как тебе кажется? [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

8.Sept 2009

[...] О памяти и всех этих предметах: конечно, существует научная теория памяти, и не одна. Ты упомянул и сверхиндивидуальную память: историческую, племенную, коллективное бессознательное Юнга — вместилище архетипов — и проч. Меня это, для моего чисто литературного задания, не интересовало.

Однажды (это была небольшая повесть «Светлояр», которую мы с тобой обсуждали) я пытался воспроизвести ассоциативную память; но это выглядело как чередование эпизодов прошлого в тускнеющем сознании умирающего. Сейчас задание было другим.

Память (первичная, изначальная — не воспоминание) игнорирует время, ту упорядоченность, которую интеллект, по Канту, вносит в окружающий нас мир вещей в себе при помощи априорной, врождённой нашему духовному аппарату категории времени. Попросту говоря, время — изобретение нашего ума. Писатель пытается схватить или реконструировать именно это состояние, когда хомут времени, так сказать, ещё не успели напялить на лошадь. Конечно, это утопия — такая проза невозможна, но что-то близкое можно сотворить, основываясь на нашем опыте. Что-то похожее на освобождение от времени происходит, например, перед отходом ко сну.

Феномен известен каждому. Ты начинаешь о чем-то думать, этот предмет, точнее, образ, цепляется за другой, тот ещё за что-то; единственное, что «организует» этот хаос — словесные или образные ассоциации. Ты думаешь о яблоках, которые забыл купить, к этой мысли тотчас прицепляется образ коня в яблоках, конь тащит за собой Чапаева верхом, картинку, увиденную в детстве, всплывает школа, за ней совсем уже нелогичные связи; спохватываешься — твои мысли приняли совершенно неуправляемый и даже абсурдный характер; по-видимому, ты на грани засыпания; очнувшись, спрашиваешь себя, а почему вдруг то-то, откуда взялся этот образ, с чего всё началось? — и начинаешь крутить фильм назад, разматывать цепочку в обратном направлении. Оказывается, это цепь случайных сближений, лишённая логики.

Это — память *per se*. Внутренний опыт говорит нам, что отделить произвольную память от воспоминания, то есть процесса организации, превращения памяти в нечто последовательное, — почти невозможно. Но тот же опыт убеждает, что память и воспоминание всё-таки не одно и то же, больше того, нечто противоположное. Для литературы воспоминание — это одновременно материал и инструмент. «Вспоминая», литература денатурирует память, как кислота — белок: из аморфной желеобразной массы получается твёрдое тело. Нечто невербальное, до-вербальное превращается в текст, изделие языка. В противном случае это была бы не литература, а словесный детрит, нечто такое, что происходит у больных с распавшейся психикой.

Допустимо ли (спрашиваешь ты, сомневаясь) вставлять подобные рассуждения в рассказ, в художественную прозу? И если да, то от чьего имени? «Верьте художнику, а не его рассказу». Так-то оно так. Мне,

однако, иногда приходится сочинять сочинения, в которых закулисная работа писателя вынесена на сцену: мы повествуем о чём-то, но одновременно и размышляем, как бы нам это сделать. Хочется сказать о жизни — но и о том, как это можно сказать. Такая проза постепенно перестаёт быть чем-то новым — по крайней мере, для меня. Да и тебе она не вполне чужда («Проект Одиночество»; размышления Зимины почти превращаются в мысли автора) [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

15.10.09

Дорогой Гена, позавчера вечером мы вернулись в Москву из Черногории. Погода нам благоволила, из 28 дней лишь два были дождливыми, остальные дни мы наслаждались солнцем, теплым морем, плавали по километру-полтора в день. На участке у нас в этом году был небывалый урожай винограда, кроме него, пищу нашу составляли помидоры с луком и оливковым маслом, черный хлеб, овечий сыр и вино. Я впервые взял с собой ноутбук, не без пользы поработал. Правда, на открытой террасе с прекрасным видом на Адриатику экран отсвечивал, уходить в комнату днем не хотелось, я приспособился работать по утрам и вечерам на затененной нижней террасе, а днем писал кое-что от руки. Набрал даже начерно небольшой цикл верлибров, но это пока скелетики, плоть еще надо наращивать. Вообще же солнечная благодать расслабляет, я понимаю африканцев, которые работают меньше северян. Да ведь и отдохнуть все-таки было надо, впереди зима [...]

Телевизор у нас принимал единственную российскую программу РТР-Планета, смотреть ее было невозможно, и незачем. Без Интернета практически весь месяц не знал новостей, да ничего существенного, кажется, и не пропустил. А вчера с радостью узнал, что ты действительно попал в Букеровский финал, еще раз поздравляю. Значит, можем увидеться? [...]

17.10.09

Дорогой Гена, по свежей памяти отчитаюсь тебе о презентации альманаха. Она проходила в Центре русского зарубежья, недалеко от Таганской площади. Небольшой зал, пришли авторы: Померанц (я с ним сидел рядом, немного поговорил), Кнабе, Доброхотов, Кантор, Дубин, Ахутин, в таком же порядке Блюменкранц приглашал всех вы-

ступить. Говорили весьма интересно, я пожалел, что все это осталось не записано, можно было бы опубликовать, как материалы конференции. Пересказать не берусь, разве что наблюдение Кантора о том, что словом «Наши» — как «бесы» у Достоевского называли членов своей организации (глава «У наших»), наименовали сейчас прикремлевскую молодежную организацию, которая устраивает разные пакостные шабаши. Большого для их характеристики не надо, сказал Кантор. (Странно, как другие до сих пор этого не заметили.) Да еще рассуждение Кнабе о «четыре слова», которые объединяют собравшихся: «текст» (теперь без цензуры), «интеллигенция» (исчезнувшая или исчезающая), «Европа» (которую назвал «растерянной») и — неожиданно для меня — «стиль». Это слово, сказал он, вызывает мысль не только о литературном качестве текстов, но о римском «стилосе», палочке, которой писали, т.е. оставляли след, и этот след оставался запечатленным. Тут я, признаться, засомневался: писали все-таки на воцеленных дощечках, и след стилоса за ненадобностью как раз стирался.

Я, выступая, сказал, что мне, литератору, не культурологу и не философу, участие в альманахе позволило соприкоснуться с кругом идей, формирующих мироощущение, стимулирующих мысль. За несколько лет сложилось ядро более-менее постоянных авторов, среди них немало близких мне лично людей, в советское время мы с ними вели многочасовые беседы на темы, которые теперь обсуждаются печатно, (помянул Гришу, Кнабе, конечно, тебя). Не знаю, велик ли у альманаха тираж — какую роль для культуры может играть деятельность небольшого круга? И вспомнил зацепившие меня когда-то слова Дубина о том, что культурный прорыв не может быть героизмом горстки людей, он должен сопровождаться структурными устройствами. (Творчество единиц «не порождает ни нового словаря, ни новых принципов, ни системы мысли».) А ваш «Центр Левады» (с которым тоже был когда-то близко знаком), спросил я Дубина, является ли таким «структурным устройством»?

После презентации он подошел ко мне, сказал, что как раз считает «Центр Левады» таким устройством. Поговорили о разном. Среди прочего, о нашуемшей, оказывается, книге композитора В. Мартынова «Конец времени композиторов», который прогнозирует исчезновение не только этой профессии, но и живописи, литературы. На эту тему в «Новом мире» только что появилась статья А. Латыниной, посмотри, если не читал. Я заметил, что когда говорят об утрате людьми прежнего интереса к искусству, упускают из виду, что композиторами, художниками в былые времена интересовался вовсе не «народ», а незначительная кучка образованных, богатых, в основном аристократов.

Где-то мне попались слова, что Моцарт писал «для полутораэта подписчиков». Плохо представляю, что такое были подписчики в 18-м веке, но речь, думаю, именно об этом. Давняя наша тема, не правда ли?

На презентацию я приехал из издательства НЛЮ, где получил экземпляр последней книги А. Гольдштейна «Памяти пафоса» с моей статьей в качестве предисловия. Это сборник рецензий и статей о литературе, искусстве из разной периодики. Предвкушаю чтение. Заодно купил его предпоследнюю книгу «Спокойные поля», изданную три года назад и до сих пор, значит, не распроданную. Тираж обеих 1 тыс. экз. Позвонивший мне сегодня утром Блюменкранц полагает, что тираж его альманаха сейчас тоже около тысячи [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

18 окт. 2009

Дорогой Марк! Как удивительно наши мысли то и дело пересекаются. Последние вечера я перечитывал «Уроки счастья» (где многое мне знакомо и по прежним твоим публикациям), то и дело наталкиваясь на темы и мотивы, занимающие меня. Теперь вот Владимир Мартынов. По твоему совету я прочитал статью Латыниной. Хорошая статья (на некоторые мелкие огрехи вроде «стилуса» — *stylum* слово среднего рода — приходится закрывать глаза), содержательная, занимательная и, пожалуй, избавляющая от необходимости читать Мартынова. Конечно, я слышал о нём и о «конце времени русской литературы» (с его музыкой я не знаком). Его книга, судя по всему, — яркий, хотя и запоздалый, образец широковещательного историософско-мифологического сочинения в духе Шпенглера.

Всё же, не читая самой книги, оценивать её рискованно. Забавна классификация «веков»: бронзовый, железный. На самом деле — десятилетний. Метрика времени, как это часто бывает, сморщивается по мере приближения к современности: начав с тысячелетнего размаха, философ добирается до концептуалистов и Д.А. Пригова, просуществовавших считанные годы. Вообще удивительно это значение, которое придаётся (не только Вл. Мартыновым) творчеству покойного скомоороха Пригова.

О конце «времени русской литературы» или даже о конце литературы вообще мы часто толковали. Тема и попытки её решения сами по себе стали рутинной. Когда я читаю в интернете статьи или высказывания по этому поводу, почти всегда получается, что речь на самом деле идёт о маленьком островке русской классической литературы, о

её соотношении с современной литературой в России, наконец, о «судьбах». Но триада «автор — текст — социум» слишком элементарна, чтобы можно было утвердить на этом шатком треножнике всобъемлющую концепцию прошлого и будущего литературы, пусть даже в ограниченном национальном масштабе.

Почему, вопреки мрачным пророчествам, «литература бессмертна». Потому что, отвечает Латынина, жизнь постоянно меняется, а значит, и словесность будет получать всё новую пищу. Может быть. Но я смотрю на это иначе.

Ты интересно рассказал о презентации альманаха «Вторая навигация». Слова Бориса Дубина о том, что культурный прорыв не может быть подвигом малой кучки первопроходцев и т.д., мне известны. Это взгляд социолога, для которого точкой отсчёта является «социум». Дубин — литературовед и историк литературы держался бы другого мнения [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

23.10.09

[...] Читал книгу А. Гольдштейна «Памяти пафоса». Это сборник рецензий и статей о литературе, культуре, искусстве, нередко об авторах, фильмах, художниках, неизвестных мне, тут я кое-что скорей пролистывал. Интересны были, скажем, рассуждения о Моосбругере, персонаже «Человека без свойств» как о символическом автопортрете автора. Безумный плотник без конца убивает женщин, которые никак от него не отвязнутся — «Музиль всегда поступал так же с каждой новой страницей... Он испытывал ужас перед каждым чистым листом». Впрочем, более сжато и емко та же концепция изложена в книге «Аспекты духовного брака», которая у тебя, кажется, есть. Там же было и о Голосовкере, но здесь на меня произвело впечатление свидетельство о последних днях философа, который «перестал быть собой, разучился писать, читать, забыл языки... Рукопись книги «Имагинативный абсолют»... прятал в больничной койке, чтобы не украли». Неожиданным оказалось суждение об Иосифе Бродском (отклик 1996 г. на его смерть): «Мощный, оригинальный поэт умер в нем на недобрый десяток лет прежде человека по фамилии Бродский... Поздние стихотворения, аккуратно нанизанные на стержни конструктивных метафор, механически плавно изображают былое могущество, но что-то остановилось в глубине этой речи, какая-то вытекла из нее сила и радость». Надо бы самому перечитать, но вообще такие утверждения нужно до-

казывать цитатами. Вот чего мне не хватало в текстах о писателях, которых я не знаю. Моя статья, ставшая предисловием к этой книге, мне кажется, могла продемонстрировать читателю, какой это был автор.

Особые же сомнения вызывали у меня его рассуждения о современном искусстве, о художниках или тех, кто себя так называет, т.е. преимущественно о концепциях, о течениях. «Художник есть тот, кто думает, а не тот, кто рисует. Таков истинный базис концепта... Искусство — это интеллектуальная, философская практика, особый метод мышления, но не образами и даже не касательно образов, а по поводу самих оснований художества, его природы, устройства, функции, назначения». Иногда кажется, что Гольдштейн сам готов так думать, во всяком случае, ему это нравится. Но вот о поп-арте, который проповедуется Уорхолом: «Безвестный и бедный художник popular art есть нонсенс... Деньги и слава принадлежат к фундаментальнейшим модулям бытия». Или о художнике, который публично отрезал себе язык, о художнике, который оскопил себя и назвал это художественным актом. Какое отношение такого рода концептуализм, постмодернизм, который в книге поминается множество раз, имеет отношения к литературным текстам самого Гольдштейна? Бывает чувство, будто он хочет быть кем-то другим, подлаживается под что-то, на что не способен внутренне, в прозе это, к счастью, не получается, писатель остается самим собой. В эссе «Золотой камень» («Аспекты духовного брака») он не без иронии рассказывает о собственной попытке устроить нечто вроде перформанса на еврейском кладбище, раскрасив золотой краской чей-то могильный камень (намек на собственную фамилию), но побоялся, что может быть обвинен в кощунстве и ограничился более безобидной акцией «Крест и Зеро», испытывая все время заметную неловкость от этого подросткового «прикола».

В текстах книги то и дело звучит чувство неудовлетворенности от того, что современное искусство лишилось былой, подлинной, живой силы. «Художественное творчество последних десятилетий совершенно не отвечает грандиозному характеру происходящего в мире». «Мало отстраненного эстетического созерцания, необходимо участие в художественном происшествии, необходим опыт пересоздания своего существа». Статьи писались в 1993-2000 годах, но и спустя 10-15 лет приходится слышать буквально то же.

Кое-что для меня проясняет одна из завершающих книгу бесед Гольдштейна с художниками — со знаменитым Ильей Кабаковым. Для Кабакова существенней всего — участие в «институциях», т.е. в выставочном процессе, выстроенной системе. «Единственно живое — это институции, и только там сегодня может жить художник». «Человеческое меня не волнует, я все время говорю, что институции не есть че-

ловеческий мир». «Необходимо иметь успех у тех, у кого ты хочешь его иметь... Успешность у определенных лиц — это не успешность у институций, успешность у институций — это не успех в более длинном времени, как говорил Бахтин. Если ты не успешен, тебя выгоняют из институций..., а я хочу остаться в тех институциях, в которых сейчас работаю». Немного неожиданно. Стоит ли говорить, насколько мне чужды эти мертвящие умственные построения?

Сейчас я начинаю читать (верней, перечитывать) другую книгу Гольдштейна, «Спокойные поля» — вот где дыхание живое, хотя и уязвленное смертельной болезнью [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

27 окт. 2009

Дорогой Марк, я читал книгу Гольдштейна «Аспекты духовного брака» год тому назад, когда выздоравливал в больнице. Сильный, оригинальный автор, порой неожиданный, хотя и злоупотребляющий (подчас) собственным стилем. «Памяти пафоса» и «Спокойные поля» я не читал и даже о них не слышал. Суждение Гольдштейна о позднем Бродском мне близко, хотя иногда возникало впечатление, что поэт превосходит собственную, как бы уже завершённую поэзию. Но мы не знаем, куда привёл бы Бродского его поэтический демон; может быть, он целиком отдался бы прозе.

Мне тоже показались не то чтобы спорными, но во всяком случае заслуживающими особого обсуждения или обдумывания мысли о современном искусстве — то, что ты процитировал. Подозреваю, что это ересь. Но, конечно, надо прочесть книгу.

Как я уже писал тебе, я собираюсь прилететь в Москву 25 ноября и пробыть до 10 декабря. Не без трепета думаю о поездке: слишком уж отвык от этого тяжёлого города.

А пока что у меня грипп или что-то подобное. Я заметил, что октябрь в моей жизни — недобрый месяц. В октябре меня арестовали. В начале ноября (то есть в октябре по старому стилю) умер мой отец. В октябре прошлого года я чуть не отдал концы. Ну и, наконец, в октябре произошла Великая Октябрьская и так далее революция. Дул, как всегда, октябрь ветрами. Дурацкие всё-таки стихи.

У меня маленькая новость: вышла моя книга (сборник прозы) «Истинная история минувших времён», а теперь издатель Савкин предлагает выпустить собрание сочинений. Он приезжал ко мне, чтобы обсудить. Я составил план — шесть томов. Конечно, за это придётся платить, но я надеюсь, что мне в Москве что-нибудь обломится [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

28.10.09

Дорогой Гена, в полученной мной сегодня газете «Еврейское слово» (№ 38 / 456) есть большая, на две полосы, статья о Вагнере «Злой волшебник Рихард». Автор, Артур Штильман, в начале ее довольно резко полемизирует с твоей давней статьей «Примечания к Вагнеру». Пересказывать и цитировать ее нет смысла, думаю, ты сам сможешь прочесть в интернете. (Там есть очевидные передержки, несообразности: «Автор, уехавший из постсоветской России по квоте для еврейских переселенцев».) Я твое пристрастие к Вагнеру знаю давно, обсуждать этого, что ни говори, с баварцем никогда не мог, потому что композитора мало знаю, у меня, кажется, нет ни одной его записи. Отдавал должное его оркестровым увертюрам, но слушать долго его оперы просто не мог. В статье среди прочих цитируется мой неожиданный союзник. «Он был великим симфонистом, — писал, оказывается, о Вагнере Чайковский, — а не оперным композитором. Если бы вместо того, чтобы посвящать свою жизнь музыкальной иллюстрации в оперной форме персонажей из германской мифологии, этот необыкновенный человек писал симфонии, то, возможно, мы обладали бы шедеврами, достойными сопоставления с бессмертными творениями Бетховена». Значительная часть статьи посвящена, естественно, вагнеровскому антисемитизму. Почитай.

Я, кстати, в позапрошлом письме спрашивал тебя, как ты понимаешь слова о «полупораста подписчиках», для которых писал Моцарт. Или тоже не знаешь? [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

28 окт. 2009

[...] Минувшей ночью исполнилось 60 лет, как меня арестовали. Может быть, поэтому я всю ночь не мог уснуть от кашля. Прошлое преследует — буквально.

В электронной версии газеты «Еврейское слово» статья Штильмана отсутствует. Но имя это мне знакомо: однажды Эйтан принёс мне его книгу. Артур Штильман — профессиональный музыкант, скрипач, но подвизается также на ниве околomuзыкальной публицистики. Результаты плачевные: плохой язык, низкая культура, крикливый тон. Я легко могу представить себе, что и как написано в его статье. И вообще — зачем читать эти газеты?

Я жалею о том, что ввязался в полемику с дураками. Кажется, я писал тебе о том, что однажды прочитал в американском русском журнале «Слово/Word» разоблачительную статью о Вагнере, за подписью человека, мне неизвестного, по имени Тетельбаум. Он разоблачал Вагнера как злокачественного антисемита и предшественника нацизма, не подозревая о том, что на эту тему написаны тома. По глупости я позвонил редакторше Ларисе Шенкер (с которой давно знаком), сказал ей, что статья на таком уровне компетенции и культуры не украшает журнал. «А вы напишите опровержение! « Я было отказался, но потом чёрт меня дёрнул всё-таки накропать ответную статью. Надо сказать, что и весь журнал, несмотря на солидный возраст, не слишком блещет культурой.

Мой ответ был со скрипом напечатан, последовала новая статья Тетельбаума с таким же нагромождением фактических ошибок, искажений и диких вымыслов, но я уже больше в это дело не встревал.

Мнение Чайковского о Вагнере, которое сегодня выглядит смешотворным, мне известно. Оно встраивается в жаркий спор между двумя музыкальными лагерями, который польхал в те годы.

«С баварцем», — пишешь ты. «Зная твоё пристрастие к Вагнеру...» Причём тут Бавария? И разве пристрастие — подходящее слово? Вагнер принадлежит всему человечеству.

На всякий случай посылаю тебе мою статью, которую вообще не следовало писать.

Когда Моцарт пишет о «подписчиках», он имеет в виду ноты и партитуры, которые печатались и рассылались по подписке [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

29.10.09

[...] Спасибо за прекрасную статью. Неловко признаваться в своей ограниченности, но теперь ничего не поделаешь. Воспринимать оперную музыку мне вообще мешает необходимость вслушиваться в слова, лучше, если язык непонятный. (Впрочем, с некоторых пор я и русские тексты не распознаю — слух.) Ты цитируешь в статье немецкие стихи из вагнеровской оперы — не могу восхититься, увы. Как не восхищает меня и поэзия Модеста Чайковского. В либретто, который раз прочитанном у тебя, тотчас опять начинаю путаться: кто кому кто? Факт моей биографии. Но почему каждому должно нравиться всё? Пристрастия — вещь естественная. Помнится, в Мюнхене я тебя спросил, почему станция метро названа «Козима», чем баварцам так дорога эта дама, ты доходчиво объяснил.

Пишу тебе сразу, пока не остыло еще одно впечатление. В том же «Еврейском слове» меня, мягко говоря, озадачили неизвестные мне прежде стихи Бродского «На независимость Украины». Знаешь ли ты их? «Скажем им, звонкой матерью паузы метя строго: скатертью вам, хохлы и рушником дорога... по адресу на три буквы»... «Пусть теперь в мазанке Гансы с ляхами ставят вас на четыре кости, поганцы». И в том же духе: «Плунуть, что ли, в Днипро: может, он вспять покатит». Не понимаю. Анатолий Найман тут же обосновывает апологию этих «замечательных стихов» экскурсом в историю украинского антисемитизма: после Богдана Хмельницкого, после Тараса (и Шевченко, и гоголевского Бульбы) — заслужили. Начинаешь иногда чувствовать себя антисемитом [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

30 окт. 2009

[...] Станция метро поблизости от нас названа не именем Козимы Вагнер, а в честь другого Рихарда — Рихарда Штрауса: «Арабелла-парк». Вокруг всё напоминает о Штраусе: улица Арабеллы, улица Электры, площадь Кавалера роз и пр. Чуть подальше, там, где живу я, начинается Вагнер: улица Лоэнгрина, улица Мейстерзингеров, улица Грааля, улица Козимы, улица Везендонк и так далее. Есть районы, где улицы и переулки носят имена других композиторов.

Представление о том, что в Баварии существует особый и, так сказать, национальный культ Вагнера, ошибочно. Вагнер саксонец, Мюнхена не любил и баварскому стилю был чужд. Но дело даже не в этом. Далеко не все, любящие музыку, любят и принимают Вагнера. Среди моих друзей немало тех, кто этой музыке не симпатизирует. Ты прав: совсем необязательно, чтобы каждому нравилось всё.

Я совершенно согласен с тобой, что стихи, мною процитированные (свадебное шествие), — отнюдь не вершина поэзии. Это касается и многих других мест в вагнеровских либретто: выпретенных, надутоторжественных, с множеством архаизмов, нагромождением *Stabreime*, и они печатаются только в виде либретто, воспринимаются исключительно в музыкальном и мифологическом контексте. Их автор не зря говорил о *Gesamtkunstwerk*, нерасторжимом комплексе музыки и текста, драмы и мифологии. (Кстати, знаком ли ты с книгой покойного Е. Мелетинского «Поэтика мифа», там тетралогии Вагнера посвящены замечательные страницы. И ещё одно: убийственная пародия на «Лоэнгрин» в «Верноподданном» Генриха Манна.)

Стихи Бродского об украинцах мне, конечно, известны. Когда-то Иосиф дал их почитать Юзу, а Юз прислал мне машинописный автограф Бродского. Нужно иметь в виду, что Бродский строго запретил их публиковать. То, что «Еврейское слово» их напечатало, — неблагородный поступок и, видимо, в манере и нравах этой газетки. Думаю, что стихи, очень смешные, написаны не в отместку за украинский антисемитизм (Бродский вообще не был увлечён этой темой), а скорее под впечатлением разных тамошних глупостей — отмены преподавания русского языка и литературы в школах и т.п. [...]

5 ноября 2009

Дорогой Марк, пишу тебе внеурочно — просто так. Я постепенно выкарабкиваю из-под своего гриппа. Надеюсь, по крайней мере, поправиться ко дню моего путешествия на родину [...]

Можно повторить, что главный ресурс писательства — воспоминания. Но их — и я об этом тоже, кажется, уже писал — нужно отличать от памяти. Когда мы вспоминаем о каком-нибудь случае из прошлого, мы невольно упорядочиваем нашу память. Мы хотим рассказать другим или самим себе «всё по порядку». Эта беллетризация памяти, правильной сказать, расталкивание памяти, которая теснит со всех сторон, собственно, и превращает её в воспоминание. В действительности память в её исходном состоянии не признаёт никакой последовательности, противостоит математическому времени, игнорирует хронологию, а вместе с ней и логику. Особенно, когда мы укладываемся на ночь и остаёмся один на один со своим внутренним миром: хотим подумать о делах и заботах только что прожитого дня, но тут же память, выпущенная на свободу, цепляется за что попало, за случайные впечатления недавнего и далёкого прошлого, всплывают полузабытые лица, юность, детство — всё сразу, и мы ловим себя на том, что безнадежно потеряли нить мысли. Исчез тот самый порядок, когда одно последовательно вытекает из другого. Способна ли проза передать эту стихийность? [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

7.11.09

[...] Мне знакомы твои мысли о памяти и воспоминании, ты уже не раз их повторял. Я, помнится, тебя спрашивал: не воспроизводит ли искомую тобой модель «памяти» хрестоматийный монолог Молли, тот самый «поток сознания» в завершающей, 18-й главе «Улисса»?

Можно включить в повествование эссеистические размышления на эту тему, можно продемонстрировать образцы такого неуправляемого, неорганизованного потока, хотя бы на пространстве небольших эпизодов. Лукавство в том, что у Джойса этот поток очень даже организован, и весьма искусно.

Какая судьба ждет написанное — всегдашний вопрос. Не так давно мы навестили нашего давнего товарища, скульптора Николая Силиса. Когда-то он входил в триединый коллектив вместе с Сидуром и Лемпортом, потом они разошлись, каждый, как и положено, стал работать самостоятельно, я об этом писал. Теперь от бывшей троицы он остался один. Ему 81 год, его скульптуры покупают коллекционеры, грех жаловаться. Но что будет с теми, что заполняют сейчас его громадную подвальную мастерскую и останутся после него? Помню, как той же мыслью мучился перед смертью Сидур. Но тут подоспела перестройка, он как-то совпал со временем, немецкие почитатели позаботились об установке скульптур в Германии, в Москве у него сейчас есть музей. Силис обращался в Эрмитаж, в Третьяковскую галерею, предлагал свои работы в дар, бесплатно, просто чтоб сохранились — но понял, что за интерес к себе сам должен хорошо уплатить. У него уже умерла жена, дочь, внучка поет в каком-то ансамбле, и что она будет делать с многотонными скульптурами? Аренда мастерской стоит теперь немало денег. Нам все-таки проще, не правда ли? Бумажки много места не занимают, подождут — если будут востребованы [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

10 ноября 2009

[...] Я снова раскрыл «Улисса» и стал перечитывать заключительный монолог Молли Блум; заглянул и в комментарий С. Хоружего. Ты пишешь, что моя самодельная модель памяти, которую следует отличать от воспоминания, повторяет поток сознания у Джойса. Разумеется, такое сопоставление сразу же приходит в голову. Вообще с этим «потоком» то и дело приходится иметь дело. Седьмая глава «Лотты в Веймаре», хоть и прерываемая разговорами, написана как будто в этом же роде, разница, однако, — и очень большая — та, что это не поток сознания в прямом смысле слова, а внутренний монолог Гёте, построенный по правилам литературной речи. Здесь нет той опасной, якобы характерной для женской психики близости к хаосу, нет притязания на непосредственную, лишённую всякого беллетризма, не оставившую запись роящихся мыслей, безудержной и беспорядочной эмоциональности, которая рискует наскучить.

Если вернуться к памяти — мне кажется, я просто пытался объективировать её главное свойство, неподвластность времени. Не «обретение утраченного времени» — это функция воспоминания, — а игнорирование временных (ударение на последнем слоге) координат [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

12.11.09

Дорогой Гена, все пытаюсь прояснить свою мысль. С воспоминаниями понятней, чем с памятью. Память бездонна, разнообразна. Можно ли достоверно проследить, разобраться, что такое память хотя бы о нескольких последних минутах только что прожитой жизни? Я сидел за компьютером, могу последовательно восстановить, как нажимал пальцами клавиши, (только что исправил опечатку). Труднее проследить движение мысли, порождавшее эти строки — почти невозможно. Два раза кашлянул, шевельнулась ожившая в тепле муха. Горящую лампу только что отметил сознанием, а значит, оставил в памяти, по крайней мере, компьютерной (вот, записал) — но комнату вокруг как будто не замечаю, хотя вижу, отводя взгляд от дисплея.

Справился в учебном тексте. Кратковременная память создается многократной циркуляцией импульсных разрядов по замкнутым цепям нервных клеток или по разветвлениям (аксонным отросткам) в пределах одного и того же нейрона. В этих цепях и клетках постепенно образуются стойкие изменения, химические и структурные, так формируется долгосрочная память.

Наверно, это вот и происходит сейчас, каждое мгновение, неосознанно, как процесс пищеварения, попытки фиксировать бесполезны. Все, что мы несколько минут или жизнь спустя пытаемся восстановить, хаотично, вразнобой, как я сейчас, или усилием ума начинаем выстраивать последовательно, литературно — и то, и другое, пожалуй, все-таки воспоминание, его разные стадии, разные состояния вспоминающего. Память моторная, зрительная, эмоциональная, историческая, национальная, архетипическая — это уже о другом.

Ты, как я понимаю, заглядывал в мои «Уроки счастья», там стенография иногда соскальзывает на мемуары. Среди прочего, вспомнилось, как я лежал в больнице с туберкулезным менингитом. И вот недавно в руки случайно попала книга воспоминаний Натальи Рапопорт. Тебе, конечно, знакомо это имя: ее отец был нашим ведущим патологоанатомом, арестованным по «делу врачей». Она, среди прочего, вспоминает «о том, что незадолго до ареста Лине (*академику Лине Штерн*) удалось

достать через живущего в Америке брата несколько ампул только что изобретенного стрептомицина, что в это время у знакомых моих родителей заболела туберкулезным менингитом дочь, что в соответствии с Лининой теорией гематоэнцефалических барьеров Лина с мамой начали лечить девочку инъекциями стрептомицина непосредственно в спинномозговую жидкость... и выходили ее, что девочка, к сожалению, оглохла, но все-таки это был первый в истории медицины случай выздоровления от туберкулезного менингита, считавшегося раньше стопроцентно смертельной болезнью».

Штерн арестовали в январе 1949. А я заболел туберкулезным менингитом летом 1949 и был вылечен в детской Морозовской больнице, оглохнув только на одно ухо. Где родители, не академик биологии, имеющий брата в Америке, могли раздобыть лекарство для меня? Раппорт «рассказала, что случай этот стал широко известен в Москве, и к Лине пришла Светлана Сталина с просьбой дать стрептомицин для дочки ее подруги, заболевшей воспалением легких, но Лина отказала, сославшись на то, что стрептомицина у нее очень мало и он только для научных целей».

Между прочим, вспомнилось, как меня приходила смотреть делегация американских врачей. Под ножки моей кровати, у ног, подкладывались чурбаки, чтобы я лежал немного вниз головой, и профессор Фурер объяснял коллегам: это нужно для того, «чтобы лекарство расходилось по базам». Сейчас не помню дословно всю эту длинную медицинскую тираду, но тогда я, двенадцатилетний, запомнил ее наизусть и люблю повторять, щеголяя знанием терминологии.

Статью к моему собранию сочинений я, конечно, с удовольствием напишу [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

12 ноября 2009

[...] Мы находимся у конца длинной цепи литературного развития, которую можно назвать движением внутрь, от внешних событий — к жизни души, а оттуда вглубь сознания, от классического психологизма к Толстому, у которого можно найти отчётливые подступы к пресловутому «поток», и далее к Прусту с его *souvenir involontaire*, к Джойсу и Вирджинии Вульф («Миссис Деллоуэй»). Эта линия упёрлась в тупик. Ты приводишь элементарные сведения из классической нейрофизиологии памяти, как всех нас учили, — это прекрасная иллюстрация той самой невозможности объективировать сознание, взломать его абсолютную

замкнутость, невозможности, с которой на своих собственных путях столкнулась литература. Джойс, грубо говоря, морочит читателя. Перешагнуть заветный порог можно разве только в научно-фантастическом жанре (как ты это сделал в рассказе «Сеанс»).

Остаётся лишь имитировать внутренний мир психики, включая феномен памяти, с помощью известных беллетристических приёмов, средств доступного нам языка, который ведь и сам по себе представляет отчуждение от сознания. Принять как должное коварство литературы, которая всегда конструирует собственную действительность, выдавая её за подлинную. Но вернуться к дотолстовской, допрустовской, доджойсовской невинности нельзя.

Вместе с тем вся эта тематика, не правда ли, чарующе притягательна. Для меня это двойная (и, как я понимаю, в обоих случаях принципиально неразрешимая) задача: попытки вернуться от беллетризованных воспоминаний к стихийной памяти и попытки стереть границу между явью и сном. В обоих случаях это игры с Временем, на котором я помешан, как ты мне ещё когда-то говорил, когда мы гуляли по оврагу возле дома Плаасов.

Вообще философствовать о литературе приятней, чем писать. Я снова чуть было не накатал целый трактат.

Туберкулёзный менингит, о котором ты вспомнил, ещё во времена моего студенчества считался почти стопроцентно смертельным заболеванием. Но уже тогда стрептомицин, полученный в Америке Ваксманом (которому, между прочим, принадлежит термин «антибиотик»), вошёл в триаду стрептомицин — ПАСК — фтивазид для лечения всех форм тбс. Сейчас обычное побочное действие стрептомицинотерапии — та или иная степень временного или постоянного поражения слуха — преодолено.

Очень рад, что ты согласился написать предисловие [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

17.11.09

[...] Обнаружил в своей недавней «Стенографии» запись: «Память явление не биологическое. Это акт преобразования, творчества. Как и мысль». Все на ту же тему. Запечатленное однажды не остается в памяти всю жизнь неизменным, как в компьютере, оно преобразуется, отчасти, может быть, в результате каких-то физиологических, химических процессов в клетках мозга, но главным образом в результате нашей творческой работы — назовем это воспоминанием.

Рад, что ты вспомнил попутно мой «Сеанс». Туда вложены кое-какие мысли, жаль, если никто не дал себе труда вникнуть, извлечь что-то для себя. Во всяком случае, комментариев, кроме твоего, я не знаю. Не придется ли тебе задуматься о статье к моему уже недалекому 75-летию? [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

14 декабря 2009

Дорогой Марк! Сегодня день восстания на Сенатской площади. Вспоминает ли кто-нибудь в России эту дату?

Я вернулся. Постепенно Москва некоторым образом превращается в сновидение наяву. Мне кажется, что я кое-что приобрёл от этого паломничества, научился каким-то крохам. Но, как уже не раз приходилось замечать, свежие впечатления быстро вянут, их оттесняет старая, сдобренная консервантами память. Эта память не терпит поправок, не допускает редактуры [...]

Мой сын заказал мне билет на самолёт в Чикаго, отлёт 12 января, зигіік 25 янв.

Хорошо было повидаться. Спектакль у Фоменко для меня целое событие. Обнимаю тебя и Галю. Ваш Г.

М. Харитонов — Б. Хазанову

16.12.09

[...] Одно из сильных впечатлений последнего времени — спектакль «Медея» у Камы Гинкаса. Кроме Ануйя, он использовал тексты не Еврипида, а Сенеки (я даже не знал, что и у того есть «Медея»). Креонт появляется на сцене, прикрытый во весь рост архаической золотой маской, выходит из-за нее в бухгалтерском галстуке и очках, уговаривает Медею ануйевским текстом убираться по-хорошему, а когда она отказывается, раздражается громогласным сенековским монологом. Медея насмешливо ему аплодирует, призывает поаплодировать и зал — сраженный Креонт, которого играет Ясулович, (тот, что читал твои тексты на премиальных торжествах) падает навзничь в бассейн, прямо в своем цивильном костюме. Предельно органично звучит в этом контексте Бродский, «Портрет трагедии». Я был, без преувеличения, потрясен — редкий случай, зашел к Каме сказать это. В режиссерской комнате после спектакля собрались, как обычно, разные театральные люди, все вни-

мание переключил на себя актер Михаил Казаков. Когда все разошлись, мы остались еще ненадолго, чтобы поговорить с Камой и Гетой (Генриеттой Яновской). Не часто дается радость действительно содержательного общения, но этого не пересказать.

В предпоследнем (№ 44) «Еврейском слове» помещено письмо читателя по поводу дискуссии о Вагнере. Загляни, если найдешь в интернете. Впрочем, процитирую немного. Автор, профессиональный музыкант, считает Вагнера великим симфонистом, который связал себя не со своим жанром. «Его оперы, в сущности, это гениальные увертюры, музыкальные антракты, отдельные номера, замечательные по качеству музыки, и огромный (примерно до 80 процентов) пласт повторения уже прозвучавшего материала (и даже зачастую с той же гармонией)». Дальше о природе его популярности (антисемитизм вне обсуждений). Приятно, что не один я, дилетант, воспринимаю его так [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

17 декабря 2009

Можно утешаться, дорогой Марк, тем, что взгляд Бориса Франкштейна почти совпадает с высказываниями Чайковского, о которых мы уже говорили. Мало ли курьёзов в истории музыки. Когда-то Карл-Мария ф. Вебер отозвался о Седьмой симфонии Бетховена так: «Теперь автор созрел для сумасшедшего дома».

Чайковский тоже упрекал Вагнера, зачем он не стал симфонистом. Можно добавить, что по этому пути (симфонические поэмы) пошёл Рихард Штраус, столь многим обязанный Вагнеру.

Штильман помянул меня ещё раз, в том же «Еврейском слове»: его возмутили мои слова: «Без Вагнера нельзя жить». Надо было уточнить: это я не могу жить. В конце концов можно и не любить музыку Вагнера.

Я не музыковед и не могу вести профессиональный спор с Франкштейном: ему виднее. Правда, он говорит, судя по всему, лишь о тетралогии «Кольцо Нибелунга», оставляя в стороне романтические оперы Вагнера («Летучий голландец», «Тангейзер», «Лоэнгрин», «Тристан и Изольда», пожалуй, и «Мейстерзингеров»), более или менее выдержанные в традиционной манере.

Могу заметить только одно: оперно-драматургическая реформа Вагнера делает странным и даже смешным желание ставить ему в упрёк и пример такие произведения, как «Фауст» Гуно, «Кармен» Бизе, оперы Верди и т.д. Это просто нечто совсем другое. Вдобавок Франкштейну

чуждо то, что можно назвать мифологическим мышлением. Его не интересует германо-скандинавская мифология и её интерпретация у Вагнера. Может быть, это относится вообще ко всему этому обширному, на свой лад чарующему миру, к «сумрачному германскому гению».

Меня удивляет вот что: его рассуждения о «зомбированности современного слушателя». Не постигаю, что, собственно, это означает. Что стоит за этим модным словом? Я видел этого слушателя в Европе и Америке, это обыкновенные люди, любители музыки, отнюдь не «зомби». Можно ли считать зомбированием вагнерианство великих дирижёров нашего времени? В самом ли деле напряжённое внимание к Вагнеру, присутствие Вагнера в оперных театрах мира — всего лишь «престижно и ажиотажно»?

Я постепенно прихожу в себя после Москвы [...]

24 декабря 2009

Дорогой Марк! Вот уже двадцать седьмое — наше, хотел я сказать, но теперь уже только моё — Рождество в Германии, а ведь я до подробностей помню, как это происходило в первый раз, в доме Вульфенов в Штокдорфе. Сегодня Neiligabend, по-русски сочельник, семейный и детский праздник, главный в году. Но я никаких праздников не праздную.

Снег почти сошёл, туманный глухой день. Перед нашим подъездом мёрзнет, как обычно, вся в огнях ёлка. Народ сидит по домам. Радио передаёт рождественскую музыку: Гендель, орган, «Stille Nacht», «O, Tannenbaum» и прочее в этом роде. На прошлой неделе исполнилось два года, как нет Лоры. А на другой день был абонементный концерт в Гастайге и, как по заказу, Большая симфония С-Dur Шуберта, великая предсмертная музыка, полная предвидения конца.

Я закончил, с грехом пополам, произведение, отчасти новое, отчасти слепленное из прежних, слегка переработанных текстов, под названием «Взгляни на иероглиф». Название немного напоминает последний роман Набокова, хотя мой опус, кажется, не имеет с Набоковым ничего общего. В сущности, это сюита из нескольких новелл, но их сплотила (как мне хочется думать) общая идея — отрицание линейного времени, вернее, борьба с хищным всепожирающим Хроносом. Самая возможность такой отчаянной борьбы есть великое преимущество и утешение литературы. Об этом я тебе уже писал не раз. Неувядающая идея; толкусь, можно сказать, на одном и том же пятачке [...]

25.12.09

Дорогой Гена, «главному празднику в году» я мысленно отдаю дань почтения, но для себя, внутренне, тремя днями раньше отмечаю самый короткий день в году. Всё! Короче день уже не будет, свет начнет прибывать, пусть не сразу, с этого самого сочельника, но уже можно ждать. Язычники отмечали торжество природы, у нас, православных, рождение божественного младенца будут праздновать в январе, для меня с детства несомненной и праздничней астрономический Новый год. Хотя для западных христиан этот Сильвестр, по церковному календарю, не более чем день, когда был обрезан один из еврейских мальчиков. Евреи Новый год празднуют в сентябре, недели две назад из Иерусалима мне пришло поздравление с Ханукой — праздником света. Я всегда праздновал дни рождения своих детей, теперь внуков. Слово «религия», по одной из этимологий, означает «связь». Связь человека с небесами? Связь с другими людьми? Связь с небесами через людскую общину, церковь? Мое религиозное мироощущение обходится без конфессий.

Ты написал мне о Большой симфонии С-Dur Шуберта: «великая предсмертная музыка, полная предвидения конца». Мне помнилось иное ощущение. Вчера вечером я поставил диск (который ты подарил мне в прошлый приезд), слушал с прежним чувством: почему же предсмертная? Посмотрел аннотации. Английский комментатор (как и немецкий) считает спорной дату написания 1828 г. — год смерти Шуберта, в этом году композитор просто внес в симфонию поправки, а написана она была в 1825 г., когда он чувствовал себя прекрасно. “The overall mood of the Symphony is exuberant and affirmative¹”. Французский комментатор считает относительно трагичной лишь вторую часть, анданте: “Si le tragique semble ici dominé...”². Итальянски я не читаю. Как можно по-разному воспринимать одни и те же звуки! [...]

С наступающим тебя Новым годом! Здоровья тебе и всяческого благополучия!

Твой Марк

¹ Общее звучание симфонии жизнеутверждающее, полнокровное (англ.)

² Трагизм, кажется, здесь преобладает (фр.)

Б. Хазанов — М. Харитонову

CharM436
28 декабря 2009

Дорогой Марк! В двух имеющихся у меня руководствах по истории музыки («Knaurs Weltgeschichte der Musik»¹, 1968, и Н. Renner, «Geschichte d. Musik», 1985) Большая симфония С-Dur датируется годом смерти Шуберта. Соответственно и нумеровалась она как последняя — № 9. Но я знаю, что в недавнее время дата эта была подвергнута сомнению. В биографическом очерке Е. Hilmar (2008) указан, например, на основе систематического изучения бумаг Шуберта, 1825 год как время начала работы над симфонией. Как бы то ни было, для меня она звучит как расставание с жизнью.

Я доделал (может быть, предварительно) хаотическую вещь, о которой упоминал прошлый раз. Посылаю тебе.

С наступающим Новым годом!

Твой Г.

2010

М. Харитонов — Б. Хазанову

2.1.2010

Дорогой Гена!

Раньше бы я написал: «Вот мы и в новом году», теперь можно взять выше: вот мы и во втором десятилетии 21-го века. Как сказал бы твой специалист по орологии: «Откуда это известно?» Но звучит впечатляюще. Кто бы мог подумать?

Работа тебе, по-моему, удалась. Три из шести рассказов я определенно читал, в трех других, казалось мне, узнавал какие-то темы, пассажи. Сведенные воедино, они, конечно, обрели новую значительность. Блистателен короткий пролог. Правда, тема, которую он задает, (ты — продолжение предков, «ты весь составлен из подробностей, накопленных ими, ты их совокупный портрет»), не вполне поддержана содержанием текстов и особенно заголовком. «Иероглиф» — это, как я понял, о женщине, ее теле, внешности, ее загадке, все рассказы объединяет

¹ Кнаур «Всемирная история музыки» (нем.)

больше всего мотив воспоминаний о подростковом, юношеском томлении. А еще мне который раз показалось, что иные твои диалоги без надобности разбавлены бессодержательными, уже, право же, «фирменными», через междометия, фразами («Дело в том, что... м-да. А это что такое? Где взял? Там есть получше! «). Возможно, впрочем, это у тебя прием сродни музыкальному замедлению, задержке. А так замечательно, поздравляю [...]

Я под конец минувшего года решил хотя бы завершить что-то, оформил несколько верлибров. Если хочешь, пришлю.

Попутно один рабочий вопрос: был ли газ в послевоенных московских квартирах, была ли горячая вода (в центре, конечно, в сороковые годы)? Одна твоя героиня, помнится, согревала еду на электроплитке, пренебрегая призывом экономить энергию. В доме, где я бывал, в Уланском переулке, ванная служила кладовкой. Сам я до 68-го года жил в деревянных домах, без водопровода, с удобствами на улице.

У нас сейчас дивная зима, давно такой не было, вчера ходили с Галей на лыжах по прекрасному заснеженному лесу, вернувшись, выпили водочки, закусили печеной картошкой, квашеной капустой с яблоками. Есть еще радости жизни [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

3 января 2010

Дорогой Марк, ещё раз — с Новым годом!

Каждый день другое время года: два дня назад была весна, позавчера осень, сегодня — нежное сиреневое утро, снег, зима. Праздники с короткими перерывами продолжаются до Трёх Волхвов.

Я вчера под свежим впечатлением от твоего письма написал ответ, но получилась многословная лабуда. Вот, решил писать заново.

Своим отзывом ты меня очень утешил. Чувствуешь себя на пороге хаоса; да и вообще я сильно сомневался в достоинствах этого иероглифа. Конечно, ты прав, иудейское вступление мало согласуется с содержанием остального. Всё же мне казалось, что какое-то внутреннее сцепление существует. Но тут была и другая мысль, не столько литературная, сколько конъюнктурная. Как я уже писал тебе, я встретил на ярмарке Non-fiction Геру Либкина и он предложил мне что-нибудь напечатать. Я не слишком серьёзно отнёсся к этой идее, но в Мюнхене вспомнил, кое-что дописал и решил послать ему наугад это изделие. А мне было известно, что «Текст» получает время от времени вспомоществование от еврейских организаций. Вот я и подумал, не предварить ли

книжку чем-нибудь «созвучным». Конечно, что касается издания, всё это пока что — вилами на воде. Если, однако, что-нибудь из этого получится, надо будет просмотреть заново всю книжку, не разваливается ли этот пирог; почистить диалоги и пр.

Но, быть может, важнее соображение, о котором я уже упоминал. «Фирменные реплики» в диалогах — это мелочь, частный симптом общей беды. Имя ей — рутина. Я это вижу, проглядывая свои вещи. Верно, что мы никуда не можем деться от повествовательности, от «рассказывания историй». Это древнейшая функция литературы, и она остаётся такой же незыблемой, как во времена, когда сочинялся эпос о Гильгамеше. Но чем больше мы выйдем в конвенции повествовательной прозы, чей принцип — пресловутая нить рассказа и краеугольный камень — сюжет, тем больше это становится «литературой» в верленовском смысле. Выстроенный по правилам искусства сюжет пожирает всё — и прежде всего реальную жизнь человека, его самоощущение в мире. А ведь нас угораздило жить в каннибальскую эпоху, больше, чем когда-либо прежде, враждебную человеку: никогда ещё «политика», «общество», «история» не умели так назойливо вмешиваться во все дни и уголки жизни.

Я снова впадаю в нечто трактатообразное, но мысль в общем проста, нужно искать какой-то наиболее короткий доступ к внутренней жизни человека, прорыть, так сказать, подземный лаз в этой крепости. Как? Сломать конвенцию.

Я подумал о том, что мне скучно читать современную русскую литературу оттого, что она утратила европейское измерение. Это измерение можно характеризовать как пристальное внимание к индивидууму, к «просто человеку», который укрылся под панцирем политического, социального, профессионального, вообще какого бы то ни было массовидного представительства, — всё это оказывается внешним, аксессуарным. А надо бы держать оборону.

Неважно, что при этом то и дело изобретаешь велосипед. Бредёшь, как по кладбищу, мимо мраморных мемориалов, на которых начертано: «Пруст, или произвольная память», «Бергсон, или внутреннее время», «Бретон, или сны сюрреализма», «Джойс, поток сознания», «Вирджиния Вульф...», «Фолкнер...». Ну и что? Важно, что поиск иной, не рутинной формы повествования совпадает с высшим призванием и оправданием литературы.

Volk und Knecht und Überwinder,
Sie gestehn zu jeder Zeit:

Höchstes Glück der Erdenkinder
Sei nur die Persönlichkeit.
(West-östlicher Diwan)

Сломать конвенцию, завещанную классиками. Приблизиться к реальности внутреннего мира, к стихии сознания. Реабилитировать сновидение. Пытаться воспроизвести феноменологию памяти. Отменить линейное время. Вырваться из тюремных стен пространства...

Кстати, и ты ведь много лет занимаешься реальностью сознания.

Теперь о твоих вопросах.

Да, газ был в послевоенных квартирах, правда, весьма немногих (например, у моих тётки и дяди, живших на первом этаже в коммунальной квартире на улице Фрунзе, ныне Знаменской). Воспетая Маяковским горячая вода в ванной («Рассказ о вселении литейщика Козырева в новую квартиру»), если и была, то лишь в домах для высшего начальства.

В нашей квартире воду грели и кипятили грязное бельё в оцинкованном баке, который ставили на плиту в коммунальной кухне, плиту для такого случая растапливали дровами. А потом стирали бельё, буквально натирая с мылом на бельевых досках, покрытых ребристым цинком. Развешивали во дворе, и я помню, как сейчас, как я наталкивался лицом во время беготни на сырые простыни, висевшие на верёвках

Еду готовили на примусах и керосинках. Электрическая плитка в сороковых годах была тоже обычным делом, но стояла не на кухне, а в комнате. Вечно перегорала спираль, я сам то и дело сцелил обрывки и укладывал спираль назад в керамический желоб, похожий на чайнворд. На плитке готовили немного (напр., кипятили молоко, воду для чая), чаще плитка использовалась для обогрева комнаты.

Ванных в коммунальных квартирах не было. И до войны с отцом, и после войны я ходил в районную баню. В нашей квартире в Большом Козловском переулке (дом был выстроен на рубеже века) бывшую ванную комнату занимал жилец. Но вскоре после того, как я вернулся из лагеря, жилец отселился куда-то, и ванная была восстановлена, вода в колонке подогревалась газом, хотя на кухне газоснабжения так и не появилось. Я в это время учился в медицинском институте в Калининне и приезжал к родителям по субботам.

Ты спросил о вёрстке для первого тома избранных сочинений. Это не первый том, а то, что пришлось сканировать из книг, так как этих текстов у меня не было в компьютере. Я их («Аквариум» и «Час короля») вычитывал и вспоминал старые времена.

Пришли мне, пожалуйста, верлибры, о которых ты упомянул [...]

7 января 2010

Мне даже захотелось написать комментарий к этой подборке стихотворений, дорогой Марк. Хорошо бы её поместить в «Зарубежных записках» — от московских журналов я слишком уж отдалился. Эти верлибры оказались мне удивительно близки. Думаю, что они — лучшее из всего написанного тобой в этом жанре.

Кстати, первый стих Иоанна, к которому отсылает название цикла, гласит: «В начале было Слово...» (Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος), т.е. «в начале» пишется раздельно. Это не наречие, а существительное с предлогом. Думаю, что и тебе следует написать раздельно.

Я собираюсь 12-го двинуться в Чикаго (где сейчас очень холодно). Вернуться надеюсь, как уже писал тебе, 25 января. Может, успеешь мне описать что-нибудь до моего отъезда? [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

9.1.10

Рад, что тебе понравился мой цикл, дорогой Гена. Прекрасно, если бы ты действительно о нем написал [...]

У нас продолжают затяжные каникулы. Перед Новым годом один мой близкий приятель попал в больницу, сильные боли, диагностировали непроходимость кишечника. Все эти дни вкальвают обезболивающее, а лечение не начали — врачи отдыхают. Дежурные бригады между тем стонут от множества алкогольных отравлений, обморожений, травм. Праздник.

Для меня праздники, воскресенья, субботы уже лет сорок не являются нерабочими днями. Вчера сдвинул с места одну главу, Галя тоже начала новую картину, потом сбегали по заснеженному лесу на лыжах, выпили [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

10 января 2010

[...] Тут такое дело: издатель «Алетейи» И.А. Савкин торопится, хочет выпустить весной (не знаю, получится ли) два первых тома моего собрания сочинений. Ему уже в ближайшее время понадобится предиде-

словие ко всему собранию. Оно должно будет украсить первый том [...] Можешь ли ты приготовить не слишком пространное предисловие, допустим, к концу января — началу февраля? [...]

Для некоторой общей ориентации посылаю тебе примерный план всего издания. В него могут быть внесены изменения, но это, я думаю, не имеет значения [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

11.1.10

С радостью напишу, дорогой Гена. Хотелось бы, однако, знать, что значит «не слишком пространное»? 6-8-10 стр., каким шрифтом? К твоему возвращению из Чикаго постараюсь.

Я думал, речь идет о трехтомнике, а тут целое собрание сочинений! Чего еще можно желать? [...]

Еще раз счастливого пребывания у сына, Обнимаю, твой М.

Б. Хазанов — М. Харитонову

20 января 2010

Дорогой Марк, ты просил написать тебе из Чикаго. До отъезда остаётся немного, и письмо придётся отсылать уже по возвращении, так как здешний компьютер не в ладах с русским языком. Я провёл эти дни тихо, довольно однообразно, на дворе зима, иногда солнечно, чаще пасмурно. Днём взрослые на работе, ребята в школе. Я немного занимался своими делами, почитывал кое-что: дневники Вирджинии Вулф, сплошь о литературе, всё же показавшиеся мне менее увлекательными, чем ожидалось; Чехова; «Поэму без героя» в который раз. Эта вещь для многих остаётся спорной, упрёки, ей предъявляемые, чуть ли не буквально совпадают с возражениями недовольного редактора во второй части поэмы. Для меня это великая вещь, значительнейшая поэма русского XX века. Именно Двадцатого, оттого она и без героя. В предисловии говорится, что «никаких третьих, седьмых и двадцать девятых смыслов поэма не содержит», это, конечно, не так, сказано в запальчивости. Тут сложная система зеркал, но при всём этом мерцании то ли драгоценностей, то ли стекляшек, перемигивании огней, мелькании масок — поразительная точность, с какой передан дух предвоенного Петербурга, двусмыслицы Серебряного века, да и, собственно, искусства вообще. И

ещё одно: при кажущейся фрагментарности поэма остаётся цельной, стройной, строго выверенной, с точно найденным простым сюжетом. Если мы скажем, что её тема — оправдавшееся историческое предвидение расплаты за предреволюционный карнавал, пряную утончённость предреволюционного искусства, стирание границ между искусством и жизнью, за опьянение красотой, забвение морали, за весь Серебряный и финифтяной век, так что выстрел Всеволода Князева (кто бы сейчас вспомнил о нём?) кажется сигналом близкой катастрофы, — если, стало быть, мы так «сформулируем», то это будет лишь часть того, что заложено в этой малоформатной лирической эпопее.

Мне кажется, я отчётливо чувствую душный запах этой вещи, обесно её первой части, чувственный соблазн, — как и самоощущение автора, участницы и поминальной плакальщицы, и судьи, и заговорщицы, и соперницы, без памяти влюблённой в прелестную и порочную «Коломбину десятых годов» (да они и жили позднее вдвоём с «Оленькой», вместе с Артуром Лурье, в одной квартире — нечто вроде *ménage à trois*).

Мне нисколько не мешает европеизм этой вещи, то, что, кажется, раздражает многих; не мешает обилие эпитафий, чаще иноязычных, отсылки к классикам разных эпох и литератур, к мифологии, к «вечным образам», — и, конечно, гипнотизирует строфика и размер (переняла их, если не ошибаюсь, у Кузмина или у самого Князева, его бывшего любовника).

Я взял с собой в Чикаго для вычитки вёрстку двух старых сочинений, «Я Воскресение и Жизнь» и «К северу от будущего». Давно их не видел, не читал; переделывать невозможно; правда, некоторые места, как ни странно, даже понравились. Вспомнилось время и настроение, в котором это писалось. Во втором романе есть один второстепенный персонаж, некто Ф.В. Данцигер, чья биография и внешность напоминают Ф.А. Степуна. Этот Фёдор Владимирович, который (в отличие от Степуна) возвращается в Россию, поселяется у деревенской бабы и становится жертвой подосланного стукача, — пародия на русских религиозных философов всё того же Серебряного века. Я помню, как, вернувшись из эвакуации, я читал в Исторической библиотеке в Старосадском переулке, вечерами (работал в это время на газетно-журнальном почтамте и получал рабочую карточку) трактаты Мережковского, Третий Завет, античная эпоха Человекобога и христианская — Богочеловека, и великий синтез, ожидающий в близком будущем в первую очередь. разумеется, Россию. Читал и поглощал эту хреновину с непонятным теперь увлечением. Какая насмешка судьбы! Расплата за Серебряный век — это ведь и расплата за религиозно-философические мечтания, за всю эту с треском провалившуюся мифологию.

Ну вот. Начертал я и обещанный комментарий к твоему циклу [...]

В минувшем году я дважды побывал в Москве, повидал мельком литературную братию, разговаривал с разными людьми; пожалуй, с женщинами мне было интересней. Удивительно, что дух исключительности всё ещё сохраняется. Очень может быть, что, живи я в Москве, я и там ощущал бы себя одиночкой. Сейчас я был то, что в медицине называется *corpus alienum*, инородное тело. Да и как может быть иначе? Собеседники были вполне дружелюбны, но, очевидно, не забывали, что имеют дело с иностранцем, говорящим по-русски. Некогда живо обсуждался вопрос о двух или одной литературе. Почти все решили — одна, единая. В моём лице, однако, коллеги имеют дело с чужой литературой. Или во мне опять же говорит предубеждение? Впечатления мимолётны. Современную русскую литературу я знаю скорее понаслышке. Кроме того, я стар, начинаю читать что-нибудь, и мне кажется, что этот пирог я уже ел. То, чего при всех оговорках мне не хватает, это известная элитарность, угончённость, аристократизм. Я понимаю, что распрощаться с грёзами о народности для многих всё ещё означает спустить побитое молью знамя русской литературы, — но что поделаешь? [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

28.1.10

[...] Твои размышления о неизбежной исторической расплате за карнавал Серебряного века, за не услышанные сигналы катастрофы, за декадентское забвение морали и т.п. не могут не навести на вопрос: не придется ли нашему времени расплачиваться за отказ от системы ценностей («незыблемой скалы»), за многое? Тревожные предощущения нарастают все явственней, в России по-своему, но в Европе тоже — и как сопротивляться развитию, не зависящему от отдельных людей? Только самим держаться.

И еще о духе исключительности, который ты уловил в Москве: в чем ты его ощутил? [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

29 января 2010

[...] О «духе исключительности». Я уловил его, общаясь (весьма по-верхностно) с писателями в Москве. Как бы это выразиться. Это сознание — возможно, унаследованное от недавнего сословного прошлого —

принадлежности к особому круту, некоторым образом к элите; своего рода заносчивость, но не обращённая к собеседнику и вообще ни к кому конкретно, а как бы излучаемая вовне, в воздух. Очень, как мне кажется, понятная и даже трогательная, если вспомнить, что такое писатель в этом обществе. Войди сюда какой-нибудь обычный посторонний человек, он бы спросил: а кто это такие?.. А ещё вспоминаются стихи Блока: «За городом жили поэты...»

Мне это чувство, если я его правильно уловил, всегда было чуждо. Мешал какой-то стыд. Литература — дело домашнее, домотканое. И если говорить о среде, об «избранности», то она у писателя, я думаю, не горизонтальная, а вертикальная. Я смотрю на свои полки с портретами на обложках: Пушкин, Тютчев, Манделштам, Томас Манн, Пруст, Борхес, кто там ещё. Вот где твоя компания, вот где можно держать голову высоко, — если, конечно вооружиться надеждой, что тебя не остановит при входе в эти чертоги надменный швейцар [...]

2 февр 2010

Попытки разузнать, где бы можно было тиснуть цикл, неутешительны, дорогой Марк. Блюменкранц отозвался о «В начале...» весьма доброжелательно, но «Вторая навигация» не печатает стихов. Что касается «Зарубежных записок», то, как я узнал только что от Ларисы, — новость, которую ей сообщили сегодня, — журнал приостанавливается, предположительно на полгода. Даже полностью готовый первый номер за 2010 год выпустить не удастся. У спонсоров, находящихся в Дортмунде, нет денег, они в долгах, и даже арендную плату за помещение, где издаётся рекламно-информационный журнал, который позволял им финансировать «Зарубежные записки», якобы вносить в данный момент не в состоянии. Надеются всё же поправить свои дела, но пока что... Между тем журнал приобрёл за эти пять лет хорошее имя, считается престижным [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

4.2.10

Печальная новость, дорогой Гена. Журнал ожидал кризисных неприятностей год назад, казалось, что уже обошлось — ан еще разрастается. Не ожидал я от немцев.

А что твоя Алетейя? Я посылал им свое предисловие недели три назад, ты на прошлой неделе послал еще раз — странно, что не откликаются. Подошел ли им текст, что с твоим Собранием?

На днях умер Сэлинджер, ему был 91 год, ровно полжизни, 45 лет, он не печатался. Все гадали: пишет для себя, не пишет? Сейчас сын будто бы объявил, что весь его дом буквально завален неизвестными рукописями. Я когда-то о нем думал: что мог писать человек, не нуждавшийся в читателе, отклике, проверке, обратной, как теперь говорят, связи, в контакте с современниками, страной, миром? Говорят, он выходил за ограду своего дома на холме только в супермаркет, да вечерами в ресторан или кафе, ел там на кухне, чтобы не общаться с людьми. Что он мог знать о жизни и проблемах этих людей, общества, о современной культуре, языке, наконец, откуда? Из телевидения, из Интернета, (который появился сравнительно недавно)? Можно ожидать что-то о философии (известно его последнее увлечение дзен-буддизмом), об истории, какую-нибудь сказочную фантастику, но художественную прозу? Если явится действительный шедевр, это можно будет считать чудом — соблазнительным, между прочим, для многих. Сколько затаенных гениев пишут сейчас, прячась от оценочного взгляда, ориентируясь только на вечность. Мы по себе, а больше по великим предшественникам знали, что такое невозможность годами, десятилетиями публиковаться. Мандельштам страдал без читателя, Булгаков и Платонов искали возможности напечататься, калечили ради этого свои тексты. В любом случае писателю надо было вступать в отношения с жизнью, людьми, государством, миром, кормиться, вбирать и перерабатывать ежедневные впечатления, искать, сомневаться. Ты размышлял о Гоголе, которому надо было уехать из страны, чтобы о ней писать, но он жил все же среди людей, и прожил всего 43 года, Чехов 44. А тут 45 лет писательского затвора. Интересно будет почитать, что в результате возникло [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

6 февр 2010

[...] Вчера я закончил вычитку материалов первого тома моих сочинений, книга свёрстана в следующем составе: М. Харитонов «Нам нужно восстанавливать память»; Я Воскресение и Жизнь; К северу от будущего; Антивремя; День рождения инфанты; Соната опус 90.

Несколько пёстрый состав объясняется тем, что нужно было уложиться в предусмотренный объём каждого тома — 450 страниц [...]

Наступила оттепель, поют птицы. Я, как могу, борюсь с унынием. Помогает музыка. Финал волшебного струнного квинтета Дворжака зовёт взбодриться, вспомнить давно исчезнувшую радость существования. Вздёрнуть слабеющий мускул жизни.

В последнем выпуске «Воплей» (в Журнальном зале интернета) появилась любопытная статья И. Роднянской «Пророки конца зона», речь среди прочего о мумификации высокой культуры, о некоторых сочинениях последнего времени, например, напумевших книгах композитора и культур-философа В. Мартынова и Марии Виролайнен. («Мы стоим на грани крупнейшего слома времени, крупнейшей качественной трансформации культуры... очень скоро мир будет по-новому различён, в нем будут проведены другие границы».)

Можно увидеть в этом и нечто в самом деле жгуче-современное, и обновление традиционного похоронного обряда. Меня сии пророчества всё же не вполне убеждают, я сочинил для себя другой прогноз: не исчезновение, а дальнейшая инкапсуляция творчества — искусства, литературы и музыки — по примеру и образцу Высокого средневековья.

Так уединился ныне покойный Сэлинджер. Возможно ли, спрашивал ты, написать что-нибудь путное «человеку, не нуждавшемуся в читателе, отклике, проверке... в контакте с современниками, страной, миром?» Почему бы и нет [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

11.2.10

[...] Я тоже обратил внимание на статью Ирины Роднянской в «Воплях». Ощущение культурной неудовлетворенности и тревоги разрастается все явственней. «Мы стоим на грани крупнейшего слома времени, крупнейшей качественной трансформации культуры, — цитирует она другого автора, — ... и это неминуемо повлечет за собой другой способ существования человечества». Тут ничего не скажешь, это происходит уже сейчас, мы перемены чувствуем каждый день на себе (наша электронная переписка и чтение статей в интернете — тоже элементы нового культурного существования, как и фотография, вынудившая когда-то меняться традиционную живопись, как кино и телевидение, породившие не просто новые искусства — новый взгляд на мир, новое ощущение мира), и развитие непредсказуемо ускоряется.

«Люди, обретшие зрение в 40-70-х годах XX века и еще являющиеся “носителями культуры”, — цитирует автор дальше, — окажутся в роли того “естественного человека”, глазам которого цивилизация предстанет как немислимая диковина». Нет ли тут высокомерия — себя, то есть нынешних стариков считать последними «носителями культуры»? Может, те, кто «обретают зрение» в новом тысячелетии, скорей вправе ощущать себя «естественными людьми»? Культура не может не менять-

ся. Проблема в том, чтобы не допустить провала, пропасти между унаследованными ценностями, которые мы продолжаем считать основополагающими, вечными, и тем, что формируется на наших глазах, еще не совсем различимое.

Не совсем представляю, что такое в наше время «инкапсуляция творчества по примеру и образцу Высокого средневековья». В Средние века об этой инкапсуляции могли позаботиться церковные, монастырские структуры, они поощряли и субсидировали искусства. «Инкапсулированная» литература — это не то же, что уединившийся на десятилетия литератор. Таких обособленных одиночек сейчас тысячи, а может, миллионы в интернете, иногда они объединяются в группировки, других могут не знать и вполне обходятся без авторитетной экспертной оценки, довольствуются друг другом или сами собой. Считать ли это литературой? Гессевская Касталия тоже была структурой монастырского типа, там строжайшей экспертной оценке подвергались творения не художественные, их можно было формализовать по правилам логики, даже математики, поэзия там не случайно была запрещена. Гессе хорошо почувствовал нежизнеспособность такой «инкапсуляции».

Мне часто приходит на ум сравнение с временами, когда великая римская цивилизация сменялась христианской, не из-за варварских вторжений, насильственных разрушений — больше от внутренней усталости, изжитости. Забывались прежние имена, исторические, культурные ценности, праздники, боги, заменялись новыми, постепенно, почти незаметно, из века в век. Не знаю, насколько допустимо такое сравнение. Сейчас перемены происходят несравненно быстрее, потому мы их и чувствуем. Я вспомнил верлибр, написанный уже почти десять лет назад — как раз о том же. Ты его знаешь, напомним еще раз.

[Приложен верлибр «Анфестерии»]

Б. Хазанов — М. Харитонову

17 февр 2010

Дорогой Марк, конечно, я помню стихотворение, которое ты мне прислал в последнем письме, оно мне тогда понравилось, нравится и сейчас.

Сравнение нашей эпохи с последними временами Рима приходило в голову не раз — и во время революции, и позже; мне оно казалось уместным, когда я сочинял роман «После нас потоп» (крушение царской и

в особенности советской империи). Но я думаю, что сравнение это работает всё меньше, сходство всё больше отступает перед тем неслыханным, что совершается уже на наших глазах.

Если же вернуться к моей квази-теории инкапсуляции, то, конечно, ссылка на Средневековые условна, как всякая метафора. Ты напоминаешь о предостережении Гессе. Но я убеждён, что, вопреки кажущейся нежизнеспособности, замкнувшаяся в себе высокая культура не только возможна, она уже есть. Она существует хотя бы потому, что мы живы. Мне не нужна Педагогическая провинция, не нужны монастырские стены и кельи. Литературу отстраняет от массы — парадоксальным образом даже защищает — стена денег. Утешительные разговоры насчёт взаимовлияния или даже слияния настоящей литературы и мусорной — бесполезны. Напротив, ров становится всё глубже. Литература уходит в себя, в катакомбы, где и продолжает своё существование, её «потребители» немногочисленны в сравнении с миллионной толпой, но невидимая республика духа не умирает [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

23.2.10

Давно у нас не было такой полноценной зимы, дорогой Гена, почти три месяца ровных морозов. Вчера был очередной погодный рекорд: после трехдневного снегопада высота снежного покрова 63 см. Вспомнились школьные годы, когда я расчищал у дома дорожки, сугробы по плечо. Сегодня солнце, синее, уже по-весеннему немного фиолетовое небо, сияющий лес, мы сбегали на лыжах.

Возможно, из-за такой устойчивой, приятной для меня погоды у меня приличная работоспособность, очередной раз проложил первую половину романа (теперь это определенно роман), продолжаю прокладывать вторую. Я не из тех авторов, которые пишут последовательно, от главы к главе, у меня уже, в общем, выстроено все целиком, но приходится возвращаться к не вполне решенным, пропущенным, неясным местам, переделывать, переосмысливать, а значит, переписывать и другие места, и так несчетное число раз, ты это знаешь. Гоголь называл цифру 8-9 раз, компьютер избавляет от подсчетов, и черновики не сохраняются. Огромное облегчение работы.

Приходится иногда отвлекаться. Сегодня 20-я годовщина смерти Давида Самойлова, 1 июня будет его 90-летие, я написал о нем эссе для журнала «Лехаим». Время назад выступал на вечере его памяти в ЦДЛ. Большой зал был полон, значит, его помнят, читают. Вышли наиболее

полные сборники его поэзии и прозы, многое для меня было новым. Но это все равно не прежняя популярность, когда билеты на выступления Самойлова спрашивали от Садового кольца, а книг было не достать. Недавно у меня была молодая дама, редактор телевидения, я спросил ее, каких современных писателей она знает. (Меня она, разумеется, не знала, хотя пришла просить меня об участии в программе, совершенно мне чуждой.) Напряглась, пришлось подсказывать. Искандера знаете? Нет. Самойлова? Нет. Сорокина, Пелевина? Что-то слышала. Читать вообще нет времени, с утра до вечера на работе. Та же история была с третьекурсниками *филологического* факультета. Искандера даже не слышали (это, по правде сказать, меня удивляет), Битова тоже, на Сорокина и Пелевина откликнулись радостно: конечно.

Это на тему о будущем литературы. Пока мы работаем (достойно), она будет в любом случае существовать, и читатели при нашей жизни еще останутся. Вопрос, как изменятся со временем сами основы культуры, существования людей, их мозги, глаза, человеческие представления. Я об этом, впрочем, уже давно размышлял в «Апологии литературы».

Техническая проблема: как донести написанное не только до нынешнего читателя, но и для возможного будущего. Бумажное собрание сочинений, что говорить, самый желанный вариант, но в твоем случае, как я понимаю, он все-таки требует авторских вложений. Я с помощью Никитина-Перенского начал выкладывать свое собрание сочинений в его электронную библиотеку. Также способ. За год-другой тексты могут набрать тысячи две-три посещения. Заглядывают, конечно, по большей части из любопытства, но если хотя бы треть посетителей читает — уже неплохо. Грех жаловаться, у меня ведь практически все написанное издано, кроме разве что сборника верлибров, они печатались только в периодике [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

24 февр 2010

Завидую тебе, дорогой Марк, я уже сто лет как не становился на лыжи. Когда-то мы с Лорой довольно много катались и в Перлахском лесу здесь, в Мюнхене, и в деревне Захранг на австрийской границе, четыре весны подряд ездили в Доломиты, в Итальянский Тироль, и жили в гостинице в деревне Deutschnofen, где хозяйка нас знала, где вокруг цепи гор, где горел на закате знаменитый хребет Rosengarten, поднимались выше, на лыжную базу Lavazé или ездили вниз, в городок Cavalese, — наверху была зима, там жили немцы, а внизу цвели цветы, лето, Италия. Дела давно минувших дней. И Лоры больше нет.

Снег? Я тоже помню, как однажды бригада расчищала железнодорожный путь, не расчищала, а откапывала: образовался туннель со стенами снега в человеческий рост.

Я обычно тружусь над своими текстами примерно так же, как и ты, без конца возвращаюсь к написанному. Но сейчас не могу ничего писать, занимаюсь вычиткой, просмотрел ещё раз почти до конца оба первых тома. Во второй том вошли следующие сочинения: Нагльфар в океане времен, Хроника N, Третье время, Час короля. Мне прислали проект обложек. Они, как и ты советуешь, выдержаны в одном стиле.

Сочинителю трудно быть корректором, корректура — это особый способ чтения, особая профессия, между тем как автора отвлекает содержание. Странное это чувство — разглядывать давно написанное и не читанное. Кое-что раздражает — например, обилие рассуждений в «Нагльфаре», чуть ли не по каждому поводу. Мне пришлось некоторые абзацы вычёркивать, хотя это, в общем, не слишком похвальная манера — вмешиваться в старые тексты, живущие собственной жизнью. Но разного рода несовершенство лежит как на ладони. И всё же мне стало задним числом жаль, что этот роман в России не обратил на себя внимания (Елена Тихомирова не в счёт — это за граница): в сущности, это «идейный» роман и вдобавок очень русский, местами пародийный, и, хотя действие происходит давно, в годы, которые сейчас кажутся мёртвыми, накануне войны, в его проблематике и философии — если это можно так назвать — много такого, что остаётся жгучим и настырным по сей день. Так мне, по крайней мере, кажется. Значит ли это, что мы слишком хороши для российских литературных критиков, — или наоборот, что *они* для нас слишком хороши? Можно ли вообще требовать от критика, чтобы он вникал в разного рода реминисценции и отсылки, чувствовал иронию и умел отличать её от серьёзности, вообще умел бы блуждать по этому лабиринту и не заблудиться, — словом, можно ли ожидать от критика, чтобы он терпеливо и внимательно дочитал всё до конца?

Но мы пишем (скажешь ты) не для критиков; для кого же? Для других сочинителей? Но они заняты собственной работой. Так мы снова возвращаемся к нашим ламентациям. Твой разговор с телевизионной редакторшей, конечно, замечателен, но он меня не слишком удивляет. Журналисты, а тем более сотрудники телевидения, книг не читают: некогда, и вообще это не по их части. В лучшем случае перелистываются книжки, ставшие особо модными или сенсационными, о чём опять-таки они узнают от других журналистов. Поэтому так важно читать газеты, просматривать программы других телевидений и т.п. Необходимо вовремя, налету поймать то, что у нас здесь называется *Stichwörter*: расхожие словечки, пароли актуальности, выражения, означающие, что мы «в курсе дела», *en vogue*.

А то, что студенты-филологи не знакомы с современной русской литературой, разве что слышали о Пелевине и Сорокине, и не более того, — может быть, тоже в порядке вещей. В бытность мою студентом я не читал тогдашних писателей, не помню, чтобы когда-нибудь держал в руках литературные журналы. Правда, это было другое время, советская литература, а rigid порождавшая уверенность, что всё это — для подростков. Когда я видел в коридоре нашего филологического факультета расписание занятий на русском отделении, «семинар по Исаковскому», что-нибудь такое, — я высокомерно пожимал плечами. Но, может быть, и с третьекурсниками, упомянутыми тобой, происходит то же самое: дескать, не стоит тратить времени.

Конечно, трудно отделаться от желания сохранить и донести написанное, как ты пишешь, «не только до нынешнего читателя, но и для возможного будущего». На днях я разговаривал по телефону с Андреем Никитиным. Он хворал, в доме маленький ребёнок и так далее, кроме того, он работает в немецкой фирме и достаточно занят. Тем не менее он усердно занимается библиотекой, постоянно пополняет её, очень приветствует твоё намерение поместить у него собрание сочинений.

Я забыл о годовщине смерти Д. Самойлова и его близком 90-летию, хотя недавно вновь, в который раз, перечитывал «Историю одной влюблённости», перелистывал «Подённые записи» самого Давида. Я рад, что Самойлов не забыт, в отличие от большинства поэтов, его современников. Юра Колкер прислал мне свою статью о Самойлове — как всегда, задиристую, местами блестящую, весьма грубую и достаточно спорную. По его просьбе я сделал для него две примечательных (и довольно комичных) выписки о евреях из дневника Самойлова, пример вечно живого Selbsthaß¹. Вот они:

«9 июля 1978

У евреев есть одна привилегия — избирать нацию. Но нация часто вовсе и не стремится, чтобы её избирали евреи. Это неудобство, неприятность, иногда даже — кровавая трагедия, зато и залог бескорыстия выбора.

Если выбор не означает перевеса обязанностей над правами, он ничего не стоит.

Поэтому с величайшей осторожностью надо относиться к эмиграции евреев. Еврей-эмигрант перестаёт быть русским, как только покидает Россию. Он становится немецким, французским или американским евреем родом из России. Русский эмигрант —

¹ Ненависть к самому себе (нем.)

русский изгнанник. Еврейский — человек, воспользовавшийся привилегией выбора нации и — часто — отдавший предпочтение правам над обязанностями.

Все слова в защиту русской культуры в устах еврейских эмигрантов — блеф.

Культуру, в силу взятых обязанностей, они имеют право защищать здесь. Там нация не налагает эту обязанность.

Сионисты или космополиты, со своим эгоцентризмом, в сто раз честнее, чем наши еврейские диссиденты со своими клятвами в любви к России и русской культуре и со своими жалкими словами о том, что не хотят, чтобы обижали их детей.

Для русского еврея обязанность быть русским выше права на личную свободу».

«10 августа 1988.

Литературовед М.Эпштейн (весьма неглупый) судит в своём снобизме русскую литературу и русскую нацию за бесплодность тоски. Тоска эта — по высшему, что и отличает русских от наций, лишённых тоски. Эта тоска становится бескорыстным, бесстрашным действием в грозные часы русской истории. Тогда она победительна, победна. Русская тоска — тоска по свободе в вечной несвободе, к которой могла бы привыкнуть любая другая нация, кроме русских и испанцев».

Обнимаю тебя, дорогой друг мой. Будь здоров. Г.

М. Харитонов — Б. Хазанову

2.3.10

[...] Книги самойловских дневников у меня нет, я читал их в журнале, то и дело недоумевая. Он был умнейший человек, когда-то я слушал его размышления восхищенно. Сейчас читаю: то ли я изменился, то ли время? Для своей статьи я перечитывал его книгу «Памятные записки» — какую же ерунду он пишет о евреях, о России, о Солженицыне, о Бродском, о других писателях и поэтах! Даже язык какой-то перекрученный. Открываю том стихов — совсем другой ум, другой язык, другой человек: над всем и во всем музыка. (Хотя и среди стихов есть сомнительные, в посмертный сборник включены неизвестные мне прежде — лучше бы некоторые не печатать: «России нужны слова о правде, / Поскольку живет она правды ради».) Вспоминаются концепции о двух

полушариях головного мозга, одно из которых заведует искусством, другое сферой рационального, у разных людей лучше бывает развито левое или правое [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

7. März 2010

Дорогой Марк! Отказ от дневника в его изначальном виде (о чём я всё же не перестаю сожалеть) не изменил главному и ценному — тому, что, в отличие от других, внешне близких жанров (публицистика, эссеистика), твоя Стенография воздерживается от выводов, от завершающих резюме, короче, от «решений»: перед читателем — размышления, свободные от категоричности, готовые в любую минуту ревизовать сказанное. Я люблю фразу, извлечённую из Талмуда: «...но, может быть, справедливо и обратное».

Как всегда, я читал твои заметки с живым интересом — лучше сказать, проглотил [...]

Об «Андрее Рублёве». Я давно видел этот фильм; он незабываем. Ты прав: там никто, по-видимому, не крестится. Но я не вполне с тобой согласен. Не думаю, что дело в цензурном запрете: картина и без того до такой степени несоветская, вне-советская, что не зря пролежала так долго на полке. С другой стороны, покойный Солженицын увидел в ней поношение русской истории — совершенно так же, как Дезик Самойлов порицал автора «Двух Иванов» за неуважение к России с её прошлым. (Вообще я нахожу нечто общее в замысле «Андрея Рублёва» с твоим романом.)

Нет, историзм фильма (поскольку можно говорить об историзме в художественном произведении) от этого мнимого упущения, мне кажется, ничуть не страдает. И художественная убедительность не страдает. Оттого, быть может, и не обратили внимания, что никто не осеняет себя по каждому поводу крестным знаменем. В нём нет нужды. Оно, так сказать, присутствует в фильме разве лишь имплицитно. Боюсь, что иначе оно отзывало бы фальшью. Фильм далёк от традиционного благолепного христианства. Скорее это фильм о катастрофе христианства. Об этом говорят повторяющиеся, почти навязчивые сцены безнаказанной жестокости, коварства, бесчеловечности. Князей меньше всего интересует вопрос веры. Строительство собора, как и отливка колокола — дело не веры, а политики, притом достаточно низкой. Монах, товарищ Андрея по монастырю, оказывается предателем. Вставной эпизод с «русским Христом» — картина мучительной казни, о воскресении ни

слова. Спаситель умирает совершенно так же, как в прологе разбивается насмерть мужик, который прыгает с колокольни в уверенности, что крылья удержат его от падения. Это символ обманутой веры. Другая символическая деталь: Рублёв и Даниил Чёрный в поле, Андрей полон сомнений, Даниил говорит: «Эх! А я такого чёрта придумал».

В картине Тарковского метафора искусствоведения — молчание художника (обширный «немой» период в биографии Рублёва, и без того крайне скудной) — реализована буквально: он даёт обет молчания. Только один раз, мельком, мы видим его за работой: он рисует иконку, сидя на пороге храма. Тут нет места плакатному вероисповеданию. Во всяком случае, мы можем только догадываться (что ты и сделал), как мог готовиться к своему труду Андрей Рублёв. Умолчание Тарковского было сознательным, оно отвечает художественному заданию фильма, отказу от того, чего ожидает зритель, что лежит на поверхности. Ещё раньше (в фильме) Феофан Грек, восставший от смерти не то на самом деле, не то в сновидениях ученика, — незабываемая сцена, — отмахивается от вопроса о загробной жизни: это неинтересно. Искусство, служение красоте — вот главное. Для него и уготована вечность. Искусство бессмертно и кажется единственным противовесом ужасу существования в XV веке [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

8.3.10

[...] Что до «Рублева»: переносить менталитет 20-го века в 14-15-й — не просто анахронизм. Показать, как Рублев «рисует иконку, сидя на пороге храма», значит игнорировать подлинную, религиозную суть монастырской иконописи. (Вспоминается нелепая статуя Рублева во Владимире: сидит, картинно держа перед собой доску, смотрит куда-то. Этюды он, что ли, рисует, пейзажик, портрет?) Как готовился к своему труду иконописец, нам не нужно догадываться — мы это знаем по историческим документам. «Искусство, служение красоте» — это о других временах, других занятиях. Какое там «плакатное вероисповедание»! Умберто Эко себе таких смещений не позволил бы, он может быть атеистом, но он вырос в культуре, где представление о религиозной, монастырской традиции было живым. Твое письмо заставило меня подумать, что показать монахов, ищущих вдохновения в молитве, Тарковскому действительно помешала не цензура, он вырос и воспитан в той же культуре, что мы, его тогдашние зрители, не способные еще ощутить воздух другого времени, понять основы далекой от нас жизни. Какая «катастрофа христианства» в 15-м веке? Жестокость и

бесчеловечность сопровождала все века при всех религиях. Я к чему-то начал прикасаться, работая над «Иванами». Все мы запоздало начинаем многое переоценивать [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

9. März 2010

Дорогой Марк, я твои контраргументы не отвергаю, просто мне кажется, что они в значительной мере вызваны иным отношением к фильму «Андрей Рублёв», чем моё отношение. Ты подходишь к этой работе с требованием историзма, для тебя абсолютно недопустимо, как ты пишешь «переносить менталитет XX века в XIV—XV», — если такой перенос в самом деле происходит. Я бы на это ответил, что модернизация истории, как всякое искажение истории, не может быть терпимой в научной историографии. Но искусство — другое дело. Не мне рассказывать тебе, что обращение художника к прошлому и обращение с этим прошлым — дело, требующее одновременно и большого такта, и большой смелости.

Я не думаю, что те упущения, которые ты ставишь в упрёк создателю фильма (например, игнорирование — мнимое или действительное — реальной иконописной практики во времена Рублёва, поскольку мы можем судить о ней по историческим документам), вызваны тем простым обстоятельством, что Тарковский вырос и воспитан, по твоим словам, «в той же культуре, что мы, его тогдашние зрители, не способные еще ощутить воздух другого времени...». Эвфемизм, означающий советское воспитание. Нет, — это в самом деле слишком простое объяснение. Я полагаю, что недоговорённость, фрагментарность фильма, как и молчание Рублёва (он говорит редко и мало и, как во многих сценах, в сцене со скomorохом, во время ночного языческого праздника Ивана Купалы, во Владимирском соборе, где работа над фресками, едва начавшись, застопорилась, в сцене набега и пр., смотрит на происходящее, наблюдает, впитывает впечатления жизни, потрясённый ими, безмолвно, — чтобы претворить их в искусство), — сознательный приём, и продиктован он не въевшейся в сознание советской идеологией, а художественной задачей, которая ничего общего с этим воспитанием, с этой идеологией и её примитивным отношением к истории не имеет. Помимо прочего, она, эта режиссёрская тактика, есть, по-моему, проявление большого такта художника, когда он имеет дело с исторической фигурой, о которой почти ничего не известно.

Мало сказать — такта. Отсутствие биографии — известны лишь отдельные места и приблизительные даты, где и когда на короткое появлялся Рублёв, — есть сама по себе необходимая часть его облика, если угодно, своего рода полулегендарная квази—биография, чарующая, завоораживающая художника своей тайной, как это и происходило, я думаю, с Тарковским.

Кстати, почему сидение с иконкой в руках (в фильме, а не на памятнике, который я не видел) показалось тебе странным, исторически неправдоподобным? Почему мы не можем — отнюдь не вопреки всему, что известно о подготовке средневекового иконописца к своему труду, — почему не можем согласиться с тем, что ему приходилось выполнять необходимую предварительную работу, делать наброски, этюды, прежде чем взяться за расписывание стен, монументальные фрески, требующие, как ты знаешь, однократного исполнения без поправок?

Две великие темы, я думаю, породили этот фильм: искусство и религия, и, мне кажется, что их соединение, добивался ли этого сознательно Андрей Тарковский или нет, превращается в столкновение. Вера и искусство перед лицом звериной действительности. Не знаю, можно ли это назвать модернизацией (против которой, впрочем, коль скоро речь идёт о художественном произведении, я не возражаю), но я воспринимаю фильм как чрезвычайно современный. Тебя удивили слова о катастрофе христианства. Она повторялась не раз, и не с одним только православием, хотя XV век, русское Предвозрождение (термин Д.Лихачёва), — достаточно убедительный пример. Считается, что христианское мироощущение в Европе пострадало от Ренессанса, Гуманизма, становления новой науки и т.д., — гораздо более жестокий удар нанесла конкретная реальная действительность. В самом общем смысле можно сказать, — а в Двадцатом веке на эту очевидную для всех реальность стало попросту невозможно закрывать глаза, — считает, что христианство не удалось. Говоря прямо — потерпело крах. Что же удалось? То, что подсказано фильмом Тарковского, что стало в конце концов альтернативой традиционной вере, последним, может быть, прибежищем человечности: искусство.

М. Харитонов — Б. Хазанову

11.3.10

Ты, наверно прав, дорогой Гена, дело в том, что мы по-разному воспринимаем Тарковского. Я ценю у него кинематографическое вещество, без слов. Кадры текущей прозрачной воды, под которой возникают загадочные предметы, панорамы прекрасного мира или гнетущих

развалин, проникновенное погружение в живопись, в Брейгеля или Рублева, многозначность переливчатых туманностей — это можно смотреть без конца, это, как музыка, это гениальная поэзия кинематографа. Словесная, литературная, сюжетная составляющая его фильмов (сценарий «Рублева» сочинялся совместно с Андроном Кончаловским) меня, увы, мало восхищала, случалось иной раз, помню, ёжиться от неловкости: премудрости на уровне общих мест. Ничего не поделаешь.

«Христианство не удалось», пишешь ты. А другие религии удались? А проект Человечество удался Творцу? [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

15. März 2010

[...] Зима вернулась, сегодня глухой, мгlistый день, косой снег сеется, тишина; день очень похожий на тот — 9 февраля 1977 (в тексте обозначена дата), когда я точно так же стоял у окна, в Москве, и шёл снег, я писал статью для подпольного журнала «Евреи в СССР» об Илье Рубине, кто-то узнал, что он умер, не успев прожить и года в Израиле.

Почему-то сейчас вспомнилось [...]

Я снова, после некоторого перерыва, занялся вычитыванием очередного тома моих сочинений, вёрстки, присланной Борисом Марковским, и снова вижу, как пассажи более или менее приемлемые сменяются плохой прозой, вижу опечатки и огрехи, и лишнее, и ненужное, и невнятное, и понимаю, что ничего не поделаешь, пытаюсь лишь поправить какие-то фразы или вычеркнуть вовсе к чертям — и всё такое прочее.

Было время — в Есеновичах, в Калининe, в Москве, — которое можно назвать временем чистого, незамутнённого писательства, когда я вовсе не думал ни о читателях, ни о публикациях, заранее зная, что ничего из того, что я сочиняю, не может быть напечатано ни при какой погоде, и нисколько этим не огорчаясь. Смысл и резон писания состояли исключительно в том, чтобы что-то написать: что-то удовлетворяющее меня, выполнить некоторую задачу. А теперь я каким-то образом коррумпирован, читаю свои изделия разных лет и думаю о том, как они могут быть напечатаны и кто их будет читать. А ведь, в сущности, — можешь мне поверить, что я не кокетничаю перед самим собой, да и возраст уже не тот, — в сущности — какая разница, будет или не будет читать, и кто будет покупать эти книжки. Я остаюсь — думаю, что это чувство тебе знакомо, — один на один, на rendez-vous

со своей прозой. И, если продолжить это сравнение, то как бы на свидании с прежней возлюбленной: видишь, как она постарела и подурнела, и... и поглупела. Целые куски, если не целые страницы, надо было написать по-другому: короче, энергичней, да, пожалуй, и логичней. А то и вовсе похерить. Но уже ничего не поделаешь. Придётся публиковать. Это и есть коррупция.

Потом я вдруг нахожу, что кое-что всё же неплохо написано. Меня утешает язык, я ловлюсь на удочку мнимого или действительного благозвучия. Но мои шансы на то, что это будут читать, от этого не увеличиваются, наоборот. Ведь я слишком хорошо понимаю, что мой слог отнюдь не тот, который может сейчас привлечь сочувственное внимание читателей в России (о критиках и говорить нечего). Мой язык — умершая латынь. И я начинаю испытывать что-то вроде загробного высокомерия.

Между прочим, я тут случайно натолкнулся на одно маленькое обсуждение в Журнальном зале интернета, а именно в «Октябре» № 2, там есть подборка под заголовком «Милая корявая литература» — загляни, если будет время и охота. Всё, отсюда глядя, выглядит курьёзно, самый предмет дискуссии — нелепость, а в то же время она показала мне симптоматичной. Речь идёт о том, что по аналогии со словами «рукопись», «скоропись» и т.п. следует называть плохописью. Можно ли писать плохо, коряво, вульгарно, оставаясь в современной литературе, находя читателя, получая признание? Ответ: не только можно, но и нужно. Таково-де веление времени [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

17.3.10

[...] В заверениях, что мы пишем прежде всего для самих себя, есть доля неумышленного лукавства — но есть и своя правда, как есть она в столь же искренних заверениях всех нынешних интернетовских графоманов. Советская безнадежность поощряла нас искать достойные обоснования. Помнится, я как-то сказал покойному Юре Карабчиевскому: если бы они меня напечатали, я мог бы подумать, что стал писать плохо. Он мне ответил: так думать неправильно — и был совершенно прав. Мандельштам тосковал о читателе, Булгаков и Платонов ради возможности напечататься корезили свои произведения. Разговаривать с самим собой, кричать в пустоту — неестественно.

Дальше начинается тема успеха, но об этом я уже написал в «Способе существования», добавить ничего не могу.

Близкий поворот темы неожиданно предложило мне одно позднее стихотворение Давида Самойлова, я его прежде не знал. Поэт с видимым самоуничижением призывает появление нового гения:

Пришел бы он! Пришел бы он!
Чтоб его имя воссияло,
А мы чтоб стерлись в пыль времен,
Как будто нас и не бывало.
(1982)

Я процитировал эти строки, выступая на вечере памяти Давида в ЦДЛ. Странно, сказал я, зачем это: «Чтоб стерлись в пыль времен»? Можно как угодно относиться к себе и к своим современникам, но нет для меня ничего выше гениального восьмистишия Баратынского:

Мой дар убог и голос мой негромок,
Но я живу, и на земле мое
Кому-нибудь любезно бытие:
Его найдет далекий мой потомок,
В моих стихах: как знать? душа моя
Окажется с душой его в сношенье,
И, как нашел я друга в поколенье,
Читателя найду в потомстве я.

«Окажется с душой его в сношенье» — чего можно желать больше? [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

21. März 2010

Конечно, дорогой Марк, когда уверяют, что пишут единственно из потребности марать бумагу и только для себя, это отзывает кокетничаньем. Всё же, насколько я помню, мои попытки что-то сочинять в те далёкие годы были лишены этого игривого поглядыванья в зеркало. Ненужность и невозможность печататься были *conditio sine qua pop.* Чем-то само собой разумеющемся. Кроме того, мне было стыдно сознаться, что я занимаюсь писательством. Однажды я прочёл в «Литературной газете» (которую всё-таки выписывал, сидя в деревне) интервью с каким-то именитым писателем, который рассказывал, что он провёл лето на своей родной Вологодчине, «где мне всегда хорошо работается». Можно было расхохотаться. «Работается». Вот так работа!

И всё же в этом времяпровождении почти всегда присутствует невидимый адресат, который, однако, обретается где-то очень далеко, пожалуй, даже не в нашем гнусном времени. Не о нём ли говорит Баратынский? Вот он и прочтёт. Но поэты самонадеянней кустарей-прозаиков [...]

22. März 2010

Не далее как вчера я послал тебе коротенькое письмо, мой дорогой Марк, но сегодня пауза, хочется продолжить. Ты скажешь: нечего делать, вот он и строчит письмо за письмом; это верно. Из-за вычитывания вёрстки (сейчас это третий том) заниматься писанием в собственном смысле почти невозможно. Какие-то туманные проекты бродят в голове, но как и когда за это взяться, если жизненного времени вообще почти уже не осталось? С другой стороны, как никогда прежде, чувствуешь, что литература — единственный якорь [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

28.3.10

Кажется, и до нас все-таки добралась весна, дорогой Гена. Солнце, сияющие лужи, снег быстро тает. А не далее как позавчера я, представь себе, еще сбегал на лыжах. Работаю много, утром долблю свой роман, после прогулки оформляю книгу «Стенография начала века. 2000-2009». По объему получается даже больше, чем предыдущая, за 25 лет, и по моему, содержательней. Все-таки с возрастом умнеешь (надеюсь) [...]

Приложу к этому письму два верлибра, из последних. Я набросал их в Черногории, сидя на высокой веранде дочкиного дома, дорабатывал уже в Москве [...]

Двойной закат

Диск, потускневший, размером с большую монету,
Снизился к морю, к размытой границе,
К темной кайме, и вот прикоснулся низом,
Уже обрезана кромка, погружается в глубину,
Уменьшается на глазах, продвигается все быстрее,
Как в ускоренной съемке, миллиметр за миллиметром.
Так все быстрее, все ощутимей движется с возрастом время.

Его почти не осталось. Только забрезжила мысль,
Не задержалась, погасла, не возратить, не успеть,
Не найдено слово, осталась не завершенной строка,
Остались долги, обязательства, обещания...
Вот и конец.
Запоздавая ласточка перечеркнула светящийся воздух.
Лодка пристала к берегу, почти с ним слилась.
Угасают письма и узоры скальных морщин,
Воспоминания погружаются в тень, подробности тают.
Прохладой повеяло из пустоты без пространства...
Вдруг из-под пелены, заменившей, оказывается, горизонт,
Выбился луч, выглянул краешек, стал расти, возрождаясь,
Не пятикопеечный диск — огненный мир, светило.
Значит, еще не закончен день, голоса не утихли,
Высветляются заново, укрупняясь, резные листья и травы,
Разрастается каждый миг — как в палате реанимации
Возвращение из беспмятного провала.
Небывалая ясность, похожая на понимание.
Значит, еще даровано время, конец отсрочен,
Надолго ли, нет ли — переживи еще раз сполна,
Заново, как до сих пор по-настоящему не сумел.
Высвободился во всю мощь раскаленно-холодный диск,
Сияет, не ослепляя, прекрасней, ясней, чем был,
Чтобы уйти неизбежно в края, где его еще ждут,
Но все-таки не сейчас, погода. Ночные спокойные тени
Дожидаются там, где закат уже пережит.
На просвет чернеет остаток вина в стакане.
Что ж, допьем. Сияние не бесконечно.
Вознесем на прощание благодарность за все, что нам было дано.

Судьба

1

Судьба суждена, судьбою назначен срок,
Какой, под конец узнаешь,
А то позолоти той, что просит, ручку:
Программа отиснута на ладони.
Уточнятся не более чем подробности
Можешь себя перекрасить
В блондина или в бронеюта, переменить
Не только внешность, но пол,
Воображать, будто решаешь свободно.
Кто-то где-то кивает с усмешкой:
Даже воображаешь не ты.

Все заложено. Думай самолюбиво,
Что это сам ты сочиняешь сейчас
Того, кто воображает тебя,
Диктует тебе твой стишок.

2

Суждено ли рожденному в рабстве
Оставаться рабом всю жизнь?
Судьбы достаивается не каждый,
Лишь способный ее творить,
Осуществляя предназначение.
Тут, считай, всего лишь омонимы.

Б. Хазанов — М. Харитонову

7 апреля 2010

[...] Твоё письмо с верлибрами «Двойной закат» и «Судьба» я получил, они мне понравились. Второе стихотворение особенно показалось близким. Этот предмет, как ты знаешь, меня время от времени будоражит. Хочу ещё раз напомнить: не время ли собрать стихи и попытаться выпустить книжку?

Другой вопрос — где.

Я тут на днях говорил по телефону с Леной Шубиной, бывшей моей редакторшей и нашей приятельницей. Года два тому назад она перешла из «Вагриуса» в большое коммерческое издательство АСТ, тебе, вероятно, известное лучше, чем мне. В такие учреждения для меня и для тебя вход, естественно, закрыт.

Мимолётный этот разговор — по другому поводу — странным образом не выходит у меня из головы. Говорили среди прочего о романе Юза, — вещь, которую, работая с перерывами, он всё же сейчас заканчивает. Лена с этим романом знакома; видимо, он закидывал удочку. Мне Юз когда-то присылал отрывок.

Я спросил, какое впечатление. Она ответила: Юз — мастер, но пора бы уже оставить тюремную тему: читателей она давно уже не интересуется. И вот — повторяю, дурацким образом — я над этим задумался. И, как всегда, отношение к «теме» расщепилось. Ведь и я нет-нет да и возвращаюсь к нашим баранам. Лора любила повторять (имея в виду даже не столько литературу, сколько мой образ мыслей), что я так и остался лагерником. Это всё равно что быть графом. Или бывшим фронтовиком.

С одной стороны, о чём тут спорить? И ты, я думаю, тоже скажешь: все точки над *i* уже поставлены, все разоблачения совершены, опубликованы десятки книг, мемуары, свидетельства, архивные материалы, наконец, художественные произведения. Публика устала. Люди хотят читать об их жизни сегодня, а не о том, что было и былём поросло. «Мы и без тебя всё знаем».

Опять же почтенный возраст сочинителя, и недостаточное знакомство с современной Россией, и столь обычное для старых пердунов пренебрежение современностью. И никакие ссылки на то, что литература, по крайней мере, та, которая притязает на серьезность, чаще занимается прошлым, чем настоящим, не помогут.

Хочется оправдаться. Если угодно, утешить себя. Говоришь себе (вопрос-то ведь не узко-личный и не только литературный), что дело не в разоблачениях советского режима. Они уже сделаны, хотя и эта глава не может, не должна быть закрыта. А дело в том, что лагерь, как и война, — центральная тема, стержень века. Как ни странно, это обстоятельство, по моему впечатлению, далеко не у всех дошло до сознания в России. Огромное внутреннее государство внутри такого же огромного внешнего, целая цивилизация принудительного труда, без которого всё здание не смогло бы простоять три четверти века; новое общество, которое создала эта цивилизация, чтобы не сказать — новый народ, который она породила, — всё это не былём поросло, не так ли. Не вчерашний день, но вчерашняя вечность [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

11.4.10

Ты считаешь, дорогой Гена, что нынешний читатель должен интересоваться «лагерной» прозой, потому что «лагерь, как и война, — центральная тема, стержень века». А сам ты, если честно, расположен сейчас читать книги о войне? (Роман Маканина, помнится, тебя не увлек). А произведения о лагере (не публицистику, ее, в общем, до сих пор читают и печатают)? Я, признаюсь прямо, не особенно. И не потому, что тема закрыта. В статье о тебе я вспоминаю, как спросил тебя, собираешься ли ты продолжать лагерную тему. Ты ответил: нет. «О лагерях, — цитирую я тебя, — если уж теперь писать, то по-другому, чем все делали до сих пор».

Вот в этом, как ты понимаешь, проблема: не о чем, а как писать. И не в том, что серьезная литература «чаще занимается прошлым, чем настоящим». Какая разница, что было материалом для Шекспира,

Сервантеса, Рабле, Гете, Достоевского, Кафки или Томаса Манна, исторические хроники или газетные, житейские впечатления или сны? Проникнуть в глубинную суть мироздания, создать свой художественный мир, преодолеть инерцию доступных стереотипов — вот что дается немногим, вот к чему пытаешься хоть приблизиться. Бьюсь головой о стену, вот что над тем же. Право, не ожидал от себя, что в своем возрасте еще пушусь в такое авантюрное плавание. Даровало бы Провидение достаточно времени [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

14 апреля 2010

[...] Я наткнулся в «НЛО», в последнем номере, на интересную статью под названием «Лидия Гинзбург и “примирение” с действительностью», и она вернула меня к прежним мыслям.

Не то чтобы я считаю (как ты пишешь), что нынешний читатель должен интересоваться лагерной темой и лагерной прозой, — как можно это требовать? Но в то время, как здесь, в Германии, тебе постоянно напоминают, — и радио, и печать, и телевидение, и литература, — о преступлениях националсоциализма, о чёрном прошлом страны, постоянно твердят: не забывай! не забывай! — в России, насколько я могу судить, традиционное беспамятство подкрепляется этим самым «хватит, сколько можно?», которое повторила как нечто для неё естественное и само собой разумеющееся Лена Шубина.

Ты говоришь (если я правильно тебя понял): дело не в том, что тема «закрывается», а в том, что не появляется хорошая литература. Это верно. Но она не появляется, между прочим, оттого, что кажется, будто всё уже сказано и — сколько можно? В этом «сколько можно» сквозит убежденность, что прошлое исчерпало себя, прошло. Спящий в гробе мирно спи... «Лагерная проза», может быть, и сказала всё, что могла сказать. Но лагерь вырастает в Лагерь; война становится Войной. Речь идёт о крахе истории. И не мне говорить тебе о том, что прошлое не проходит [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

14.4.10

Дорогой Гена, бывает же так: получил твоё письмо через несколько минут после того, как ты его отправил. Сразу же захотелось попросить: чтобы верно друг друга понять, уточни, пожалуйста, свою

мысль. Ты пишешь: «Хорошая литература.... не появляется, между прочим, оттого, что кажется, будто всё уже сказано и — сколько можно?» — относя это, естественно, к России. А в Германии, где «о чёрном прошлом страны постоянно твердят: не забывай!», а в других странах — попадались ли тебе в последнее время художественные (подчеркиваю: художественные, не историко-публицистические, мы ведь с тобой не об этом), произведения, которые для тебя стали бы насущными, к которым тянуло бы постоянно возвращаться, которые тебе вместе с литературным сообществом хотелось бы обсуждать на уровне писателей, упомянутых в моем прошлом письме, которые могли бы породить важную «вторичную литературу»? [...] Может, дело не просто в российских обстоятельствах? Претензии к этой стране — на уровне общих мест — очевидны. Только ведь на России литературный свет не сошелся, проблему нельзя понять, если не оглядываться и вокруг. Что говорит «о крахе истории» современная мировая литература (опять же: не философия, не эссеистика)? Ее-то общественные настроения, наверно, не связывают? [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

15 апреля 2010

[...] Некоторые мысли, когда их расшифруешь, оказываются глупостью, что, возможно, и происходит со мной. Ты спросил, что означает фраза: «Хорошая литература не появляется оттого, что кажется, будто всё уже сказано». Я хотел сказать, что даже серьёзный писатель отказывается от темы, которая считается исчерпанной: ему начинает казаться, что ничего нового он не скажет. Мысль в общем-то сомнительная.

На твой второй вопрос, появлялись ли в последнее время в Германии либо ещё где-нибудь художественные вещи на обсуждаемую тему, которые произвели бы на меня сильное впечатление. Нужно сознаться, что я мало читаю современных писателей. (Иногда мне кажется, что я вообще разучился читать беллетристику). Вообще же поток таких произведений не иссякает. Можно назвать роман о лагере Герты Мюллер, удостоенный «нобеля»; один из последних романов Мартина Вальзера о детстве в нацистской Германии; лагерный роман венгра Кертеса. Сюда же пользующийся огромным успехом фильм-трилогия о семье Маннов («Die Manns»), да и множество появляющихся один за других художественных фильмов о нацизме, преследовании евреев и т.д. В одном из последних номеров «Зару-

бежных записок» (по-видимому, прекратившихся окончательно) Лариса Шиголь опубликовала изумительно талантливые новеллы о гетто, присланные из Израиля. Не могу сейчас вспомнить имя молодой писательницы.

В конце концов понимаешь, что защищаешь — сугубо эгоистически — собственную позицию. Ведь сам я иначе как о прошлом писать не могу. Это влияние возраста, хотя я и прежде занимался тем же. Другой, в глазах многих — художественный дефект, — тяга к обобщениям, к историософии [...]

2 мая 2010

[...] Трёхдневное лето кончилось, наступила сумрачная весна, всё время наплывают сизые облака, то и дело капает сверху, словно местные божества развесили над нашим королевством мокрое бельё после генеральной стирки. Птицы громко щебечут начиная с предрассветных сумерек до самого вечера. Тишина, воскресенье.

Как подвигается твоя работа? Но я знаю, что ты не любишь говорить, пока не закончишь.

Я занимаюсь всё тем же, вычитываю или перечитываю свои старые творения. Четвёртый том почти готов, а в третьем ещё много надо сканировать. Всё это тянется, и ни на что другое не хватает времени и заряда. А надо бы заняться чем-нибудь путным. Я тут снова вспомнил нашу коротенькую контроверзу о лагерной теме: кого это интересует, кто пишет об этом, кто это читает? В сущности, вопрос касается вообще всего этого минувшего времени. Минувшего ли? Сам я, впрочем, убеждаюсь (как ты и заметил), что написал об этом очень мало. Но запах лагеря, как запах, от которого угорают, постоянно присутствует, как мне кажется, в моих сочинениях, от него некуда деться; это и есть запах страны.

Разумеется, я заиклен на прошлом, это допнель-эффект старости и расстояния (или отстояния). Но речь идёт не о том, чтобы в сотый раз описывать известное и навязшее в зубах. Речь идёт о принципе лагерного существования, который не только не был чем-то преходящим, внешним и случайным, но оказался близкородственным, чтобы не сказать родным, традициям России. Невозможно думать об этом веке, невозможно писать о нём, оставляя в стороне две главных темы, войну и лагерное существование. И я бы сказал, что существует полуосознанная национальная ностальгия по стадному образу жизни — проще говоря, по лагерю. «Соборность» православного почвенничества, «общее дело» Николая Фёдорова, как и лозунги-шифры советской идеологии — разве это в конечном счёте не синонимы того, о чём я говорю? [...]

[...] Вчера мы вернулись из небольшой традиционной поездки с друзьями: Калуга, Малоярославец. В Калуге я был без малого тридцать лет назад, домишко Циолковского стоял среди таких же. Сейчас деревянные развалюхи остались даже в центре, но город сильно изменился, современные здания отблескивают пластиковыми панелями, восстановлены и обновлены красивые церкви, плакат с изображением скоростного поезда сообщает, что в Калугу пришел скоростной интернет. Зелень распускалась на наших глазах, стали даже расцветать вишни.

На чистенькой стене обновленного особняка мое внимание задержала надпись, черным спреем по трафарету: «Узники совести, вы не забыты! « И на картинке лицо, лагерная вышка. Это к твоим размышлениям о злободневности лагерной темы. Я писал тебе не об этом: о необходимости (или для меня потребности) искать другой, более высокий уровень литературы, отличной от эссеистики, публицистики, независимо от темы. То, что ты говоришь в письме о не случайном для России принципе лагерного существования, о ностальгии по лагерю и пр. — тезисы серьезной эссеистической работы, у тебя есть завершенные, глубокие размышления на эту тему. (А есть и замечательный рассказ о пассажире, который навсегда застрял на глухой станции, один из моих любимых, там, кажется, ни слова о лагере, о системе.) Возможно, ничего другого, лучшего и не надо, эссеистика бывает значительней так называемой беллетристики, в последние годы она особенно кажется мне более питательной. Что делать, если мне все мерещится что-то другое, может быть, уже непосильное? Сажу над работой каждый день, что-то уточняю по крупицам — сколько для завершения потребуется месяцев или, может, лет (если они будут даны)? Не я первый перерабатываю годы жизненного вещества в знаки, о чем тут тебе рассказывать? [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

4 мая 2010

И я бы охотно поездил по этим местам, дорогой Марк, да уже поздно. В Малоярославце я как-то останавливался на час—полтора, в Калуге вообще не был, хотя буквально перед тем, как пришла открыт-

ка из ОВИРа о визе, в августе 82-го, провёл недели две в Калужской области недалеко от Полотняного Завода, в избе, принадлежавшей моему брату Толе.

Когда-то я читал в Ленинской библиотеке брошюры на обёрточной бумаге, которые Циолковский издавал в Калуге в 20-х годах. А в Философской энциклопедии (последние два тома, если помнишь, вызвали скандал в соответствующих кругах из-за того, что в этих крупноформатных голубых томах участвовали выдающиеся люди и написали много некошерного), в статье о Циолковском, говорилось, между прочим, что диковинные грёзы об ослепительном будущем человечества были вдохновлены убожеством города, где прозябал К.Э. И я сразу представил себе, как он сослепу, скользя и теряя галоши, пробирается по грязным, тёмным улочкам. И мечтает...

В будущем, когда будет израсходовано земное вещество, человечество освоит всё околосолнечное пространство и в конце концов превратится в гигантское лучистое тело. Любопытно, как в этих бреднях дала себя знать идея ликвидации личности, навязчивая, пьянящая директивно-коллективистская и по сути своей фашистская идея времени — абсолютный приоритет массы над индивидом, растворение человека в организованном коллективе. Циолковский был учеником и почитателем Фёдорова с его проектом военно-дисциплинарного сплочения человечества ради фантастического Общего Дела.

Каким-то образом дух этой зловещей философии долетел до нас: в университете я посещал факультатив по санскриту, который вёл Мих. Ник. Петерсон, а его отец вместе с Кожевниковым был фанатическим поклонником и издателем Фёдорова.

Вот куда завела нас Калуга. А теперь там фасады цветного пластика, интернет [...]

Твои мысли о поиске более высокого уровня литературы, которая, однако не была бы эссеистикой, очень близки (как это нередко у нас бывает) моим мыслям. Я как-то уже писал о попытках заново реализовать нетрадиционное отношение к действительности — точнее, к так называемой действительности. Ты говоришь: переработка «жизненного вещества в знаки». То-то и оно, что литературное освоение действительности (так и хочется взять это слово в кавычки) не то чтобы приводит к безбрежному субъективизму, но в конце концов должно завершиться неким синтезом. Старинное вожделение философии — возвыситься над антитезой (грубо говоря) «материализм — идеализм» — в литературе представляет собой вечный камень преткновения и вечный соблазн. Никуда не денешься: жизнь, «действительность» — это то, что мы о ней знаем.

И я тоже начал с некоторых пор тяготиться своей отработанной манерой, я чувствую, что стал подражателем самого себя. Да, укрощение хаоса жизни, порядок и гармония, которую писатель вносит в хаос, дисциплина, стиль, всё прекрасно. Но это путь, который ведёт к омертвлению прозы, к псевдоклассичности. Нужно что-то другое. Нужно сломать барьер. Нужен «открытый контур». Ближайшим образом, моделью для такой прозы будет память, игнорирующая привычный порядок вещей: время, хронологию, привычное представление о пространстве, причинно-следственную упорядоченность событий. Это будет такая степень приближения к истине, какую не знал классический роман, не знал и модернизм. Кажется, я уже писал об этом. Да и сам кое-что попробовал.

Тут, конечно, подстерегают новые беды. Опасная близость хаоса и произвола. Риск поехать по рельсам пресловутого «потока сознания» (который зашёл в тупик). Невыносимое многословие, маразматически-слонявая болтовня. Распад прозы, подобный распаду психики у душевнобольного [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

23.5.10

[...] В четверг присутствовал при вручении премии «Поэт» (50 000 \$) Сергею Гандлевскому. Я к нему хорошо отношусь, он премии заслуживает. Кроме его сборника, присутствовавшим дарили антологию всех лауреатов (Кушнер, Кибиров, О. Николаева, Чухонцев, Лисянская, статьи о поэзии). Очень неплохая у нас поэзия.

Учредитель премии Чубайс сидел прямо передо мной, поодаль два охранника. Его выступление было вполне интеллигентным. Интересно говорил Евгений Ясин, ректор Высшей школы экономики. Он в своем университете захотел устроить вечер поэзии, пригласить шестидесятников: Вознесенского, Евтушенко, Ахмадулину. Молодая сотрудница сказала ему, что ее сверстники сейчас этих поэтов не читают, назвала Гандлевского и других. Интересно, если так. Вечер памяти Самойлова в ЦДЛ недавно собрал полный зал. Но мне только что попался новый стишок Евтушенко: «Игра большая на земле и небе шла, / и не смог помочь Ален Делон, / когда разбился о Россию Лебедь, / и не отжался, и не выжил он». Неужели в таком возрасте он себя не слышит? [...]

25. Mai 2010

[...] Я — без особых перемен, только что закончил, наконец, вычитку романа «После нас потоп» для третьего тома (4-й сдан в типографию). Но что значит вычитка — как я уже писал тебе, эта работа растянулась на недели, пришлось переписывать целые страницы, многое вычёркивать и так далее [...] И я сейчас не только стал вспоминать тогдашнее настроение, но даже несколько увлёкся, в некоторых местах, этим сочинением.

Книга должна была звучать для того времени актуально (распад СССР, ожидание «потопа», живая память об эре Брежнева и т.п.). Насколько мне известно, никаких откликов на неё не последовало. Я сейчас понимаю, что иначе и не могло быть. Я думаю, что дело всё же не только в том, что роман сочинён старым и давно оторвавшимся от сиюминутной жизни в стране человеком, что он проникнут особым чувством России, которое во мне чрезвычайно живо, но чуждо новому поколению и особенно тем, кто живёт в столице.

Журнал печатал это изделие, по-видимому, охотно, но критикам (если кто-нибудь вообще его раскрывал) оно тоже должно было казаться чуждым, малопонятным и во всяком случае глубоко и непоправимо неудачным.

Я помню, как в одной статье Писарева, «Генрих Гейне» (мне было тогда 15 лет), мне необыкновенно понравилась цитата из «Путешествия в Гарц», в тогдашнем русском переводе она звучала так: «Ещё рано, солнце не прошло и половину своего пути, и моё сердце благоухает так сильно, что пары его бьют мне в голову, и в этом опьянении я не могу понять, где кончается ирония и начинается небо».

(По-немецки: *Es ist noch früh am Tage, die Sonne hat kaum die Hälfte ihres Weges zurückgelegt, und mein Herz duftet schon so stark, daß es mir betäubend zu Kopfe steigt, daß ich nicht mehr weiß, wo die Ironie aufhört und der Himmel anfängt...*)

Так вот, мне кажется, что и в моём романе некоторым образом остаётся неясным, где кончается ирония и начинается небо. Другими словами — когда автор говорит всерьёз, а когда водит воображаемого читателя за нос; когда искренен, а когда ломает дурака. Эта неопределённость может раздражать. Другая трудность состоит в неопределённости точки зрения. Читая сейчас текст, я замечал, что эта точка зрения (писатель, автор-рассказчик, неопределённо-народное «общественное мнение», советская официальная точка зрения, действующие

лица) то и дело, подчас внутри одного пассажа, меняется, шатается, зыблется, и это тоже должно сбивать с толку. Наконец, рассуждения, кому бы они не принадлежали, могут попросту наскучить. Многое я выкинул, многое осталось [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

26.5.10

[...] Могу только позавидовать твоей работе над текстами своего Собрания. Я сознаю, как хорошо бы мне тоже многое вычитать и выправить, но нет сил и времени, а главное, повода. Пробовал как-то вернуться к давним работам, нуждающимся в переделке — невозможно оказалось войти в тогдашнее умонастроение.

Меня, признаться, удивил твой эпистолярный комментарий к роману «После нас потоп». (Я особенно ценю там первую главу, «Птицы, или Предупреждение», кажется, поминал ее в предисловии к твоему первому тому.) Взял с полки киевское издание, заглянул в конец: там ведь все то же самое уже сказано в послесловии. Если ты решил его убрать — искренне приветствую. Твои извинительные объяснения вдогонку не раз меня заставляли пожать плечами. «Мне кажется, что и в моём романе некоторым образом остаётся неясным, где кончается ирония и начинается небо. Другими словами — когда автор говорит всерьёз, а когда водит воображаемого читателя за нос; когда искренен, а когда ломает дурака». За кого ты, однако, принимаешь своего читателя? Не так он, право, туп.

Если мне все же позволительно давать советы на стадии правки (потом будет поздно): прореди в растянутых диалогах бесконечные междометия: «Н-да-с» — «Ну-с...» и т.п. Я и в последнем романе это отмечал, и в других. Компьютер, наверно, позволяет автоматически выявить их на множестве страниц, они делают однообразной интонацию самых разных героев. Долгий застольный обмен однотипными фразами повторяется во многих текстах, на многих страницах, в собрании сочинений это станет очевидным [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

27.Mai 2010

[...] С дурацкими междометиями ты, конечно, прав. Я сейчас вычеркнул все эти «нус» и «ндас». Что касается послесловия к «По-

топу» (написанного когда-то по просьбе журнала «Октябрь»: им-то как раз роман казался сложным, требующим пояснений), то я его уже похерил, не читая.

Занимаясь вычиткой, я заметил, что много лет жевал одно и то же. Писал, можно сказать, одну книгу. Темы, персонажи — всё повторяется. Теперь уже ничего не поделаешь [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

12.6.10

[...] Вчера китайская аспирантка из Нанкина привезла мне книгу своей «учительницы» о моем «Сундучке Милашевича». Представь себе, вышла еще пять лет назад, я только сейчас узнал. «Сундучок» примерно тогда же был переведен на китайский, экземпляр я до сих пор не получил. Вспомнилась грустная шутка Манделыштама (не поручусь за точность): «И может быть, в эту минуту / Меня на турецкий язык / Китаец какой переводит / И прямо мне в сердце проник». Листал загадочные иероглифы — узнать бы, что там про меня? Китайка, впрочем, мне написала: «В Вашем романе меня заинтересовали некая неопределённость и неустойчивость сюжета и значения, это точно человеческая судьба». Неплохо? По-русски бы кто написал так [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

22 июня 2010

Дорогой Марк, наступило летнее солнцестояние, самая короткая ночь в году, а в наших краях лето только ещё начинается. Кроме того, сегодня день начала войны, который, между прочим, я очень хорошо помню. Для меня, когда радио передало речь Молотова, это был праздничный день, музыка гремела на улицах из рупоров на крышах, вскоре разнёсся слух о том, что наши войска взяли Варшаву, Будапешт и Бухарест, я недавно вернулся из лесной школы, мы собирались в этот воскресный день на дачу, вещи стояли на полу, должен был прийти грузовик; мне было уже 13 лет [...]

Живу я довольно скучно. Мои вещания время от времени возобновляются по желанию немногочисленной публики. Теперь предложена тема: чем отличается хорошая проза от плохой. Как бы ты ответил на этот замечательный вопрос, который может показаться и неле-

пым? Либо его надо переформулировать. Существует апофатическое богословие, рассматривающее вопрос о том, чем *не* является божество. Можно было бы в лучшем случае отважиться на выяснение того, что следует считать плохой, негодной прозой. Но я помню одно место у Эрнста Юнгера, из которого следует, что уж он-то хорошо знал, что такое настоящая проза. Нашёл его в предисловии (которое когда-то переводил) к «Strahlungen»¹.

Безупречно построенная фраза обещает нечто большее, чем удовольствие, которое она доставит читателю. В ней заключено — даже если язык сам по себе устареваает — идеальное чередование света и тени, тончайшее равновесие, которое выходит далеко за ее словесные пределы. Безукоризненная фраза заряжена той же силой, которая позволяет зодчему воздвигать дворцы, судье различать тончайшую грань справедливости и неправды, больному в момент кризиса найти врата жизни. Оттого писательство остается высоким дерзанием, оттого оно требует большей обдуманности, сильнеешего искусства, чем тот, с которыми ведут полки.

Какие слова, какая вера в литературу [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

23.6.10

Красиво написал Юнгер, дорогой Гена. Литературе остается пройти стилистическую выучку у него да у Флобера, чтобы возникала хорошая проза. Неясно, правда, куда девать, скажем, Андрея Платонова, у которого ни одну фразу не назовешь безупречно построенной. Или Уильяма Фолкнера, который в «Шуме и ярости» рассказывает о происходящем языком дебильного подростка. Я называю писателей, к которым возвращаюсь постоянно. Для меня признак и мерило подлинно великого произведения — его неисчерпаемость, когда каждый раз перечитываешь словно заново, открывая нераспознанные прежде глубины. Это может быть не только проза — небольшое стихотворение. Сколько раз, повторяя наизусть Манделштама, я обнаруживал, что по-настоящему его до сих пор не понимал!

Стилистически безупречным может быть хороший детектив, я их люблю читать. Но перечитывать его можно, только если успел забыть уже разгаданную однажды загадку, больше искать нечего. Вот если остается что-то еще — это уже хорошая литература. Как чудовищно пи-

¹ Излучения (нем.)

сал иногда Гоголь! «Грозна, страшна грядущая впереди старость, и ничего не отдает назад и обратно! Могила милосердной ее». «Грядущая впереди», «ничего не отдает назад и обратно» — язык, однако! О мысли говорить не буду. «Забирайте же с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточенное мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымете потом! « Не оставляйте на дороге движения... Чувствуется, как он над языком специально работал, подбирая слова, переписывал бесконечно. И не скажешь, что плохой писатель [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

27 июня 2010

Дорогой Марк, сегодня воскресенье, «тишь, безлюдье кругом», как сказано в школьном стихотворении Никитина, и к тому же особенный день, называемый *Sieben Schläfer*: какая погода стоит, когда спят эти семеро, такая и будет в ближайшие семь недель. Погода сегодня отменная.

Я помню, как в первые недели приезда в Германию меня удивляло, вместе с разными новшествами, чистотой улиц, доступностью запрещённых писателей в книжных магазинах и доступностью еды, то, что обыденная жизнь та же, что и в России: играют дети, радио передаёт сводку погоды. Сейчас я иду в нашем парке и вижу на асфальтированной дорожке начертанную мелом «лягушку», помнишь ли ты эту игру? Мы лягушку рисовали в нашем дворе, в Большом Козловском переулке, только в верхней закруглённой части писали: «огонь», здесь же нацарапано: *Ziel*.

Конечно, ты прав (по поводу стиля), и я вовсе не вижу абсолютной непререкаемости в максиме Юнгера. (Любопытно, что в ней чувствуется профессиональный военный; Голо Манн писал, что Юнгер «отдаёт приказания читателю».) Но я думаю, что мои собственные претензии и притязания — всё-таки не только симптом безнадёжной старости, это уж само собой, но и вызваны раздражением непрофессиональностью многих, даже признанных и расхваленных критикой современных русских писателей.

В конце концов, я и сам писал обо всём этом; сейчас нашёл в интернете свой старый рассказ «Сад отражений» (некоторым образом пародия на Борхеса), разумеется, выдуманный, со следующим вступлением — довольно длинная цитата. Он не был замечен, но тебе, может быть, знаком. Его тема — заколдованный круг писательства.

Моя уверенность в том, что «сад» представляет собой литературное изобретение, глубокомысленную мистификацию в духе Вайолет Крейзи, Хорхе Борхеса и когорты их подражателей, была поколеблена после беседы с барышней из Бюро частных услуг. Зантригованный слухами, ссылками на людей, будто бы заслуживающих доверия, хотя на самом деле их сведения в свою очередь были получены из вторых рук, наконец, пробежав как-то раз заметку в одном бульварном листке, из которой было видно, что автор сам толком не понимает, о чём идёт речь, я решил выяснить, есть ли во всём этом хотя бы крупица истины. Сразу оговорюсь, что самое понятие истины подверглось при этом опасному испытанию, но это уже вопрос скорее философский.

К сказанному стоит кое-что добавить. Дело в том, что мною двигало не только любопытство. К некоторым замечательным чертам моей профессии — если можно её называть профессией — принадлежит вечное сомнение, а именно, сомнение и неуверенность в её пользе. Вечно ловишь себя на этой мысли: какого лешего? Стоит ли вообще продолжать? Кому всё это нужно, и так далее.

Вот уже тридцать лет я по сути дела ничем другим не занимаюсь, подчас живу впроголодь. Дошло до того, что однажды мне пришлось просить подаяние на вокзале. Пожалуй, я кое-чему научился: элементам ремесла, технике; научился отличать плохую фразу от хорошей. Но всё отчётливей я сознаю, что делаю не то, что надо. Чем «лучше» я пишу, тем получается хуже.

Я держусь в стороне от литературной жизни, однако слежу за ней. Даже кое-что читаю. Большая часть прозы, которая появляется в последнее время, вызывает у меня скуку или отвращение. Я хорошо вижу, что за редкими исключениями мои коллеги, отечественные беллетристы, даже даровитые, — непрофессиональны, неумелы, глухи к языку, подвержены влияниям, от которых завтра не останется следа, поработаны сиюминутной актуальностью, наконец, малокультурны, плохо знакомы с новой европейской прозой и удручающе провинциальны. И я, словно стареющая кокетка, воображаю, что могу без труда перещеголять молоденьких провинциалок своими туалетами. Я ловлю себя на тщеславном желании противопоставить этим писателям настоящую литературу. Что же я могу им противопоставить? Хороший стиль, благозвучный язык, вкус, сдержанность, иронию, дисциплину.

Но всё это не то — не то, что требуется от литературы. Я прекрасно вижу оборотную сторону этих аристократических претензий: безжизненность, академизм. Мой язык, заметил кто-то из

критиков, это язык классических переводов, причём с мёртвых языков. Однажды я написал рассказ из эпохи Древнего Рима, действие происходит в первом веке до нашей эры. Меценат приезжает в гости к Горацию. Они беседуют о литературе, с террасы открывается чудный вид, и вот выясняется, что поэт глубоко удручён: его стихи слишком совершенны. В них нет живой жизни, страсти, полёта, они холодны и гладки, как мрамор. Он чувствует, что в своём классицизме, своём отчуждении от собственной личности потерял себя. Это автобиографический рассказ.

Короче говоря, меня измучило чувство, которое можно сравнить с тем, что психиатры называют деперсонализацией. Я тоже потерял себя. Я почувствовал, что нахожусь в тупике, а так как я не мыслю своего существования вне моего труда — правильной сказать, вне писательского зуда, — то, можете мне поверить, мысль о самоистреблении стала закрадываться в мою душу. Так заигрывают с наркотиком.

Ты упомянул Фолкнера, Платонова. Я пережил увлечение Фолкнером, это было очень давно, я был, можно сказать, без ума от его романов и особенно от рассказов. Этому могучему, стихийному гению можно всё простить, включая захлёбывающееся многословие (например, в романе «Авессалом, Авессалом! « или в том же «Шуме и ярости»). Больше того, понимаешь, что без этой языковой разнузданности он невозможен. Но следовать ему тоже невозможно. Я даже не знаю, какими глазами я читал бы его сегодня. В особенности на фоне ставших модными дурновкусия, болтовни и почти не осознаваемой плохописи.

Что касается Андрея Платонова, то это особ-статья. Это уникальный стилист; упрекнуть его в небрежении к языку и слогу никак нельзя. Впрочем, он мне довольно далёк [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

28.6.10

Я помню твой «Сад отражений», дорогой Гена. Мне понятна и близка твоя неудовлетворенность отечественной беллетристикой — но считать ли одной из причин «плохое знакомство с новой европейской прозой»? В ней, по-твоему, дела существенно лучше? У нас сейчас переводят практически все, до меня наверно, что-то не дошло, порекомендуй, если знаешь.

Я, помнится, однажды уже писал о том, что может казаться мне «настоящей прозой»: в «Стенографии конца века» есть эссе «В поисках языка», о книге Мераба Мамардашвили. Я там цитирую его: *«Мы оживляем мертвые слова, мы оживляем мертвые жесты, мертвые конвенции... Мы ищем жизнь. И себя как живущего. Ибо ощущать себя живым совсем не просто»*. Произведения искусства, по его словам, являются *«органами жизни, которые производят нас в качестве людей»*.

При этом он отмечает, пишу я далее, существенный парадокс: «художественное совершенство произведения иногда мешает подлинному углублению в текст: слишком легко, слишком быстро он читается, тянет скользить по поверхности... *«Ибо текст красив, — говорит М. Мамардашвили, — слова в нем цепляются одно за другое, и такие вещи могут не остановить нашего внимания. А внимание работает только тогда, когда оно остановлено. То есть когда что-то “утруднено”*».

Дальше я поминаю того же Платонова, его затрудненный, «неправильный» стиль, требующий поневоле замедленного чтения — и особенно слова, сказанные по другому поводу Н.Я.Мандельштам: *«Мысль — сырая, необработанная, с еще не стершимися углами. Не в таком ли смысле говорил О.М. о сырьевой природе поэзии, о том, что она — несравненно большее сырье, чем даже живая разговорная речь»*.

Вот это мне ближе Юнгера, это я до сих пор пытаюсь искать, что бы и в своем возрасте все-таки «ощущать себя живым» [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

9 июля 2010

[...] Хотя повествователь в рассказе «Сад отражений» — понятное дело, не автор, всё же фразы о плохом знакомстве писательской братии с «новой европейской прозой» и т.д. принадлежат мне. Правда, за этим следует, что повествователь, противопоставляющий себя этой братии, со своим высокомерием потерпел крах (и почти то же повторяет Гораций в другом рассказике, «Пока с безмолвной девой», когда он жалуется, что из его классически совершенной поэзии исчезла живая жизнь, — всё, разумеется, фантазия автора). Но главное — творческая, стилистическая альтернатива и тупик безупречного письма — остаётся темой рассказа.

Под словами Мамардашвили хочется подписаться обеими руками. Но он же — автор чтений о Прусте, который был, очевидно, его любимейшим писателем. Дело в том, что под новой европейской про-

зой повествователь «Сада отражений» подразумевает не современных, нынешних западноевропейских и американских авторов, а писателей XX века, которые сами давно уже стали классиками. Имеется в виду литературная революция, обычно называемая модернизмом (здесь, конечно, и Пруст, и Джойс, и *tutti quanti*). И надо признать, что множество наших с тобой современников, подчас отнюдь не бесталанных, пишут так, словно XX века не существовало.

Речь не о том (как тебе показалось), что-де вы, россияне, отстали, современные писатели на Западе вас далеко обогнали. Речь идёт о скудости — в данном случае «здесь», но в принципе «там» или «здесь», безразлично.

Я перечитал «Сад отражений». В этой тираде чувствуется раздражение, если не самая обыкновенная злость. Время от времени я знакомлюсь (чаще в «Журнальном зале» русского интернета) с именами и произведениями, о которых много говорят критики, которые (произведения) устаиваются всяческих похвал. А мне порой кажется, что они попросту непрофессиональны. Что эти писатели — ты, вероятно, лучше меня знаком с ними — словно не отдают себе отчёта в том, что мы все, пишущие, ходим не по голому грунту, а по толстому слою гумуса мировой культуры, что в конце концов и русская литература — одна из древнейших в Европе, ей больше десяти веков, и мы её наследники, — и если это не принимать во внимание, то никакое нутро, никакой самородный талант и никакой жизненный опыт не помогут. Хуже того, сама «жизнь» — казалось бы, ближе некуда — становится под пером ничем не обременённого, ни о чём не подозревающего доморощенного писателя безжизненной, ходульно-тривиальной, парадоксальным образом оборачивается литературщиной. Я читаю подобную прозу, и мне кажется, что я этот пирог уже ел, притом не однажды.

Что случилось? Читаешь страницу, другую, и помираешь со скуки. Ясное дело: возраст, привычка к старческому брюзжанию, склеротический консерватизм, потеря чутья. Отторгнутость от российской действительности и как следствие — неспособность оценить то злободневное и близкое, что останавливает внимание критиков и увлекает читателей. Чего доброго, и эмигрантская высоколобость. Всё верно! (Как верно и то, что во все времена хорошая литература была редким исключением. Там, где теперь мы видим строевой лес, его окружал непролазный подлесок.) И всё-таки невозможно не почувствовать прискорбную ущербность такой прозы.

Нельзя не заметить (может быть, и не у всех, но, по крайней мере, у очень многих) недостаточное владение языком, синонимикой, порядком слов — этой изумительной гибкостью русского языка, богатст-

вом, которое на каждом шагу расставляет ловушки для неосторожного сочинителя, — неумение найти точные слова, адекватную интонацию, различать слои языка; привязанность, часто не сознаваемую, к примитивному говорку, якобы свежему и всамделишному, на самом деле надоевшему до мучительной зевоты; наивное самоотождествление автора с героями, отсутствие внутренней дистанции, не знающее удержу многоглаголанье, и так далее. Короче говоря, полное отсутствие стиля в широком и глубоком понимании этого слова. Отсутствие представления о том, что такое, собственно, *стиль* [...]

Und noch was — раз уж наступили на любимую мозоль. Я думаю, что проза, как всякое искусство, должна доставлять эстетическое наслаждение. Само собой, речь не идёт о красивенькой, чистоплейской, благостной и благополучной прозе. Я говорю о прозе Чехова, Бунина, Юрия Трифонова, Бориса Житкова (вот замечательный писатель!), пожалуй, и любимого тобой Платонова, о лучших рассказах Фолкнера, Сэлинджера, Хемингуэя, о Прусте, о Борхесе, о Томасе Манне, да мало ли ещё о ком. И вот оказывается — или я снова ошибаюсь? — что это качество русской литературой последнего времени начисто утеряно [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

19.7.10

Не ожидал, дорогой Гена, что жара в Германии может вывести из строя интернет. А у нас она бьет все рекорды, 34°, засуха, лесные и торфяные пожары, не выдерживают кондиционеры и банкоматы, в метро на днях двое скончались, не представляю, что творится в тюрьмах, в больницах без кондиционеров.

Я же, немного стыдясь, что чувствую себя в такую жару на редкость работоспособным, встаю около шести, выношу с утра на лоджии свой ноутбук, после полудня переносу его в комнату, чтобы подключиться для нужных дел к интернету, вечером работаю опять на лоджии. Роман (теперь я могу сказать, что это роман), наконец, приобрел очертания. Еще месяца два назад я не был уверен, что справлюсь, теперь надо лишь работать, но уже есть над чем. Названия пока нет, объем уже приближается к 14 п.л., больше был только «Сундучок Милашевича». Трещусь я над ним года три с половиной, теперь странная забота: не поторопиться бы, не поддаться бы нетерпению.

Читать я в таком состоянии ничего постороннего не могу, разве что вдруг подвернется что-то близкое, стимулирующее. Ничего последнее время не подворачивалось. При беглом просмотре ощущение

то же, что у тебя. Ты, правда, в своих рассуждениях все-таки обходишь заданный мной вопрос: относится ли твоя неудовлетворенность лишь к современной русской прозе («неумение найти точные слова, адекватную интонацию, различать слои языка» и т.п.)? При самом лучшем знании иностранного языка этого так не почувствуешь, как в своем. Но переводят сейчас не хуже, чем в свое время Джойса, Пруста и др. — что, и там ничего тебя не порадовало? В своем прошлом письме я на Юнгера огрызнулся, конечно, по инерции, зря: безупречная фраза — это, нет спора, прекрасно, мысль достойная. Может, проблема в содержательной составляющей. Уже со всех сторон сетования: нет явлений, имен, ни в литературе, ни в живописи, ни в музыке, пишут о явном неблагополучии, если не кризисе. Хотя, может, это всего лишь ощущение людей, которые чего-то просто не знают, не замечают. Так ведь не только наше. Опровергнуть брюзжание можно, только создав, наконец, собственный шедевр. А что нам еще остается? [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

20 июля 2010

Дорогой Марк, связь с интернетом прервалась не из-за жары, а по милости нерадивого провайдера. Теперь, наконец, функционирует вновь — надолго ли, weiß der Kuckuck.

Сегодня годовщина взрыва в Волчьей норе, но почему-то никто не вспоминает.

Счастье, что тебе удаётся работать спокойно, счастье, что вы живёте на отшибе, вблизи природы. Когда подумаешь, каково в Москве в разгар этого смертоносного лета...

Я перечитал своё предыдущее письмо (465) — в самом деле, на твой вопрос я так и не ответил. Относится ли брань только к современной русской прозе? Нет, не только; можно сослаться, например, на недавно прогремевшего Мишеля Уэльбека — правда, француза и притом шоумена, человека нарочитого, себе на уме. Читать его мучительно. Вообще потомки Селина, до, пожалуй, и Жана Жене, являются то и дело, как дети лейтенанта Шмидта, но Селин (как и Юз Алешковский, тоже породивший тьму подражателей) был талантлив. В немецкой прозе пыльное облако вызывающе циничного, нарочито испорченного, пошловато-разговорного языка (*verhunzte Sprache*), кажется, понемногу рассеялось. (С театром дело обстоит много хуже.) Но ответить по-настоящему я не могу уже потому, что не работаю в немецком языке. Да и почти ничего из самоновейшего не читаю.

Главное, что я хотел сказать, — меня ставит в тупик то, что, возможно, вовсе не входило в намерения российских авторов и не является сознательной подделкой, стилизацией и т.п., — неподготовленность к писательскому труду. И, похоже, нежелание учиться. А ведь литература, подобно столярному делу, — это ремесло, которым овладевают не сразу. Ну и, конечно — стоит ли повторять? — меня не увлекает содержание [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

9.8.10

Ты просишь, дорогой Гена, рассказать про нашу жизнь. Вот краткое описание. «Солнце выжгло с небес влагу, и по безводью сам собой занялся огонь. Горела земля с травой и лесами на ней, дымилась воспаленные внутренности болот, мгла стлалась по ветру, и за десять шагов не видать было друг друга». Ну, и т.д., «Два Ивана», гл. 1.2. Или другой фрагмент «о достопамятной московской жаре, когда деревья среди лета желтели и теряли листву, петухи и люди начинали невесть с чего метаться по дорогам, а воздух был отравлен дымной мглой, от которой слезились глаза и возникали галлюцинации». «Этюд о масках», стр. 278. Ничего особенного тут не добавишь.

Кроме, разве, того, что «Этюд о масках» я написал при той самой жаре 1972 г., быстро, как никакую потом другую свою вещь, месяца за три. И нынешний свой роман, как тебе уже говорил по телефону, завершил при новой жаре небывальными темпами. Даже встревожила такая неожиданная быстрота, легкость показалась лукавой. Вчера начал перечитывать: зря тревожился, еще надо работать. Но главное, есть над чем, в этом я по крайней мере убедился.

Открыл который раз воспоминания Н.Я. Мандельштам, сразу попал на строки: «Мы даже не знаем..., как на месте цветущей страны образуется унылая провинциальная земля, лишенная мысли и голоса». Вот камертон, вот уровень, всегда читается, как впервые. И в той же главе («Недобор и перебор»), очень критично об Европе, о книге Элиота. Писалось лет сорок назад — но как злободневно! [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

21 авг. 2010

Слава Богу, из Москвы утешительные новости, дорогой Марк: похолодание и проч. А у нас сегодня сияющий летний день, пышная зелень, никаких примет надвигающейся осени.

Минувшей ночью ни с того ни с сего у меня разболелась челюсть, что-то вроде невралгии тройничного нерва, я хватался то за одну книжку, то за другую, пока, наконец, не удалось заснуть на рассвете. Между прочим, на этих днях я снова в который раз листал и почитывал «Стенографию конца века», непонятным образом меня притягивает эта книжка, несмотря на то, что я почти никого не знал из тогдашних твоих собеседников и собутыльников, а потом и вовсе укатил. Но неизменно все эти разговоры воскрешают для меня то время, полное ожиданий, разочарований, новых надежд и новой горечи, и поисков утolenия в подчас наивном философствовании или, лучше сказать, историософствовании, которому ведь и я был не чужд. Мало кто остался теперь в живых из этого круга.

После предварительного окончания моих трудов, о чём я тебе писал прошлый раз (вместе с книгой, вышедшей в прошлом году, получается целых восемь томов), наступила пустота, и... и снова этот вечный вопрос: Wozu? (Вопрос Готфрида Бенна.) Правда, я начал царапать кое-что, фразы лепятся без труда, но это всего лишь натренированная рука, практика стольких лет. Удастся ли вдохнуть в них живую душу, вот вопрос. Кажется, я теряю эту способность. Кажется, перечитывая старые тексты, пусть и неумелые: вот когда писал по-настоящему. И не было не то чтобы надежд, какие там надежды, но и мысли о читателях, о том, чтобы написанное опубликовать; важно было одно: написать. Хотя любовь имеет целью продолжение рода, человек давно разделил секс и деторождение; то же можно сказать о писании и публикации.

Теперь все эти рассуждения выглядят нездоровым идеализмом, если не позой. Но ведь так оно и было.

И всё-таки: не лучше ли, не отрадней было бы, если бы вместо всего этого торжища, этой ярмарки тщеславия, зависти, дурацких иллюзий, вместо этой толкотни вокруг редакций, суеты и трухи журналов, издательств, электронно-фантомной квазилитературной жизни, — не лучше ли было бы общаться друг с другом в кругу подлинных служителей духа — позволим себе, наконец, эту выпренность, — в независимом сообществе, той самой, осмеянной и всё же манящей Касталии, но такой Касталии, где творят и обмениваются плодами творчества, в той Новой России, о которой я когда-то писал наполовину в шутку, наполовину всерьёз. И — «всё те же мы, нам целый мир чужбина!»

А теперь протрём глаза и поглядим вокруг [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

29.8.10

[...] Кажется, я закончил перечитывать и выправлять свой роман. Дважды читал его вслух Гале, сама она, к сожалению, читать не смог-

ла, у нее возобновились неприятности с глазами. Врач сказала, что это результат жары, глазам стало не хватать кислорода. Пришлось опять сделать укол, возможно, придется еще повторить, посмотрим. Так что и для нас гарь не прошла бесследно. Но чтение вслух оказалось бесполезным, оно медленней, внимательней обычного, довольно много уточнил, сократил пять страниц. Галя роман приняла, буду теперь пристраивать по редакциям.

Самому мне иногда казалось, что у меня что-то получилось. Но приходится держать в уме мысль о чужеродном взгляде. (Как сказала однажды известная тебе журнальная деятельница: «У нас с вами что-то не совпадает».) Это, увы, естественно. В последнем «Знамени» опубликован текст неизвестного интернетовского литератора, «Исход», не столько проза, сколько документ молодежной субкультуры: наркотики, бессмысленные побоища, ранние смерти. Долго читать я этого не смог, поэтому судить не берусь, но смутили комментарии солидных деятелей: их диагнозы кажутся поверхностными. Посмотри, если будет желание. Я вдруг подумал: юноши и подростки пушкинских времен ориентировались на античные доблести: честь, достоинство, слава, подвиг. Дворянское меньшинство, разумеется, это оно определяло влиятельную культуру, быт, представления о литературе, искусстве. Сейчас, как никогда, вкусы определяют массовые, преимущественно инфантильные субкультуры, толпы истеричных поклонников в концертных залах, на стадионах, их обслуживает и поощряет, делает на них доходы самый влиятельный бизнес, телевидение и пр. Особый разговор об интернете. Недавно дочка передала мне специальный выпуск журнала «Эксперт», посвященный этой теме. («Интернет вывел новую породу людей — человек кликающий».) Очень интересные материалы о перспективах литературы интернетовской и «бумажной». Мы (наше поколение) вошли в интернетовскую эпоху, еще храня в себе память о прошлых измерениях культуры, обладая уже утвердившейся системой ценностей; входя в интернет, мы знаем, что искать, что выбирать, что предпочитать, для нас это великое подспорье. Новые пользователи, погружаясь в этот хаотический мир, бывают лишены предварительных ориентиров, они могут обходиться в лучшем случае информацией о разрозненных фактах. Пока еще непонятно, чем это чревато. Все меняется слишком быстро. Важно, чтобы совсем не терялась связь с традиционными представлениями, с основой, системой ценностей, жизненно необходимых для функционирования культуры. В этом, думается, функция, или, если угодно служение малочисленных хранителей-«касталийцев». Только отгораживаться, «инкапсулироваться», думаю, не надо, надо следить за происходящим,

сопротивляться разложению, искать, осмысливать свое место, навредить мосты. Как бы при этом зарабатывать на жизнь, доходить до аудитории — вот вопрос [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

29 авг. 2010

Дорогой Марк, поздравляю с окончанием большого и, очевидно, нелёгкого труда. Я часто вспоминаю совет Флобера читать свою прозу вслух; ты последовал этому правилу. Как называется роман? Размер?

А вот что касается пристраивания в редакциях и этого «у нас с вами что-то не совпадает»...

Да, не совпадает. Ну и что? Не хочется об этом говорить.

Квазиroman «Исход» мне знаком, я увидел его в Журнальном зале, почитал немного, остальное просмотрел; прочёл и комментарий редакции. Хочется оправдаться: зачем мы это печатаем. Это напомнило мне напечатанные в том же журнале года полтора тому назад идиотические полупохабные стихота Фанайловой, в тот раз для оправдания понадобилась целая учёная дискуссия. В сущности, дискутировать не о чем. Ни эти стихи, ни этот роман не имеют отношения к литературе. Документ молодёжной субкультуры, пишешь ты. Антикультуры, а не субкультуры. Слово «культура» подверглось невообразимой инфляции.

Повествования наподобие «Исхода» — романы, рассказы — появлялись уже не раз. Дискуссии о современной молодёжи оказываются бесплодными.

Да, и я, как и ты, чувствую себя жителем Атлантиды, на наших глазах материк опускается на океанское дно. Выход, спасение, бегство, эвакуация, — то, что я могу придумать (ты объединяешь их одним словом: инкапсуляция), — на первый взгляд неприемлемы, даже попросту невозможны. Во всяком случае, запереться в какой-нибудь новой башне слоновой кости истинному касталийцу как будто не подобает. Но ведь именно так обстоит дело на самом деле. Рынок пошлятины процветает, это одно. Предпринимаются попытки, иногда удачные, создавать вещи срединного достоинства: приспособленные к массовому потреблению, но более или менее пристойные, даже талантливые: это другое. Возлагать на эту золотую середину серьёзные надежды не приходится. И, наконец, третьё: культура духа, игнорирующая рынок. Ютась на обочине, она, как ни странно, всё-таки не исчезает. Не об этом ли идёт речь...

Вероятно, интернет как поприще культуры и литературы разделит судьбу телевидения. Уже почти разделил. Что станет со злополучными касталийцами, неизвестно. Но они — такова единственная надежда — будут, как и прежде, находить друг друга. Живя в своём времени, они будут противостоять времени. Делать своё дело, сопротивляться времени — ведь это и означает сопротивляться разложению, не правда ли? [...]

10 сент. 2010

[...] Я перечитал твоё последнее письмо (от 28 авг.) и то место, где говорится, что отворачиваться от реальной ситуации, в которой очутилась литература, — от эпохи интернета, тотальной коммерциализации, победного шествия попсы и т.д. — не следует, что «надо следить за происходящим, сопротивляться разложению, искать, осмысливать свое место, наводить мосты...»

Я бы ответил на это так: надо существовать. Собственно, это и будет означать сопротивление. Мосты? какие мосты? Надо делать своё безнадежное дело. Заставить себя поверить в то, что, занимаясь своим делом, мы в самом деле способны выдать на-гора нечто противостоящее пошлятине (как бы она ни называлась: субкультура, интернет-культура или ещё как-нибудь). Игнорировать не в том смысле, что не принимать во внимание рыночную словесность, её повсеместное присутствие, её победоносный натиск, — но в смысле особого рода аристократической надменности. Вроде того, как Гаев говорит лакею Яше: «Отойди, любезный, от тебя курицей пахнет».

Видя на домашнем экране (о чём ты пишешь) охваченные истерией толпы в концертных ангарах и на стадионах, думаешь: какой макабрской пародией обернулась мечта Шиллера и Бетховена: Seid umschlungen, Millionen! [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

28.9.10

Дорогой Гена, вчера, точнее, сегодня, за полночь, я вернулся из Франции — а уже завтра лечу на две недели в Черногорию, до 13.10. Галя в мое отсутствие купила билеты. Куча неотложных дел, нет нескольких свободных минут, чтобы написать толком. Было неожиданно много интересного, особенно встречи, надеюсь что-то рассказать, когда вернусь [...]

14.10.10

Вчера вечером, дорогой Гена, я вернулся из Черногории — и на автоответчике услышал твой голос, а в компьютере прочел твой вопрос: где я? Там же было письмо из сетевого литературного журнала с просьбой разрешить публикацию моей статьи о тебе. Я ведь писал тебе, что уезжаю на две недели, ты, наверно, просто забыл. Тут же я смог убедиться, что статья благополучно напечатана, а с ним твой рассказ, весьма симпатичный [...]

В Черногорию я уезжал с пустой головой — известное состояние после завершения большой работы, а вернулся со множеством замочков, которые надеюсь постепенно оформить и, может быть, тебе переishлю. Но сначала надо отделаться от разной деловой и житейской теушки. Пишу, просто чтобы ты знал о моем возвращении [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

14 окт. 2010

[...] Ну-с, я живу тут без особых происшествий, если не считать того, что, отделившись от гриппа, я заполучил кое-какие урологические неприятности, не могу как следует спать по ночам и т.д. Хожу к врачу. Занимался я одним рассказом или небольшой повестью на тему, восходящую к истории с Гёте и молодой Ульрикой фон Левецо(в). Финалом этой истории была, если ты помнишь, замечательная Мариенбадская элегия. Но теперь пришлось прерваться, так как Марковский прислал мне макет очередного, 5-го тома. Целую неделю я вычитываю эти тексты и всё ещё не кончил. Читать нужно покорректорски, но волей-неволей обращаешь внимание и на такую второстепенную вещь, как содержание. Сочинения, написанные более или менее давно, вызывают смешанные чувства, кое-что даже нравится, но лишь отдельные места [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

19.10.10

Наконец, дорогой Гена, получил твои книги, три тома из четырех, зато по четыре экземпляра каждый, могу дарить. Еще раз тебя поздравляю. Издано очень красиво, посмотрел пока оглавления: почти все я читал, а когда какой-нибудь заголовок казался незнакомым, открывал — оказывается, и это читал, просто не узнал название. Теперь они лежат передо мной на столе, буду заглядывать.

В Черногорию я взял с собой поэтов, Мандельштама, Бродского и французского Pessoa. Лучшего чтения нельзя было придумать, это можно перечитывать бесконечно, как будто заново, открывая каждый раз новые глубины. Вникая в гениев, сам вырастаешь, мысль, чувство работают интенсивней. Читал и думал: с ними и прожить бы недолгий остаток, не тратя времени на разбавленную, приблизительную продукцию современников. Нет, без современников не ощутить недолговечное переменчивое вещество окружающего времени, воспринимать себя в нем на пересечении с вечным.

Вспомнились слова Надежды Яковлевны Мандельштам: существуют только поэзия и проза, прозой для нее были немногие великие романы, остальные она числила по какому-то другому, неполноценному разряду. Я делал на эту тему обычные записи стенографическими закорючками, возникла мысль о чем-то вроде поэтической прозы в духе самого Мандельштама. Пока начал переносить эти закорючки в компьютер, вот тебе некоторые наброски по ходу чтения.

«Читая «Воронежские тетради» подряд, ощущаешь ужас жизни среди пустых равнин: «О, этот медленный одышливый простор! / Я им пресыщен до отказа». И в тот же день (16.1.37) готовность все-таки любоваться: «И все уютжится, плотится без морщин / Равнины дышащее чудо. / А солнце щурится в крахмальной нищете». Не знаю, оценят ли жители юга это несравненное описание знакомого мне пейзажа, блестящего на солнце наста. Действительно чудо! Но в тот же день: «Что делать мне с убитостью равнин, / С протяжным голодом их чуда?» И одышка, и голод — все здесь. «И все растет вопрос: куда они, откуда, / И не ползет ли медленно по ним / Тот, о котором мы во сне кричим — / Народов будущих Иуда?» «Повязку бы на оба глаза! « — написано в тот же день. «Уж лучше б вынес я песка слоистый нрав / На берегах зубчатых Камы». (Прекрасно ощущение лесных берегов.) А через день, 18.1.37 — мое любимое: «Не сравнивай: живущий несравним. / С каким-то ласковым испугом / Я соглашался с равенством равнин». Эти стихи я давно повторяю наизусть: «Где больше неба мне — там я бродить готов». Это мое чувство, чувство человека, готового (способного) увидеть чудо в пейзаже, который не поэту кажется убогим. Но это проще повторять, когда легко скользишь на лыжах по сияющей равнине. Не то голодный одышливый невольник, знавший другую жизнь. «И ясная тоска меня не отпускает / От молодых еще воронежских холмов / К всечеловеческим, яснеющим в Тоскане». Надежда Яковлевна вспоминает, как сам Мандельштам пронизировал над этими строчками, возникшими словно нечаянно: вот что, оказывается, меня не отпускает, всего лишь неясная тоска.

И в тот же день: «Еще не умер ты, еще ты не один, / Покуда с нищенкой-подругой / Ты наслаждаешься величием равнин, / И мглой, и холодом, и вьюгой». Вот величие подлинного поэта — способность среди всех невзгод ощущать счастье повседневного существования и напоминать о нем, передать его другим».

«Каким спасением, каким глотком повседневного воздуха были для Мандельштама среди ссыльного воронежского задыхания воспоминания о Европе, образы средиземноморской культуры, архитектуры, живописи, природы, музыки. Я выделял эти любимые стихи, заучивая их наизусть, но какая подлинная, драматическая полнота возникает, когда прослеживаешь чередование датированных стихов! «К ноге моей привязан / Сосновый синий бор» (9.1.37) «Улыбнись, ягненок гневный, с Рафаэлева холста» (тот же день — и тут легкий воздух, и цвет синели). «В нашей памяти впервые / Чуешь вмятины слепые» (12-18.1). «Скучно мне: мое прямое / Дело тараторит вкось — / По нему пришлось другое, / Надсмеялось, сбило ось» (тот же день). «И, спотыкаясь, мертвый воздух ем» (1.2.37). И тут же: «Как светотени мученик Рембрандт / Я глубоко ушел в немеющее время» (4.2). «Разрывы круглых бухт, и хряц, и синева... / Я с вами разлучен, вас оценив едва» (тот же день). «И вспоминаю наизусть и всуе» (8.2). Это лишь малая выборка. «Я молю, как жалости и милости, / Франция, твоей земли и жимолости» (3.3). «Я видел озеро, стоящее отвесно, / С разрезанною розой в колесе» (4.3). Тут оживает каждая деталь, дышит насыщенная для жизни память — а ведь видел что-то лишь однажды, в юности, может быть, смотрел потом репродукции — но это наполняло жизнь не меньше, чем тягостное настоящее, помогало переносить ее. Я, читая, вспоминал старинные французские городки, в которых только что побывал — значит ли эта культура для меня, для моего поколения столько же, сколько для Мандельштама, способны ли мы сделать частью своей жизни что-то большее, чем туристические впечатления (см. телевизионную рекламу путешествий)?»

У Бродского меня задела строка: «Кто не жалуется на судьбу, тот ее недостоин». Но я, прости Господи, не жалеюсь. Может, от легкомыслия? Кто из нас Нобелевский лауреат? И Мандельштам не жаловался. Нет, сомнительное утверждение. Судьбы надо удостоиться, осилив, приняв ее, это не всякому дается. У меня есть верлибры на близкую тему, есть над чем думать.

Перед тем, как сел тебе это писать, позвонил в издательство «Время»: там приняли мой новый роман «Увидеть больше, или Ожившая память». А до этого его отклонили в журнале «Знамя». Хочешь, могу прислать. Или дождись бумажного варианта, читать легче [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

20 окт. 2010

[...] Мандельштам, о котором ты пишешь увлекательно, «пришёл» ко мне довольно поздно; я и прежде слышал это имя, но прочёл, если не ошибаюсь, только в 60-х годах. И, хотя это был возраст, когда поэзия воспринимается уже не так, как действовали в 15-16 лет Блок, Лермонтов или Некрасов, впечатление от первых стихов Мандельштама было оглушительным. Новый континент. Тем не менее некоторое время я мысленно помещал его в первом ряду, а не среди небожителей. Сейчас он — «там, за огненной рекой», как сказано у Ходасевича, а вернее, на вершинах, вблизи Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Некрасова, Блока, Гейне, Гёте, Рембо, Бодлера, Целана [...]

Ты упомянул Бродского («Кто не жалуется на судьбу, её недостоин»). В этом изречении чувствуется нарочитость парадокса, но есть и некоторый резон. Но я, как и ты, кажется, никогда не сетовал на судьбу. Всё же отчётливо вижу, как жестоко надсмехалась жизнь над всеми нами [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

29.10.10

Сегодня, дорогой Гена, у нас впервые покrapал мокрый снег, лежал полчаса — мерзейшая осенняя погода, «петербургская», как называл ее Достоевский. Одновременно с твоими тремя томами мне принесли толстенную книгу воспоминаний о моем покойном товарище Толе Якобсоне (знал ли ты его? В книгу вошел фрагмент о нем из моего очерка «Три еврея»). Время от времени раскрываю ее — и зачитываюсь. Памятные события, множество знакомых людей — и какие среди них были замечательные, какая была напряженная, наполненная жизнь! Захотелось заглянуть в собственную расшифрованную стенографию тех лет (60-х — начала 70-х) — право, и тут многое стоило бы когда-нибудь опубликовать, интересно же, сам успел забыть. Может, это вообще окажется лучшим из написанного (прожитого, продуманного) мной.

Я сейчас понемногу обрабатываю черногорские наброски, тоже начатые как стенография. Посылая тебе в прошлом письме фрагменты, я вспоминал слова Надежды Яковлевны Мандельштам, что для нее, как и для ОМ, существовали только поэзия и проза, слово «роман» отождествлялось с чтивом, «Войну и мир» или «Идиота» она романами не считала. (Верлен ту же примерно мысль выразил словами: все прочее литература.) Ты эту тему оставил без комментария. А я, узнав из твоего письма, что ты сейчас начал работать над повестью, связанной с историей отношений Гёте и Ульрики, очередной раз вспомнил свои повторявшиеся призывы: написал бы все-таки о своей жизни, о родных, близких, друзьях. О Гете уже написаны и будут еще написаны горы без тебя, есть такое, о чем мог бы рассказать только ты, запечатлеть, осмыслить, сохранить для других. Пока еще осталось время. Увы, твой ответ я мог заранее узнать, перечитав свою статью к твоему собранию. Но все-таки подумай еще [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

30 окт. 2010

[...] Фраза Надежды Мандельштам о том, что для них существовали только поэзия и проза, слово «роман» было табуировано, — для меня не существенна: слишком многое стоит за этим словом, чтобы можно было попросту отбросить его как синоним неприятельного чтива. Вероятно, ты помнишь замечательную статью самого Осипа Мандельштама «Конец романа», для него последним серьезным произведением этого рода был «Жан-Кристоф», ныне полузабытый (я читал его подростком с большим увлечением). Но прогноз не оправдался, как несостоятельными оказались и похороны романа, предпринимаемые позже, и не раз [...]

Ты снова приглашаешь меня писать заметки «из жизни». Когда я приехал в лагерь, мои вещички быстро растаяли, железнодорожную шинель моего отца, в которой я ходил на занятия в университете, у меня выманили, прочее было, как водится, украдено; зато мне присылали из дома книжки, на которые никто не покушался. И я помню, как я однажды, получив по какому-то поводу освобождение в санчасти, лежал на верхних нарах, накрывшись довольно ветхим одеялом и наслаждаясь покоем и тишиной опустевшего барака, и читал том Мопассана в теперь уже антикварном издании Conard начала века; там цитировалось письмо Флобера, где сказано было примерно следующее: если происшествия твоей жизни и события окружающего становятся ценными для тебя лишь поскольку они могут быть материалом для литературы, тогда впе-

рѐд — пиши, печатайся. Я это рассказываю потому, что сейчас, вычитывая свои старые сочинения, вижу, что я буквально растаскал свою жизнь по кускам и кусочкам; надо ли заниматься очищением их от наростов и наслоений той самой, презираемой романистики? Всё же мне приходилось кое-что записывать для памяти, просто так, и о себе, и о родне. Но предлагать это для публикации не стоило [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

2.11.10

Только что, дорогой Гена, вошел в «Журнальный зал» и увидел в «Новом берегу» знакомый рассказ «Девушка и фаталист». Ты мне его когда-то посылал. Перечел — и решил взять обратно свои слова, что ты не пишешь о себе. Для меня, во всяком случае, были узнаваемы и сама история, и женщина (о ней ты написал все-таки слишком мало, на твоих страницах преобладают женщины другого типа). А до этого стал перечитывать «Далекое зрелище лесов» — с первых страниц словно узнавал места. Наша близкая подруга когда-то купила себе домишко в такой вот тверской деревне (Бортники, п/о Моркины горы, ты мог там бывать). Я тебе писал, как несколько лет назад мы к ней заехали в гости. Бездорожье среди бескрайних лесов, редкие развалюхи были заселены, продуктовая лавка привозила хлеб раз в неделю. Я пытался себе представить, как там можно жить, а наша подруга жила все лето и наслаждалась, возилась в огороде, не хотела осенью уезжать. Врач по профессии. (К сожалению, ее уже нет в живых.) Твои описания почти документальны. Будем надеяться на исследователя, который когда-нибудь по твоим сочинениям, эссе, письмам реконструирует цельную последовательную историю.

А еще тут же узнал, что ты получил премию Алданова за рассказ «Беглец и Гамаюн», тоже перечитал. Что-то часто приходится тебя поздравлять [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

4 ноября 2010

[...] «Автобиографизм» в общем-то нормальное явление; вопрос лишь в том, достанет ли у автора терпения и охоты переписывать «факты». Я всегда думал, что пережитое может и должно стать материалом, сырьём — но только сырьём — для литературы, которая, как волк, смотрит в лес; и почти произвольно Wahrheit перетекает в Dichtung [...]

Пишу тебе, дорогой Марк, как иногда бывает, не дожидаясь ответа на предыдущее письмо, надеюсь, что у тебя всё более или менее благополучно. Вчера поздно вечером был густой туман, сегодня свежая солнечная осень, но краски уже поблели. Вопреки обычаю, вместо того, чтобы с утра усесться за компьютер, я вышел пройтись по пустынным дорожкам, по дороге вдоль рощ и лугов, которая называется Salzsenderweg, — в XIV веке здесь проходил торговый путь, купцы везли соль из Зальцбурга. А кругом был дремучий лес.

Шёл и мысленно слушал американский фокстрот пятидесятилетней давности:

«Мой осёл
Мимо сёл
Мимо рощи зелёной
Весело бежит, бубенцами звеня.
Я в тележке сижу, безнадёжно влюблённый,
Выйди из ворот и взгляни на меня-а-а!
Тарарам, тарарам, мимо рощи зелёной...»

[...] Когда-то давно, в Москве, в августе 61 года, накануне дня, когда предстояло отправиться в Калинин, а оттуда в санитарной машине на северо-запад, в село Есеновичи на границе Вышневолоцкого и Кувшиновского районов, по распределению в участковую больницу, — я лежал перед сном и разглядывал купленные к отъезду книги: только что переведённую с американского, прекрасно изданную «Коронарную болезнь» М. Плоца, пособие по судебной медицине, которое, я думал, пригодится мне в деревне, ещё что-то, и кроме того, роман Ремарка «Жизнь займы», тоже свежепереведённый, — меланхолически-поэтичное произведение на грани рыночной макулатуры. Это было время, ты его наверняка помнишь, когда вспыхнувшая было с большим опозданием слава Ремарка стала так же быстро угасать. Печальное повторение, чуть ли не пародирование самого себя, подобно тому, как это случилось с поздними романами Хемингуэя.

И вот сейчас, когда я начал вычитывать предпоследний, 6-й том моих творений, я принялся ловить себя на том же, на повторном кружении вокруг уже обсосанных тем и обыгранных ситуаций, едва ли не

самопародировании. Утешаешь себя тем, что «не всё ещё сказано», а жизнь между тем влачится, кувыркается и катится вперёд, и то, что тынешь ещё написать, рискует стать прошлым вдвойне [...]

Мне захотелось взглянуть на твой этюд «Мой век», я снял с полки «Способ существования» и как-то зачитался, и вот уже несколько вечеров перечитываю эту книгу, листая то там, то здесь. Девяностые годы, иногда 80-е, даже 70-е, а ведь ничуть не устарела и по-прежнему толкает на встречные размышления.

На стр. 155 и далее — текст под титлом «Непосредственность чувств», цитаты Гоголя, Гессе... Либо мы воспринимаем прозу (resp. Драму) с её житейскими коллизиями и действующими лицами непосредственно, с наивным доверием к автору. Либо за ними угадывается что-то иное, система трудно разгадываемых символов, надреальные образы, вечные архетипы. Именно так: или — или. Но нет, на самом деле «и — и». Что-то похожее на принцип дополнительности. Научиться понимать и так, и этак, отменив альтернативу, — а может быть, и писать, полубессознательно повинувшись потребности сообщить одновременно и о конкретно-реальном, и о смутно-надреальном, и о времени, и о вневремени [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

11.11.10

Мне тоже, дорогой Гена, (как, наверно, и многим пишущим), бывает знакомо это чувство: не начинаешь ли после многих лет работы в чем-то повторяться? Просто иной раз забываешь то, что уже писал, себя не перечитываешь — если не приходится составлять, как ты, свое собрание сочинений. Не помню, кто сказал, что писатель всю жизнь пишет, по сути, одну книгу. Меня отчасти спасает перемена жанра, то историческая или историко-биографическая проза, то детская сказка, то эссеистика, от мемуарной до «фантично»-фрагментарной, то верлибры, то фантастический гротеск.

Тебе пришлось, думаю, многое отбирать. В посмертных собраниях сочинений Чехова, как ты знаешь, выделялся раздел: работы, не включенные автором в свое собрание. Он не хотел переиздавать многие ранние рассказы, особенно периода Антоши Чехонте. Переиздают без него. Мне бы особенно отбирать не пришлось: практически все свои рукописи до 1971 года я, как об этом уже написано, позаботился своевременно уничтожить, надеюсь, ни у кого не сохранилось экземпляров. Кажется, могу ничего не стыдиться [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

12 ноября 2010

[...] Ты упомянул о «Стенографии». Я и сам её часто почитаваю; это летопись целого поколения русской (или русско-еврейской) интеллигенции; думаю, что она останется одной из лучших твоих книг. А вчера ночью я вновь проглядывал «Способ существования», перечитал, среди прочего, «Три еврея». Я знал покойного Юру Карабчиевского, но лишь заочно. Мы первыми издали его книгу о Маяковском, он присылал мне для хранения свои рукописи [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

24.11.10

Три дня, дорогой Гена, у нас продержался небольшой снежок, вчера я с удовольствием прогулялся по кружевному белому лесу. С ночи дождь все слизал. Почти месяц я оформлял небольшое эссе на основе черногорских заметок, сегодня вроде бы доделал, что мог, но уверенности нет. Пусть полежит, посмотрю потом. Обычное дело.

По какой-то попутной надобности я заглянул в книгу Григория Чхартишвили «Писатель и самоубийство». К известным причинам, которые толкают людей на самоубийства, у художника добавляется еще одна, пишет автор, возможно, самая болезненная: страх творческой импотенции. Безвозвратно уходит вдохновение, ничего не получается и т.п. Глава, как и все прочие, иллюстрируется множеством примеров. Нас с тобой, похоже, эта напасть миновала.

Галя, несмотря на проблемы с глазами, перечитала твою повесть «Я воскресение и жизнь», была опять восхищена, хотела сама тебе об этом написать. Но у нас третий день гостит внучка, у нее нет времени. Напишет, возможно, позже [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

28 ноября 2010

1. Advent

Дорогой Марк.

Общее впечатление от черногорских записок — тихая музыка. Плавное движение от ландшафтов, от волшебного неба и моря, к неспешным мыслям. Умиротворённость, «утеха». Мне понравилось. И добавок ты вернулся к верлибрам.

Тут, конечно, много и провоцирующих мыслей; выхватываю наугад. Чувство благодарности за то, что живёшь. «Дивясь божественным природы красотам». — «За радость тихую дышать и жить Кого, скажите, мне благодарить?» — «Но пока мне рот не забили глиной, Из него раздаваться будет лишь благодарность». Что и говорить, чарующие стихи. (У Бродского, может быть, преодолевая себя.) Но мне это чувство, боюсь, незнакомо. Когда я читал в 17 лет главу Шопенгауэра «Von der Nichtigkeit und dem Leiden des Lebens»¹, это было как будто предостерегающим эпитафам к дальнейшему, ко всей жизни, которая (повторяя слова того же Бродского) «оказалась длинной». Легко сослаться на злодейский век, на несчастье родиться в России, наконец, на ремесло врача, который постоянно видит изнанку человеческого существования, но, быть может, речь идёт скорее о причинах эндогенных. Эндогенный буквально значит порождаемый изнутри. Свойственный изначально, чаще всего генетически запрограммированный, в данном случае то, что прозревали древние в известном наборе четырёх темпераментов. Общее отношение к жизни, переживание жизни сидит в нас и как бы подыскивает извне доказательства своей правоты. А их, увы, немало.

Ты писал мне прошлый раз о книге Чхартишвили. К сожалению, я её не читал; но слишком часто, когда речь заходит о писателях, покончивших с собой, да и не только о писателях, принято ссылаться на внешние обстоятельства, например, травлю, Несчастную любовь, мнимому или действительному разочарованию в советском режиме — как в случае Маяковского. При этом игнорируется медицинская сторона, о ней не думают или попросту не догадываются. Я немного спорил с Беном Сарновым о самоубийстве Маяковского, пытаясь напомнить об этой стороне. Известно, что поэт всю жизнь играл с мыслью о самоубийстве.

Поводов или причин — либо причин, которые на самом деле — повод, — всегда достаточно. Камю задаётся вопросом, что удерживает человека от естественного желания свести счёты с жизнью. Для некоторых это в самом деле естественное и часто неодолимое желание, и тут на помощь приходят обстоятельства. Нечего и говорить о том, что завязывается клубок, гордиев узел, разрубить который может только выстрел, верёвка или горсть таблеток. Распутать этот клубок задним числом не так-то просто. Всё же биографу не мешало бы познакомиться с медицинской литературой на эту тему, с психиатрической генетикой.

¹ О ничтожестве и страдании жизни (нем.)

Я отвлёкся от твоего эссе, мне хотелось просто сказать что-то в связи с твоими замечаниями о совершенно неожиданно прорывающемся чувстве у Мандельштама в Воронежской тетради. Он как будто спохватывается: а ведь на самом деле эти унылые равнины прекрасны, величественны! И появляются грандиозные стихи. Подтекст — хвалебная песнь жизни. Или попытка пропеть эту песнь. Или — перебороть себя?

Когда мы говорим об убитых русских поэтах, убитых чужою ли рукой, своею ли собственной, о мученике, который приводит Герцен, а за ним, столетие спустя, Ходасевич, медицинский разговор начинает казаться неуместным, почти святотатственным. Тем не менее самоубийство требует, среди прочих, и такую оценку. В иных случаях она становится главной. Дриё Ла Рошель (о котором я упоминал) отравился газом накануне суда над ним как над коллаборантом. Но известно, что он страдал приступами тяжёлой депрессии, а из написанного незадолго до смерти *Récit secret*¹ следует, что мысль о самоубийстве, борьба с искушением преследовали его всю жизнь. Ещё наглядней случай Клауса Манна, потомка семьи, где самоубийство — на каждом шагу: дед с отцовской стороны; две тётки, сёстры Томаса Манна; брат, младший сын Т. Манна. Самоубийство — довольно частая тема и у самого Т. Манна [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

29.11.10

Замечательный отклик, дорогой Гена, спасибо. О том, что мироощущение каждого из нас во многом определяется различием гиппократовых темпераментов, я сам писал тебе не раз по разным поводам. Об эндогенной предрасположенности к самоубийству ты говорил мне много лет назад, прочитав мой текст об Илье Габае. В книге Чхартишвили (Б. Акунина) есть фрагмент и о нем (автор консультировался со мной по этому поводу), и о Якобсоне, и о Карабчиевском. Есть там и о Ля Рошеле, и о Клаусе Манне, о медицинских аспектах проблемы. Пессоа утверждал, что Шекспир страдал депрессией — судил, должно быть, по себе; от самоубийства, его, думаю, спасала работа (если не считать медленным самоубийством алкоголизм). А Голосовкера поджидала психическая болезнь (подробностей не знаю). Нас пока судьба уберегла от самого худшего, грех жаловаться [...]

¹ Тайный отчёт (фр.)

Б. Хазанов — М. Харитонову

12 дек. 2010

[...] Что тебе сказать нового, мой старый, дорогой Марк... нас завалило снегом; потом все начинает таять; потом снова. Сырой холодный ветер. Но на Мариенплац, как ни в чём не бывало, народ толчётся, всё заставлено лавчонками с мишурой и сувенирами, торгуют глинтвейном, сияют звёзды Давида, и высится гигантская ель. У меня вот уже месяца два — небольшие неприятности по части урологии, глотаю таблетки, хожу к врачу. Вчера были посиделки с чтением, они устраиваются раз в месяц в помещении одного клуба, собирается человек десять выпить чаю, послушать и поболтать, некоторые читают свои сочинения, я прочёл один старый рассказ под названием «Сера и огонь» — ты его, вероятно, знаешь. В нём многое придумано, но в основе всё же — реальный случай из времён моей деревенской практики: самоубийство человека, который сожительствовал с дочерью [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

17.12.10

[...] Перечитал твоего «Нагльфара» — заново, как будто впервые. Это очень серьёзная, настоящая проза, в нее надо углубляться, анализировать в контексте всего твоего творчества, предыдущего и последующего, (которого еще не было двадцать лет назад, когда я читал рукопись книги). Работа уже не для критики, а для вдумчивого литературоведения. У Л.Я. Гинзбург я когда-то прочел: литературоведение помогает сохранить литературные произведения, «которые перестают существовать, когда о них перестают говорить». Увы. У меня ведь, в общем, та же проблема — проблема непрочитанности (по тому подлинному счету, который нас только и интересует). О тебе, впрочем, в самые последние годы стали говорить все больше. Я сумел написать о тебе лишь одну статью, для большего мне надо бы отрешиться от других дел, самоотверженности не хватает. Впрочем, эту статейку в разных вариантах, в разных изданиях напечатали все же раз пять, если не больше, тоже неплохо. Будем надеяться. В своей последней работе я не случайно захотел поразмышлять о судьбах людей, не прочитанных при жизни [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

18 дек. 2010

[...] Спасибо на добром слове о Нагльфаре. Я полистал давнишний этот роман. Он не был прочитан, это верно. Правда, в Германии, где он вышел под названием «Unten ist Himmel»¹ (которое я придумал вместо русского названия по настоянию издательства), было довольно много откликов. Его перевела Аннелоре. В её представлении старый московский дом был образ вселенной наподобие трёхярусной модели средневекового мира. Чердак, откуда вышагивает в смерть главный персонаж, — это рай, а подвал, обиталище старика-колдуна и черно-книжника, — преисподняя. Ребёнок, свидетель и второстепенный участник происходящего в доме, переворачивает эту модель вверх ногами: лёжа ночью без сна, он воображает, будто потолок — под ним, рядом, как цветок на стебле, стоит на своём проводе погасший абажур, а наверху, словно в небесах, спят в своей кровати родители.

Цитата Лидии Гинзбург насчёт блестящей перспективы когда-нибудь очутиться в объёмах благосклонного литературоведа может, конечно, служить неким возражением, чего доброго — утешением; но что касается меня с моими сочинениями, я, ей-Богу, не могу не отнестись к ней скептически. «Но я предупреждаю вас, что я живу в последний раз», — слова Ахматовой. Как хотелось бы их повторить. В ответ слышится хриплый, прокуренный глас народа: «Умер Максим, ну и хер с ним! «Откинем лапти, и на другой день никто о нас не вспомнит.

Сегодня снова белый, снежный день, утром было проглянуло солнце и скрылось. Кладбище завалено снегом, я с трудом добрался до маленького памятника, который поставил Лоре. Три года, как она ушла. Кто бы подумал, 54 года тому назад, когда мы познакомились, что она будет лежать за тысячу вёрст, в другой стране. Всё смешалось: метель времени [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

24.12.10

С наступающим Рождеством, дорогой Гена! Сегодня у вас Heiligabend, перед домом, как всегда, наверное, ёлка. А я вчера сходил на традиционный предновогодний вечер издательства НЛО, в одном из московских кафе на Петровке, была представлена книга о традици-

¹ Небо внизу (нем.)

ях советской ёлки. Мне прямо в кафе принесли подписать договор на книгу «Стенография начала века». Большие куски из нее ты знаешь, но целиком она, думаю, интересней. Надеюсь, выйдет до конца года, а если еще вместе с новым романом — придется загрузить тебя чтением.

Из существенных встреч: ко мне подошел Борис Дубин, предложил выступить где-то на тему о современной литературной ситуации. Подарил две своих новых книги: «Классика, после и рядом» (о литературе, только что вышла в том же НЛО) и «Россия нулевых» (социологические статьи). Посмотрел по дороге в метро: очень, как всегда, интересно. Я к этому человеку отношусь с давним уважением, он мне во многом близок. Хорошо, если встреча будет иметь продолжение, собеседников желанного уровня не хватает [...]

У нас установилась славная снежная погода, с удовольствием бегаю на лыжах.

Всяческого тебе благополучия в наступающем году! Обнимаю, твой Марк

Б. Хазанов — М. Харитонову

24 дек. 2010

Дорогой Марк, спасибо за поздравление, в самом деле сегодня Heiligabend, по-русски сочельник, и ёлка с лампочками перед домом; в Германии, да и когда-то в России, это семейный, детский праздник. Только, к сожалению, вместо снега с утра идёт дождь, и Deutscher Wetterdienst вещает гололедицу. Я сижу дома. Сперва я был приглашён на сегодняшней вечер в одну немецкую семью, но потом договорились, что явлюсь завтра к рождественскому обеду. Ещё два-три дня тому назад была волшебная белая зима [...]

Как хорошо, что выйдет в свет «Стенография начала века», — кажется, издательство отдаёт себе отчёт касательно ценности и значения предыдущей и этой книги [...]

Читал ли ты нобелевскую лекцию Марио Варгаса Льосы? Там есть место, звучащее довольно актуально на фоне последних московских происшествий:

«Хотя не все ожидания полностью оправдались, переход Испании от диктатуры к демократии — один из образцовых для нашей эпохи примеров того, что, когда торжествуют здравый смысл и разум, а политические противники оставляют распри ради общего блага, результат может быть таким же чудесным, как на страницах романа в стиле “магического реализма”. Путь Испании от авторитаризма к свободе, от

отсталости к процветанию, от экономических контрастов и неравенства, свойственных третьему миру, к “обществу среднего класса”, ее интеграция в Европу и быстрое восприятие демократической культуры поразили весь мир и ускорили модернизацию страны. Для меня было крайне волнующе и поучительно наблюдать за всем этим вблизи, а порой и изнутри. Я горячо надеюсь, что национализм — неизлечимый недуг современного мира, да и самой Испании — не разрушит эту прекрасную сказку.

Я презираю национализм во всех его формах — провинциальную идеологию (скорее даже религию), близорукую и узколобую. Национализм сокращает интеллектуальные горизонты и таит в глубине этнические и расовые предрассудки, ведь он провозглашает в качестве высшей ценности, нравственной и онтологической привилегии, такое совершенно случайное обстоятельство, как место рождения. Наряду с религией, национализм был причиной самых страшных кровопролитий в истории — таких, как две мировые войны или нынешняя бойня на Ближнем Востоке. Именно национализм больше всего способствовал “балканизации” Латинской Америки, залитой кровью в бессмысленных битвах и спорах, растрачивающей астрономические ресурсы на закупку оружия вместо строительства школ, библиотек и больниц» [...]

Хотел тебе ещё написать о моей работе, точнее, о попытках что-то делать, но боюсь, день пройдёт: уже начинает смеркаться. Так что пошлю сейчас то, что успел написать, продолжение следует [...]

24 дек. 2010. Fortsetzung

Ну вот, дорогой Марк. Хотелось ещё что-то сказать не о «работе» — какая там работа, — а о каких-то подступах, неопределённых проектах, попытках в который раз обратиться с мыслями, вроде того как ищут на полу раскатившиеся бусины. Меня одолевают разные воспоминания — неизбежный удел старости, но коль скоро дело идёт о литературе, задача не в том, чтобы припомнить что-то и занести на бумагу, чем я и занимался всю жизнь, а в том, чтобы каким-то образом всё это соединить. Мне уже приходилось тебе об этом писать. Но ведь ты заметил, что я то и дело повторяюсь.

Когда-то, на предпоследнем курсе медицинского института, в ходе занятий психиатрией (на которую был отведён всего лишь один семестр) студентов возили в большую, наподобие Канатчиковой дачи, колонию для душевнобольных, находившуюся под городом; кроме того, что она служила приютом для стабильных инвалидов, в колонии находились и клинические отделения, большие общие палаты, ключи

от которых врачи постоянно носили при себе. Каждый из нас должен был принять участие в ведении одного больного, это значило подробно расспросить пациента, а затем познакомиться с его историей болезни, которая обычно представляла собой пухлое досье: записи врачей и консультантов, протоколы исследований, подробные отчёты родственников и пр.

Мне достался больной, у которого я обнаружил только один симптом — так называемую воздушную подушку, когда человек лёжа держит голову не на подушке, а *над* подушкой, причём голова ничем не поддерживается, и это может продолжаться долго. Во всём остальном он производил впечатление нормального здравомыслящего субъекта. Это был интеллигентный человек, вроде Ивана Дмитрича из «Палаты № 6». Он не скрыл от меня, что попал в больницу по недоразумению, охотно рассказывал о своей жизни. При этом он, кажется, не слишком заботился о хронологии. В его рассказе господствовала одна идея: ничто не происходит случайно.

Но когда я вернулся в комнату для врачей и приступил к чтению истории болезни, оказалось, что рассказ больного совершенно не соответствовал действительности.

Хотя мне приходилось позже читать и переводить довольно много специальной литературы, мои познания в психиатрии, вернее, то, что от них осталось, конечно же, безнадежно устарели. Я привык к классификации шизофрении, вообще к тому учению об этом заболевании, каким его создали великие классики — Крепелин и другие немцы. Вдобавок время учёбы происходило до фармакологической революции. Мой пациент находился в стадии продуктивного бреда, когда бред, в этом случае называемый паранойяльным, обрастает новым мотивами, совершенствуется, усложняется, с тем чтобы превратиться в стройную, замкнутую в себе паралогичную систему. В этой системе представлений больной живёт, как в крепости. Можно сказать, что, проделав огромный труд, он наслаждается его плодами. Но затем наступает следующая фаза, когда кирпичи рушатся — бред начинает распадаться. Одновременно расстраивается речь, знаменуя необратимый распад личности, и кончается всё это глубоким слабоумием. (Повторяю, это всего лишь — насколько я её помню — классическая схема.)

Чтобы приблизиться к внутреннему миру больного, нужно (это уже одна из идей позднейшей экзистенциалистской психиатрии) научиться «мыслить психопатологически». Но я заговорил об этих материях потому, что, как мне сейчас мнится, на этот процесс, точнее на его продуктивную фазу, можно взглянуть по-другому, глазами писателя. Типичный для параноидной формы шизофрении систематизиро-

ванный бред можно рассматривать как удавшуюся попытку синтеза. Можно предположить, что больному удалось справиться с лавиной впечатлений, с мельканием мыслей, с хаотическим наплывом памяти. Задача, аналогичная той, которую ставит перед собой прозаик. Разумеется, для писателя этот хаос психических содержаний, первоматерия души, — всё-таки только материал, в то время как душевнобольной может быть художником лишь вопреки своей болезни.

Чего доброго, и эти мои Betrachtungen покажутся тебе в опасном соседстве с бредом. Да и вообще: сто раз говорилось о том, что русскому писателю негоже рассуждать о литературе; дескать, наше дело — писать, рассуждают пусть немцы, а нас интересует не философия, а жизнь. — Но мы-то с тобой, не правда ли, очень часто идём параллельными путями. Да, хочется заключить, так сказать, в свои объятия прожитую жизнь. И для этого, похоже, литература предлагает два пути — два способа собрать раскатившуюся, как бусы, жизнь. Либо изобретать судьбу, предначертанный план — либо соединить времена своей жизни в единое, колышющееся, живое, как плазма, Время. И тогда окажется, что оно-то и есть подлинная реальность. Пышно звучит. Но как это осуществить? [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

27.12.10

Замечательны, дорогой Гена, твои воспоминания о психиатрической практике и размышления о возможности синтезировать в прозе болезненное, разодранное на клочья восприятие реальности. Не знаю, считать ли странным совпадением: один из персонажей моего последнего романа, частично утративший память в результате неправомерного эксперимента, находит в мусорном контейнере исчезнувшего института, пациентом которого был, разорванные, полусгоревшие бумаги, среди которых ему мерещатся фрагменты его истории болезни, и что-то начинает как будто проявляться, соединяться. Ты прав, мы с тобой и вправду, наверное, «очень часто идём параллельными путями». Хотя в моем случае нельзя не вспомнить и фантики из сундучка Милашевича — темы возвращаются, уже в другом качестве, на другом уровне. Надо искать.

Не так давно я посетил мастерскую знакомого скульптора, спросил, есть ли что новое. После 80 лет, ответил он мне, уже не может быть нового. Прихожу, что-то уточняю, поправляю, рабочий помогает делать отливки старых моделей для продажи. Я до этого возраста еще

не дожил. Томас Манн, завершивший к 70 годам «Доктора Фаустуса», назвал как-то все последующее «необязательным послесловием». Не знаю, что получилось из моего романа, пока грех жаловаться. И нельзя ведь не работать, не думать — пока работается и думается.

Здоровья тебе в Новом году — и осуществления желанных идей!
Твой Марк.

2011

Б. Хазанов — М. Харитонову

*CharM485
1 января 2011*

Дорогой Марк, — с Новым Годом вас обоих!

Вчера вечером я был в гостях, вернулся поздно; и когда, уже в новом году, лёг спать, всё ещё слышал взрывы и хлопанье пиротехники. Сегодня тишина, на улице ни души, по-прежнему всё бело. Это моё уже 28-е новогодье в Германии, половина жизни, прожитой в России [...]

В вышедшей недавно, очень основательной книге Пиамы Гайдено «Время, длительность, вечность (Проблема времени в европейской философии и науке)» я обратил внимание на заключительную главу — о вечности, о потере чувства вечности у современного человечества, чувства, на которое указывали разные люди, в том числе Борхес. Оно заменено бесконечностью эмпирического времени, мимолётностью настоящего. Но искусство, к примеру, может помочь восстановить это, якобы очень важное для судеб культуры, переживание настоящего как «вечно длящегося Теперь». Мысли, может быть, и не новые, но близкие к тем, которые занимали меня в моих писаниях; я тут как раз сочинил между делом небольшой рассказец на эту же тему [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

3.1.11

Еще раз с Новым годом, дорогой Гена!

У нас прекрасная зима, падает снег, вчера пробежал по сказочному белому лесу 16 км. Начались затяжные рождественские каникулы, никто не работает, ответов на прошлогодние вопросы придется ждать еще по меньшей мере неделю [...]

О замене вечности бесконечностью я до сих пор как-то не задумывался, интересно, что ты об этом написал, пришли.

А у меня очередная рабочая пауза, детская сказка застряла. В поисках стимула стал читать «Гарри Поттера» (кое-что по-английски). Нужно отдать должное Роулинг, фантазия ее блистательна, молодец. Недавно удивило известие, что она, оказывается, страдала тяжелой депрессией, помышляла о самоубийстве — и это на вершине несравненного успеха, богатства. Нет, идеи пока не засветились.

Разве что перед самым новым годом сложился вдруг небольшой верлибр:

Плантации новой культуры

Плантации новой культуры.
Цветы, похожие на цветы, листья на листья,
Только ярче, красивей, ягоды или плоды,
Слизистые на ощупь, поощряют забыть
Прежний, привычный вкус. Сравнения только мешают.
Надо насытить всех, без иерархий, без предпочтений.
Вот участок элиты — обходится без корней.
Разрастаются новые формы, переливаются сами в себя,
Как слова с переливчатым смыслом,
не сдвигаясь,
Занимают все больше пространства,
Покрывают поверхность, сами себе
Почва и пропитание.
Вдруг плюнут спорами или трухой —
Разнесешь на одежде. Потребляя, распространяешь.
Будущее за культурой, бессмертной, как плесень.
Растекаешься вместе с ней. Воздух без неба,
Пространство без ориентиров. Выбраться бы, но как?
Не с чем свериться — только с тем, что внутри.
[...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

3 января 2011

Дорогой Марк, я-таки не удержался и заболел гриппом, еле представляю ноги, кашель и прочее, работа не клеится. Мне очень понравилось в верлибре выражение «цветы, похожие на цветы»; вообще это маленькое стихотворение, как все твои вещи этого жанра, с его образной системой, требует очень вдумчивого чтения, отчасти разгадывания; мне нетрудно представить себе томик твоих верлибров, где значительную часть текста составит комментарий [...]

Ты упомянул эту антитезу: бесконечность эмпирического времени — и метафизическая вечность. Принято думать, что «вечность соткана из времени». О том, что это нечто не совпадающее и даже наоборот, додумался, разумеется, не я. Вообще дело не в идее как таковой (византийская золотая вечность икон), а в живом переживании этой идеи. И, конечно, речь идёт не о научном, физикальном понятии времени, к примеру, не об абсолютном математическом времени Ньютона. Существует представление о вечности, якобы утраченное современным цивилизованным человечеством — человеком толпы.

В одном, сто лет назад читанном романе Мориака, «Подросток былых времён», есть такая сцена: герой случайно видит из прибрежных кустов девчущку, которая выходит из озера. Его реакция (в соответствии с общей установкой писателя): «В эту минуту я понял, что существует Бог». Представь себе, я только сейчас сообразил, что в моём рассказе (очень коротком) есть переключка с этой сценой. Религии я не касаюсь. Тема рассказа весьма тривиальная — юношеская любовь, кулисы, быт взяты «из жизни», сюжет, точнее, обломки сюжета, придуманы.

История завершается тем, что через много лет герой разговаривает по компьютеру со своей бывшей пассией, которая живёт на другом конце света, внезапно происходит сбой: техника выдаёт нечто несообразное, и вместе с тем рассказчика посещает некое озарение. Вероятно, я это место переделаю; пока что оно выглядит так:

Голос замирает, техника снова нас подвела: мерцающий монитор пуст, эти аппараты живут собственной жизнью, в гневе я стучу по клавишам, нажимаю наугад на что попало, наконец, решил просто вырубить проклятый компьютер. Не тут-то было.

Вспыхнул экран, и моё жильё, и окно, перед которым я встретил зимний рассвет, и мы с тобой, Мэри, унеслись туда, в электронное пространство, где всё то же и всё по-другому, кто-то сейчас разглядывает нас, но мы свободны, мы — те, кто на самом деле; где нет никакого времени, где отменено и прошлое, и будущее, и есть лишь вечно длящееся настоящее.

И, подобно тому, как музыка освобождает от погони за ускользающим временем, музыка, которая то ли доносится откуда-то с верхнего этажа старого дома в Крестовоздвиженском переулке, то ли звучит в мозгу, — не всё ли равно? — подобно музыке, твоё видение, Мэри, и есть то самое, воплощённое вечное настоящее.

Какие слова! Ты усмехаешься. Тебе не могло притти в голову, что вид твоего тела возродил во мне давно утраченное чувство иного, нетленного времени. Мы стоим друг перед другом. Между нами упавшая на пол, ненужная ширма. Опустив голову, ты смотришь на себя, ты поднимаешь глаза, я узнаю этот взгляд [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

8.1.11

Надеюсь, дорогой Гена, что ты благополучно справился с гриппом и через два дня сможешь улететь к сыну. Мне очередная рабочая пауза освободила время для чтения, среди прочего перечитывал и твои рассказы. «Плюсквамперфект» опять понравился, в «Saeculum» вдруг обнаружил тему твоих последних писем и, как я понял, нынешней работы: «Я работаю над проблемой вечности как атрибута сверхвременного бытия; по определению, такое бытие противостоит времени». Жаль, не указана дата: в каком году писался рассказ? Я тоже, не замечая, возвращаюсь все к тем же темам, надо иногда себя перечитывать [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

8 января 2011

[...] Ты спросил, в каком году был написан рассказ «Saeculum». Ещё при жизни Лоры я как-то вышел в больничный холл — она задремала, — стоял у окна и думал: вот так мог бы стоять и смотреть на улицу герой рассказа. Дела шли всё хуже, ни о какой литературе не могло быть и речи. Позже я несколько раз возвращался к этому проекту, никак не мог нащупать стержень, на котором держалось бы всё повествование; короче говоря, рассказ не совсем новый.

Между прочим, у женского персонажа, Марьи Гавриловны, был прототип. Я однажды приезжал в гости к Сергею Алексеевичу Желудкову в Псков. Там была экономка, фактически — жена С.А., хотя были на вы и звали друг друга по имени и отчеству. Это была суровая женщина лет 50 с лагерным прошлым, в юности угнанная в Германию. Сергей Алексеевич называл её германофилкой. То, что в рассказе эта Марья Гавриловна в конце концов возвращается в Германию, придумано сочинителем [...]

Дорогой Марк, хотя в доме есть несколько компьютеров, это послание будет, по всей видимости, отослано уже по возвращении в Европу. Я сижу по большей части дома, днём никого нет, дети в школе, взрослые на работе [...]

Я взял с собой ещё одну работу. Это один из двух рассказов или небольших повестей, о которых я тебе писал. Ту, где упоминается малютка Левцов, я оставил благополучно плесневеть дома, а здесь у меня нечто хаотическое, привлекающее именно своей зыбкостью: такое писание на ходу порождает всё новые ассоциации — опасный соблазн. Я об этом сочинении тебе уже писал, в сущности, его надо начинать сызнова. Речь идёт о преодолении времени и живом чувстве вечности, которое можно пережить; его и пытается возродить условный повествователь — хотя о повествовании в собственном смысле слова говорить в данном случае едва ли возможно. Читать (если я что-то сумею сделать) тоже будет трудно.

В ранней юности я увлекался философией и, если не приобрёл сколько-нибудь серьёзной эрудиции, то причулся всё-таки чувствовать себя вольготно в мире чарующего немецкого идеализма. Во всяком случае, для литературы это оказалось бесполезным. Неким смутным подобием сюжета служит незначительный эпизод, мимолётное юношеское увлечение, но о нём рассказчик не то чтобы вспоминает — он в нём живёт и в конце концов оказывается в некотором неподвижно-текущем Вечном настоящем. Довольно хитрая штука — при том, что с чисто литературной точки зрения тут вроде бы ничего особенно нового и нет. Но я за новизной и не гонюсь; для меня важно каким-то образом восстановить это переживание отказа, отмены временности. Философию же я упомянул оттого, что мне нетрудно объективировать такое переживание, представить себе Вечное настоящее не как нечто мнимое, но как некую скрытую структуру бытия, существующую вне индивидуальной психики. К нему можно прикоснуться усилием воли, что и пытается сделать вышеупомянутый квазиповествователь. Ты не устал от этих умствований?

В общем — чем бы дитя не тешилось... [...]

3 февр. 2011

[...] Меня поработила идея — не столько философский, сколько литературный соблазн — собрать жизнь персонажа в один пакет, скатать в ком, игнорируя «временящееся» время (словечко Хайдеггера). И, как водится, я нахожу отголоски этим мыслям у разных авторов. В

книге «Время, длительность, вечность» Пиамы Гайденко — имя, вероятно, тебе знакомое, — в последней главе, трактующей собственно парадоксы вечного, я обратил внимание на её соображения об утрате чувства вечности у современного человека: его, это чувство, вытеснило, среди прочего, утвердившееся, вошедшее в плоть и кровь (и, конечно, проникшее в художественную литературу) представление о всепожирающем историческом времени. Некогда живому чувству вечности тот же Хайдеггер противопоставляет временность, которая «не есть, а временится», которая конечна, как конечно наше бытие-к-смерти. Кстати, и в русском языке «временный» означает недолговечный.

Но не умирает тоска по вечности.

Это не абстракция, это — особое чувство жизни, порождённое глубокой неудовлетворённостью сыплющимся, словно в песочных часах, песчаным временем. *Eheu fugaces, Postume, Postume, labuntur anni...* увы, уносятся, Постум, летучие годы! Грустная, замечательная ода Горация. Или Пушкин: «Летят за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия...» Можно было бы составить антологию таких сетований.

Я подумал о том, каким образом у человека может возникнуть чувство или осознание вечности, вечного Настоящего. В рассказе это связано — не знаю, убедительно ли, — с первым переживанием любви, — хотя речь идёт о вполне банальном эпизоде [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

7.2.11

Трудно, дорогой Гена, судить о художественном произведении по предварительному изложению идеи. По опыту не исключаю, что эта идея будет прямо сформулирована и в самом тексте. Интересно, как в нем прозвучит то «особое чувство жизни», которое ты хочешь передать, не абстракция. Чувство вечности — категория, как я понимаю, отчасти психологическая, отчасти религиозная; утрачено ли оно было и кем, человеком или всем человечеством? никогда, признаться, особенно не задумывался. Почитаем [...]

Перечитывая тебя, я вспоминал суждение Бориса Дубина: ты пишешь о стране, которой уже нет [...]

По рабочей надобности я недавно решил заглянуть в роман Камю «Чума», давно когда-то он мне нравился. Стал читать — и с первых страниц многое стало казаться сомнительным, просто недостоверным. В городе начинают гибнуть крысы, десятки, сотни трупов, кровь на мордочках — никому, даже врачам не приходит мысль о чуме. Люди

умирают один за другим, рвота, гнойные опухоли, бубоны, даже я мог бы заподозрить диагноз, есть же литература, есть микроскопы — нет, днями ждут откуда-то результатов каких-то анализов, не всполошатся. Не Средние века, не Африка, 1948 г., Франция (алжирский Оран, но ни одного араба не появляется). Нетрудно понять, автору нужна развернутая метафора: люди, общество не хотят признавать бедствия, даже когда оно уже подступило, предпочитают закрывать глаза, болтают о пустяках и т.п. Но повествование строится как реалистическое — конструкция не заполнена достоверной жизнью. Если книга у тебя есть под рукой, посмотри, как специалист, может, я ошибаюсь [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

CharM490
8 февр. 2011

[...] Насчёт «Чумы» (удивительно, но я тоже не далее чем вчера взял её, через много лет, в руки). Этот роман когда-то был для меня очень важной книгой. Я и теперь ставлю его весьма высоко. Я с тобой не согласен. Оставим в стороне символический подтекст (Камю писал, что хотя в первом приближении это — нацизм и французское Сопротивление, но книга метит дальше: притча о человеческом уделе). Ты говоришь о «реалистической» версии.

Роман не зря начинается с описания города: он затхл, отгорожен каменными стенами домов от моря и мира, жителей — неважно, французов или арабов, — интересуется только торговля. Повествователь говорит о них «наши сограждане», и нарастание зловещих событий оценивается, что крайне важно для общего замысла, именно с их точки зрения, доктор Рёе рассказывает о реакции этих сограждан, которые ничего не хотят знать. Это не значит, что сам он не догадывается, в чём дело.

К тому же чума в цивилизованном мире давно преодолена, о ней забыли, чумы «не может быть»; население ничего о ней не знает, никогда с ней не сталкивалось. Что касается властей, то они прилагают все усилия, чтобы затушевать происходящее у всех на глазах, — слово «чума» не произносится даже тогда, когда уже всё ясно. Вспомни, что так же ведут себя муниципальные власти в «Смерти в Венеции», когда в городе вспыхнула эпидемия холеры.

Я могу по этому поводу привести такой случай (конечно, куда менее зловещий). В моей больничке, в родильном отделении, появился на свет ребёнок, девочка с гнойящимися глазками. Это была бленоррея — гонорея слизистой оболочки глаз, штука опасная, так как заканчивается слепотой. Я вылечил ребёнка закапыванием пенициллина

каждый час, попутно роженица создалась, что перенесла триппер. По правилам каждый случай венерического заболевания подлежит извещению в высшие инстанции — в данном случае это был вышневолоцкий райздравотдел. Я так и сделал — и получил выговор.

Да в конце концов в Советском Союзе все случаи эпидемических болезней тщательно скрывались.

Ты упомянул о вечности. Я счёл было мой рассказ (он называется «Мэри, или вечный полдень») законченным, но теперь вижу, что он плох, его надо как-то спасать. Категория, пишешь ты, отчасти и религиозная. И да, и нет. Во всех трёх авраамических религиях ядром является вера в личное бессмертие. Я могу себе лишь представить чувство вечности (непосредственно, как таковое, оно мне недоступно), во всяком случае оно вовсе не означает уверенности в бессмертии души. Это что-то другое. Ослепительная догадка, что время — временно, что существует некоторое высшее бытие, не преходящее, а пребывающее. И к нему можно прикоснуться под влиянием какого-нибудь сильного переживания, например, вспыхнувшей юношеской любви [...]

16 февр. 2011

[...] Я читаю по вечерам «Увидеть больше...» — медленно, как всегда, и небольшими порциями. Прочёл между делом и статью А. Мелихова «Дрейфующие кумиры», которую ты мне рекомендовал. Я знаком с автором и его произведениями. Статья, лихо, почти талантливо написанная, — особенно в заключительных разделах глубоко реакционная.

Кстати, там есть немного о Твардовском. Странная история (это уже не о статье Мелихова). Твардовский был апостолом литературной правды, прежде всего правды о жизни простого люда. Между тем одна из главных его вещей, замечательная поэма «За далью даль», свидетельствует — и это не только следствие самоцензуры — о поразительном незнании реальной жизни народа в Советском Союзе [...]

Глухой, подслеповатый день, но обещанного дождя нет. Снега тоже не осталось. Я обычно просыпаюсь рано и с трудом прихожу в себя. Иногда спускаюсь в подвал, плавать в нашем бассейне, но теперь уже нечасто, обленился. Холодный душ возвращает из безвременья в текущее внешнее время. Это время поработает, втаскивает в оглобли. То, что я когда-то писал о «третьем времени» — внутреннем, интимном, с человеческой точки зрения по-настоящему реальном, — переключается с Бергсоном, с его апелляцией к внутреннему опыту переживания времени. Посмотри книгу Гайдено (о которой я упоминал), если она тебе попадётся: там есть интересные страницы об Анри Бергсоне.

Время от времени устраиваются мои «семинары», как их называет здешняя компания; не семинары, конечно, и не доклады, куда там, — а попросту свободный трёп. Теперь предстоит разглагольствовать о писательстве в эмиграции. Какая-то навязчивость, жёванная и пережёванная тема, казалось бы, уже закрытая и, однако, оживающая то и дело. Да и мы с тобой касались её не раз. Одно можно сказать: всякий раз, когда сменялось поколение, говорилось о близком, биологически неизбежном конце русского Зарубежья и зарубежной словесности; и каждый раз приходила новая волна. Что касается меня лично, то я, конечно, отдаю себе отчёт в том, что на вопрос: единая литература? или две? — приходится давать сразу два взаимоисключающих ответа; что-то похожее на принцип дополнительности Бора или соотношение неопределённостей Гейзенберга в физике микромира. Тем не менее я, пожалуй, по-прежнему отстаивал бы представление если не о двух литературах, то, по крайней мере, о двух более или менее обособленных потоках или изводах литературы русского языка, — даже если бы я оставался единственным представителем второго потока [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

17.2.11

Как это: от меня давно ничего нет, дорогой Гена? Обширнейший текст был моим посланием тебе, там обо мне больше, чем могут сказать десятки писем. Другое дело, что читать это, может, не так увлекательно, не возникает встречных мыслей [...]

Разговоров о близком конце зарубежной словесности я что-то давно не слышал. Изменилось само понятие эмиграции. Миллионы людей, которые сейчас уезжают из страны, не теряя ни гражданства, ни квартиру (сдают их за большие деньги), не считают себя эмигрантами в том же смысле, что ты, (как твой сын, наверно, не считает себя немецким эмигрантом в Америке). Русские евреи в Израиле называют себя репатриантами, пишут по-русски уже не на российско-советские — на еврейско-израильские темы. Можно назвать это другой русской литературой, есть, наверно, и третья, и четвертая.

Меня заинтересовало твое определение статьи Мелихова: «глубоко реакционная». Что ты имеешь в виду?

У нас редкостная зима, третий месяц белый снег, лес восхитительно красив. Сейчас пришли арктические холода, под 20°, солнце, синее небо. Я только что прогулялся пешком. Галя на пять дней уехала к внукам: средней дочке понадобилось с мужем в Америку, попросила

присмотреть. Я, конечно, углубляюсь в новую работу, пока это стадия приблизительного черновика, но нет состояния более счастливого — как всегда, без гарантий, что получится [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

22 февр. 2011

[...] Почему статья Мелихова показалась мне реакционной. Потому что из статьи «Дрейфующие кумиры» следует, что мифы, ласкающие национальное самолюбие и поощряющие национальную спесь, нужны, похвальны, полезны, Твардовец с его панегириком Отцу народов творит благое дело, и т.п.

[...] Читаю по вечерам твой роман, добрался почти до середины. Некоторые страницы даются мне с трудом, но я уже много раз говорил и писал, что когда книга рассчитана на искушённого читателя и требует от него встречного усилия, для серьёзной современной литературы это нормально, почти неизбежно и, может быть, даже необходимо [...]

Эмиграция и забугорная словесность, раз уж о ней снова зашла речь... Конечно, новые обстоятельства, открытые границы, возможность уезжать, приезжать — все эти доводы лежат на поверхности. И всё же понятие эмиграции сохранило реальный смысл. Меня, конечно, можно сразу же уличить: всё это — *pro domo sua*¹. Однако я не один такой. Речь идёт о постоянной, давнишней жизни в другой стране и другой языковой среде, о неизбежном отторжении от отечества, о другом жизненном опыте. И, конечно, об отчётливом водоразделе между Россией и западноевропейским миром (не говоря уже об Америке). Новый опыт жизни, столь отличный от прежнего, отечественного, не может не сказываться на литературной продукции эмигранта. На самом языке и слоге этой литературы [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

5.3.11

Дорогой Гена, наконец получил посланную тобой «Навигацию», спасибо. Первым делом прочел твою переписку с Померанцем. Хотя это не совсем переписка, т.е. не диалог: письма разных лет, без ответа [...] Замечательное чтение!

¹ в своих собственных интересах, в защиту самого себя (*лат.*)

Два года назад я был у Гриши, задал ему вопрос, который задаю с некоторых пор многим: возникало ли у него за последние лет десять чувство, что в 21-м веке открылось что-то, чего мы раньше не понимали, просто не приходило в голову. (У меня, сказал сразу, такое чувство бывает часто.) Гриша стал вспоминать, какие у него были прозрения в 36 лет и потом в лагере. Но это я у вас уже читал, сказал я, это я знаю. А что стало понятно, открылось только что, в новом, 21-м веке? Или ваше понимание в общем уже сложилось, и принципиальных поправок в них вносить не потребовалось? Гриша задумался. Как я понял, понимание сложилось уже давно, поправок не потребовало.

А ты бы что ответил на этот вопрос? [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

6 марта 2011

[...] Рад, что тебя развлекла наша с Гришей переписка. В своё время я передал бременскому архиву толстую пачку гришиных писем. Они написаны от руки, не всегда разборчивым почерком, всё это затрудняет публикацию.

Переписка для меня много значила. Со временем поезда наши всё дальше расходились в разные стороны, становилось всё труднее понимать друг друга. Иногда, при всей моей любви к Грише, дело доходило даже до небольших размолвок [...]

Вспомнил ли ты о том, что вчера был праздничный день? 58 лет тому назад Великий Ус переселился из своей кунцевской крепости в ад. Я хорошо помню, как было встречено это событие в лагере, помню и то, как я был удивлён, узнав потом, когда вышел на волю, что люди в этот день проливали слёзы.

Мне казалось, что было бы гораздо естественней, если бы, услышав по радио гробовой голос Левитана, обнимались, танцевали и плакали от счастья. Но, конечно, это было бы невозможно, и не только потому, что повсеместно, как и в лагере, всё вокруг кишело доносчиками.

Ты спрашиваешь, как я ответил бы на вопрос, возникало ли у меня за последние десять лет чувство, что в XXI веке обнаружилось нечто такое, о чём мы прежде не помышляли. Конечно, возникло, и не у одного меня.

Для меня этот век начался со страшного события: после двух с половиной лет болезни скончалась Лора. И это при том, что я был старше её на десять лет.

Я начал ощущать чувство истощенности. Это касается и жизни, и литературы. О некоторых писателях говорят, что всё, что они написа-

ли, есть в сущности одна и та же, единственная книга. Пожалуй, это можно отнести и ко мне — но в плохом смысле. Особенно в последние годы я то и дело ловлю себя на том, что повторяюсь, жую уже съеденный пирог. Ты это тоже заметил.

Изменилось каким-то образом если не общее, политическое, философское и литературное, мировоззрение, то литературное самосознание. Я это почувствовал, в частности, подбирая и перечитывая сочинения прежних лет для Собрания.

Если же говорить в более общем смысле, то тут и двух мнений быть не может. Я говорю о вещах, теперь уже тривиальных: радикально изменилось, хоть мы и не сразу это заметили, чувство эпохи и понимание ситуации. Достаточно упомянуть о двух обстоятельствах: небывалый разгул мирового терроризма и появление новых, непрерывно совершенствующихся средств информации. Конечно, это началось не вчера, было предуготовано минувшим столетием, но теперь стало буднями, внедрилось в мою собственную, повседневную жизнь. Истинные масштабы перемен, дальнейшая непредсказуемость — всё это настигло всех нас в новом веке.

Теперь скажи, как бы ты сам ответил на свой вопрос [...]

Мне пришлось то и дело отвлекаться, всё же я дочитываю роман «Увидеть больше, или Ожившая память» до конца, — признаться, дочитываю не без труда. Мне хорошо знаком твой стиль, многосмысленная, витиеватая загадочность твоей писательской манеры, рассчитанной на вдумчивое чтение, на догадливость читателя, на то, что ты в последнем письме называешь вхождением в прозу; но тут, мне кажется, ты достиг предела. Ты писал о том, что те, кому ты давал прочесть, разделились на одобвивших книгу и не одобвивших. Я отношусь и к тем, и к другим. Таинственный пролог — труп в метро — интригует, почти сразу чувствуешь в нём какой-то намёк, символический смысл. И дальше нужно постоянно быть начеку, так что я даже не уверен, верно ли, адекватно я понял книгу. Жизнь Бориса Мукасея, писателя, чья литературная деятельность, впрочем, никак не отражена в романе; зато в дальнейшем он занят выяснением судьбы своего отца Даниила, как будто арестованного, но на самом деле увезённого с целью использовать его необыкновенные способности ясновидения; загадка следует за загадкой, приходится постоянно держать ухо востро, но, по крайней мере, первая четверть или треть романа читается с интересом. Мы хотим знать, что за человек этот Борис Мукасей. Но когда он попадает в таинственный институт и читает многостраничные учёные материалы, он как личность — и как действующее лицо — исчезает. Дальше появляются другие персонажи, институт, по-прежнему непроницаемый, находится на юге, видимо, на Кавказе, где бушует война. Не знаю, правильно ли

я улавливаю сюжетный костяк, — если таковой вообще существует, — настолько всё остаётся туманным, брезжущим, непостижимым. Лишь под конец исчезнувший Даниил Мукасей всплывает, и догадываешься, что он был подвергнут экспериментам, напоминаям то, что ты описывал в повести «Сеанс». Но возникает и подозрение, не происходит ли всё попросту в сознании неуловимого Бориса.

Одно мне кажется ясным: роман — о людях с разрушенной психикой. Когда-то, работая в редакции журнала «Химия и жизнь», я познакомился однажды с профессором нейрофизиологом, руководителем группы, где пытались установить локализацию самости, самосознания. Те, кто занят морфологией и физиологией головного мозга, постоянно сталкивается с этой антиномией: с одной стороны, дифференцированные функции строго распределены по отдельным участкам мозга, «центрам», с другой — существуют интеграционные механизмы, опять-таки более или менее локализуемые, которые обеспечивают работу мозга как единого целого. Всё это дела давно минувших дней, мои знания, и без того, весьма скудные, безнадежно устарели; не знаю, удалось ли отыскать центр самости, то есть чётко локализованную совокупность нейронов, ответственную за сознание нашего «я». Что такое сознание существует, поддерживает целостность нашего самоощущения, единство памяти, вообще сознание единства и самостояния нашей личности через все времена жизни, — конечно, не подлежит сомнению. (В патологии возможно, как известно, *dédoublement*, раздвоение личности; Глеб Успенский, болевший шизофренией, сознавал себя как двух разных людей, одного звали Глеб, а другого Иванович; помню, что я читал о пациенте, в сознании которого прослеживалось целых шестнадцать «я».)

Так вот, у меня довольно-таки странное впечатление, что в твоём романе действуют персонажи, у которых сознание своего «я» не только смещено, но разрушено, измельчено. В потоке впечатлений — не столько мыслей, сколько впечатлений, зрительных, слуховых, осязательных, подробнейшим образом описанных, — личность, характер, индивидуальность исчезают. Короче, тебя приглашают окунуться в мир, лишённый упорядоченности. Этому соответствует и стиль, чрезвычайно вязкий: бесконечное нагромождение подробностей, за которыми уже не видно человека.

Дать обобщающую оценку роману я не решаюсь. Ты затрагиваешь такие пласты психики и — косвенно — действительности, — до которых не в состоянии добраться современные российские писатели; да они и понятия не имеют об этих раскопках. Но чтение требует и немалого встречного усилия.

Что скажешь? [...]

Я не раз, дорогой Гена, пробовал понять, открылось ли в 21-м веке что-то новое, не только лично мне? Начинал перебирать. Скажем, привычно было противопоставлять хаосу гармонию, видеть задачу искусства в преодолении хаоса. Но возникло новое понимание хаоса, который может быть конструктивным, даже не преодоленный, он способен породить новый порядок и не ведет к утрате гармонии — надо лишь переосмыслить понятие. Идея, правда, высказана еще в прошлом веке, просто до меня она дошла позже, я еще продолжаю ее переваривать. Как и многое другое. Опровержимость прежних, казалось, абсолютных истин, которые когда-то соблазняли возможностью надежных умственных построений. Иллюзорность объединяющей идеи, догадка об иррациональных составляющих развития. Нарастающая усложненность мира, чреватая катастрофами, глобальными, не только экологическими — вот это прежде так реально не ощущалось. Террористическая угроза с использованием новых технологий что-то повернула в мозгах, пожалуй, лишь после обрушения небоскребов в 2001 г. (Впрочем, атомная угроза осознана была не сейчас.) Глобализация, метисизация, размывание культур и одновременно напряженность национальных эмоций. Новая проблематичность, переоценка понятий интеллигенции, элиты, аристократии, идей демократии и социализма. Я привык считать себя демократом, но все более сознаю, что развитие страны не должно определяться голосованием, большинство всегда некомпетентно и корыстно. Разве что в швейцарском кантоне можно что-то решать прямым волеизъявлением, реальная, представительная демократия всегда управляема. Массовая, рыночная, технологическая цивилизация все менее благоприятна для появления великих личностей, гениев в искусстве и литературе. И т.д. и т.п.

Не знаю, что тут на самом деле ново. Пожалуй, не столько новый век, сколько возраст, нажитый опыт уточняет мои представления о жизни и жизненных ценностях. То и дело покачиваешь головой: как можно было еще недавно оставаться настолько глухим, не понимать таких очевидных вещей? Как будто с возрастом ретроспективно глупеешь. Но значит, все еще остаешься живым, растешь, развиваешься.

Мой роман ты не воспринял на удивление, непросто даже понять, как оказалось возможно такое неадекватное прочтение. Как будто знаки другого языка читались как собственные. Реникса. Мне этот текст представлялся отчасти увлекательным интеллектуальным детек-

тивом, чем-то близким «Сундучку Милашевича». Но там исследователь пытался реконструировать историю, судьбы ушедших людей, перебирая разрозненные фантики. Здесь герой-писатель пытается проникнуть в судьбу отца, от которого не осталось почти ничего, а то, что осталось, требует перепроверки. Как многое в нашей истории — когда от человека, расстрелянного на третий день после ареста, могут передавать много лет приветы (так было с дедом Гали). Надежда порой не столько на свидетельства, на документы, сколько на работу творящего воображения, которое может быть достоверней видимостей. Без него нам по-настоящему не понять даже близкой, очевидной, казалось бы, жизни. Герой философствует об этом с женщиной на стр. 6-7 (не знаю, совпадают ли у тебя страницы с моими). Впрочем, процитирую сам: «Как вообще можно знать другого? Проникнуть в его жизнь, мысли, воспоминания, сны? Без воображения не обойтись. Дело в желании, в способностях. Чтобы по-настоящему понять, почувствовать друг друга, нам, может, не хватает воображения». На первой странице люди едут рядом с мертвым телом, и не ощущают, не сознают этого. *«Увидеть больше, чем показывают»* — вот способность, которая дается немногим, это дар сродни гениальности, человеческой, литературной, он требует напряжения, душевной работы. «Мы все, если угодно, по-своему сочиняем друг друга.... Вот я смотрю на вас, слушаю, и вы для меня начинаете проявляться. Пока лишь контурами, неясными, надо их постепенно заполнять». Все, что разворачивается на страницах, оказывается текстом, который пишет герой. Не новый прием в литературе. И достоверность возникающего понимания одновременно определяет реальный ход жизни. Воображение открывает подлинную реальность — если оно доброкачественно, произвольная фантазия может обернуться подменой, поражением, неудачей. Так новая мифология, историческая, национальная, порождает кровавые столкновения — об этом в романе тоже.

Но что авторские толкования? Ты прочел словно что-то другое. Не первый раз. Помнится, до чего ты странно интерпретировал прозрачного, казалось бы, «Ловца облаков» — рассказ о гениальном художнике, в работах которого волшебным образом преображается провинциальный мир, для других серый и скучный. (Так сказочным становился у Шагала убогий Витебск.) Ты увидел в герое какой-то психический изъян. Бывает. Но рассказ, слава Богу, был напечатан, уже многие отзывы подтвердили, что здесь прочитывается именно то, что я написал. Мне теперь понятней редакторы, которые роман не восприняли. И тем больше ценю восхищенный отклик директора издательства «Время». Даст Бог, напечатают, послушаем мнения. Будем надеяться [...]

8 марта 2011

Дорогой Марк, не подобало бы защищать свой взгляд на роман, да я сам писал тебе, что отнюдь не уверен, что понял его адекватно. Из твоих слов следует, что я совсем не понял. Очень может быть. Ты пишешь, что автору эта книга представлялась отчасти подобием «увлекательного интеллектуального детектива»: сын разыскивает следы исчезнувшего отца, пытается разгадать его судьбу, восполняя воображением, интуицией отсутствующие сведения. «Все, что разворачивается на страницах, оказывается текстом, который пишет герой». Похожая мысль и мне приходила в голову: я писал тебе о том, что возникает подозрение, не происходит ли всё, о чём говорится в последующих главах романа, в сознании Бориса. Теперь оказывается, что он не только воображает, но и заносит на бумагу, на то он и писатель. Эта версия, однако, повисает в воздухе: как живой человек и реально действующее лицо Борис Мукасей исчезает из романа, остаётся бледная тень.

В одном я уверен: загадочность книги, непроницаемость замысла, вязкость, подчас доходящая до невнятицы, — рискуют затруднить чтение не только для меня.

Тут встаёт дилемма. Либо мы уступим требованиям конформизма, будем учитывать нужды читателя, либо останемся при своих козырях: нам будет достаточно, даже если из ста читателей книгу одолеет один. Последнее, конечно, предпочтительней. Всё же я думаю — о чём и написал, — что здесь достигнут некоторый предел. Кто тут виноват: читатель, то есть я и вместе со мной не воспринявшие текст редакторы, или сочинитель? Видимо, всё-таки читатель, потребитель.

У меня всё то же. Когда-то (это уже другая тема) я толковал своим подчинённым, молоденьким больничным сёстрам, что 60 лет — старость и 80 — старость, а промежуток — целых двадцать лет. И, дескать, от этой установки — старая рухлядь, чего их лечить, — надо отказаться. А вместе с тем я помню, как я смотрел на престарелую мать одного моего товарища, когда она собиралась отправиться, как обычно летом, на дачу, и думал: и чего она всё ещё рыпается, сидела бы дома. Это я к тому, что говоришь себе: какого хрена? Всё равно ведь едешь, как сказал Шолом-Алейхем, не на ярмарку, а с ярмарки. Бандероль пропала, я об этом тебе писал. И вот я снова собираю тексты, правлю, комплектую, тащусь в копировальную лавку, составляю план... [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

9.3.11

Дорогой Гена, я люблю повторять ответ Фолкнера читательнице, которая сказала ему, что трижды прочла «Шум и ярость» и ничего не поняла, что делать? Он ответил: прочтите четвертый. Увы, было бы жестоко требовать повторного прочтения, когда оно дается даже физически с трудом, но вообще-то перечитывать, уточняя понимание, в прежние времена бывало принято. Я тот же «Шум и ярость» перечитывал несчетное множество раз, пока он до меня дошел. Помнится, написал глуповатую рецензию на «Осень патриарха» Маркеса, великую книгу, хорошо, что ее не напечатали, потом было бы стыдно (заголовок «Технология власти» редакцию сразу отпугнул). Решил перепроверить себя, вчера сам перечитал «Ловца облаков», что вообще делаю редко, (рассказ сейчас переводится на английский), чтение заняло час-полтора. Потом нашел твое письмо от 12.6.09 с отзывом на него — непостижимо. Как будто мозги настроены на разную частоту. Книжка с рассказом у тебя есть, типографский шрифт читается, возможно, не с таким трудом, попробуй уточнить впечатление еще раз, не по памяти. (Другие рассказы книги ты читать тогда, помнится, вообще не стал.) Мне это кажется важно в принципе. Если мы настолько по-разному воспринимаем прозу, может, вообще лучше обсуждать не ее, а теоретические концепции, это проще. Я, между прочим, твою прозу перечитываю, сейчас как раз начал «Хронику N», и, кажется, воспринимаю. Мне лучше [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

9 марта 2011

Только что открыл твоё письмо. Видишь, Марк, наши мысли всё-таки идут рядом: я тоже собирался напомнить тебе (и себе) ответ Фолкнера тупоголовой читательнице. Советом прочесть роман ещё раз я, возможно, воспользуюсь несколько позже, нужна дистанция, освежить восприятие. Надо перечитать и «Ловца облаков»... Вообще же нужно всегда быть готовым к тому, что читатель вывернет наш замысел наизнанку, не поймет главного, а может быть, и заметит то, чего не заметил автор. Как бы то ни было, это не значит, что не стоит вообще обсуждать прозу, наоборот. Мне случалось иногда выслушивать отзывы о своих изделиях, перпендикулярные к моему замыслу. Это причиняет боль и, как ты пишешь, непостижимо; а вместе с тем думаешь: почему бы и нет? [...]

«Обсуждать теоретические концепции» для меня отнюдь не проще, иногда испытываешь такую необходимость, иногда героические постулаты опровергаются своей же «практикой». Не без пафоса я утверждал, что надо писать ясно, сжато, логично, энергично, апеллировал к французской *clarté*. Задача писателя — противостоять абсурду, вносить гармонию и смысл в хаос безумной действительности, укрощать своеволие языка. И так далее... А тут всё стало шататься. Я толковал о гибельном соблазне погрузиться в хаотически-недисциплинированное многоглаголанье, а ты писал мне о Пригожине, о Марке Липовецком, о том, что хаос не то чтобы порождает космос, как думали древние, но сам по себе представляет некую недоступную нашему осмыслению, новую гармонию. Хаос плещется у наших ног, опасность расплавления прозы подстерегает каждого, но вот оказывается, что... Впрочем, я отвлёкся.

У нас всё ещё квази-весна, солнечно, днём тепло, но слишком сухо — как говорят, нехорошо для урожая. Скоро всё переменится, пойдут дожди, чего доброго, пополам со снегом, тусклые, безнадёжные дни [...]

10 марта 2011

Дорогой Марк, хочу добавить кое-что ко вчерашнему письму. Я стал искать у себя книжку с «Ловцом» и не нашёл. Другие книги стоят на полке, а её нет. Видимо, кто-то её зачитал. Так бывает: возьмут и не вернут. Не можешь ли ты прислать мне по «емеле» текст рассказа?

Я был вчера в одном доме, где устраиваются музыкально-теоретические вечера, есть расписание, я посещаю время от времени эти собрания. Композитор и музыковед, преподаватель консерватории сидит за домашним пианино, разбирает классическую вещь, которая тут же проигрывается на компакт-диске. Собирается человек 15. На этот раз это была 10-я Лондонская симфония Гайдна. Эти лекции неожиданно открывают нечто такое, о чём ты не подозревал, раздвигают горизонт произведения, прелесть которого от этого анализа не только не пропадает, но увеличивается.

Вот я и подумал, что восприятию сложного текста, его эстетике отнюдь не помешало бы, если бы писатель сопровождал, к примеру, свой роман авторским послесловием. Самоанализом и комментированием занимались, как ты знаешь, некоторые великие. Да и сам я писал что-то такое. Was sagst Du?¹ [...]

¹ Что ты скажешь? (нем.)

Дорогой Марк, я так и не сумел отыскать (долго рылся) своё старое письмо с отзывом о «Ловце облаков», хотел взглянуть, в каком контексте находится цитата, которую ты привёл. Сейчас, прочитав повесть свежими глазами, я подозреваю, что моё тогдашнее впечатление от повести, быть может, не так уж далеко расхотелось с замыслом автора. Кстати, мне показалось, что ты мою фразу насчёт «аутистически-недисциплинированного мышления» истолковал неверно; ты ссылался на реальные работы художников, чей психический статус был не лучше, чем у твоего героя, и, тем не менее, их работы высоко ценятся. Но я вовсе не хотел сказать, что факт заболевания художника заведомо обесценивает его творчество. Дело в том, что и Ван Гог, и Кубин, и Врубель, и кто там ещё, стали великими художниками не потому, что были больны, а вопреки своей болезни, сопротивляясь ей и преодолевая её. Некогда нашумевшая книга Ломброзо давно сдана в архив. — Это так, между прочим.

Конечно же, «Ловец» читается значительно легче, доставляет больше удовольствия, чем роман, в оценке которого мы разошлись. Это ясное, свежее, последовательное, отнюдь не реалистическое в обычном смысле слова, но вместе с тем живое и жизненное повествование — при том что повесть полна намёков, символов, иносказаний, обдуманых недоговорённостей и допускает разные толкования. Последнее кажется мне особым достоинством. Но многозначность замысла должна сочетаться с ясным стилем; это удалось тебе значительно больше, чем в романе.

Иннокентий — да, судя по всему, талантливый, может быть даже гениальный художник-новатор; но, может быть, и совсем другое — не получившийся; мнимая, обманчивая гениальность тяжелобольного человека. Его причудливые грёзы, почти видения говорят и о том, и об этом; в самом ли деле они претворились в замечательную живопись или остались грёзами, — вопрос. Так или иначе, мы вместе с ним погружаемся в фантомный мир, который можно оценить так и этак. Решит читатель, если вообще допустимо окончательное решение. Или суд вынесет будущее. В чеховской «Чайке» остаётся открытым вопрос, был ли Костя Треплев по-настоящему даровитым писателем или из него в конце концов так ничего и не вышло.

Самый образ облаков, центральный для всей повести, её высший символ, тянет за собой множество ассоциаций: витать в облаках, заоблачный мир и т.п. Всё это углубляет замысел, «идею» повести.

Возможность разных, подчас не совместимых одна с другой интерпретаций (и соответственно различного восприятия) остаётся и для для

других персонажей «Ловца облаков»: Вероники, Гавриила. Этот Гавриил, возможно, недаром носит такое имя (архангел Гавриил, посланец-возвеститель о великой миссии), а может быть, это проходимец, предприимчивый авантюрист, каких немало появилось в перестроечное время. Фантастический Институт — может быть, грандиозная липа; во всяком случае читатели вправе составить себе о нём самые разные, неожиданные для автора повести представления. «Литератор» — это, похоже, он сам автор, а может, и ничего подобного; и так далее.

Мне хочется (вопреки твоему нежеланию говорить о «теории»), вернуться к роману «Увидеть больше...»: как бы к нему ни относиться, он заставляет думать. Вернуться к тому, что мне кажется его сверхтемой.

Мечта писателя — подступиться как можно ближе к внутренней жизни литературного героя, погрузиться в его сознание до полного слияния с ним, и это, как я понимаю, — одна из главных интенций твоей прозы вообще. Не зря к художественному осуществлению этой задачи (когда, как ты пишешь, «без воображения не обойтись») в твоих произведениях присоединяется научно-фантастическая тема искусственного, лабораторно-экспериментального, аппаратного подключения к психике другого человека, тема преодоления барьера субъективности. В одном месте твоего романа, там, где описывается загадочный институт, промелькнуло замечание о том, что в психических процессах участвуют — наравне с мозгом — все клетки организма. Гм, — разумеется, оба отдела периферической нервной системы, соматический и вегетативный, так или иначе связаны с центральной нервной системой — спинным и головным мозгом. Но в романе речь идёт о душе, о психической деятельности, чья резиденция, вообще говоря, — серое вещество коры головного мозга. Я думаю, что мысль о соучастии «всех клеток», хоть и высказанная мимоходом и даже испугавшая героя, в романе очень важна, и даже не только для сюжета, для содержания, но, как ни странно, она отозвалась в его стилистике. Сейчас объясню, что я имею в виду.

«Душа человека, читал Борис, представляет собой излучение всех без исключения живых клеток организма. Теперь её можно продемонстрировать на экране» и т.д. (стр. 39). Больше того, открываются возможности аппаратного манипулирования душой. Вот, оказывается, чем занимаются среди прочего в этом институте.

Мы начали с того, что погружение в психику — едва ли не главная цель и задача литературы, по крайней мере, в двадцатом веке; отношу это и к твоему творчеству. Мне кажется, ты не обратил внимание на мои рассуждения о «центре самости» (в письме от 6 марта). Моей компетенции не хватает для того, чтобы с уверенностью сказать, что этот центр самосознания, сидящее где-то в мозгу интегрирующее Я, в

самом деле опознаны, идентифицированы, приурочены к определённо-му отделу или группе клеток мозга; для меня лишь ясно, что в потоке сознания присутствует такое «надсознание» и оно обеспечивает постоянство — если угодно, текучую стабильность — нашего Я. В воспоминаниях о прошлом это непотопляемое «я» постоянно даёт о себе знать. Его отсутствие знаменует распад психики.

Пункт очень важный для литературы. Он охраняет прозу от хаоса. Над нескончаемым, без знаков препинания, внутренним монологом Мэрион Блум стоит тусклое беззакатное солнце — её бабье Его. То же можно сказать о течении мыслей у миссис Рамзи, когда она примеряет чулок мальчику («Поездка к маяку» Вирджинии Вулф), и, конечно, об опыте Толстого, предварившем находки XX века (постоянная отсылка к мыслям героя или даже «поток сознания» в момент смерти — у Праскухина в «Севастопольских рассказах», у Ивана Ильича). Но, по крайней мере, Джойс подошёл к тупику. Дальше подражания по этой дороге не поедешь. Ты избрал другой путь.

Я, как всегда, растёкся по древу, но эти соображения — независимо от того, как ты сам интерпретируешь свой роман, — по моему тщеславному убеждению, существенны для его понимания. Дело в том, и я уже писал об этом, что при чтении у меня возникло почти мучительное впечатление: в сознании действующих лиц — не важно, сообщает ли о них Борис Мукасей или сам автор, — этот дополнительный фактор, «сознание сознания», интегрирующее Его — расплывается, а следовательно, исчезает и живой человеческий образ, личность. Этой потере отвечает и стиль. (Или, наоборот, стиль уничтожает личность.)

Такое впечатление может быть ложным. Очень может быть. Но всё-таки. Вязкий стиль, избыточно многословный рассказ, перегруженный объяснениями и подробностями, которые парализуют воображение читателя, не дают ему развернуться, так как стремятся всё досказать, вместо того чтобы предоставить дорисовывание самому читателю, его фантазии, — топит персонажей. Они оказываются бледными тенями. Заодно расплавляется и сюжет. Я думаю, что это — издержки избранного тобою метода погружения во внутреннюю жизнь индивидуума. Но! — сколько здесь может быть всяких «но»... [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

22.3.11

Не буду скрывать, дорогой Гена, я огорчен. Писатель, художник создает свой особый мир, особую поэтическую реальность, особое измерение, к нему неприменимы критерии житейской достоверности,

тем более психиатрические толкования. Ловец облаков плывет «среди своих будущих, уже запечатленных картин, над розовыми коврами иван-чая, над окраиной города, над знакомой улицей, над своим домом, чтобы унести с собой уже навсегда незамутненной их щемящую убогую красоту». Взаправду плывет, в поэзии, в живописи, в кино это бывает. (Вот, под руку попал Henri Michaux: «Sur le chemin de la Mort / ma mère rencontra une grande banquise... / une grande banquise d'ouate»¹). Картины и прозаические воспоминания Шагала полны таких же поэтических образов. Причем тут психиатрия, «аутистически-недисциплинированное мышление», при чем тут Блэйлер и Ван Гог? «Качели больше не надо было раскачивать, лодка колыбалась на волнах музыки, ... над цветником разноцветных флажков внизу, над корзинами, полными алой брусники и темно-красной клюквы, пунцовеющих яблок и желто-зеленых груш». Не фантомы больного — видение мира, поэтические, живописные образы реальных картин. «Краски, заготовки для досок, все необходимые материалы Вероника обычно добывала сама. Все работы этого недолгого счастливого периода отмечены были неизменным присутствием облаков, многоцветных, живых, подвижных». Странно сказать об этом: «не получившийся» художник; «мнимая, обманчивая гениальность тяжелобольного человека. Его причудливые грёзы, почти видения говорят и о том, и об этом; в самом ли деле они претворились в замечательную живопись или остались грёзами, — вопрос. Так или иначе, мы вместе с ним погружаемся в фантомный мир». Эти картины видят, оценивают, покупают, крадут. Красавица, созданная влюбленным взглядом художника, не совпадает в реальной стервой, впечатляющая схватка между ними — не кошмар, не патологический бред, это поэтический образ, реализованная метафора. Измена любимой, ее уход к другому — конечно же, потрясение, рушатся основы мира. Об этом, должно быть, его позднее творчество, о котором пишет не автор, а некий литератор, певец «провинциальной гениальности», (может быть, мой Антон Лизавин из «Провинциальной философии»). Сам он знает об этих работах лишь понаслышке, но хотел бы, чтобы его «скромное сочинение про живописца, картин которого никто не видел, позволило каждому хоть на миг, хоть отчасти воссоздать их в своем воображении, увидеть рожденный в его душе уязвимый, непрочный мир». (Я в описании этих работ использовал статью об одном реальном современном художнике, живописующем разрушение.) И завершающий, финальный

¹ На пути к смерти моей матери встретились ледяные поля... ледяные поля из ваты (франц.)

творческий акт: Иннокентий, ловец облаков, на глазах у читателя переходит из безрадостной повседневности в мир созданных им картин — счастливая судьба подлинного художника. Поэтическая метафора, магический, если угодно, реализм, не делирий.

Я не собирался комментировать этот простой, по-моему, прозрачный рассказ, толковать общеизвестные вещи такому писателю, как ты. Среди доходивших до меня отзывов бывали восхищенные. Сдвиг, неподходящая настройка взгляда, когда вместо объемных фигур видишь набор пятен. Но вообще-то мне случалось себя комментировать. К действительно сложному «Возвращению ниоткуда» я когда-то добавил «Послесловие на развалинах», проясняющее некоторые реалии, им теперь завершается «Стенография конца века». (Я предложил это послесловие для французского издания романа, оно было переведено, издатель, однако, предпочел предложить читателям текст без комментария, пусть вникают сами.) Кроме того, я составил подборку из «рабочих дневников», которые вел для себя, размышляя на темы «Возвращения», они теперь воспроизведены вместе с романом в библиотеке Im werden [...]

Между прочим, в повести, которую я сейчас пишу, о «Возвращении ниоткуда», прямо не названном (как и автор), рассуждают два персонажа — тоже лукавый способ автокомментария. Он был мною опробован и в романе «Увидеть больше». Там героиня, Анита, говорит с Борисом о герое его произведения — на самом деле тут нетрудно узнать персонаж и тему моего романа «Сторож», не знаю, читал ли ты его. «Этому твоему философу казалось, что он сочинил своего изобретателя. И вдруг оказывается, тот действительно существовал, ведь правда? Удивительно! Ты его так описал, можно увидеть. В черной широкополой шляпе, морщины вокруг печальных глаз. Мысль может угадать, воссоздать настоящее».

Не удержусь, процитирую это место дальше, здесь, по сути, объясняется замысел, тема, построение романа.

«Да, да, восхищался Борис, чувствуя, что все больше хмелеет. Неужели она это уловила? Человек, о котором пишешь, становится существующим, больше, чем иные, кто в повседневности отмечается на сетчатке глаз, но и только, взглядеться не пытаешься, проходишь мимо — уже растаял. Создаешь его для себя, для других. И ведь не произвольно, вот что непостижимо. Почему в мозгу вдруг возникает именно это, а не другое? — наливал Борис очередную рюмку себе. — Как будто уже существует где-то. Где? В неосознанной памяти, в каких-то скрытых глубинах, в неизвестном, может быть, космическом измерении? Раньше просто не открывалось, не мог увидеть, услышать. А потом

опять закрывается. Как будто не от тебя зависит. У этого философа, ты уловила, бывает странное чувство: вдруг его самого сейчас кто-то сочиняет? Это ведь и мое чувство, со мной тоже бывает. Когда работаю, как будто говорю с кем-то, кто-то подсказывает. Кто-то, знающий пока немногим больше меня, даже меньше, ему через меня нужно что-то выяснить. Как мне самому что-то нужно выяснить через других. О себе самом в том числе. Собственная жизнь оказывается необъяснимо связана с тем, что возникает под пером».

Женщина, Анита, обладает незаурядной, природной способностью ощущать подлинное, настоящее; ненастоящее, фальшь вызывает у нее необъяснимую, болезненную, аллергическую реакцию. Она уходит от Бориса, ощутив, что он пошел не по тому пути, и в работе, и в жизни. А она, видимо, забеременела, обострившаяся аллергия может повредить ее будущему ребенку. О ложных поисках, недоброкачественности произвольной фантазии — многие эпизоды его поисков в Центре экспериментальной реальности, вплоть до увлечения фальшивой красоткой. Меня просто изумило, что ты всерьез предлагаешь обсуждать явную чушь, которую читает в этом Центре герой. «Душа человека, читал Борис, представляет собой излучение всех без исключения живых клеток организма. Теперь её можно продемонстрировать на экране» и т.д. Ты почему-то оборвал цитату, я уж продолжу:

«Теперь ее можно продемонстрировать на экране специального компьютера. Я видел своими глазами, восхищенно рассказывал первооткрыватель: это было существо, отдаленно напоминавшее новорожденного ребенка с непропорционально большой головой и крошечным тельцем. Скрюченные конечности скорее смахивали на огрызки крыльев, веерообразный хвост по мере удаления от туловища становился все более размытым.

М-да, отсюда надо было поскорей выбираться. Разве что узнав напоследок, что в одном из секретных институтов Крыма за последние двенадцать лет было совершено 348 операций по пересадке головного мозга, (где, как известно, сконцентрирована душа, напоминалось для несведущих в скобках), из них в 293 случаях удалось добиться положительных результатов. Представьте себе ситуацию, восхищенно комментировал журналист, когда смертельно больной гений получает возможность продолжить свою интеллектуальную деятельность, необходимую человечеству и стране!

Ну, отчего же не представить? На эту тему наверняка уже кто-то давно сочиняет, опередили, пускай. Тратить зря время тут, конечно, не стоило, но нельзя было попутно все же не поинтересоваться секретными институтами».

Явная ведь чушь, герой вместе с автором откровенно над ней насмеяются. Я, между прочим, ее не сочинял, я прямо, почти буквально цитировал популярные псевдонаучные сайты (включая душу, которая имеет «вид существа» и т.д.). Как вредной, убийственной чушью оказывалась в конце концов деятельность всех этих «секретных институтов», советских и фашистских, по сути родственных, их эксперименты с сознанием, с памятью. И написать об этом: «Я думаю, что мысль о соучастии «всех клеток», хоть и высказанная мимоходом и даже испугавшая героя, в романе очень важна, и даже не только для сюжета, для содержания, но, как ни странно, она отозвалась в его стилистике»? Душа, которая имеет «вид существа»? Не понимаю.

Я между тем прочел твое «Третье время» и «Хронику N», а в pendant к «Хронике» еще рассказы «Апостол» и «Избранник». «Третье время» — просто превосходная проза, ее можно смаковать по эпизодам. Саму концепцию «трех времен» ты мне излагал неоднократно, я знаю, что она тебе кажется существенной, текст самоценен и без нее. В «Хронике» и рассказах много общих достоинств, они заслуживают серьезного литературоведческого исследования, я на него просто сейчас не способен, сил нет. Главное, что я мог о тебе сказать, я все-таки написал. Общие литературные (на мой взгляд) слабости (однотипность без нужды перегруженных пустыми словами диалогов и т.п., я тебе об этом писал по другим поводам, и т.п.) стоило бы обсуждать до публикации, сейчас редактировать поздно. Само же Собрание сочинений — важное достижение автора. Будет ли оно замечено, оценено когда-нибудь по достоинству, мы не знаем. Но оно существует. Остается надеяться [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

23 марта 2011

Дорогой Марк, на дворе холодная, солнечная погода, но у меня грипп, и вообще настроение не блеск. Я тоже очень огорчен — пожалуй, не меньше, чем ты. Огорчен тем, что не сумел или не захотел, вслед за автором, вжиться, вчувствоваться во внутренний мир героя, «ловца облаков». Это исказило авторский замысел, в котором «объективное» тесно сплетено с «субъективным».

Действительно, можно спросить себя: причём тут Блэйлер, психиатрия, нейрофизиология?.. Объяснить, конечно, не значит оправдаться. Но я со студенческих времён привык оценивать характер и поведение литературных героев ещё и с медицинской точки зрения. В

иных случаях такой подход (отнюдь не предусмотренный писателем) обогащает понимание книги, не отменяя, разумеется, непосредственное впечатление, тем более — традиционную литературную критику. Подход этот, однако, всегда по необходимости сторонний, если не во все отчуждённый.

Конечно, я читал и «Сторожа», и «Возвращение ниоткуда», о чём тебе когда-то писал, — и вообще почти всё опубликованное. Привык, как мне казалось, к твоему писательскому миру. Равно как и «Послесловие на развалинах»; правда, в этом послесловии, насколько помню, были разъяснены относительно простые вещи, лежащие на поверхности. Надо будет перечитать. Вообще же комментировать собственную прозу, посвятить читателя в историю вещи, в закулисную механику сочинительства — дело весьма похвальное, подчас даже необходимое. То, что ты написал мне о «Ловце» и «Увидеть больше...», — отличный пример автокомментария. Правда, это не спасает от совсем неожиданных отзывов [...]

CharM500
3 апр. 2011

Пятисотое письмо, *epistula quingentesima*! Хотелось бы начертать юбилейное послание, но о чём, дорогой Марк? На дворе почти лето, воскресенье. Баварское радио передаёт Антракт к третьему действию «Лоэнгрина», — осенью 45 года, я услышал впервые эту музыку в Большом зале консерватории, кажется, это было и первое публичное исполнение Вагнера, который был под запретом во время войны, хотя мраморный медальон с портретом и лаврами по-прежнему красовался над окнами, среди других небожителей, рядом с Мендельсоном, который был запрещён в Германии. После этого рёва тромбонов публику охватил такой восторг, что задрожало всё здание. Представь себе, это было сто лет назад, и мне шёл уже 18-й год. С тех пор, вероятно, стало ясно, что без Вагнера жить невозможно [...]

В Мюнхене есть такой Семён Гулари, бывший россиянин, превосходный музыкант и педагог, чья дочь, Анна Гулари, пианистка, стала международной звездой; у меня есть её диски, волшебная игра, насколько я могу судить. Что касается Семьи Гулари, то он основал, среди прочего, литературный журнал или альманах под названием «Доминанта», которого очередной выпуск будет сегодня вечером представлен в мюнхенской Seidl-Villa. Мне там вручат символическую премию. Наш пострел везде поспел [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

5.4.11

[...] Пятьсот писем — это, конечно, цифра, но ведь счет обновлялся не раз, на самом деле их количество исчисляется, наверно, тысячами. Достижение, достойное памятника (скажем, в виде многотомного издания, как по-твоему?)

С премией поздравляю сердечно. Только что значит «символическая»? Денег, что ли не платят? Давали бы за каждую хоть медальку на грудь, как славно было бы щеголять на прогулке иконостасом! А «Доминанта» существует на бумаге или в виде устного журнала? Все равно хорошо [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

12 апр. 2011

[...] Премия, о которой ты спрашиваешь, разумеется, безденежная; журнал (вернее, альманах) «Доминанта» выходит уже пять лет, по одному выпуску в год [...]

У нас было уже началось лето, деревья зазеленели — дивное зрелище, но сегодня холодно, дождь. BR-Klassik передаёт любимую мной фортепьянную сонату опус 17 Шумана, которую я однажды использовал для сюжета повести, написанной от имени музыканта-любителя, бывшего немецкого офицера, воевавшего в России, где он оставил беременную подружку. Такие истории случались не так уж редко.

Дела всё те же, я вычитываю материалы для последнего (накопец-то!) тома. Четыре книги, как я писал, изданы, остальные лежат в издательстве. Улита едет, останавливаясь то и дело передохнуть. Вечный вопрос, кто это будет читать, ты, вероятно, слышишь от меня в сотый раз. У меня есть сборник, посвящённый Серапионовым братьям: статьи, хвалебные рецензии современников и произведения самих братьев. Статьи читать интересно, а вот Серапионы — развернёшь и видишь толстый слой плесени. Я перечитываю свои творения, и мне кажется (без преувеличения), что я вижу там и сям нежно-зелёные пятна. А ведь мы ещё даже не умерли [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

20.4.11

Как прошла, дорогой Гена, встреча немецких властителей дум? Какие обсуждали темы, какие резолюции приняли? Я на наши пеновские

посиделки не хожу без малого лет десять, перестал понимать, что это за организация. Как и Союз писателей, на собраниях которого за 20 лет членства никогда вообще не был. Опоздал в эту жизнь вписаться.

У нас затянулся неуютный апрель, вчера в лесу еще увидели снег, даже походили по нему.

Я закончил небольшую повесть или, скорей, большой рассказ, названный «Узел жизни», с эпиграфом из Мандельштама:

Может быть, это точка безумия,
Может быть, это совесть твоя —
Узел жизни, в котором мы узнаны
И развязаны для бытия.

[...] Знакомое состояние, когда вдруг нечем стало заняться. Отвык не работать. Я об этом писал в эссе «Закаты Утехи», которое ты читал [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

21 апр. 2011

[...] Что касается конференции ПЕН-клуба, было очень скучно. Подразделение Интернационального ПЕН официально именуется *Sektion der Exil-Literatur der deutschsprachigen Länder* и ныне влачит довольно жалкое существование. Нет денег ни на интересных докладчиков, ни на экскурсии. Правда, разместилась вся компания в большом современном отеле, в городке Фридрихсроде, но программа — приём новых членов, выборы президиума и президента, унылая дискуссия на политические темы позавчерашней свежести, многоглаголанье, скука и тоска, так что я даже пожалел, что притащился. Разве только повидал старых друзей и знакомых. Один вечер был посвящён литературным чтениям, я в них не участвовал. Каждому желающему предоставлялось пять минут, так что выступали почти исключительно поэты [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

23.4.11

[...] Рассказ «Девушки» захватил меня с первой же страницы: элегической интонацией, описаниями, размышлениями — и, как тебе ни покажется странным, переключкой с моим последним романом. «*Разумеется, ничего этого я не помню, и, однако, помню всё*». Обращение к затаенным глубинам памяти показалось мне родственным стремлению моего героя «*увидеть больше, чем показывают*». Узнать об отце, о его

жизни, не имея практически никаких документальных свидетельств, даже навала беспорядочных фантиков. Память ли крови, творческая ли работа воображения (если не подменять ее произвольными, безответственными фантазиями) могут открыть нам нечто подлинное и даже получить подтверждение, не объяснимое рационально.

Прости, что, начав с твоего рассказа, я заговорил о себе — но ведь другого по-настоящему всегда больше понимаешь через себя, находя в нем что-то близкое. По совпадению, как раз недавно я обнаружил в интернете лекцию, прочитанную Жоржем Нива в прошлом октябре на Украине. Он говорил о проблемах перевода и начал, представь себе, с писательницы, «не то француженки, не то бельгийки», которую почему-то недолюбливает твой рассказчик — с книги, (далее цитата) «название которой обычно на русский переводят как «Философский камень» (*L'Œuvre au noir*). Но это-то как раз и непереводаемо, потому что *L'Œuvre au noir* — это, скорее, «черное деяние». Это из лексики алхимии. И нормальный французский читатель этого не поймет. Лишь прочтя книгу, он поймет, что алхимик Зенон... ищет какое-то понимание мира через хаос. Потому что черное деяние — это первый этап этого поиска, это разрушение видимого порядка, для того, чтобы иметь потом фундамент для создания нового порядка».

И вслед за этим — неожиданно для меня — Жорж ссылается на «фантики» моего Милашевича: «Он писал, как Гераклит, фрагменты... Получаются вот такие кусочки: «Слово от боли» — это один фантик. *(Цитирует дальше еще.)* Мне кажется, что Марк Харитонов тут ищет темноту. Он хочет написать темными словами, и вот нашел для их оправдания этот прием — фантики».

Я об этом такими словами не думал, про фрагменты Гераклита никогда не знал. (И ведь моего последнего романа Жорж еще не прочел.) Но сейчас, как ты знаешь из нашего позавчерашнего разговора, «Грифельная ода» Мандельштама побудила меня вновь задуматься над проблематикой «дня» и «ночи» в человеческом сознании, в творчестве, в культуре.

Вернемся, однако, к твоим рассказам. Меньше других мне понравилась «Ульрика». Откровенная параллель разрабатывается без особых открытий — до неожиданной и довольно эффектной концовки. Немного раздосадовало подробное изложение националистических разглагольствований профессора — который раз в твоих текстах. Тебе эта тема как будто до сих пор кажется актуальной для серьезной прозы. Ее уже и в приличной публицистике всерьез не обсуждают — пройденные общие места. Достаточно в двух словах упомянуть — дальше понятно.

Начало «Универсальной грамматики» тоже показалось как будто уже где-то читанным: подробности отъезда не раз тобой описывались в эссе или в письмах, но, наверно, не в прозе. Превосходный рассказ. Мне вспоминались другие твои сюжеты на немецкую тему — те, что я читал, создают впечатление, что жизнь в Германии, при всей благоустроенности, не так уж радостна. Может быть, потому, что твои персонажи (как, наверно, и многие твои знакомые) — по большей части немолодые интеллигенты, аристократы, (в каком-то рассказе были, помнится, и попрошайки во главе с предводителем — тоже невесело). Но, возможно, просто так отложилась в памяти, я не все знаю.

«Мэри, или Обещание» — прекрасный рассказ, особая его ценность (как и всех других текстов) — в разбросанных попутно мыслях, которые хотелось бы процитировать. Но для выписок все надо еще раз перечесть, а письмо и так разрослось. (Лишь одно замечание мимоходом: «у родителей моей сестры» (с. 19) — это не то же, что «у моих родителей»? Может, двоюродной?)

Icherzählung во всех рассказах вызывает мысль о книге, объединенных одним рассказчиком. Но у тебя рассказчики разведены, правда, не очень, меньше, чем у Чехова. Такая книга, право же, еще может возникнуть [...]

Б. Хазанов — М. Харитонову

23 апр. 2011

[...] Меня заинтересовала и порадовала твоя интерпретация моего «триптиха», или, лучше сказать, связь мыслей, неожиданные ассоциации. И, конечно, сближение с главным или одним из главных мотивов твоего романа. Это сближение не кажется натяжкой: ведь наши темы очень часто пересекаются.

Слово «сближение» здесь может оказаться ключевым. Речь идет (по крайней мере, для меня) о некотором над— или сверхличном пространстве памяти, которое соединяет нас непосредственно, в обход культурной традиции, с прошлым, с родителями, с родителями родителей и даже вовсе посторонними людьми, о пространстве открытий, которые, однако, не подменены, как ты пишешь, «произвольными, безответственными фантазиями».

Время от времени приходит в голову мысль (которая вообще носится в воздухе) об интернете как о некотором всеобщем трансфизическом вместилище; но тут-то как раз открывается широкое поле для фантазии или даже чего-то, что можно назвать художественной мистикой. (Ты говоришь о «необъяснимом рационально».) Можно было

бы написать рассказ о человеке, допустим, писателе, неудачнике, так и не нашедшем отклика, — который, наконец, не просто обращается к интернету, но в прямом смысле переселяется туда, ведёт там необъяснимое потустороннее существование: здесь, на земле его больше нет.

То, что ты говоришь о рассказе «Ульрика», — сущая правда: параллель с Гёте лезет в глаза с первой же страницы; разглагольствования профессора — прошлогодний снег. Объясняется это (хотя, по видимому, и не оправдывается художественно) тем, что вся история представляет собой развёрнутую пародию. Все они — и переводчик, и национальный профессор, и даже девушка — не способны на что-то новое. Так воспринимает ситуацию и сам рассказчик, беда лишь в том, что для него самого эта навязанная вторичность обернулась жизненной болью и судьбой.

Насчёт «родителей моей сестры»: где-то в другом месте упомянуто вскользь, что сестра — двоюродная [...]

28 апр. 2011

[...] Я прочёл «Узел жизни», должен сразу сказать, что рассказ мне понравился. Постепенно, по мере вхождения в эту прозу она захватила меня и поразила замечательной концовкой — открытой в обоих смыслах: и тем, что она открывает перед двумя главными (как постепенно выясняется) действующими лицами ворота в обновлённую жизнь, «развязывает для бытия», и просто потому, что оставляет открытой композицию рассказа — кстати, выстроенную с замечательным искусством.

Я понял его как размышление о поддельной реальности. Может быть, даже как притчу о цивилизации, которая подменяет действительность более или менее искусными, искусственными имитациями. «Продукт», который воспроизводит вкус и запах настоящей еды (я помню, как в редакции «Химия и жизнь» мы однажды дегустировали чёрную икру, синтезированную под руководством академика Несмеянова), даже создаёт ощущение сытости, а на самом деле это плесень, — оно и дешевле, и можно без больших затрат накормить весь мир. И уже модный журнал готовится поместить интервью с директором института.

Мало того, напитки, незаметно пьянящие, вкусные, отзывающие то «изабеллой», то ещё чем-то, — на самом деле новейшая разновидность наркотика с задачей уничтожить память. Сын врача-психотерапевта, женщины, которая сама нуждается в психотерапевтической помощи, — молодой парень — сделался искусственной девицей. Заглянув в монастырь, она чуть было не приблизилась к «точке безумия». Монастырь

переоборудован под лабораторию по переустройству человека — может быть, и всего человечества, — это одновременно изолятор подопытных жертв. Директор, ловец душ, преступный охмурыла, сам стал наркоманом — или на пути к этому... Сестра-монахиня — шлюха, пожилые липуты одеты в детские платьица; всё обман, фальсификат.

Через это испытание, этот узел жизни должны пройти двое, чтобы — чтобы что?.. Мучительные старания припомнить стихи Мандельштама помогли выбраться из бывшего монастыря на волю, подобно тому как поэзия помогает найти утраченную подлинность жизни.

Попутно о мелочах. В двух-трёх местах чересчур подробные описания, мне кажется, замедляют темп, ослабляют энергию прозы. Слишком частое отсутствие местоимения в диалогах, в косвенной речи, в других местах (сказала вместо она сказала и т.п.) создаёт впечатление монотонности, надоедает. Квазинаучные объяснения, учёные словечки и прочее, разумеется, пародийны, но «локализация места» недопустима. Одно из двух; на медико-анатомическом языке локализация — не отыскивание и нахождение места, но само местонахождение.

Это, конечно, лишь беглое, на первый взгляд, поверхностное впечатление; вот если бы нашёлся критик, который разобрал бы вещь (и разобрался в ней) как следует...

У меня без перемен. Позавчера я был на литургии по кончине Каролины Просс. Собралось довольно много народу, благородный священник, орган, арфа; в конце прохода между скамьями, перед алтарём, гроб, покрытый огромным букетом. Всех потрясло самоубийство молодой женщины в расцвете красоты и таланта. Я не мог расспрашивать Марианну, в чём дело, узнал только от посторонних, что, кажется, это история обманутой любви. Но я думаю, что общий фон для таких происшествий — отказ от материнства. Сколько вокруг интеллигентных женщин, у которых нет настоящей семьи, нет детей. Между тем ребёнок спасает: от чувства пустоты, от бессмыслицы существования, от одиночества, от отчаяния [...]

М. Харитонов — Б. Хазанову

28.4.11

Ты замечательно интерпретируешь, дорогой Гена, «Узел жизни» как «размышление о поддельной реальности». Я предварительно не формулировал свою идею такими словами, но ты обобщил очень точно. Если вспомнить, замыслу предшествовал верлибр «Плантации новой культуры», который я тебе посылал: «Цветы, похожие на цветы,

листья на листья... Будущее за культурой, бессмертной, как плесень». Именно, как ты пишешь, «о цивилизации, которая подменяет действительность более или менее искусными, искусственными имитациями». Более умного критика я себе пожелать не могу. Кстати, не далее как вчера мне позвонил Чупринин: в «Знамени» рассказ очень понравился, будут печатать. Так что готовься писать. У тебя лишь одна неточность: транссексуалом становится сын не героини-психотерапевта, а ее приятельницы-журналистки. Насчет «локализации места»: я это сочетание выписал, представь себе, из ученого текста, но недаром вложил его в уста сомнительного персонажа. Можно еще подумать.

Имя звонившего вчера напомнило мне о «Русской премии», которую ты получил в позапрошлом году. Вчера среди лауреатов этой премии оказались издатели «Зарубежных записок». Передай Ларисе мои поздравления. За прозу премию получила Марина Палей, за поэзию Наташа Горбаневская.

Самоубийство всегда не совсем понятно, тем более самоубийство молодой женщины. Помнится, когда я блаженствовал в Мон-Нуар, в буколической сельской местности, мне устроили экскурсию в Психиатрический институт, обслуживающий весь север Франции. Я спросил у сопровождавшего меня директора: здесь такая прекрасная жизнь, почему такое множество людей страдает депрессией? Он оценил юмор моего вопроса.

У нас начало зеленеть, я работаю на лоджии, думаю о стихах. Заглядываю, среди прочих книг, в твое «Абсолютное стихотворение». Замечательные этюды о поэтах. Чувствуются давно сложившиеся вкусы и пристрастия. Подвергались ли за многие годы переоценке хоть какие-нибудь из них? [...]

11.5.11

Дорогой Гена, что-то давно нет от тебя вестей, и скайп не откликается. Надеюсь, у тебя все в порядке. Твой М.

Постскриптум 2012

Ответа на это письмо не было, переписка наша временно оборвалась: Г.М. Файбусович (Б. Хазанов) находился в то время уже в больнице. Возобновилась она лишь 24.1.2012. Немногочисленные, пока очень короткие письма этого года здесь не воспроизводятся.

М.Х. май 2012



Борис Хазанов (псевдоним Г.М.Файбусовича), родился в Ленинграде, вырос в Москве. Учился в Московском университете, на последнем курсе филологического факультета был арестован, получил 8 лет по обвинению в антисоветской агитации, отбывал наказание в Унженском исправительно-трудовом лагере. Позднее окончил медицинский институт, работал врачом, кандидат медицинских наук. В связи с участием в Самиздате был вынужден покинуть Советский Союз и поселился в Германии. Автор романов, рассказов, эссеистических произведений. Многократно переводился на европейские языки, публиковался в России и за границей. Премия «Литература в изгнании» (Гейдельберг), несколько премий Международного ПЕН-клуба, «Русская премия» (Москва), премия имени Марка Алданова (Нью-Йорк), шорт-лист премий «Русский Букер» и «Большая книга». Живет в Мюнхене.

«В компьютере есть ещё немало число писем прежних лет. Подумать только, сколько мы написали! Кто знает, может быть, некоторые из них представляют вневичный интерес».

Борис Хазанов, из письма 18.12.2004



Марк Харитонов, родился в 1937 году в Житомире. Окончил историко-филологический факультет Московского государственного педагогического института. Работал учителем средней школы, ответственным секретарем многотиражной газеты, редактором в издательстве. С 1969 г. свободный литератор – прозаик, поэт, эссеист и переводчик художественной литературы. Роман «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича» в 1992 г. был удостоен первой в России Букеровской премии. Автор романов «Два Ивана», «Возвращение ниоткуда», «Проект Одиночество», «Увидеть больше», эссеистических книг «Способ существования», «Стенография конца века», «Уроки счастья», «Стенография начала века», повестей, рассказов, стихов. Переводил произведения Т.Манна, Ф.Кафки, Г.Гессе, Ст.Цвейга, Э.Канетти и др. Произведения Харитонova переведены на многие европейские языки, а также на японский и китайский. Живёт в Москве.

«Я не вёл дневников, мои письма — аналог дневника», — заметил Борис Хазанов в эссе «Родники одиночества». Его письма с годами стали существенной частью моей жизни. Как-то он мне написал, что и мои письма стали частью его жизни».

Из предисловия Марка Харитонova
